Борис Горбатов

3



БИБЛИОТЕКА
«ОГОНЕК»



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ



ТОМ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84 Р 7
Гор 67

Составление и общая редакция
А. В. Терновского

Иллюстрации художника
О. К. Вуколова

Гор $\frac{4702010200—1727}{080(02)—88}$ 1727—88

Произведения военных лет

ПИСЬМА К ТОВАРИЩУ

РОДИНА

1

Товарищ!

Где ты дерешься сейчас?

Я искал тебя в боях под Вапняркой, под Уманью, под Кривым Рогом. Я знал, что найти тебя можно только в жарком бою.

Помнишь морозные финляндские ночи, дымящиеся развалины Кирка-Муолы, ледяную Вуокси-Вирта и черные камни на ней? Помнишь, обнявшись, чтобы согреться, мы лежали в землянке на острове Ваасик-Саари, говорили о войне и Родине? Над нами было маленькое небо из бревен в два наката. Чужой ветер дул в трубе. Чужой снег падал на крышу. Мы дрались тогда на чужой земле, но защищали безопасность нашей Родины. Каждый метр отвоеванного нами льда и снега становился родным: мы полили его своей кровью. Мы не отдали бы его ценою жизни — он принадлежал Родине.

Родина! Большое слово. В нем двадцать один миллион квадратных километров и двести миллионов земляков. Но для каждого человека Родина начинается в том селении и в той хате, где он родился. Для нас с тобой — за Днепром, на руднике, в Донбассе. Там наши хаты под седым очеретом — и твоя и моя. Там прошумела наша веселая юность — и моя и твоя. Там степь бескрайна, и небо сурово, и нет на земле парней лучше, чем донбасские парни, и заката красивей, чем закат над копром, и запаха роднее, чем горький, до сладости горький запах угля и дыма. Там мы родились под дымным небом, под глеевой горой; там до сих пор звенит серебряной листвой тополь, под которым ты целовал свою первую девушку, там мы плескались с тобой, товарищ,

в мелком рудничном ставке, и никто меня не уверит, что в море купаться лучше. Но и спорить об этом не буду ни с одесситом, ни с севастопольцем. Каждому — свое.

Для нас с тобой, товарищ, Родина началась здесь. Здесь начало, а конца ей нет. Она безбрежна. Чем больше мы росли с тобой, тем шире раздвигались ее границы. Больше дорог — больше сердечных зарубок.

Помнишь городок на далекой границе — Ахалцых? Тут мы начали свою красноармейскую службу. Помнишь первую ночь? Мы стояли с тобой на крепостном валу и глядели вниз, на серо-зеленые камни зданий, на плоские крыши, на яблоневые сады, на весь этот непонятный и чужой нам мир, слушали непонятный, чужой говор, скрип арб, рев буйволов и говорили друг другу:

— Ну, и забрались мы с тобой! Далеко!

Отчего же, когда через два года уходили мы отсюда «в долгосрочный», горько заныло сердце? Весь город шел провожать нас до Большого Прощального камня на шоссе у сахарной высотки, и полкового барабана не было слышно из-за гула напутственных криков.

— Швидобит! — кричали нам друзья-грузины, и мы уже знали: это значит — до свиданья.

— Будь счастлив в большой жизни, елдаш кзыл-аскер![1] — кричали нам наши друзья-тюрки. Родные наши!

Так входили в наши сердца разноплеменные края нашей Родины: и апшеронские песчаные косы, и черные вышки Баку, куда ты ездил с бригадой шахтеров, и ржавая степь Магнитки, и снега Сибири. И хотя ты никогда не был на Северном полюсе, сердце твое было там. Потому что там, на льдине, плыли наши русские советские люди, плыла наша слава.

Вот и сейчас я сижу в приднепровском селе и пишу тебе эти строки. Бой идет в двух километрах отсюда. Бой за это село, из которого я тебе пишу.

Ко мне подходят колхозники. Садятся рядом. Вежливо откашливаясь, спрашивают. О чем? О бое, который кипит рядом? Нет! О Ленинграде!

Ну, как там Ленинград? А? Стоит, держится?

Никогда они не были в Ленинграде, и родных там нет, отчего ж тревога в их голосе, неподдельная тревога? Отчего же болит их сердце за далекий Ленинград, как за родное село?

---

[1] Товарищ красноармеец.

И тогда я понял. Вот что такое Родина: это когда каждая хата под седым очеретом кажется тебе родной хатой, и каждая старуха в селе — родной матерью. Родина — это когда каждая горючая слеза наших женщин огнем жжет твое сердце. Каждый шаг фашистского кованого сапога по нашей земле — точно кровавый след в твоем сердце.

Товарищ!

Я не нашел тебя под Вапняркой, под Уманью, под Кривым Рогом. Но где бы ты ни был сейчас — ты бьешься за родную землю.

У Днепра мы задержали врага. Но, как бешеный, бьет он оземь копытом. Рвется дальше. Рвется в Донбасс. На нашу родную землю, товарищ! Я видел: уж кружат над нашими шахтами его стервятники. Уже не одна хата под очеретом зашаталась под бомбами и рухнула. Может, моя? Может, твоя?

Пустим ли мы врага дальше? Чтоб топтал он нашу землю, по которой мы бродили с тобой в юности, товарищ, мечтая о славе? Чтоб немецкий снаряд разрушил шахту, где мы с тобой впервые узнали сладость труда и счастье дружбы? Чтобы немецкий танк раздавил тополь, под которым ты целовал свою первую девушку? Чтобы пьяный гитлеровский офицер живьем зарыл за околицей твою старую мать за то, что сын ее красный воин?

Товарищ!

Если ты любишь Родину,— бей, без пощады бей, без жалости бей, без страха бей врага!

2

Товарищ!

Я хочу тебе рассказать об Игнате Трофимовиче Овчаренко из колхоза «Червонный яр».

Ты ведь знаешь, как рвутся мины? Точно хлопушки. Сначала свист, потом треск.

А старик Овчаренко сидел под дубом и думал свою думу, словно никаких мин не было. Странно было видеть штатского человека вблизи огневой позиции. Но огневая позиция была за церковью, в саду, а Овчаренко был здешний колхозник. Я подошел к нему.

— Вы бы ушли, товарищ, отсюда, а? — нерешительно сказал я и показал на разорвавшийся невдалеке снаряд.

— Невжели,— медленно, раздумчиво произнес он, словно думая вслух,— невжели немцы войдут?

За косогором виднелся краешек поля. Ветер доносил оттуда запах гречишного меда. Там шел бой. Если вылезть на косогор и поглядеть в бинокль, можно увидеть, как наступают немцы, падают в гречиху и снова идут.

— А вы что ж, не хотите фашиста? — спросил я и сам удивился глупости своего вопроса — какой советский человек хочет фашиста!

— Не желаю! — с силой ответил старик.— Не желаю я фашистов. Не согласен. Я вам поясню, почему. Я политики касаться не буду. Я — мужик. И рассуждение мое мужицкое. Меня в колхозе,— он усмехнулся,— зовут Игнат Несогласный. Такое прозвище. В тридцатом году пришли меня агитировать в колхоз. Я говорю: нет, не согласный я. Шесть лет агитировали. Шесть лет я не соглашался.

Он сорвал былинку и стал ее жевать.

— И все шесть лет думал я. С печи слезу — думаю, в поле пойду — думаю, на базар поеду — думаю опять. А у мужика думка одна: как жить лучше? И как ни прикидывал, одна путь выходит: в колхоз! Выгоднее. Пять лет тому назад пришел я и говорю: согласный! Принимайте!

Он задумчиво смотрел мимо меня, в поле, где буйно цвела колхозная гречиха.

— Пять лет прожил, горя не видел, про горе думать забыл. Эх, военный товарищ! Як бы время, повел бы я вас к себе в хату, богатство свое показал, похвастался б. Что хлеба в амбаре! Что кавунов! Меда! Птицы на дворе! И все— колхоз.

Где-то совсем близко упала мина. На дубе встревоженно зашевелились листья. Игнат Несогласный нахмурился, вздохнул.

— Стреляют гады...— сказал я почему-то.

— Крушение жизни выходит,— тихо промолвил старик.— Вот где горе! — И тут схватил меня за руку, прошептал тоскливо, болестно:— Не можу я теперь без колхоза жить. Чуете? Не можу!

Вот и все, что хотел я рассказать тебе, товарищ, об Игнате Трофимовиче Овчаренко из колхоза «Червонный яр». Я ушел в бой, а он остался под дубом думать свою думу.

Большая эта дума, товарищ: о судьбах Родины. Миллионы Игнатов Согласных и Несогласных думают ее сейчас. Еще вчера, до войны, бывало, ворчали Несогласные Игнаты, ругали по-простецки, по-мужицки, жаловались на то и на се, на беспорядки в колхозе. Но сейчас, когда беда раскинула черные крылья над Родиной, когда враг грозит Игнату «крушением всей жизни», всего родного и привычного порядка, горько, сурово задумался Игнат. Не может он без колхоза жить! Не может вернуться к старому. Без сельсовета не может. Без партии большевистской жизни ему нет. К кому пойдет он со своей крестьянской душой, где отведет душу, «ругнет бюрократов», но правды добьется? Обязательно добьется правды, ибо правда у нас у всех одна.

Он привык работать в дружном коллективе, среди земляков, работать на себя, труд измерять полноценным трудоднем, гордиться перед заезжим гостем своим богатым амбаром и требовать от кооперации «городского товара» получше. Что несет ему фашизм? Ярмо помещика. Вдовьи наделы. Волостного старшину с нагайкой. Крушение милого, привычного, родного порядка. Голод.

А мы с тобой, товарищ? Мы не знали другой власти, кроме родной, советской. И, значит, мы не знали безработицы, бесправия, черного дня.

Вот я проехал по прифронтовой полосе. Черт побери! Я и сам не знал, как наша земля богата. Оно скрывалось до войны по тихим животноводческим фермам, колхозам, эмтээсам, в стороне от большака, это богатство. Война выплеснула все на дорогу. Какие огромные стада у нас! Какие могучие, откормленные кони! Сколько птицы! Какие хлеба, какие сады шумят под ветром! Я ехал по дороге и видел: несколько километров подряд один к одному стояли у обочины комбайны, точно парад индустрии колхоза. А наши города? Те маленькие, захолустные, безвестные районные центры, куда, если бы до войны довелось, поехал бы сморщившись: глушь! Оказывается, и они расцвели, растянулись, украсились. Захолустья нет!

А дороги! Я к черту отбросил свою карту. Она устарела. Где на ней это великолепное профилированное шоссе? Но акациям всего пять лет, а моей карте шесть. Нет, не успеть никакой карте за ростом нашего богатства.

И все это богатство отдать врагу? Отдать гаду? Разве для него мы строили эти дороги, украшали города, откармливали скот, сады растили?

Товарищ! Если ты любишь Родину, и власть нашу, и богатство, и наше приволье,— бей, без пощады бей, без жалости бей, без страха бей врага!

3

Товарищ!

Я расскажу тебе о ресторане в Каховке. Там был баянист. Он играл, а люди ели.

Говорят, он плохо играл. Не знаю. Я слушал два часа подряд и наслушаться не мог. Он играл одно и то же два часа подряд — «Каховку». Его лицо было торжественно-серьезно, словно он пел гимн. Умел ли он еще что-нибудь играть? Не знаю. Но я другой музыки не хотел.

И она неслась над тихой Каховкой, песня о Каховке гражданской войны. И чудилось мне: пули поют, строчит пулемет, и «девушка наша в походной шинели горящей Каховкой идет». Песня о славе нашего оружия!

Они таяли, звуки этой песни, в степи под Херсоном, где высокие травы, где курган, под которым спит матрос Железняк, где некогда шумели легендарные битвы, где творилась легенда. А мы, потомки дел великих, сидели и слушали. И нащупывали наган на боку.

Вот и наш черед пришел, товарищ, для великих дел. В этой песне о Каховке не хватает куплетов про нас с тобой. Они будут!

Будем ли мы с тобой драться, как дрались наши отцы? Будут ли о нас песни петь или проклянут, как трусов?

Помнишь, завидовали мы отцам и старшим братьям. Нынче дети завидуют нам. Помнишь, мечтали о том, как умножим славу красноармейского оружия? Вот оружие в наших руках. Он пришел, наш черед. Отцы смотрят на нас с надеждой: ну-ка, дети, не опозорьте нас. Херсонские курганы зовут нас к славе. Матрос Железняк учит пробиваться штыком и гранатой сквозь вражеский строй. Пули поют над нами, южный ветер хлопает крыльями, бронепоезд вышел с запасного на боевой путь. И «девушка наша в походной шинели горящей Каховкой идет».

Товарищ! Если ты любишь Родину, и славу ее, и боевые традиции ее,— бей, без пощады бей, без жалости бей, без страха бей врага!

4

Товарищ!

Где ты был первого сентября?

Может, шел в атаку? Может, лежал в обороне? В этот день я ехал на фронт и видел то, чего никогда не забуду.

Шли дети в школу. Чистенькие, нарядные, торжественно, с сумками и портфельчиками, бережно несли чернильницы в бумажках, и ручонки их были уже закапаны синими чернилами.

Мимо них проносились военные машины, проходила артиллерия. Над ними пролетали самолеты. Они закидывали кудрявые головки, бесстрашно глядели в небо: наш или не наш? Они приветственно махали ручонками нашим и показывали кулачки врагу. И продолжали свой путь в школу.

И каждый мальчик — вихрастый, смелый, сероглазый — был похож на твоего сына, товарищ. И каждая девочка — курносенькая, быстроглазая, с косичками, что мышиные хвостики,— была точно моя дочка.

Товарищ!

Идешь ли ты в атаку, лежишь ли в обороне, помни: первого сентября наши дети пошли в школу. Они сидят сейчас за партами и решают свои проблемы: сколько будет семь раз восемнадцать. Они говорят с гордостью: «Мой папа на войне! Он защищает Родину!» Они знают, что их папа — самый смелый, самый храбрый воин на земле. Они верят: он разобьет немца.

И когда мы вернемся с тобой домой, товарищ, твой сын и моя дочь спросят нас: «Как ты дрался, папа?» Смотри, товарищ! Бейся так, чтобы потом можно было глядеть в ясные, чистые глаза своего сына.

Эти детские глаза... Мы уходили из Днепропетровска. Сквозь дым пожарищ шли мы по улицам; было тяжко видеть мертвые трубы заводов, слепые глаза домов. Но мы проходили суровым шагом сквозь дым и пламя. Это война.

А у нового парка Чкалова я увидел маленький паровозик, вагончики, рельсы. Прочитал на паровозе над-

пись: «Малая Сталинская», вспомнил, как играли здесь наши ребята, и...

Товарищ! Если ты любишь Родину и своего сына, и будущее его дорого тебе,— бей, без пощады бей, без жалости бей врага!

Сентябрь 1941 г.
Село О. на Днепре

О ЖИЗНИ И СМЕРТИ

1

Товарищ!

Сейчас нам прочитали приказ: с рассветом — бой. Семь часов осталось до рассвета.

Теперь ночь, дальнее мерцание звезд и тишина; смолк артиллерийский гром, забылся коротким сном сосед, где-то в углу чуть слышно поет зуммер, что-то шепчет связист...

Есть такие минуты особенной тишины, их никогда не забыть!

Помнишь ночь на 17 сентября 1939 года? В пять ноль-ноль мы перешли границу и вошли в фольварк Кобылья Голова. Тишина удивила и даже обидела нас. Только цокот копыт наших коней да стук наших сердец. Мы не такой ждали встречи!

Но изо всех окон на нас молча глядели сияющие радостью глаза, из всех дверей к нам тянулись дрожащие от волнения руки... И я... нет, этого не рассказать! Этого не забыть — тишины переполненных счастьем душ.

А полдень 13 марта 1940 года? В двенадцать часов дня разом смолкли все пушки, гаубицы, и на всем Карельском перешейке вдруг воцарилась тишина — незабываемая, прочная тишина победы. И мы услышали тогда, как звенит лед на Вуокси-Вирта, как шумит ветвями красавец лес, как стучит о сосну дятел,— раньше мы ничего не слышали из-за канонады.

Когда-нибудь буду вспоминать я и сегодняшнюю ночь, ночь на 30 октября 1941 года. Как плыла над донецкой степью луна. Как дрожали, точно озябшие, звезды. Как ворочался во сне сосед. А над холмами, окопа-

ми, огневыми позициями стояла тишина, грозная, пороховая тишина. Тишина перед боем.

А я лежал в окопе, прикрывая фонарик полою мокрой шинели, писал тебе письмо и думал... И так же, как я, миллионы бойцов, от Северного Ледовитого океана до Черного моря, лежали в эту ночь на осенней, жухлым листом покрытой земле, ждали рассвета и боя и думали о жизни и смерти, о своей судьбе.

2

Товарищ!

Очень хочется жить.

Жить, дышать, ходить по земле, видеть небо над головой.

Но не всякой жизнью хочу я жить, не на всякую жизнь согласен.

Вчера приполз к нам в окоп человек «с того берега» — ушел от немцев. Приполз на распухших ногах, на изодранных в кровь локтях. Увидев нас, своих, заплакал. Все жал руки, все обнять хотел. И лицо его прыгало, и губы прыгали тоже...

Мы отдали ему свой хлеб, свое сало и свой табак. И, когда человек насытился и успокоился, он рассказал нам о фашистах: о насилиях. пытках, грабежах. И кровь закипала у бойцов, слушавших его, и жарко стучало сердце.

А я глядел на спину этого человека. Только на спину. Глядел не отрываясь. Страшнее всяких рассказов была эта спина.

Всего полтора месяца прожил этот человек под властью врага, а спина его согнулась. Словно хребет ему переломали. Словно все полтора месяца ходил он кланяясь, извиваясь, вздрагивая всей спиной в ожидании удара. Это была спина подневольного человека. Это была спина раба.

— Выпрямься! — хотелось закричать ему.— Эй, разверни плечи, товарищ! Ты среди своих.

Вот когда увидел я, с последней ясностью увидел, что несет мне фашизм: жизнь с переломанной, покоренной спиной.

Товарищ! Пять часов осталось до рассвета. Через пять часов я пойду в бой. Не за этот серенький холм,

что впереди, буду я драться с врагом. Из-за большего идет драка. Решается: кто будет хозяином моей судьбы — я или он.

До сих пор я, ты, каждый был сам хозяином своей судьбы. Мы избрали себе труд по призванию, профессию по душе, подругу по сердцу. Свободные люди на свободной земле, мы смело глядели в завтра. Вся страна была нашей Родиной, в каждом доме товарищи. Любая профессия была почетна, труд был делом доблести и славы. Ты знал: каждая новая тонна угля, добытая тобой в шахте, принесет тебе славу, почет, награду, каждый центнер хлеба, добытый тобой на колхозном поле, умножит твое богатство, богатство твоей семьи.

Но вот придет враг. Он станет хозяином твоей судьбы. Он растопчет твое сегодня и украдет твое завтра. Он будет властвовать над твоей жизнью, над твоим домом, над твоей семьей. Он может лишить тебя дома — и ты уйдешь, сгорбив спину, в дождь, в непогодь, из родного дома. Он может лишить тебя жизни — и ты, пристреленный где-нибудь у забора, так и застынешь в грязи, никем не похороненный. Он может и сохранить тебе жизнь, ему рабочий скот нужен,— и он сделает тебя рабом с переломанным, покорным хребтом. Ты добудешь центнер хлеба — он заберет его, тебя оставит голодным. Ты вырубишь тонну угля — он заберет ее да еще обругает: «Русская свинья, ты работаешь плохо!» Ты всегда останешься для него русским Иваном, низшим существом, быдлом. Он заставит тебя забыть твоих отцов, язык, которым ты мыслил, мечтал, на котором признавался в любви невесте. Он заставит тебя выучиться немецкой речи и будет смеяться, слушая, как ты коверкаешь чужой язык.

Все мечты твои он растопчет, все надежды оплюет. Ты мечтал, что сынишка твой, выросши, станет ученым, инженером, славным человеком на земле,— но фашисту не нужны русские ученые, он своих сгноил в собачьих лагерях. Ему нужен тупой рабочий скот — и он погонит твоего сына в ярмо, разом лишив его и детства, и юности, и будущего.

Ты берег, лелеял свою красавицу дочку. Сколько раз, бывало, склонялся ты вместе с женой над беленькой кроваткой Маринки и мечтал о ее счастье. Но фашисту не нужны чистые русские девушки. В публичный дом, на

потеху разнузданной солдатне, швырнет он твою гордость — Маринку, отличницу, красавицу...

Ты гордился своей женой. Первой девушкой была у нас на руднике Оксана! Тебе завидовали все. Но в рабстве люди не хорошеют, не молодеют. Быстро станет старухой твоя Оксана. Старухой с согбенной спиной.

Ты чтил своих дорогих стариков — отца и мать,— они тебя выкормили. Страна помогла тебе устроить им почетную старость. Но фашисту не нужны старые русские люди. Они не имеют цены рабочего скота,— и он не даст тебе для твоих стариков ни грамма из центнеров хлеба, добытых твоей же рукой...

Может быть, ты все это вынесешь, может, не сдохнешь, отупев, смиришься, будешь влачить слепую, голодную, безотрадную жизнь?

Я такой жизни не хочу! Нет, не хочу! Нет, лучше смерть, чем такая жизнь! Нет, лучше штык в глотку, чем ярмо на шею! Нет, лучше умереть героем, чем жить рабом!

Товарищ! Три часа осталось до рассвета. Судьба моя в моих руках. На острие штыка моя судьба, а с нею и судьба моей семьи, моей страны, моего народа.

3

Товарищ!

Сегодня днем мы расстреляли Антона Чувырина, бойца третьей роты.

Полк стоял большим квадратом; небо было по-осеннему сурово, и желтый лист, дрожа, падал в грязь, и строй наш был недвижим, никто не шелохнулся.

Он стоял перед нами с руками за спиной, в шинели без ремня, жалкий трус, предатель, дезертир, Антон Чувырин, его глаза подло бегали по сторонам, нам в глаза не глядели. Он нас боялся, товарищ. Ведь это он нас предал.

Хотел ли он победы фашистов? Нет, нет, конечно, как всякий русский человек. Но у него была душа зайца, а сердце хорька. Он тоже, вероятно, размышлял о жизни и смерти, о своей судьбе. И свою судьбу рассудил так: «Моя судьба — в моей шкуре».

Ему казалось, что он рассуждает хитро: «Наша возьмет — прекрасно. А я как раз и шкуру сберег. Враг

одолеет — ну что ж, пойду в рабы к немцу. Опять моя шкура при мне».

Он хотел отсидеться, убежать от войны, будто можно от войны спрятаться. Он хотел, чтобы за него, за его судьбу дрались и умирали товарищи.

Эх, просчитался ты, Антон Чувырин! Никто за тебя драться не станет. Здесь каждый дерется за себя и за Родину! За свою семью и за Родину! За свою судьбу и за судьбу Родины! Не отдерешь, слышишь, не отдерешь нас от Родины: кровью, сердцем, мясом приросли мы к ней. Ее судьба — наша судьба, ее гибель — наша гибель. Ее победа — наша победа.

И, когда мы победим, мы каждого спросим: что ты для победы сделал?

Мы ничего не забудем! Мы никого не простим!

Вот он лежит в бурьяне, Антон Проклятый,— человек, сам оторвавший себя от Родины в грозный для нее час. Он берег свою шкуру для рабской жизни — и нашел собачью смерть.

А мы проходим мимо поротно, железным шагом. Проходим мимо, не глядя, не жалея. С рассветом пойдем в бой. В штыки. Будем драться, жизни своей не щадя. Может, умрем. Но никто не скажет о нас, что мы струсили, что шкура наша была нам дороже Отчизны.

4

Товарищ!

Два часа осталось до рассвета. Давай помечтаем.

Я гляжу сквозь ночь глазами человека, которому близостью боя и смерти дано далеко видеть. Через многие ночи, дни, месяцы гляжу я вперед, и там, за горами горя, вижу нашу победу. Мы добудем ее! Через потоки крови, через муки и страдания, через грязь и ужас войны мы придем к ней. К полной и окончательной победе над врагом! Мы ее выстрадали, мы ее завоюем.

Вспомни предвоенные годы. Над всем нашим поколением вечно висел меч войны. Мы жили, трудились, ласкали жен, растили детей, но ни на минуту не забывали: там, за нашей границей, сопит, ворочается злобный зверь. Война была нашим соседом. Дыхание гада отравляло нам и труд, и жизнь, и любовь. И мы спали тревожно. На дно сундуков не прятали старой шинели. Ждали.

Враг напал на нас. Вот он на нашей земле. Идет страшный бой. Не на жизнь — на смерть. Теперь нет компромиссов. Нет выбора. Задушить, уничтожить, раз навсегда покончить с гитлеровским зверем! И когда свалится в могилу последний фашист и когда смолкнет последний залп гаубиц — как дурной сон развеется коричневый кошмар и наступит тишина, величественная, прочная тишина победы. И мы услышим, товарищ, не только как шумит ветвями веселый лес, мы услышим, как облегченно, радостно вздохнет весь мир, все человечество.

Мы войдем в города и села, освобожденные от врага, и нас встретит торжественная тишина, тишина переполненных счастьем душ. А потом задымят восстановленные заводы, забурлит жизнь... Замечательная жизнь, товарищ! Жизнь на свободной земле, в братстве со всеми народами.

За такую жизнь и умереть не много. Это не смерть, а бессмертие.

5

Светает...

По земле побежали робкие серые тени. Никогда еще не казалась мне жизнь такой прекрасной, как в этот предрассветный час. Гляди, как похорошела донецкая степь, как заиграли под лучами солнца меловые горы, стали серебряными.

Да, очень хочется жить. Увидеть победу. Прижать к шершавой шинели кудрявую головку дочери.

Я очень люблю жизнь — и потому иду сейчас в бой. Я иду в бой за жизнь. За настоящую, а не рабскую жизнь, товарищ! За счастье моих детей. За счастье моей Родины. За мое счастье. Я люблю жизнь, но щадить ее не буду. Я люблю жизнь, но смерти не испугаюсь. Жить, как воин, и умереть, как воин,— вот как я понимаю жизнь.

Рассвет...

Загрохотали гаубицы. Артподготовка.

Сейчас и мы пойдем.

Товарищ!

Над родной донецкой степью встает солнце. Солнце боя. Под его лучами я торжественно клянусь тебе, товарищ! Я не дрогну в бою! Раненый — не уйду из строя. Окруженный врагами — не сдамся. Нет в моем сердце

сейчас ни страха, ни смятения, ни жалости к врагу — только ненависть. Лютая ненависть. Сердце жжет...

Это — наш смертный бой.

Иду.

Октябрь 1941 г.

С НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩ!

1

С Новым годом, товарищ!

Ну, доставай походную фляжку! Где бы ты ни был, чокнемся. За нашу победу, товарищ!

Простреленная, обугленная, поруганная, лежит вокруг меня земля, мы ее отвоевали сегодня. Еще дымятся остовы изб, еще плачут на пепелище люди, еще хрипит под забором неподохший фашист.

Сегодня нам не ночевать в тепле — пусть! Удирая, враг сжег хаты, разрушил дома — пусть! Все равно утраченная и возвращенная родная земля во сто крат прекраснее чужих цветущих долин. Ее, как раненую руку, и нежнее любишь, и больше бережешь.

Мне рассказали: удирая отсюда, немцы кричали в ужасе:

— О! О! Рус рассердился — Берлин капут!

Да. Рус рассердился. Люто рассердился. Душа переполнилась болью. Сердце распалилось. Гроздья гнева созрели.

Есть дни, которые никто не смеет забыть. Развороченные, они кровоточат, как раны; горькие, они зовут к мщению.

Забыл ли ты, товарищ, страшную ночь октября, когда Донбасс вздыбился в смертельной агонии и рухнул, взорванный, но непокоренный? Всю ночь земля дрожала от взрывов, и небо трепетало, охваченное заревом, и горький от дыма и гари ветер метался по донецкой степи, выл и плакал над рухнувшими копрами. Это наши шахты, не желая сдаваться врагу, кончали самоубийством. Это заводы умирали, как крейсеры в море, взорвав котлы и окутавшись дымом. Мы сами взрывали их, мы, которые их строили. Макеевка, Горловка, Краматоров-

ка... И каждый новый взрыв в ночи — точно разрывает чье-то сердце.

Забыл ли ты эту ночь, товарищ?

Забыл ли ты виселицы в Ростове, и над тротуаром синие ноги повешенных, и трупы детей и женщин на армянском кладбище, и одичавшую немецкую овчарку, отбившуюся от своих хозяев,— собаку, глодавшую скелеты расстрелянных на главной улице Ростова? Мы с тобой это видели, товарищ. Своими глазами видели. Нам про это говорить не надо. Кто может, кто смеет это забыть, с этим смириться, это простить?!

Кто смирился — тот трус, кто забыл — тот подлец, кто простил — тот предатель.

Нет сейчас в нашем сердце мира — гнев. Не к благовесту зовет новогодняя ночь — к бою! И, прежде чем улыбнуться другу, я пошлю пулю врагу.

Ты ждешь от меня новогоднего тоста, товарищ? Слушай. Солдаты, мы подымаем свой первый тост за гнев!

За гнев — мы взяли его на вооружение. За гнев — он стоит сотни снарядов. За ярость — она посылает снаряды. За ненависть — она несет фашисту смерть!

2

Товарищ!

Когда мы вошли в освобожденное село, к нам подошел дед Опанас и спросил:

— Откуда вы взялись, хлопцы, такие? Орлы, ну, чисто орлы! Из лезерва, что ли? Тут два месяца назад наши отступали, так тогда не такой народ был! Не, не такой!

— Так то же мы и были, дед! — засмеялись мы.

— Вы? — недоверчиво прищурился старик и стал нас осторожно разглядывать.— А може, и вы. Та что же с вами сталось, хлопцы? Як отступали, так шли согнутые, сумные, и смотреть на вас тяжко было. А теперь пришли — ну, орлы, чисто орлы! И глаза у вас веселые, и голова гордая, и страху у вас никакого нет. Те вы, чи не те?

И те, дед, и уже не те. Ты думаешь, старик, нам просто дались эти полгода? Зря мы этот путь прошли? А мы, старик, через все прошли: через горечь поражений и неудач, сквозь смерть. И дым оставляемых нами городов горькой копотью оседал на наши плечи, и слезы

беженцев — соленые, кровавые слезы — падали в наши сердца. Мы сквозь все прошли, как сталь проходит сквозь огонь. Мы не заржавели, не сгорели,— мы закалились. Прокопченные, просоленные, обветренные, мы стали надолго солдатами, и блиндаж нам теперь — дом родной, а снег — пуховая подушка. Мы к посвисту бомб привыкли, к дыханию смерти притерпелись, миной нас не испугаешь, а пуля смелого не берет. Обстрелянные, протертые, ученые — да, мы теперь не те, старик! Откуда быть страху! То ли мы пережили! С чего нам горбить спину? Мы спину врага видели и пятки его, сверкающие на морозе.

Мы узнали вкус и запах победы. Она пахнет гарью, кровью и дается не даром, но слаще ее ничего нет. Труп врага хорошо пахнет. Вой врага — славная музыка. Горы расстрелянных немецких танков на снежном шоссе — лучшей картины в мире нет. А радостные слезы женщин в освобожденных селах — такая нам награда, такая, брат, награда, что за нее и умереть не жаль.

Нас теперь не повернешь, не остановишь. Каждый шаг вперед делает нас сильнее. Кто видел виселицы в Ростове, тот не попятится назад. Ненависть вооружает воина. Победа дает крылья.

Помнишь, стиснув зубы, клялись мы:

— Погоди! Мы за все расплатимся с оккупантами!

Вот он пришел, этот час. Час расплаты.

Помнишь, говорили, уходя из городов и сел:

— Мы еще вернемся!

Вот он пришел, этот час. Час возвращения.

Мы вернемся в Донбасс! Вернемся, чтобы заплатить врагам за расстрелы в Мариуполе, за зверства в Артемовке, за грабежи в Горловке.

Гитлеровцы переименовали наше Сталино в Юзовку. Нашему новому городу они прицепили старое ненавистное имя. В этом городе каждый камень, каждый новый дом, асфальт на улице Артема, домна на Сталинском заводе, люди, которых нельзя ни покорить, ни сгорбить,— все в этом захваченном, но не побежденном городе ждет наших воинов.

Как в годы гражданской войны с яростным кличем: «Даешь Донбасс!» — ворвутся наши лихие конники и пехотинцы в шахтерские поселки и возьмут врага за горло: «Отдай, вор, Донбасс! Умри, гад, в Донбассе!»

Разве мало в Донбассе шурфов для фашистских трупов? Разве замерзли проруби на Миусе, на Кальмиусе, на Торце?

Ты ждешь от меня новогоднего тоста, товарищ? Слушай! За нашу родную землю! За наш Донбасс!

3

Доставай же походную фляжку, товарищ! Где бы ты ни был, чокнемся. Пир — так пир.

Вот и елку рубить не надо,— вишь, стоит, мохнатая, раскинулась над блиндажом. И товарищей ждать недолго,— здесь они, рядом, самые дорогие, самые близкие, надежные. Нет братства более кровного, чем братство в бою. Вместе воюем, вместе в глаза смерти смотрим,— как же не праздновать вместе?!

Мы встретим солнце нового года, как положено воину: под звон шрапнельных стаканов, под гул орудийных колоколов. Запасная пулеметная площадка будет столом для недолгого пира. Из тыла прислали подарки — вот и закуска. Ну-ка, тряхни фляжкой, товарищ! А врагу пошлем свинца.

Здравица солнцу нового года — года великих побед!

За наши семьи, товарищ! Пусть мирно живут, не тужат, пусть пишут нам почаще письма, пусть дочка пляшет под елкой, а сынишка штурмует снежную крепость, завидуя тебе и мне.

За славных летчиков в небе, за смелых подводников на море, за артиллеристов на огневой, за танкистов на исходном, за нашу пехоту в окопе, за водителя на снежной дороге, за разведчика во вражьем тылу, за врача в госпитале, за повара у ротной кухни, за связиста на телеграфном столбе — за все наше славное воинство, а значит, и за нас с тобой, товарищ, имеющих честь и счастье служить под полковым знаменем в Великую Отечественную войну!

За наших соседей по фронту! За тех, кто бил врага под Москвой, дубасил его под Ельцом, гнал без штанов от Тихвина в леса Будогощи, добивал под Калинином, за бойцов Северо-Западного и Кавказского фронтов, за наших братьев по оружию!

За нашу победу, товарищи!

Ночь на 1 января 1942 г.
Станция Ф. в Донбассе

ПЯДЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

1

Товарищ!

Задумывался ли ты когда-нибудь над этими простыми словами: «пядь родной земли»?

Мы стоим сейчас в большом и протяженном селе, половина его — наша, половина — немецкая, церковь, разрушенная снарядом,— ничья.

Давно уже нет жителей в этом селе, и хаты побиты рикошетами, и огороды ископаны воронками, и улицы днем пустынны; только пули ходят по селу, стучатся о ставни, да бойцы изредка перебегают от хаты к хате, прижимаясь к плетням.

Но каждую ночь на огороде, на нашем краю села, появляется эта женщина с тяпкой. Никто не знает, где прячется она днем, откуда приходит ночью. Ей сурово говорят бойцы: «Эй, тетка, ты зачем тут?» — а она молча показывает на огороды. Там, наперекор войне, серебрится капуста, буйно цветет картошка, тянутся к небу три подсолнуха.

И всю ночь напролет ползет по огороду эта женщина, пропалывает грядки, и стук ее тяпки тонет в артиллерийском громе. Иногда над ее огородом, свистя, пролетает снаряд или мина и рвется где-нибудь неподалеку. Тогда женщина всем телом прижимается, приникает к земле и лежит, обняв грядки руками, словно хочет своим телом прикрыть и спасти дрожащие листья капусты. А когда пыль рассеивается, женщина снова начинает возиться на огороде — ползком, ощупью, пропалывает грядки, бережно расправляет листочки, побитые осколками, охаживает каждый кустик, словно ребенка, раненного бомбой,— и кровь раздавленных помидоров на ее руках.

Так всю ночь работает она на огороде — на крохотной пяди советской земли, а когда забрезжит рассвет, и на востоке дрогнет алая полоска зари, и поползут по небу солнечные штыки лучей,— подымается женщина. Распрямляет усталую спину. И, откинув со лба седую мокрую прядь, стоит, опершись о тяпку, и смотрит на запад — над западом еще клубятся ночные тучи. Так стоит она долго, прислушивается к артиллерийскому грому,

и в глазах ее, товарищ, столько тоски и горя, что тяжко в эти глаза смотреть. Губы ее шевелятся. Что они шепчут? Молитвы, проклятья, заклинания?

А я гляжу на эту женщину, на ее седые виски, на морщинки под глазами и думаю: велика наша страна и широки ее просторы, а стоит нашей роте отступить на один шаг, на одну пядь, и пропал огород этой женщины, враги его растопчут.

И тогда я оборачиваюсь назад, и там, за холмами и рекой, угадываю село, куда нас, бывало, отводили на отдых.

Ты знаешь эти прифронтовые села, товарищ. Ты знаешь там каждую хату, и хозяев их, и семейные фотографии в рамочках из ракушек, и историю каждой фотографии, и нарисованные масляными красками дешевые коврики на стене, и что на них нарисовано. Ты приходил в эти хаты со своими товарищами: пыльный, грязный, усталый, ты стучался у порога, словно пришел домой на побывку.

И женщины встречали тебя, как сына и брата.

— Все живы-здоровы? — тревожно спрашивали они.— А где Вася, что ночевал у нас прошлый раз?

— Вася ранен.

— Ой! Сильно?

— Нет! — утешал ты.— Воевать будет! — И спрашивал в свою очередь: — А у вас? Письма были от вашего?

И тебе показывали письма, и ты читал их вслух, солдатские, простые, беглым карандашом написанные письма, такие, как ты сам пишешь домой.

А потом тебя радостно вели в хату. Вся вода хуторских колодцев обрушивалась на тебя, чтобы смыть походную пыль. Все перины, подушки, заветные наволочки с кружевами, невестины простыни вытаскивались из сундуков, чтоб служить тебе. На резную деревянную кровать клали тебя, как самого дорогого гостя. И пока ты спал, женщины стирали твою соленую от пота рубаху и тихо, чтоб не разбудить тебя, грустно пели.

— Вот и наш так где-то воюет! — вздыхали женщины и показывали тебе карточку «нашего» в рамочке из ракушек.

И с этой карточки глядело на тебя незнакомое и как будто очень знакомое лицо, словно это был товарищ из

соседнего взвода: такая же пилотка, сдвинутая на правое ухо, тот же расейский нос, и честные, простецкие глаза, и веснушки, как звезды... И за долгие месяцы войны стали тебе эти прифронтовые села второй родиной, и старушка в подслеповатой хате — словно вторая мать, и дивчата — как сестры, и босоногие синеглазые ребятишки — точно родные дети. И не раз, глядя на них, думал ты растроганно: «Вот и мои где-то так...»

Но стоит тебе и твоей роте, товарищ, отступить на один шаг, одну пядь нашей земли отдать врагу — и фашист ворвется в это село, чтобы грабить, жечь и убивать. У знакомого плетня, под вишнями, он расстреляет старушку за сына-красноармейца; знакомую тебе карточку в рамочке из ракушек, озоруя, изрешетит пулями; дивчат, которых ты целомудренно звал сестрами, изнасилует; босоногих ребят, твоих приятелей, продаст в рабство; село разорит, испакостит и взберется с грязными солдатскими сапогами на резную деревянную кровать,— на твою кровать, товарищ! — чтоб сыто храпеть среди чужого ему горя, слез и стонов.

На Дон я гляжу теперь, на тихий и вольный Дон, и там, в дыму и пламени, вижу Ростов, многострадальный Ростов, славу нашего фронта.

Забыл ли ты Ростов, товарищ, и ноябрьские дни, и лед на донских переправах, и виселицы в Ростове, и над тротуарами синие ноги повешенных? Забыл ли ты, как встречали нас — избавителей — мученики Ростова, и как бежали немцы, и вкус и запах победы, и сияние воинского счастья?

А мне вспоминается старушка в ветхой шубенке. Как бежала она за нами по тротуару, как, задыхаясь, кричала: «Деточки! Деточки!» — и, добежав, сунула мне в руку какую-то баночку.

— Что это? — удивленно спросил я.

Но она ничего не могла объяснить, только повторяла:

— Деточки! Деточки!

И я взял эту баночку — пузатую, какого-то старомодного вида, теперь не делают таких,— и на ней увидел ярлык. Старческим, аккуратным почерком было написано: «Гусиный жир. Смазывать в морозы нос, щеки и лоб».

Спасибо, бабушка! Мои ребята до дна использовали твою баночку. Гусиный ли жир, твоя ли материнская ласка согрели нас, но зимой у нас обмороженных не было.

И теперь, когда я вижу, как горит Ростов, мне вспоминается эта старушка, похожая на мою мать. Как бежала она за нами... Как крестила нас вслед мелкими-мелкими крестиками... И провожала долгим взглядом. А мы уходили по таганрогскому шоссе навстречу новым боям.

Да, товарищ, велика наша Родина и широки ее просторы, но нет у нас клочка земли нелюбимого, пяди земли недорогой. Здесь каждый вершок полит кровью отцов и дедов, соленым, трудовым потом, горячей слезой. И на каждом клочке живут и трудятся родные люди. И за каждый вершок земли больно. И за каждый пустырь охота драться. И за каждое село глотку готовы мы перегрызть врагу.

Оглянись назад, товарищ,— родные села за твоей спиной, привольные донские степи, кубанские пшеничные просторы и снежные гребни Кавказа, и черные вышки Баку... Ни шагу назад, товарищи! Ни пяди врагу! Ни пяди!

2

Товарищ!

Мы деремся с тобой на родной земле, и донские степи — друзья нашей юности, и Северный Донец — река нашего детства.

Но вот рядом со мной дерутся узбек Аскар Шайназаров, и таджик Шотманбай Курбанов, и Хачик Авакьян из Армении, и Лаврентий Микава из Грузии, и азербайджанцы Исса Карджиев и Магарем Алиев — приятели из Шамхора. Они пришли сюда с кавказских гор и среднеазиатских степей драться за мой Донбасс и за твой Дон, товарищ. Недолго оставалась для них чужой наша природа. Они осмотрелись, привыкли и полюбили пропахшие порохом и полынью наши степи. Скоро они говорили:

— Эй! И у нас такой бугор есть. И у нас такой камень есть. И у нас такой сад есть. Только у нас сад больше. Га! Персик у нас, апельсин у нас... А тут вишня... ничего... Вишня тоже сладкий фрукт... Дон — тоже прохладная река...

И теперь казались грузину холмы и скалы донецкого кряжа отрогами кавказских гор, и теперь казались узбеку пыльные донские степи продолжением бескрайних, знойных, солончаковых среднеазиатских просторов. И Дон стал для них Курою, Тереком, Аму-Дарьей, как для украинцев Дон стал Днепром, для белорусов — Березиной, для уральцев — Камой, для сибиряков — Енисеем.

И люди в донских хуторах и станицах, в донецких поселках и городах были все те же простые, родные, советские люди, ласковые к другу, лютые к врагу.

И земля у нас общая — дорогая, заветная, советская земля.

И враг у нас общий — злобный, ненавистный, проклятый враг.

...И когда вступал в партию Аскар Шайназаров, рекомендовать его вызвались трое: русский, украинец и еврей — его боевые товарищи. Потому что нет на земле братства более кровного, чем братство в бою. И нет друга верней и надежней, чем тот, с которым ты под одной шинелью спал, под одним дождем мок и в бою бился рядом.

...И когда санитар таджик Шотманбай Курбанов выносил раненых с поля боя, он не спрашивал их, какого они роду и племени, земляки или нет. Он просто подставлял свою могучую широкую спину и бережно нес их из огня боя навстречу жизни, как несут самого дорогого друга.

...И чтоб Хачик Авакьян не скучал и родного языка не забывал, его русские друзья по окопу приносили ему армянские книги и газеты. Они говорили:

— Читай, Хачик, читай нам вслух. Ничего.

Случалось, что вместо армянских книг они приносили ему грузинские. Он, смеясь, качал головой, а они смущенно оправдывались:

— Кто ж его разберет? Не по-нашему писано!

И они терпеливо учили Авакьяна русскому языку, и каждый учил по-своему, и теперь Хачик говорит на таком языке, какого и не придумаешь: в нем много и русских, и украинских, и татарских слов, и одни слова он произносит по-волжски — окая, другие по-полтавски — гекая, словно отпечаталась в его языке многонациональная дружба военных парней из его окопа.

...И когда на хутор, коварно и неожиданно, глухой ночью ударили немцы, шесть человек стойко стали на защиту родного клочка земли. И эти шестеро были: грузины Микава и Тевдорадзе, украинец Дубовик, азербайджанец Гусейнов, русский Штрихунов и веселый комвзвода Соселия, дирижер самодеятельного оркестра, в котором русская балалайка в лад пела с грузинским чонгури.

Они стали, эти шестеро, железной стеной, и ночь была глухая, и бой горячий, путаный, и тогда, чтоб бить врага вкруговую, стали шестеро спиной к спине, и спина грузина Лаврентия Микава тесно прижалась к спине Дубовика, а Штрихунов всей кожей почувствовал жаркую спину Гусейнова. Так они дрались, отстаивая хутор, и не было в этот миг для них земли родней и дороже, чем эта полынью пропахшая степь. И Лаврентий Микава бился за донской хутор и солнечную Грузию, а Гусейнов — за донской хутор и знойный Азербайджан, а Дубовик — за донской хутор и истерзанную Украину, а Штрихунов — за донской хутор и за Россию-мать, и все вместе — за Советскую Родину.

...И не было на всем нашем фронте воина более славного, более любимого, чем разведчик Сираджитдин Валиев, узбек из Ферганы.

На его родине, в золотой Фергане, вода журчит в прохладных арыках, а драться Валиев пришел за мой пыльный и дымный Донбасс.

На его родине, под кипарисами, мирно спят его предки, а умер Сираджитдин Валиев в бою подле шахты и там похоронен.

Вся дивизия плакала, когда хоронили Валиева. Таманцы, железные воины, не скрывали слез. Полковник плакал, комиссар вытирал глаза. Но горше всех плакала маленькая штатская старушка: у нее на квартире жил Валиев, и она называла его своим третьим сыном.

Она показала нам карточку двух других, и мы увидели широкоплечих, рослых донских парней, и волосы у их были светлее ржи, и глаза синее неба. Вот какие у нее были сыны, товарищ, дрались они где-то на Западном. Но никто из нас не удивился, что третьим, названым сыном она признала невысокого смуглого узбека, с черными волосами и глазами, как горячие угли. Да, он

был ей сыном, этот пламенный узбек, и хорошим сыном, товарищ,— он славно дрался за мать!

Товарищ! Ты любишь Родину так, как любил ее Сираджитдин Валиев. Он дрался за советскую землю, и каждую пядь земли, за которую он дрался, он считал родной. И отдал за нее жизнь.

Мы не забудем Валиева. Мы никому не позволим его забыть! Отшумит война, зарубцуются раны, задымят заводы, и люди освобожденного Донбасса благодарно вспомнят Сираджитдина Валиева, парня из далекой Ферганы.

Русские, украинцы, грузины, узбеки, мы станем на Дону железной стеной, как стояли те шестеро ночью в донском хуторе, станем спина к спине, чтоб бить врага вкруговую, чтоб чувствовать жар товарища, и свяжем себя великой воинской клятвой: ни шагу назад, товарищи! Ни пяди земли врагу! Ни пяди!

3

Товарищ!

Разве не слышишь ты, как стучится месть в твое сердце? Спроси свою совесть: разве расквитался ты с фашистом? Разве простил ты им замордованную Украину? Заплатил за взорванный Донбасс? Отомстил ли полной мерой за виселицы в Ростове, за руины Киева, за муки Таганрога, за слезы наших жен, матерей, детей?

Не оглядывайся назад, товарищ! Нам отступать нельзя. Смотри вперед. Видишь, снова ползет на нас лавина проклятых гадов. Слышишь, снова в ушах лязг их гусениц. Снова настали грозные дни. Что ж, мы не боимся пороха!

Теперь мы с тобой, товарищ,— воины Красной Армии, наследники севастопольской славы. На нас теперь с надеждой смотрит вся Родина. Здесь, на донских полях, решается судьба войны. Будем же, как севастопольцы, стойко стоять стеной!

И как для сибирских стрелков-таежников стали родными и дорогими камни Севастополя, на которых соль теплого моря, так и для нас, товарищ, откуда бы мы ни были родом, стала дорогой и родной донская степь и тихая вода Дона,— мы ни на шаг не отступим!

Будем же драться, товарищ, так, чтобы жены нас не высмеяли, матери не прокляли, дети нас не стыдились; драться так, как положено за родную землю.

Чтоб Дон помутнел от поганой фашистской крови!

Чтобы каждая пядь родной земли стала могилою врагу!

Чтобы, когда спросит тебя сын после войны: «Где ты дрался, отец, летом тысяча девятьсот сорок второго года?» — смело ответить: «На Дону, сынок!» — и услышать, как скажут о тебе люди: «Он дрался в самом горячем месте. Он ни пяди не отдал врагу».

Июль 1942 г.

ГОД СПУСТЯ

1

Товарищ!

Где ты дерешься сейчас? На Карпатах, в Румынии, под Варшавой?

Ровно год назад шли мы с тобой по донецкой земле. За Миусом синели курганы, тлел опаленный ковыль на Саур-могиле, и степь после боя тяжко дышала, как утомленный конь,— сизый пар колыхался над нею.

Ты сказал мне, показывая на Миус, на терриконы:

— Вот мы и дома. Чуешь? Донбассом пахнет...

Я отвел от тебя глаза и тихо ответил:

— Нет. Чуешь? Больше не пахнет Донбассом.

И тогда мы оба жадно, нетерпеливо вдохнули запах родной земли — пахнуло разгоряченной степью, сухою травой, пылью, медовым клевером, чебрецом, горькой полынью... Только запахов угля и дыма не было.

Мы стояли с тобой на кургане, а перед нами, как многотрубный пароход, лежал Донбасс. Ни одна труба не дымила!

Говорят, в те дни, как никогда, был чист воздух Донбасса,— да только нам с тобою этим «чистым» воздухом дышать было невмоготу!

Небо без кучерявых заводских дымков — разве ж это небо Донбасса? Степной ветер без терпкого запаха

кокса — разве ж это ветер Донбасса? Ночь без зарева плавок? Утро без петухов и гудков? День без грохота молотов, шипения пара, крика «кукушек»? Тихий Донбасс — разве ж это Донбасс?

Только с терриконов да шлаковых отвалов, как и прежде, подымалась к нам буро-рыжая пыль. Пыль былой добычи, былой славы...

Мы прошли с тобой в те восемь дней весь Донбасс. Краматорск, Горловка, Макеевка, Сталино, Мариуполь... Кладбище городов и заводов. Лагерь уничтожения человеческого труда.

Товарищ!

Для нас с тобой завод, шахта, домна никогда не были мертвыми, неодушевленными созданиями. Каждый заводской гудок имел свой особый голос, каждый дымок — свой росчерк в небе, каждая домна — свои капризы, каждый «мартын» — свой характер, каждый угольный пласт — свое имя и свою «струю», каждый завод — свое лицо, судьбу и особенность. Были заводы красивые и некрасивые, веселые и сумрачные, чопорные и разухабистые; были пласты тощие и толстые, хитрые и простодушные, крепкие «алмазы» и танцующие «мазурки», точные «аршинки» и запутанные «никаноры»... Каждая балка на заводе, каждый обапол в лаве были тебе знакомы и дороги. В них вложен труд. Твой, твоего отца или твоего деда. И вот — нет ничего... Горы изуродованного металла. Крюк разрушенного мостового крана сиротливо болтается над руинами...

Мы много с тобой слез видели, товарищ, за эти годы — и детских, и девичьих, и бабьих слез. Здесь, в Донбассе, год назад мы увидели, как плачут шахтеры.

Страшные это слезы, товарищ!

Ты расстался с Донбассом на поле боя. Так прощаются с тяжко раненным другом. Смотришь, как уносят его санитары, провожаешь долгим вздохом: выживет ли? — и, смахнув слезу, снова бросаешься в огонь.

Так и ты на поле боя простился с тяжко раненным Донбассом. Посмотрел в последний раз на бездыханные трубы, вздохнул и по битому стеклу улицы Артема пошел вслед за танками дальше, на запад — мстить за Донбасс.

2

Товарищ!

Два года ты гонишь врага. Два года ты идешь по обугленной, растерзанной, разоренной земле. Ты видишь, как горят заводы, и никогда — как они дымят.

Что там делается, за твоей спиной, на освобожденной тобой земле,— того ты не видишь. Ты уносишь с собой в новый бой запах гари и горя. И новый заряд ярости.

Когда три года видишь, как падают срубленные снарядами сосны, трудно поверить, что где-то из таких же сосен делают корабельные мачты.

Ты сказал мне как-то:

— Небось в Донбассе все теперь бурьяном заросло...

— Нет. Почему же? Восстанавливают.

— Кто? — грустно усмехнулся ты.— Рабочие руки воюют или пушки на Урале льют. Нет, Донбасс — это послевоенное дело. Это нас ждет. Вот отвоюемся, придем на пепелище, будем строить...

— А хотелось бы в новый дом прийти? — засмеялся я.

— Да уж не грех солдату... Новый не новый, а все-таки...

...Как и ты, я год не был в Донбассе. Как и ты, унес я тогда на запад — как рану — горькую память о мертвом доме.

А сейчас — не во сне, вправду — стою на донецкой земле, гляжу не нагляжусь на родную степь, дышу не надышусь ее дыханьем.

И вместе с тягучими запахами клевера и гречишного меда, вместе с горькой полынью и терпким чебрецом приходит ко мне знакомый запах. Запах победы.

Мы с тобой знаем, товарищ, как победа пахнет. Она пахнет дымом... Пороховой дым — там, фабричный — здесь. Нет, ты понял меня, товарищ? В Донбассе снова пахнет коксом, углем и дымом!

Пусть не все еще гудки поют поутру в Донбассе, пусть не все трубы дымят, пусть разрушенного еще больше, чем вылеченного, но дымок вьется сегодня над каждым — каждым! — заводом, над каждою шахтою.

Снова по зеленым балочкам Горловки бродят, щиплют траву задумчивые козы — «крупный рогатый скот» шахтера. Снова в горячих цехах Макеевки пьют мастера подсоленную сельтерскую воду и крякают в усы: эх, жаль,

не водка! Снова в Константиновке цепляются за бегущий трамвай мальчишки, и милиционер-девушка напрасно дует в свисток.

И маляры в розовый колер разделывают фасады домов на улице Артема в Сталино и протирают стекла до блеска. Стекла, целые стекла, товарищ, на улице, где — помнишь? — не было ни одного целого дома!

А местные люди суетливо пробегают мимо и не удивляются — привыкли, да и недосуг.

Только я один стою, изумленно разинув рот, и спрашиваю, как и ты бы спросил:

— Кто? Кто все это делает? Откуда руки, люди, материалы?

3

Товарищ!

Помнишь дороги 1941 года?

Людское море вышло из берегов и затопило большаки. Шли шахтеры с котомками за плечами. Шли строители целыми трестами, как раньше артелями. Шли мальчишки-ремесленники. Бабы устало гнали стадо. Доили коров прямо на дорогу, в пыль.

Люди шли на Восток...

Мудрая и сильная рука направляла и двигала их. И эти эшелоны, и этих людей, и усталую бабу со стадом.

Строители, шахтеры, металлурги Юга принесли на Восток свои золотые руки, свою рабочую славу. Там, в таежных дебрях, на Урале, на Амуре, в Сибири, обрели они опыт военного труда, дерзость, размах, вкус к риску.

Я встретил в Макеевке Арсения Васильевича Тищенко, инженера-строителя. На своем веку он немало доменных цехов воздвиг на Юге.

В дни войны он приплыл пароходом к Чусовой вместе с рабочими, их семьями и материалами строить домну. Чуть не на берегу его яростно встретил зам. Наркомстроя Павел Юдин.

— На пароходе плывешь? — загремел Юдин.— На пароходе?

Тищенко недоуменно посмотрел на него.

— На самолете надо летать в военное время! Сколько дней потерял! Вот тебе график, смотри: через пять-шесть месяцев пустишь домну.

Тищенко растерялся. Тщетно доказывал он, что ни за пять, ни за восемь месяцев никто домен не строил ни в Америке, ни даже «у нас в Донбассе».

— Ничего, пустишь! — сказал Юдин.— Поможем!

И Тищенко пустил домну на Чусовой через шесть месяцев после этого разговора.

Ты б поговорил с ним и с его орлами, товарищ! Они восстанавливают сейчас Макеевку. Разве этих людей удивишь темпами, испугаешь трудностями? Они только усмехаются: то ли было там, в тайге!

Снова двинулись по дорогам эшелоны и люди. Мудрая и сильная рука продолжает двигать людскими массивами. Война всех поставила на колеса. Со всех концов Украины и Белоруссии едет молодежь строить Донбасс.

Этих девчат в вышитых петухами сорочках, этих синеглазых хлопцев в пиджачках не по росту ты встречал недавно, товарищ, на Черниговщине, на Волыни, на Подолии. Они выносили тебе на дорогу молоко в обливных глечиках и холодную колодезную воду. Ты, донецкий парень, принес им освобождение и жизнь. Сейчас они едут восстанавливать жизнь в твоем Донбассе.

Они едут с песнями, тягучими, деревенскими, с бабушкиными сундучками и печеными коржичками, с тайной тревогой. Они никогда раньше не уезжали из родной хаты. Они никогда не видели заводов. Они еще не умеют строить.

Их научат! К ним приставят знаменитых донбассовских мастеров. Те будут учить так: приведут строить баню. Через месяц-два и баня будет готова, и дивчата станут каменщиками, плотниками, штукатурами. Студенты строительного техникума здесь начинают свою учебу с восстановления техникума. Люди учатся труду в труде.

Что говорить, товарищ! Не хватает людей в Донбассе. Но здесь, как на войне говорят: не числом, а уменьем. И то, что делали раньше тридцать, делают теперь три.

4

Сейчас в Донбассе убирают урожай, товарищ. Урожай горячего, бессонного рабочего года. Только и слышишь вокруг себя: сегодня пускают шахту в Горловке, задувают печь в Енакиево, дают первый «толчок» турбинам в Мариуполе и Макеевке...

Урожай! Богатый урожай!

Когда ходишь здесь по заводу — в Макеевке, например,— тебе рассказывают:

— Этот цех лежал на боку,— мы его подняли. Эта домна перекосилась,— мы ее выправили. Этого здания не было,— вместо него была гора завала высотою в тридцать метров.

Тот, кто не видел разрушенного Донбасса, не поймет и не поверит.

Мы с тобой видели.

И страшные горы завалов видели. И скособочившиеся цехи. И домны, из которых, как куски живого мяса, были вырваны горны...

Страшно было бродить в те дни среди этого железного хаоса. Как, чем они держатся, эти нависшие над головой железные балки, эти разорванные краны, эти качающиеся башни, эти обломки крыш, стен, колонн?

— Привычкой держаться,— смеясь объяснил нам инженер.

Если бы пришел в те дни сюда старый инженер с молоточками на фуражке, он бы сказал: все надо снести, расчистить и на голом месте строить заново.

А макеевские инженеры высмеяли бы его. Они гордятся тем, что все, что было пригодно к жизни на разрушенном заводе, они спасли и вылечили.

Здесь не всегда говорят: «Восстановить». Здесь часто говорят: «Вылечить».

И они лечили раненый завод, как добрые и умные доктора. Ампутировали мертвые конечности, выпрямляли живые, делали протезы, бетонные бандажи, подводили опоры, утолщали перекрытия. В «полевом лазарете» — в походных мастерских — лечили металлоконструкции, заботливо извлеченные из завалов. Правили металл, подрезали, клепали, наваривали, сшивали... и снова пускали жить.

Как всякие подлинные хирурги, они не боялись риска. Они шли на дерзкие операции, невиданные и неслыханные в старой технике. Они верили в свои руки и в свой военный опыт. Они знали: время требует!

Они подняли лежавшую на боку стену газоочистки в пять дней. Просто подняли целиком вместе с кирпичным заполнением и железобетонным перекрытием. Они решили не демонтировать котлы на Коксохиме, под которыми

немцы взорвали фундаменты, а поднять их домкратами. И пока строители заливали в фундаменты бетон, в «висячих» котлах над ними трудились монтажники.

Здесь это называют «укрупненным монтажом». Тебе не кажется, товарищ, это похожим на «массированный огонь»?

Строители научились поднимать и передвигать огромные массы металла. Они подняли обрушившийся на рудный двор грейферный кран-гигант в четыреста тонн весом. Они подняли его и поставили. У крана не было ноги. Они ее сделали. Они могут поднять своими гидродомкратами все, что угодно. Хоть весь завод.

— Только дайте нам точку опоры! — говорят инженеры.

В здании центральной электровоздуходувной станции было трудно найти точку опоры. Собственно, здания не было. Была гора железного хаоса в двадцать девять тысяч тонн. Уцелел только клочок бетона. Небольшой клочок перекрытия, опирающийся на колонну. Он и стал плацдармом для наступления монтажников.

Вот так же, как мы с тобой, товарищ, уцепившись за клочок правого берега, перетаскиваем полегоньку свою технику для удара, так и монтажники подняли на высоту тридцати метров — на свой плацдарм — деррик и ринулись в бой.

Деррик потащил перед собой металлическую колонну. Поставил. Перешагнул ее. И понес новую колонну дальше. А внизу копошились люди. В одном месте еще разбирали завал, в другом уже бетонировали фундамент, в третьем монтировали воздуходувку. Работали водопроводчики, электросварщики, штукатуры... Работали споро, яростно, лихо, как только советские люди умеют работать.

Ты знаешь, товарищ, что такое азарт боя. Когда смерть на смерть, и ветер в уши и винтовка горит в руках.

Ну, а это — азарт труда.

Так еще никогда не работали!

5

Но я хочу тебе все-таки рассказать о подслеповатых окошках, товарищ.

Их можно заметить в восстановленных в прошлом году домах. Большое окно затянуто кирпичом, как бель-

мом, и только в уголку, как пугливый зрачок, кусочек стекла.

На эти подслеповатые окна невесело смотреть. Точно сама нужда глядит на тебя своими бельмами. Нет стекла. Нет леса для оконных рам. Война.

Да, война. Нет стекла, нет леса, нет кирпича. И все-таки... все-таки люди не хотят мириться с подслеповатыми окошками. Они не хотят восстанавливать свою жизнь крохами, нищенски, временно, кое-как. Они не хотят жить в заплатанных домах, работать в цехах-инвалидах.

Народ-победитель хочет и может восстановить свою мирную жизнь на прочных, богатых и красивых устоях,— мы это заработали своей кровью.

И это самое радостное из того, что я видел здесь. Ты вернешься, товарищ, домой, посмотришь на вылеченные цехи и не назовешь их инвалидами. Они стали куда прочнее, надежнее, словно горе, огонь и смерть закалили их. Честное слово, они даже похорошели, на мой глаз!

Я хотел бы, чтобы ты был сейчас со мною в Мариуполе, товарищ. Помнишь красавицу «Азовсталь» — завод на море? Мы видели ее с тобой и в дни ее величия, и в ее горькие дни. Пожалуй, этому заводу немцы навредили больше всего. И все-таки...

Ты помнишь старую электростанцию? Ее строили три года. Немцы разрушили ее в один день. И на развалинах ее мариупольские строители выстроили новую в шесть месяцев.

Она стала лучше, выше, просторнее и красивей старой станции, товарищ! Строители приняли в расчет все, что раньше было плохим и неудобным. Они сказали себе: жить после войны и работать после войны надо лучше, чем жили и работали раньше.

Они поставили котел не в девяносто тонн пара, как раньше, а в сто тридцать тонн. Пристроили подстанцию собственных нужд — ее раньше не было. Пристроили новые бетонные помещения: столовую, мастерские, контору.

Вместе со старым строителем Александром Павловичем Поборчим, выросшим здесь, на «Азовстали», ходили мы по заводу, и всюду видел я, как люди с азартом, с трудовым пафосом осуществляли свою мечту о лучшей жизни.

И, глядя на зияющие в цехах раны, думал я: что ж, обеднели мы в результате войны и разрушений? Нет. Богаче стали. Человеческой силой своей, опытом и уменьем.

Мы стояли с Поборчим на домне номер четыре — крупнейшей в Донбассе. Взорванная немцами, она осела и покосилась.

— Мы ее думаем поднять...— негромко сказал мне Поборчий.

— То есть как поднять? — не понял я.

— Да так. Очень просто,— объяснил он.— Подведем домкратики и того... поднимем... чуть передвинем и установим...

— Сколько же она весит? — закричал я.

— Больше тысячи тонн.

Ты помнишь бак на мартене в Макеевке, товарищ?

Он и сейчас цел. Словно нарочно. Для истории. Тогда мы с тобой считали чудом техники и победой смелого риска подъем этого бака на башню. Он весил около двухсот тонн.

А тут...

Подымет ли домну Поборчий своими «домкратиками»?

Отчего же не поднять! Разве не сумели енакиевцы в кратчайший срок воздвигнуть шедевр техники — единственную в Союзе металлическую угольную башню-красавицу? Разве, рискнув строить бетонную башню без строительных лесов, не победили макеевцы? Они впервые применили подвижную опалубку и выстроили сорокатрехметровую башню в двадцать пять дней вместо шести месяцев.

Было ли это штурмом? Нет, тут авралить было нельзя. Перекосишь башню. Это был «конвейер бетона». Движущаяся вверх опалубка создавала рабочий темп, от которого никто уж отстать не мог: ни штукатуры на своих подвесных люльках, ни каменщики на струнных лесах.

Нет, товарищ, добив немца, ты вернешься не на пепелище! Ты вернешься в Донбасс, охваченный радостной и дружной стройкой. Тебе дадут место на строительных лесах, и ты, засучив рукава, будешь строить новый Донбасс. Он будет еще лучше, богаче и красивее старого!

Разве не за это мы с тобой деремся сейчас, товарищ, на Карпатах, в Румынии, под Варшавой?

Сентябрь 1944 г.
Донбасс

АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ, БОЕЦ

1. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ В СВОЕЙ ДУШЕ

А зовут его Алексей Куликов, и родом он — пензенский, служит бойцом в батальоне старшего лейтенанта Субботина, тут его знают все.

Его призвали в армию в первый день войны,— родня и поплакать не успела. И когда полз эшелон по украинским степям, Куликов все думал о доме и хозяйстве. И была досада на немца: эк, напал не вовремя! И урожай еще не сняли. И все подсчитывал трудодни и сколько теперь трудодней пропало. А война, казалось ему, будет недолгой и нестрашной, вроде осенних сборов приписного состава. Глядел в окно, считал столбы, удивлялся, до чего здесь земля богатая, и все ехал да ехал по советской стране, и не было ей ни конца ни края.

Когда в первый раз попал Алексей Куликов в бой, он не то чтоб струсил, а просто потерялся. Сперва он даже не понял, что происходит, но рядом упал товарищ, и Куликов увидел кровь, расколотый череп, стеклянные глаза...

— Что ж это такое, братцы,— чуть не закричал он,— ведь это ж так просто и меня убить могут? — и, растерянно моргая глазами, осмотрелся вокруг.

А вокруг были дым, и бой, и смерть. Смерть свистела, смерть выла, смерть ухала, смерть падала с воздуха, ползла по земле, и казалось — никуда от нее не уйти, не спрятаться. Ничего не видел теперь Алексей Куликов: ни войны, ни поля, ни товарищей,— только смерть глядела ему в глаза, только смерть он и видел. И на всей земле только и было: я и смерть. Смерть — железная, огнённая, вездесущая, а я, Алексей Куликов, существо человеческое, с хрупкими костями и мясом. Долго ли кость перебить, ткань порвать, пробить сердце?

И таким беспомощным, жалким, одиноким показался себе Куликов, что он даже заплакал. До жалости был он одинок на этом большом поле, никому до него дела нет, никто не спасет, не выручит, не поплачет рядом.

И он досадовал на себя, что уродился большим и круглым, уязвимым со всех сторон, и в ячейке окопа ему тесно, и пуле его легко найти. Лежал и дрожал — ждал смерти.

Но бой кончился, а Куликов уцелел. Он сам удивился этому. Все ощупывал себя, все потягивался. Ничего! Ни царапины!

— Ишь ты,— смущенно улыбнулся он.

Он пытался рассказать товарищам про это чудо:

— Вот, понимаешь, история! Ну, чуть-чуть... Кабы *она* левее пошла — и крышка...

Но товарищи слушали плохо, и тогда опять поскучнел Куликов и подумал: «Не сегодня, так завтра. Все одно *должны* убить. Мысленное ли дело из такого страха живым выйти?»

Все же во второй бой Алексей Куликов пошел с надеждой: авось опять посчастливится. И опять дышала ему смерть в лицо, и опять он дрожал мелкой, осенней, стыдной дрожью, перебегая поле, втягивал голову в плечи и глаза закрывал, от каждого выстрела вздрагивал, каждому снаряду кланялся и все смерти ждал — хорошо б скорой...

И только одиночества не было теперь.

Оно рассеялось сразу и само собой. Немцы бомбили Алексея Куликова у переправы, а он лежал под деревом, у самой воды, и твердо знал: теперь взаправду конец. Но вдруг прошелестело, зашумело вокруг: «Наши, наши летят!» — и кто-то рядом вздохнул облегченно и радостно.

Куликов не сразу открыл глаза, а когда открыл, увидел над головой небо. Небо было большое, высокое и такое синее, словно его маляры подновили на этот случай. И в этом небе наши били немцев, выручали Куличка.

Странно тихо стало на земле, чуть плескалась волна о берег, чуть скрипели деревья, и все — земля, река, люди, — все смотрело теперь в небо: там кипел бой. Озверело ревели моторы, чиркали красные пули, и Куликов увидел, как над самой его головой разламывается «хейнкель». Разламывается, как спичечная коробка. Полетело

одно крыло, потом второе. Вдруг раскрылся белый купол парашюта. «Неужто уйдет, собака?» — заметался Куликов, но парашют вспыхнул, в мгновение на глазах у Алексея съежился, похудел и, как догорающий факел, упал где-то за рекой.

— А-а! — закричал тогда, не помня себя от радости, Куликов.— А! Ага! Ага, гад! — Он даже заплясал на месте, злорадствуя, и все повторял: — Ага, ага! — А когда «хейнкели» трусливо побежали с неба вспять, на запад, он закричал им вдогонку: — Куда, куда? Бей их! Ату!

Теперь Куликов стал присматриваться и прислушиваться к бою. Глаз уже не закрывал и ушей не прятал. Раньше каждый выстрел заставлял его вздрагивать, теперь различал он, когда бьют немцы, когда наши. И чем больше и чаще били наши, тем веселее становилось у Куликова на душе, и страх таял. Больше не был он одиноким на огромном поле: ишь, сколько сил собралось, чтобы выручить Куличка!

Но тут над самой его головой что-то тонко-тонко свистнуло. Он даже не понял—что. Он увидел, как чиркнула о песок пуля... Еще и еще... Так падают дождевые капли в воду — всплеск, и круг по воде. Но капли падали все чаще и чаще, и все вокруг Кулика, и он увидел, как вздрагивают на сосне ветки и иголки хвои сыплются рядом на песок. Все ближе и ближе падают капли, и спереди, и сзади, и со всех сторон, словно кто-то далекий и невидимый вяжет петлю вокруг Куликовой шеи и некуда выскочить из петли.

И что Куликову с того, что наша артиллерия теперь била часто и густо,— все равно петля вокруг его шеи вязалась неотвратимо, вражеский автоматчик все чиркал и чиркал, подбирался к самому горлу... И вдруг, словно захлебнувшись, смолк.

Перестали вздрагивать ветки, пузырьки исчезли на песке. Куликов робко, осторожно оглянулся вокруг и увидел, как сосед, весело улыбаясь, досылает новый патрон в патронник.

— Это ты его? — удивленно и почтительно спросил Куликов.

— Я,— гордо ответил сосед.— Как, ничего?

И тогда Куликов вспомнил, что у него у самого есть винтовка. Вот она, рядом. До сих пор он и не думал

о ней. И во вчерашнем бою не думал. Таскал за собой — это верно, потому что казенную вещь бросать нельзя, но ни разу из нее не выстрелил.

Теперь схватил он ее горячо и жадно, словно в ней от всех бед спасение, и стал стрелять. Он палил не глядя, торопливо и лихорадочно (только руки дрожали), он словно обводил себя огненным кругом, как старуха древняя обводит себя крестом, чтоб оградиться от нечистого. И казалось Куликову, что теперь не прорвется к его горлу смерть, огненной черты не переступит.

Но тут над ним раздался сердитый голос командира:

— Ты чего патроны жгешь? Куда палишь? Кого видишь?

Куликов уронил винтовку. Рядом с ним лежал командир и пристально смотрел на него. А вокруг на песке тут и там валялись стреляные гильзы.

— Страшно тебе? — отрывисто спросил командир.

— Страшно...— сознался Куликов и съежился, подумав: сейчас станет командир ругать.

Но командир помолчал, пожевал губами и сказал тихо:

— В первый раз всем страшно.

И из второго боя Алексей Куликов вышел целым и невредимым. Опять он уцелел! И, уцелев, опять удивился. А вечером подошел к командиру и, переминаясь с ноги на ногу, спросил:

— Как, товарищ лейтенант, ваше мнение: много ль металла потребно, чтоб человека убить?

Командир удивленно посмотрел на него, потом улыбнулся и ответил:

— Для труса — шальной пули хватит. Для смелого — и тонны мало.

Над этими словами Куликов задумался крепко. Кто говорит, что в бою думать не приходится, тот никогда не был в бою. В бою думают, и мысль тут остра и быстра, а глаз приметливый.

Куликов скоро приметил, что трусу действительно погибнуть легче, чем мухе. Полет пули, а стало быть, и полет смерти свой закон имеет, закон этот надо знать. А трус под огнем мечется, трус ничего не видит, его любая пуля найдет. На пристрелянном рубеже он лежит, а под шальным огнем в панике бегает. Трус и с винтовкой безоружный. Он огнем на огонь не отвечает. Он не воин, он мишень.

Алексей видел, как трусы гибнут, и всегда думал при этом: «Хилое существо человек. Как былинка в поле. Ветер подул — и нет его».

Но однажды в медсанбате, где Алексею перевязывали пустяковую царапину, довелось ему увидеть сержанта Чернова, про которого в тот день весь полк шумел. Живого места не было на том сержанте, все его тело было перебито и переколото, а он все дрался с врагом, и немцы никак его убить не могли и не убили.

Куликов с почтением глядел на его раны и удивленно головой крутил. Ему все хотелось посмотреть, пощупать, что за кости у этого человека, что их перебить нельзя.

А Чернов метался на соломе и сквозь стиснутые зубы хрипел:

— Врешь! Врешь! Выживу! Врешь!

«Это он со смертью воюет,— догадался Куликов.— Гордая у человека душа».

Он спросил у врача:

— Неужто жить будет?

— Будет! — уверенно ответил врач.— И драться еще будет.

Так этот случай поразил Куликова, что, вернувшись из медсанбата, он долго рассказывал о нем товарищам.

— Понимаешь, хилое существо человек, а смотри, никак его убить нельзя, если в нем душа гордая. Нет, я так понимаю: если хочешь жить — за жизнь драться надо. Он в тебя смерть шлет, и ты в него смерть шли. А там поглядим, чей козырь крепче!

Тут он заметил, что к словам его прислушивается политрук, и смутился.

— Я это так, товарищ политрук,— сконфуженно сказал он,— рассуждаю своим беспартийным умом. Может, не так?

Но политрук его одобрил:

— Так, товарищ Куликов, так!

Это был новый политрук в роте, товарищ Званцев. Прежнего политрука звали Мирским, и того политрука Куликов не любил. Тот все, бывало, кричал о смерти. Шли ли разведчики в поиск, он напутствовал их: «Вы идете на смерть, товарищи! Но долг свой выполняйте свято». Шла ли рота в атаку, он кричал нервно, визгливо: «Умрем, товарищи, наше дело правое, все умрем, но врага не пустим». Только и слышно было от него: умрем

да умрем. И от этих слов каждому казалось, что смерть все вокруг тебя ходит, тебя ищет.

Про себя Мирский говорил: «Я презираю смерть». Но Куликов усмехнулся в душе: «Нет, товарищ, ежели ты презираешь смерть, так и не думай о ней. Дерись с открытой душой, смерти не боясь, и о смерти не хлопочи. А если все время говорить да кричать о смерти, так и выходит: не ты ее, а она тебя презирает. Всеми твоими мыслями овладела, живого в саван облекла. С такой душой драться худо!»

К дыханию смерти привыкнуть нельзя, но притерпеться можно. И Куликов притерпелся. Он научился хитрить, обманывать смерть, не бояться ее, а потом и вовсе о ней не думать. И когда перестал думать, сразу стало легко и жить и драться, и пули словно обходили его.

Мирского скоро сняли и перевели куда-то — он нервами болел,— а в роту назначили Званцева. Этот о смерти не говорил, а больше о жизни и победе. Был он человек молодой, веселый, непоседливый и красноречивый. И так он складно говорил о жизни, о том, какая жизнь после победы будет — вольная, безоблачная, счастливая, что за эту жизнь и умереть было не жаль!

И об этой жизни любил помечтать Куликов ночью. И понесет его мечта в родное село, за реку, на взгорье подле рощи, где березка вперемежку с молодым дубком.

...А какие хлеба в августе! А какие кони в конюшне! А какие у жены золотые руки, а у дочки какие глаза— синие-синие, такой синевы и не бывает нигде! И вот возвращается домой Куликов, и все село ему навстречу, на колхозном дворе в колокол бьют, под березами столы накрыты... Богатство какое! Что хлеба! Что птицы! Что молока! Жена к нему руки протягивает... Золотые у бабы руки, теплые-теплые...

— Да,— крякнет, размечтавшись, Куликов,— вот оно как... хочешь, Алексей Тихоныч, жить — за жизнь драться надо!

2. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ ПРИХОДИТ В ЯРОСТЬ

До войны Алексей Куликов был человек мирный, тихий, приверженный к земле. Хоть и молодой он был, а и старики его советом не брезговали. Был у него та-

лант: понимал в земле. Понимал по-своему, по-крестьянски, потому что каждый человек свое понятие о земле имеет. Для инженера земля — руда, уголь, золото, для строителя — грунт, для моряка — берег. А для Куликова земля — пшеница, рожь, корма, пар, огороды.

На войне Куликов долго не мог привыкнуть к тому, что этот пшеничный клин — не клин вовсе, а «огневая позиция», огород — не огород, а «командный пункт комбата». Своего молоденького взводного командира Куликов чуть не в ярость приводил. Бывало, докладывает Куликов:

— Так точно, товарищ младший лейтенант, ваше приказание сполнил. Ходил к капитану на огород, докладал, что пушка из пшаницы переехала в гречку...

Расстроится таким докладом взводный командир: сначала терпеливо, а потом уж волнуясь и сердясь, станет разъяснять Куликову, как по-военному говорить нужно. Выслушает его Куликов и сокрушенно вздохнет. И то огорчительно, что хорошего человека — командира расстроил, и то, что военной премудрости постигнуть не может. А всего более горько то, что пшеницу топчут войска, по гречихе пушки колесами ездят, подсолнухи, как подрезанные, падают. Война.

И навсегда запомнилось Куликову, как отступали наши войска из пшеничного края. Пшеница — ее только и видел Куликов, золотую, рослую, могучую пшеницу. И как шумела она под степным ветром, тоскуя по серпу, и как осыпалась, и как ее сначала топтали, а потом жгли, чтоб не досталась врагу; и горек был дым пшеничного поля,— этого запаха гари Куликову никогда не забыть.

Через многие города и села прошел Алексей Куликов и везде видел: аккуратно, богато, чисто жили здесь до войны люди. За Днестром, в каменец-подольских селах, соломенные крыши точно девки-модницы причесаны: где надо, подстрижено, где надо, в косы заплетено, где надо, завито и кучерявится,— парикмахерская работа! За Бугом — виноградники, баштаны, арбузы пудовые, а тыквам — весу нет; у молдаван — хаты каменные; у болгар — над окнами гроздья красного перца на ниточках, как монисто у дивчат на шее. За Днепром степи жирные, черноземные, села огромные, а хатки веселые, во все колера крашенные — голубые, розовые, кремо-

вые... Украинцы чисто живут. У них в хатах даже дух легкий: травой, что ли, пахнет или сладким сеном. Аккуратно жили люди. Богато. Следы этой вольготной жизни Куликов заставал везде. И плакали люди, глядя, как разоряется эта жизнь, а у Куликова тоской и яростью наливалось сердце.

Низко-низко опустив голову, шел он этим крестным путем, сквозь дым и гарь, и женщины у колодцев провожали его долгим прощальным взглядом. Ничего не говорили женщины, не кричали, не плакали и рук не заламывали над головой, только молча смотрели вслед, но глаза их, сухие и горькие, жгли Куликову душу, словно он был всему виной.

Да, он был всему виной, и на нем была великая вина перед народом, потому что он плохо дрался. И, когда вышла неустойка и часть попала в окружение, он тоже, как некоторые другие, боя не приняв, бросил винтовку и побежал куда глаза глядят. И три ночи после этого пролежал он с товарищем в кукурузе, пока голод не выгнал их на дорогу.

И, когда вышли они из кукурузы, босые, рваные, безоружные, вокруг них и на много верст вперед уже стояли столбы дыма, горели сахарные заводы, мельницы, села; а у дороги висели повешенные колхозники, их синие ноги качались над травой.

Много дней и ночей шел Куликов с товарищем по разоренной земле, выпрашивая хлеб в селах и прячась от немецких патрулей,— и всё не могли выйти к своим. И однажды товарищ, не выдержав, сел на камень у дороги и, показывая на свои окровавленные ноги, сказал:

— Никуда не пойду больше. Все одно — пропала Расея.

Куликов ничего не ответил, постоял немного, подумал и, не оглядываясь, пошел дальше один.

Он не знал, что сталось с Россией, и где теперь наши, и как далеко шагнул немец, но смутно чувствовал он всем существом своим: пропасть Россия не может. И более отчетливо: надо пробираться к своим. И брел.

С большой дороги он давно ушел, брел проселками, лесными тропами, полевыми дорожками промеж высоких подсолнухов, селений избегал и только в сумерки появлялся где-нибудь на хуторах и робко стучал в окошко крайней избы. Только б не нарваться на немцев, а у рус-

ского человека всегда найдется для него кусок хлеба с солью да пук соломы.

Так однажды, в полдень, попал он на выселки, и голод загнал его в хату. Он постучал. Выглянула молодайка, красивая, теплая, рослая баба. Она сперва испугалась его: страшен он теперь стал, бородатый и нечесаный, а потом ввела в хату, усадила за стол, а сама заметалась по комнате от печи к столу, от стола к каморке.

И пока он ел — сперва жадно, торопясь, а потом, насытившись и вспомнив деревенский обычай, медленно и степенно, как в гостях,— она рассказала ему, что сюда немцы еще не заглядывали, но у людей страху много; все под страхом ходят, и жизни никакой нет. А он хлебал молоко, слушал ее бабьи жалобы, вдовьи тревоги и сочувственно кивал головой, потому что действительно на войне горше всего от фашистов приходится курице и бабе: курицу — в котел, бабу — на поругание.

Насытившись, он вытер рот рукавом, глянул в окно — солнце еще было высоко в небе — и сказал, кланяясь:

— Спасибо, хозяюшка. Теперь я пойду.

Но она посмотрела на его окровавленные ноги и покачала головой:

— Куда ты пойдешь? Не дойти тебе,— и, опустив глаза в половицы, тихо, словно самой себя стыдясь, докончила: — Оставайся здесь. Живи. Мужика у меня нет, а без мужчины бабе плохо. Хозяйство валится...

Он потоптался на месте — тепло, хорошо было в избе, еще сытно пахло борщом и спелыми яблоками из каморки, на дощатом полу сладко умирали травы — не то мята, не то чебрец...

— Хорошо,— тихо ответил он.

В сумерки, когда хозяйка пошла доить корову, он вышел из хаты покурить на крыльцо. Свою бороду он теперь расчесал, а белье сменил,— баба дала мужнино. Покуривая, он стоял на крыльце и оглядывал двор. Он заметил, что двор хозяйственный, а огород большой. «Ишь, капуста какая... серебряная!» — умиленно подумал он. И тут же: «А плетень чинить надо». И не было вокруг ни войны, ни смерти, ни крови.

Он пошел по двору, ступал медленно, важно, как хозяин. Трогал рукой вещи, все знакомые, все привычные. «Траву косить надо!» Он потрогал рукой косу. И сразу окружил его привычный крестьянский мир, и пахнуло

теплом из хлева, и сладко заныло сердце, и зачесались руки работника...

Эту ночь он спал на перине, чистый, сытый, в чужом и чистом белье. Сонно и счастливо дышала молодайка и улыбалась во сне своему случайному бабьему счастью. А Алексей не спал. Не спалось ему на подушках — то ли душно в избе, то ли травы на полу умирают беспокойно, чебрец или мята, и запах их бередит душу...

Вспоминались Алексею дом, и жена, и дети, и товарищи,— которые уцелели из них! — и тощие пензенские поля — песок и суглинок, и рыжий старшина роты, как он, бывало, все ворчал: «Едоков в роте много — вояк, погляжу, мало»,— и виселицы на перекрестке дорог, и синие ноги над травой — «а я тут лежу на чужой перине, прохлаждаюсь»,— и дым над полями и селами, как горела земля и становилась черной, сморщенной, горькой... Никогда теперь не уснуть спокойно Алексею Куликову, пока горит родная земля.

Тихо встал он с перины — хозяйку бы не разбудить! — тихо оделся, постоял у двери. Прошептал: «Спасибо, хозяюшка. Не осуди!» — и, махнув рукой, вышел.

И когда вышел на свежий ветер, стало на душе его легко и вольно.

И опять была перед ним дорога в дыму и крови — крестный путь русского народа. И опять он шел через дымящиеся села, мимо пепелищ и виселиц, и горькие слезы женщин падали в его душу, младенческий крик звенел в его ушах,— этого предсмертного крика ему никогда не забыть.

Он был честный и мудрый, справедливый мужик, простой души и чистой совести. Он привык во всем разбираться медленно и осторожно, любил всех выслушать, чтоб всех понять и никого не обидеть. И когда он видел пожары и трупы, он понимал — это война, про это и деды рассказывали. Но детей, детей за что? Он стоял над детским трупиком, над беленькой девочкой, которую так, походя, пристрелил фашист, и не понимал: зачем? за что? И думал: «Вот и мою Анютку, доведись, так же...»

В другой раз он увидел, как грабят немцы кооператив, напихивают в танки ящики, бочки, мануфактуру... И вдруг вспомнилось Куликову, как, бывало, после хле-

босдачи приходил он в сельпо и, облокотившись на прилавок, начинал с продавцом Иваном Родионовым серьезный разговор. Иван Родионов надевал на этот случай очки в жестяной оправе и доставал из-под прилавка тетрадь заказов, а Куликов говорил ему, что затеял он к зиме новую шубу построить, а хозяйке понадобится маркизет, а сынишка пойдет в школу, стало быть — валеночки...

— За маркизет не ручаюсь,— озабоченно отвечал Иван Родионов,— но что будет, по силе возможности...

Вот теперь тащат немцы маркизет, сукно, валенки. Они разбили двери, сломали замки, разворотили полки... И опять не понимал Куликов: «По какому праву? Ведь это же наше, мое добро...»

Раз проходил он мимо разбитого немцами родильного дома. Не с руки ему было, а зашел. Словно силой какой потянуло. Были выбиты в доме все стекла, и мебель переломана, и на полу солома, навоз и грязь. Через все палаты прошел Куликов и лицо его было каменным, а глаза сухими. А в одной палате не выдержал — уронил слезу. Детские кровати тут были. Беленькие, махонькие, кроватки для новорожденных.

И он долго стоял, склонившись над пустой кроваткой, как тогда над трупом девочки в ситцевом платьице с горошинами. И вспомнилось ему, как однажды, ранней весенней зарей, приехал он в район в больницу,— жена рожала первенького. Доктор вышел на крыльцо, поздравил с сыном. Покурили. «Летчик будет?» — пошутил врач. «Нет,— ответил Алексей,— будет, как отец, пахарем». Такая в то утро теплынь была, и вся местность звенела, точно вокруг всё колокола и жаворонки, а у больничного крыльца, застоявшись, нетерпеливо ржали кони, добрые рыжие кони, и в бричке пылала под солнцем гора золотой соломы,— это чтоб новорожденного не растрясти.

И впервые подумал Куликов здесь, у пустой детской кроватки: «До чего ж складно было все у нас устроено на нашей земле! Если жене рожать — больница, сына учить — школа, семена травить — лаборатория, трактор ладить к весне — МТС».

Все разрушил фашист, все, что было любо и дорого Алексею Куликову, все, к чему привык он, чем жил. Весь уклад его жизни растоптал фашист. Нет, это не

такая война, про которую деды рассказывали. Нет, это не такой враг. И все накипало и накипало сердце Куликова яростью... Трудно его рассердить, но горе тому, кто рассердит его!

Однажды он засиделся в хате, куда загнала его непогода. Хозяин, степенный пожилой мужик, оставлял ночевать — дождь на дворе, холодно. Куликову и самому не хотелось уходить — сколько дорог уж он прошел, сколько еще идти! — но деликатничал: «Время неспокойное, может, стесню?» Они беседовали негромко и неторопливо, и все о том же, что времена пришли страшные, беда, разорение.

Вдруг — громкий стук приклада в дверь, звон стекла, и — немцы. Они не вошли, как люди в чужую избу входят, сняв на пороге шапку и поздоровавшись,— ворвались. Один сразу же забегал по избе, другой бросился к столу, третий нетерпеливо закричал хозяину:

— Фить! Фить! — и показал рукой на дверь.

Хозяин не сразу понял, чего хочет от него гитлеровец. Он чуял: стряслась беда, а какая — еще неведомо. Но немец все злее кричал ему: «Фить! Фить!» — и пистолетом показывал на дверь. И только тогда хозяин сообразил, что его просто гонят из хаты на улицу. Он растерялся: как же можно такое? Ведь это его изба. Может, они не знают, что эта изба — его, его собственная? Может, они не верят, что это его хата? Так все соседи подтвердят. Вот и иконы в углу — ими еще при деде освятили новоселье, вот и сундук, купленный в Ромнах на базаре, вот постель, стол, карточки на стене — все его, хозяина, вещи. Он разводил руками, объяснял, тыкал пальцем то в фотографии, то в иконы, но немец уже совсем свирепо крикнул ему: «Фить!» — и вышвырнул его за порог. Просто вышвырнул.

Потом обернулся и встретил взгляд Куликова. Тяжелый был этот взгляд, даже немец опешил.

— Рус? — пробормотал он.

— Да, рус. Русский,— гордо ответил Куликов.— Русский я,— повторил он еще раз.

— Рус — собака...— сказал, наливаясь злобой, гитлеровец и вдруг сорвал с головы Куликова шапку (память о молодайке) и надел на себя.— Рус ничего не надо. Рус — собака,— сказал он, уже хохоча и довольный собой.

— Сам ты собака! — закричал Куликов, но пинок вышвырнул его за дверь.

Он очутился в темноте. Медленно падал дождь. У плетня стоял хозяин и плакал. Не плакал даже, а как-то странно скрипел зубами, и Куликов понял, что это от горькой обиды. Нет той обиды горше, когда тебя из собственной хаты выгнали. А дождь все падал и падал.

Куликов подошел к хозяину и стал рядом у плетня.

— Убивать их надо,—негромко сказал он,— всех убивать.

Но хозяин вдруг яростно обернулся к нему. То ли больше он людям не верил, то ли надо было злобу сорвать, но ответил он с сердцем:

— Тебе-то что? Твоих-то, пензенских, не касается. Твои-то, пензенские, гитлеровца не пробовали...

— Может быть, пензенских не касается,—обиженно согласился Куликов. И вдруг закричал: — А душа? Душа что? Душу ты не считаешь? Что ж, у меня не русская душа?

Никогда раньше не задумывался Алексей Куликов о том, какая у него душа — русская или нерусская. В колхозе у них всякий люд был — и русские, и татары, и мордва. И человека ценили там по тому, как трудится человек. Но сегодня, когда фыркнул ему немец: «Ты, рус,— собака»,— остро почувствовал Алексей Куликов, что кипит в нем гордая и вольная русская душа и душу эту ни оплевать, ни растоптать, ни унизить нельзя.

И не было в этой душе сейчас ни сомнений, ни жалости, ни страха — только ненависть. Ненависть душу жгла.

Когда памятным июньским вечером ехал Алексей Куликов служить в армию, казалось ему, будет эта война недолгой и нестрашной, вроде осенних сборов приписного состава.

Но теперь, пройдя крестным путем много километров, не спрашивал себя Алексей Куликов, долго ли, много ли ему воевать. Знал: до тех пор воевать, пока не уничтожим врага.

Немецкие патрули, мимо которых пробирался он, и не знали, что это идет к своим Алексей Куликов, русский солдат, твердо положивший в душе своей биться с врагом, жестоко биться, без страха, без жалости, без пощады. До конца.

3. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ СТАНОВИТСЯ ВОИНОМ

Драться! Драться — вот чего больше жизни желал Алексей Куликов, когда, выйдя из окружения, попал, наконец, с маршевой ротой на фронт. А его в первый же день на фронте горько обидели.

Всему пополнению выдали винтовки новенькие, золотистые, еще жирно, по-складскому, смазанные ружейным маслом, а ему досталась винтовка старая, пообитая, щербатая.

— Ишь ты, блондинка! — восхищенно восклицал молодой паренек и нежно гладил ложе своей золотистой винтовочки.—Наташка...

А Куликов сердито разглядывал свою: на прикладе трещина, на стебле затвора заусеницы, ствольная накладка пожухла и сморщилась. «Шрамоватая какая-то! — неприязненно подумал Куликов.— От начальства за нее беспременно влетать будет, чисть не чисть».

Командир отделения заметил расстройство Куликова.

— Вы что ж, товарищ Куликов,— спросил он обиженно,— оружию не рады?

— Да нет... Чего ж? Ружье как ружье.

— А что ж вы дуетесь на него, как мышь на крупу? А ну, покажите.— Он взял из рук Куликова винтовку, поглядел номер, и лицо его вдруг осветилось тихой, хорошей грустью.— Тридцать три тысячи пятьсот тридцать семь,— произнес он.— Максима Спирина оружие. Друга. Флорешти... Дубосары... Еще Прут... река есть такая...

— Я там был.

— Д-да...— сержант задумчиво вертел в руках винтовку,— вот эта трещина на прикладе — это Максим немцу черепок расколол. А на черепке — каска. Дюже горячий бой был...

— Что ж, погиб... Максим?

— Да... Теперь неживой.

Оба замолчали.

— Ну давайте,— произнес, наконец, сержант,— винтовку себе возьму.

Но Куликов тихо ответил:

— Нет, товарищ сержант, теперь не отдам.

С тех пор не расставался Алексей Куликов со своей

шрамоватой. И когда политрук, бывало, рассказывал бойцам о славе русского оружия и вспоминал суворовских орлов, и оружие октябрьских баррикад — пики да самострелы, и деревянную пушечку сибирских партизан, и танки Халхин-Гола,— Куликов все поглаживал свою шрамоватую, словно в ней были и вся слава и все традиции русского оружия. С этой винтовкой нельзя плохо драться, ее опозорить — стыдно, а бросить на поле боя — смертный грех. Он и сам не понимал теперь, как это случилось, что он бросил когда-то свою винтовку и убежал с товарищем в кукурузу. «Ах, подлец, подлец! — ругал сам себя,— подлец-изменщик».

Однажды он сказал сержанту:

— Ежели меня убьют, то мою шрамоватую отдай достойному бойцу.

— Хорошо,— не улыбнувшись, ответил сержант,— отдам достойному.

В эту пору произошел у Куликова крупный разговор с Леонидом Внуковым. Стояли они тогда на отдыхе после жестоких боев, мылись, брились, отъедались. Больше всего Куликов обрадовался речке. Вот и на Днестре он побывал, и на Днепре, и на Буге, а эта речка всех милей. Те реки большие, шумные, пароходные, бог с ними; эта тихонькая, узенькая, родная, в ней и постирать удобно и поплавать — одно удовольствие, словно дома, в детстве...

А Леонид Внуков сидел на берегу скучный, сгорбившийся. Тускло глядел на реку, на плескавшегося там Куликова и то зевал, то вздыхал.

— Что заскучал, товарищ военный? — весело обратился к нему Куликов, вылезая на берег.— Не скучай о бабе, пусть бабы о нас скучают.

Он сел рядом с Внуковым, подставил плечи и шею солнцу. Последние теплые дни, бабье лето.

Внуков и шутке не улыбнулся. Скрипуче стал жаловаться он, что устал, чертовски устал он, здоровье у него нежное, к такой жизни не приученное, а тут бои да походы, бои да походы... Тяжелая война.

— А война легкая не бывает,— отозвался Куликов.

— Я ведь раньше как жил? — скрипел Внуков.— Я замечательно жил, хорошая у меня была должность...

— А теперь у всех мужиков одна должность: фашиста бить...

— Я ответственный был в районе человек. Управляющий делами рика. Зачем меня на войну?

— Ишь какой у тебя умный чертеж! — усмехнулся Куликов.— Значит, Куликов фашиста бей, а Внуков — бумажки пиши?

— Так если я по этому делу спец? Тебя в учреждение посади, ты и не справишься.

— А я в канцелярию и не сяду. Меня бабы засмеют, здорового...

— Да,— вздохнул Внуков,— ответственный был я человек, а тут рядовой и все надо мной — начальники. Это мне обидно.

— А я так полагаю,— сказал, сердито нахмурив брови, Куликов,— что нет той чести больше, как на войне бойцом быть.

Но Внуков не слушал его. Он все про свое ныл, жаловался. Просто хотелось ему перед кем-то высказаться, поплакаться.

— Я, бывало, дома чисто ходил. Одних галстуков, знаешь, сколько у меня было? А теперь, гляди, в какой я робе? Грязное все. Везде пятна.

И тогда вскочил на ноги Алексей Куликов и заревел не своим голосом:

— Скидай! Скидай, сукин сын!

Внуков испуганно взглянул на него, ничего не понял.

— Гимнастерку скидай. Вот речка. Стирай, сукин сын, свой мундир. Чтоб ни пятнышка не было!

Вот удивился бы политрук Званцев, услышав сейчас Куликова! Полно, тот ли это Алексей Куликов, что еще несколько месяцев назад дрожал под снарядами, ожидая смерти, тот ли, что докладывал, бывало, что «пушка из пшаницы переехала в гречку»? Он ли говорит сейчас о бойцовской славе, о воинском долге, о чести мундира?

Да, не тот стал Алексей Куликов. Теперь это был воин, суровый воин, обстрелянный и обветренный, понимающий свой долг, честь и дисциплину.

Сам Куликов не удивлялся своему превращению.

— На войне и лошадь привыкат,— любил говорить он.— Погляди: ишь, стоит, не моргнет.

Он привык воевать, драться, спокойно ждать боя, спокойно глядеть на смерть и кровь, привык к бесконечным походам и переходам, к кочевой солдатской жизни.

И портянка ноги не трет, и армейский сапог не давит. И снаряжение как-то ладно улеглось на нем, все к месту, ничто не гремит, не мешает; полная выкладка, а не тяжко. Потому не тяжко, что все нужно, и ни с чем Куликов расстаться не захочет. И скатка нужна, она бойцу все — и одежа и одеяло; и фляжка нужна; и вещевой мешок с НЗ нужен, а плащ-палатка в дождь лучше крыши любой,— как ее бросишь?

Вот разве противогаз... Противогаз как будто ни к чему... Он пока Куликову подушкой служит. Но и его ни за что не бросит Алексей. Злобен враг — противогаз пригодится!

Но больше всего уважал Куликов, берег и лелеял свою шрамоватую винтовку и саперную лопатку. Про винтовку и говорить нечего, без нее воин — не воин, но и маленькую лопатку, долго болтавшуюся без особого дела на боку, однажды оценил Куликов. Маленький бруствер — двадцать сантиметров, всего ничего,— а спас Куликову жизнь. Немецкая пуля чиркнула о глину, рикошетом прошла по каске, хоть бы что... С тех пор большой ли был бой, или малый, наступал ли Куликов, или лежал в обороне, лопатке его всегда находилось дело.

Каждая землянка, блиндаж, окоп, яма сразу становились для Алексея Куликова живым домом. И все в этом доме было на месте — тут винтовка, тут лопатка, тут противогаз — все его бойцовское хозяйство. И он по-хозяйски, как, бывало, дома в своей усадьбе, устраивался здесь, словно не час, не ночь одну ему тут жить, а века. Копал канавки, чтоб вода не натекала, добывал соломку, а соломки нет — травы. Короток сон бойцовский — значит, надо, чтоб сон был как сон.

Он был теперь исправным, ладным, исполнительным бойцом; молодые учились у него. Он мог многому их научить,— бой в лесу, скажем, не то, что бой в степи, и опять совсем не то, что бой в населенном пункте, а Куликов во всех этих переплетах бывал. Молодые жадно слушали его. Они должны были его и слушать и уважать: вот в скольких боях человек побывал, а цел!

Правда, героизма за Алексеем Куликовым еще не было, слава о нем не гремела по стране и в сводках Информбюро его имя не попадалось. Но если писалось там, что батальон Субботина отбил сегодня восемь яростных немецких атак, то это и про Куликова писалось. Это он

с товарищами принял на себя восемь атак и не дрогнул. А если писалось, что после жестокого боя наши войска овладели населенным пунктом, то можно было быть уверенным, что был там и Алексей Куликов, дрался на улицах, стрелял из-за церковной ограды, докалывал немца на чердаке.

Куликов и сам знал, что нет за ним никакого героизма. Бывало, читая в газетах рассказы о подвигах славных советских воинов, он восхищенно восклицал: «Вот орлы! Вот, право слово, соколы! Помыслить только — какие дела может человек!» А если ему говорили: «Так и ты, Куликов, герой, ведь вот как дерешься!» — он возражал: «Какой это героизм! Это служба». Но службу свою нес достойно.

Ничем не был еще награжден Алексей Куликов, ни орденом, ни часами,— потому что, если наградить его, так надо всю Красную Армию награждать, всех ее бойцов, так же, как и Куликов, достойно несущих свою боевую службу.

— Да мы, брат, не за награды и воюем,— сказал он однажды в землянке,— нам одна награда: немца с нашей земли прогнать да зажить счастливо. Такая это, брат, награда, такая награда — мне и не надо другой.

Но тут все заспорили с ним — и молодые и старые. Особенно молодые.

— А я за орден дерусь! — вскричал кучерявый пулеметчик Митя.—Вот как хочешь меня суди, а я желаю, чтоб мне орден вышел. И чтоб мне его за мою храбрость дали. И чтоб дали немедленно, как заслужу. И чтоб тот орден мне сам генерал вручал. И чтоб об этом мои домашние узнали...

— Домашние — это верно...— задумчиво согласился Куликов.

— И тем орденом,— горя глазами, закончил Митя,— я всю жизнь гордиться буду!

— А у меня гордости нет...

Но это Куликов напрасно про себя сказал. Скоро узнал он, что и у него есть гордость. Пришло и к нему воинское самолюбие.

Как-то рассказал им политрук о снайпере Брыксине, о парне из соседнего взвода, который каждую ночь на охоту ходит и немцев бьет.

— Вот,— укоризненно закончил политрук,— а у вас во взводе такого орла нет.

Вот тогда-то и взыграло в Куликове воинское самолюбие. Загорелось сердце. В тот же день нашел он Брыксина и долго смотрел на него.

— Ты Брыксин? — спросил он наконец.

— Я.

Куликов недоверчиво разглядывал снайпера,— парень как парень, один нос, два уха.

— Врут, что ты еженощно немцев бьешь?

— Нет, правда,— усмехнулся Брыксин.

— И много набил?

— На сегодняшний день в аккурат двести тридцать восемь.

— Та-ак...

Куликов долго молчал, думал, а потом вдруг сказал дрогнувшим голосом:

— Учи! Убедительно тебя прошу: учи врага бить.

И он стал учиться.

Ничего не скажешь: хорошей показала себя шрамоватая винтовка, недаром она самому Максиму Спирину была подругой. Но оказалось, одной винтовки мало. Еще глаза нужны особенные, и руки, и сноровка, и мастерство. Этому мастерству и стал учиться Куликов. Он учился страстно, прилежно, как, бывало, на полеводческих курсах. Все началось с самолюбия, а вышло всерьез. Большое это счастье — видеть, как от твоей пули, от твоей собственной руки падает враг.

До той поры Куликов сам себе цены не знал. Он видел: на этой войне люди воюют массами. Что тут один человек значит? Он даже не винтик в машине, он пешка. Но теперь узнал Алексей Куликов цену умелому человеку на войне. Один человек, а гляди — целую роту немцев уничтожил! Один Брыксин, а для всех немцев— гроза, за его голову награда положена. И Куликову захотелось, чтоб и его руку почуяли немцы, чтоб и его, как Брыксина, в своих листовках прокляли, чтоб и его голову оценили. Интересно, во что оценят?

У каждого снайпера в их роте свой характер был, свои обычаи, свои повадки. Для одного— это веселая охота, лихая забава, для другого — азарт, опасный спорт, для третьего — дело славы. А для Куликова в снайперстве был выход его лютой ненависти к врагу.

Большое это счастье — видеть, как от твоей руки падает проклятый враг. Еще один.

Куликов ходил на охоту в паре с Васей Прохоровым. Веселый это, красивый парень был, шахтер. И, когда возвращались они на заре с промысла, Вася, бывало, всегда по дороге нарвет охапку цветов, идет и нюхает, словно он только что из шахты на-гора вылез и девушки ему букет преподнесли. А Куликов шел с каменным лицом. Не забавой, не охотой это было для него, а священным делом мести. За эту девочку в ситцевом платьице. За родимый дом. За хозяина, плачущего у плетня...

И если б сказали ему: «Как же это ты, Алексей Тихоныч, незлобивый, мирный мужик, человека убил?» — он удивился бы этому вопросу и ответил: «Так это ж не люди. Это фашисты».

Не уменьшалась, а все росла и росла его злость на врага. Злость за то, что на нашу землю пришел, и за то, что любимый уклад жизни растоптал, и за то, что он воевать умеет, сызмальства сделал свой народ солдатской нацией и теперь разбойничает на нашей земле. И в этой великой неукротимой злости была Куликова сила.

Давно уж прошел его страх перед немцем. Это раньше ему казалось, что немец все может: может внезапно окружить, может с тыла ударить, может танками раздавить, и силе его числа нет, и вездесущ он, и всемогущ, словно бог войны.

Но, воюя и каждый день сходясь в бою с врагом, увидал Куликов, что ничего сверхъестественного в нем нет. «Только нахальство сверхъестественное. Нахальством он и берет». Увидал Куликов, что и у фашиста не все железо, есть и фанерка; и нервишки у него тонки,— штыка уклоняется, ночи боится; и пятки у него проворные,—ишь, как бегает, когда мы нажмем!

Куликов первый в роте осенью форменно доказал, что не та теперь стала немецкая армия. Он пришел из разведки и принес документы, снаряжение и оружие с убитого немца.

— А языка, извиняюсь, не привел. Язык был, ног у языка не было,— объяснил он.

Командиры стали разбирать документы, а Куликов все нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Наконец не выдержал:

— Вы винтовку ихнюю, винтовку поглядите.

— А что?

Куликов, торжествуя, взял винтовку, открыл затвор, все увидели грязь и ржавчину.

— Раньше я этого за немцем не замечал,— объявил Куликов.— Ржа завелась!

Про эту винтовку и про ржу он долго толковал среди своих. А если возражали ему, что все равно немцы воевать мастера и нам у них даже поучиться кое-чему нужно, он отвечал: «Ну что ж! Они нас воевать научат, а мы их воевать отучим. Навеки отучим! Уж это точно».

Видел Куликов и пленных гитлеровцев. Рваные, жалкие, вшивые, они жались к костру, который для них разложили в большом сарае, и Куликову, когда он глядел на них, все казалось, что это не люди, а вши у костра ползают. Комиссар пришел поговорить с пленными. Куликов ему сказал:

— Вы, товарищ комиссар, к ним не соприкасайтесь. Они все вшивые,— и такая брезгливость была в его голосе, что комиссар невольно расхохотался.

Куликову же пришлось и водить их на допрос. По дороге он пытался побеседовать с ними:

— Эй, ты, плюгавенький! Это ты собрался Россию покорить? Завоеватель! Где тебе, гунявому! Не покорить тебе России, понял?

Но немец только заискивающе глядел на него и моргал глазами. Куликов рукой махнул.

Что мертвый немец, что пленный немец, они в нем злобы не вызывали. Ненавидел он тех, с автоматами. И ненавидел люто.

Как-то — на рождество это было — взяли наши село. Куликова вместе с сапером послали «прочесать хаты». Село было пустынное, безлюдное. Полусожженные, побитые хаты стояли уныло, как на похоронах. Но в одной, что в самом центре красовалась и чудом уцелела, Куликов застал остатки недавнего пира. Подле елки, на которой еще висели побрякушки, стоял накрытый стол, а на нем снедь и рюмки, полные золотой влаги — видно, коньяк,— а на самом видном месте лежала гармошка: бери, играй, пей, ешь, веселись.

Бывалый боец, Куликов только усмехнулся глупости немца.

— Ишь ты,— качал он головой, пока сапер разминировал и елку и гармошку,— на шнапс хотел взять? Думал, русский на шнапс польстится? Прогадал! Больно рыбка востра, не изловят и мастера.

И вдруг он услышал тонкое, жалобное мяуканье. Где-то плакала, ну форменно плакала кошка. Он огляделся, прислушался:

— Где ж ты, сердешная?

Осторожно он пошел по комнате и остановился у стены, у сундука. Из сундука явственно доносилось мяуканье.

«Ах ты, бедняга! — подумал Куликов.— Кто ж это тебя в сундук?» Он хотел было поднять крышку и выпустить кошку на свободу, но остановился. Неладно что-то было с этим сундуком.

— Сапер,— позвал он,— ну-ка, обследуй.

— Мина,— показал сапер.

— Мина?

Лицо Куликова исказилось. Страшными стали его глаза. Он взял в руки спасенную кошку и машинально погладил ее.

— Эх, немец, немец! — произнес он сквозь зубы.— Добрый я. Это ты верно угадал. Ко всякому живому существу добрый я человек. Но только ты мне под руку не попадайся. Эй, не попадайся! К тебе у меня доброты нет.

4. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ УБИВАЕТ ПРЕДАТЕЛЯ

С первых же дней войны, куда ни забрасывала б его солдатская судьба, Алексей Куликов всегда искал земляка. Сперва хотелось ему найти односельчанина, потом хоть из одного с ним района, наконец, просто пензенца. До зарезу нужен был ему земляк, чтоб вести с ним бесконечные беседы о родных местах, вспоминать знакомых мужиков и районных начальников, и чтоб знал он и врача, и лесника, и мельника, и на какой лошади агроном ездит, и помнил бы все происшествия, похороны, пиры и свадьбы в районе за двадцать лет. А если убьют Куликова, чтоб отписал земляк жене, душевно, обстоятельно и со слезой, потому что бабе слеза — утешение.

Куда б ни попадал Куликов, первым делом он выкликал: «Эй, пензенские тут есть?» — «Есть! — отвечали ему.— Тут все пензенские. Кто с Дона, кто с Урала. Табачком, земляк, богат?» Куликов, кряхтя, доставал кисет и грустно улыбался: «А я думал, пензенские...»

Так и не нашел Куликов пензенцев. Ну что ж, земляком надо родиться, а приятеля можно приобрести. Скоро приятель сам нашелся.

Никто в роте не понимал, как отличный и бывалый боец Куликов мог сойтись с Афанасием Дубягой.

Был этот Дубяга последним человеком в роте. Видали его люди в бою — трус. Видали и на походе. Жалкой души человек. Жил он ото всех обособленно, угрюмо, лишней коркой с товарищем не поделится, шутке не посмеется, ударь его по плечу — обидится.

Куликов его не сразу и приметил. Привезли почту. Большая почта пришла, долго не было. Все столпились, глядят, радуются, всем письма есть. Только один человек в сторонке стоит, отвернулся, сгорбился.

— Ты что ж, мил человек, почтой не интересуешься? — спросил его Куликов.

Дубяга поднял на него глаза и ответил тихо:

— А мне получать неоткуда.

Он сказал это так грустно, что у Куликова даже защемило на душе.

— Ах ты, бедняга! — только и пробормотал он.

Говорят: друг — это тот, кто с тобой последней щепоткой махорки поделится. Но у Куликова для всех был открыт кисет, и для него в роте все кисеты открыты. Говорят еще, тот друг, кто тебя в бою выручит. Но Куликова много раз выручали неизвестные ему бойцы-соседи, а он даже имен их в горячке боя узнать не успевал.

Дубяга ни махоркой не поделится, ни в бою не выручит. Отчего ж запал он в душу Куликова? Никто в роте этого объяснить не мог, да и сам Куликов не объяснил бы. Все бойцы в роте были его приятелями, верными, надежными, проверенными в огне. Он чувствовал к ним и уважение, и любовь, и дружбу, но жалость только один Дубяга вызывал. Сам того не сознавая, Алексей Куликов относился к Дубяге, как к той кошке в заминированной хате —жалко сердешную...

На войне боец без женщин живет, без детей, без семьи,— в его душе много нежности остается. Злость расходуется в бою, нежность — только на товарищей.

И всю великую, неизрасходованную нежность своей души отдавал Куликов жалкому человеку — Дубяге. Он ходил за ним, как нянька, заботился о нем, чтоб поел Дубяга, чтоб поспал Дубяга, в бою о себе не думал, все о нем: как там — не убили Дубягу, не ранили ли?

А в свободные часы вел с ним бесконечные беседы о доме, о хозяйстве, о том, как жили до войны.

Куликов о хозяйстве мог говорить долго и вкусно. Он не вспоминал, не мечтал — он подсчитывал. Только слышалось — цифры, цифры, цифры. И сколько, бывало, в хороший год трудодень тянул, и сколько потянул бы, коли б не война, и сколько птицы на ферме, и почем мука была... И как раскинет он свою цифирь, округлит — выходит, замечательно жил до войны Куликов.

А Дубяга охватит колени руками, съежится весь, сгорбится и начнет, раскачиваясь всем телом, рассказывать о своих. Семья его там осталась. У немца. Как они там живут? Живы ли еще? Жена была красавица, теперь небось старуха.

— Д-да...—сочувственно поддакивает Куликов,— горе одного только рака красит.

— Ждут они меня... Небось сынишка каждый день за околицу бегает: не идет ли батька?

— Они не тебя одного ждут. Они всех нас ждут. А один ты им без надобности. Что ты им один? — И Куликов принимается утешать Дубягу: — Погоди! Вот соберемся с силой, немца измотаем, двинем всей громадой, вот ты и дома.

По ночам Дубяга часто плакал. Он плакал тонко-тонко, не по-бабьи даже, а как кошка скулит. Куликов сразу же просыпался, подсаживался, принимался утешать. Не терпел Куликов мужчин, у которых глаза мокрые, слеза не мужское дело, а Дубяге и слезу прощал. Он все ему прощал, как прощает мать незадачливому сыну.

Не раз бывало: придет Куликов с наряда замерзший, голодный, сейчас бы поесть и спать, а ему говорят:

— На тебя обед Дубяга взял.

Пойдет Куликов к Дубяге, тот молчит. Найдет Куликов котелок—пусто в нем.

— Съел!

Опять промолчит Дубяга. Куликов больше ничего не скажет, завернется в шинель и уснет голодный. И это он прощал Дубяге. «У него горе, у него, может, только и радости, что поесть»,— оправдывал он его перед товарищами.

В другой раз совсем подло поступил Дубяга. Попали они как-то вдвоем с Куликовым в переделку: нарвались на немецкую засаду. Куликов бой принял. Немцев было семеро, они с Дубягой вдвоем.

— Штыком не успеешь — прикладом бей! — крикнул Куликов Дубяге и тут только заметил, что нет его рядом. Удирает Дубяга...

«Что ж это, друг?» — подумал было Куликов, но думать было некогда, немцы наседали.

Из этого боя Куликов вышел целым. Только на шрамоватой винтовке новый шрам появился да правую руку пришлось починять.

— Что же ты, милый? — только и сказал Куликов Дубяге при встрече.— Товарища в бою бросать не годится.

Однако и это он простил Дубяге, как все прощал. «Душа у него робкая, вот и сдрейфил. Все одно не помощник он мне бы был».

В это время и случилось в полку чрезвычайное происшествие,— много о нем и шуму и толков было: боец пропал. Вечером был, вот тут в блиндаже сидел, а к утру хватились — нет его. Пропал.

Одни говорили — немцами убит, но трупа не нашли, хоть искали. Другие гадали — выкрали его немцы. Но многие высказывались иначе: перебежал.

На эту тему и случился разговор между Куликовым и Дубягой.

— Я того бойца знал,— задумчиво сказал Дубяга,— он из наших мест был. Он к своим, видать, перебег. Домой.

— Ну вот! Они его избавителем ждут, а он к ним дезертиром, изменником прибег.

— Так ведь если тоска...— робко вступился Дубяга.

— А что ж, он своим семейным радость принес? Кабы он с армией пришел да врага прогнал — радость. А так... Они, может, надеждой жили. Может, баба ейная детям своим каждый вечер нашептывала: ничего, мол,

деточки, ничего. Вот наш тятька с армией придет, наш тятька немца прогонит... И, может, детки о тятьке мечту имели. Наш, мол, тятька... А он с чем пришел? С чем, а? вы, мол тут на меня надежду имели, так вот я явился, а надежды нет. Я надежду вашу потерял бегаючи. Сын спросит: «Тять, а где же наши? Ты с нашими пришел?» А тяте-то сказать нечего. Бросил тятя наших. Продал. Я такого подлеца, хоть отцом бы мне родным был, сам своими руками удавил бы...

— Говорить легко...— пробормотал Дубяга и вздохнул. На его лбу пот выступил на морщинах.

— Нет, ты сам рассуди,— продолжал Куликов,— допустим, прошел он через немецкую оборону, допустим, что его пять раз притом не расстреляли и не повесили. Ну, пришел в семью. Что семье делать с ним? Скажи на милость? Без него тошно, а с ним тошней. Перед немцами он за них не заступник, односельчане его как врага лютого встретят. А ему? Куда ему деваться, помыслил он своей глупой башкой? К немцу в кабалу идти? В Германию на каторгу, с голоду дохнуть? Так опять же семья прощай, и свобода, и добрая честь. В полицейские к немцу наняться? Так если партизаны его до той поры сами не пришьют, мы придем — кончим. Я первый. А мы придем. Дубяга, поимей это в виду. Во все места земли русской придем! И на Украину.

— А он, может, к партизанам пойдет? А?

— Партизаны такого не возьмут. Партизаны такому не поверят. Нет ему пути, Дубяга, милый человек. Один ему путь — в петлю.

Куликов помолчал немного и круто прибавил:

— А Россию он продал. Продал, сукин сын.

— Так ведь Россия-то... Россия Россией и останется...— заметался Дубяга,— вот под татарами была, а все Россия. Ну, пусть под немцами...

— А мне не всякая Россия нужна,— зло оборвал Куликов,— если хочешь знать, я не на всякую Россию согласен. Мне нужна Россия, чтоб был я в ней, как раньше, хозяин на своей земле, и чтоб были колхозы, и если жене рожать — больница, а сына учить — школа. Советская мне нужна Россия, слышишь? А другой я не хочу, другой и не будет.

После этого разговора Дубяга долго ходил хмурый, смятенный. От всех прятался. Забился в свою нору в

блиндаже, свои думы думал. Куликова он сторонился. Встреч с ним избегал.

— Ты что? — удивленно спросил его раз Куликов.— Может, за что обиделся?

— Да нет... Ничего...— уклончиво ответил Дубяга, но глаза спрятал.

Через несколько дней после этого Куликова и Дубягу назначили в секрет. Они лежали в десяти метрах один от другого, и каждый думал про свое. Кто его знает, о чем думал Дубяга, а Куликов думал, что если б каждый русский человек убил хоть одного вражеского солдата — и войне б конец.

Подымался рассвет. На снегу заиграли косые тени. Куликов подтянулся, он знал: самое это недоброе время — ранний рассвет.

Вдруг он заметил, что Дубяга ползет. Сперва подумалось, что это мерещится. Куда Дубяге ползти? Некуда. Но Куликов всмотрелся и увидел, что Дубяга действительно ползет. Послышалось даже сопение.

— Ты что это? Зачем? — громким шепотом окликнул его Куликов.

Но Дубяга не отозвался. Он полз молча, судорожно цепляясь руками за голые кустики и тяжело дыша. Пыхтенье его, какое-то прерывистое, трудное, как у загнанной собаки, всполошило Куликова.

— Ты что, обезумел? — крикнул он, обо всем забыв.— Ведь убьют! Пропадешь! — и пополз было на выручку.

Но в это время Дубяга поднялся на ноги и побежал. И Куликов с ужасом увидел, что бежит он с белым платком в руке и размахивает им над головою, а винтовки при нем нет...

— Вот ты что задумал...— тихо протянул тогда Куликов и медленно поднял к плечу свою шрамоватую.

Все прощал Куликов товарищу — и жалкую душу, и мокрые глаза, и плохую дружбу,— этого простить не мог.

По-снайперски взял он своего бывшего приятеля на мушку, как фашиста брал. Хуже фашиста сейчас был этот ненавистный человек, хуже лютого врага...

Грохнул выстрел.

Вернувшись из секрета, Куликов доложил командиру:

— Я Дубягу прикончил... Изменник он...

Жалости в его сердце не было.

5. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ ВСТУПАЕТ В ПАРТИЮ

Никто в роте — ни товарищи, ни командиры, ни сам политрук понять не могли, отчего Куликов до сих пор не вступил в партию.

Не раз ему говорил парторг:

— Ты, Алексей Тихоныч, мужик умный, башковитый, боец отличный. Что ж ты в партию не идешь?

— Недостойный я...— отвечал Куликов, и больше с ним говорить было нечего.

Он не врал. Он и в самом деле считал себя недостойным. К партии было у него почти религиозное, благоговейное отношение, а коммунистов он считал людьми особого склада.

— Не могу я передом идти,— объяснил он раз парторгу.— Я человек сопутный. Вы, партейные, идите передом, а я уже не отстану. К немцам в лапы попадем, нам на одной осине висеть. Я не откажусь!

Он и до войны был сопутным человеком: коммунисты шли передом, он за ними. Он всегда был человек тихий, работящий, непьющий, приверженный к хозяйству и семье. И в этом — в семье и хозяйстве — был весь его интерес жизни, остальное мало касалось его. Он жил в маленьком мирке и очень был доволен тем, что этот мир мал и знаком до мелочей, и обжит, и устроен. Иного он и не хотел: жить здесь и помереть здесь, на своей постели. Читал он и газеты, интересовало его и международное: как там насчет войны? — и внутреннее: декрета нового насчет колхозов нет ли? — но большую часть того, что писалось в газетах, он пропускал мимо ушей: это нас некасаемо.

Сейчас мир, в котором физически жил Алексей Куликов, был совсем мал, куда меньше колхозного двора: блиндаж, да землянка, да сто метров ходов сообщения — вот и весь мир.

Но все, что делалось, что свершалось, что шумело за пределами этого мира,— все теперь касалось Куликова. Все непосредственно касалось его судьбы, и ко всему он жадно прислушивался. Он читал о событиях на Соломоновых островах и гадал: а что от этих островов приключится России, а стало быть, и мне, Куликову, и моей семье? Он слышал, что наши где-то жмут немцев, и думал: а что от этого приключится нашему полку, а стало

быть, и мне, Куликову, и моей семье? А что, если нам нажать да подсобить!

Никогда раньше и не слыхал Алексей Куликов про такие города: Дьепп, Эссен, Бремен, а теперь каждое утро спрашивал агитатора: «Ну, как там, дали Эссену жару?»

И про такой народ не слыхал он раньше — канадцы. А сейчас следил за тем, как высаживаются они, как дерутся в пустыне. И, бывало, подолгу обсуждал он с товарищами, каковы эти канадцы лицом и характером, и какова у англичан сила, и армия английская какова,— словно соседнюю МТС.

На две половины раскололся мир. Все человечество воюет, и Куликов осознавал теперь себя солдатом той армии человечества, которая ведет правильную войну.

Он знал: эта армия победит. Он верил в победу и в дни успехов и в горькие дни неудач. На войне всякое бывает. Но твердо верил он: Россия пропасть не может! Он прожил трудную зиму и многое вынес и мог бы еще больше вынести, потому что то, что может русский солдат, никому — ни немцу, ни англичанину, ни итальянцу — не вынести.

Сейчас было тихо на участке, где Куликов. Всю весну пролежали в обороне. Бойцы шутили: «Что главное в обороне? Главное в обороне — харч». И хоть харч был хороший, все ж томился обороною Куликов, словно оборона отодвигала победу.

А от соседа с севера и от соседа с юга шли тревожные вести. Полилась кровь под Изюмом, под Барвенковом, под Керчью. Зашевелились немцы и здесь. Было видно снайперу Куликову их шевеление. В роте ждали больших боев. По ночам спали чутко.

Однажды пришел к ним «с того берега» человек, грязный, оборванный, бородатый. Увидав наших бойцов, закричал:

— Родные мои, родные! — и заплакал.

И спрашивать Куликову не надо было, понял: человек этот пришел из окружения. Значит, где-то неустойка вышла.

А человек думал, что не верит ему Куликов, принимает за шпиона. Дрожащими руками стал он шарить по телу, и откуда-то, из потаенного места, вытащил маленькую, маленькую партийную книжку. И протянул ее Куликову, словно пароль.

Ничего не было на этом человеке — ни оружия, ни часов, ни денег, ни рубахи целой,— все он бросил, а партбилет пронес. И Куликов долго вертел в руках красную книжечку, покоробившуюся от воды, почерневшую от грязи. В этот раз он ничего не сказал. А через несколько дней он пришел к политруку и сказал смущенно:

— Проситься пришел в партию.

Политрук удивленно посмотрел на него и обрадовался:

— Давно бы так! Надумал?

— Надумал.

Куликов хотел объяснить политруку, как случилось это, как думал он, думал и... а слов не было. Только и сказал:

— Больших боев жду. Мне теперь беспартийным быть негоже.

Куликова приняли в партию тут же, в блиндаже, сюда и парткомиссия приехала. В тот день все небо гремело артиллерийским громом, под этот гром его и приняли.

Но он все еще не считал себя партийным.

— Когда ж книжечку дадут?— допытывался он у политрука.

Тот объяснил, что через три дня из дивизии приедет комиссар и лично вручит ему партийную карточку.

И все эти три дня как в дыму жил Куликов. Понимал он, что будет это большой день в его жизни и большой разговор с комиссаром. Надо комиссару все высказать, объяснить, чтоб, давая билет, он не сомневался: достойному человеку дает. И все три дня Куликов подбирал слова, которые надо сказать комиссару: «Не подведу, мол? Нет. Так соседу можно сказать или бабе. А партии так сказать нельзя». И он вспоминал слова, которые от ораторов слышал. Хорошие у них бывают слова.

Вот такими бы словами сказать, необычными, не как каждый день говоришь... «Заверяю — вот как надо сказать! — Заверяю я вас, товарищ комиссар, а через вас большевистскую партию...»

В назначенный день Куликова вызвали на хутор к комиссару. Волнуясь, он пошел. Вот сейчас все произойдет: был беспартийным — стал большевиком. Ведь это как жить теперь, как драться, как вести себя, чтоб не

оконфузить? Сейчас произойдет у него с комиссаром большой разговор, комиссар поглядит-поглядит и потом возьмет твою душу и на своей комиссарской ладони взвесит: чистая ли, достойная ли душа?

Но у комиссара в этот день было много народу («Усталые у него глаза,— заметил Куликов,— не спит, бедняга»), и разговор вышел недолгий, и главное — до обидного простой и задушевный, словно дома за чаем: «Ну, как живешь, как воюешь, товарищ Куликов?» — «Ничего». А Куликову хотелось слов больших и значительных. Комиссар все улыбался, глядя на него, даже раза два устало пошутил, а Куликов полагал, что улыбка тут не к месту: тут серьезное дело, жизненное. И никак не мог Куликов свою фразу сказать, ту, которую он придумал.

Потом комиссар встал, протянул ему партийную книжечку, пожал руку, поздравил, и Куликов понял, что он может идти. Он еще секунды три потоптался на месте, потом неуклюже откозырял и пошел к дверям. Но в дверях он остановился. Нет, не мог он так уйти. Он повернулся к комиссару и голосом суровым и торжественным произнес:

— Заверяю вас, товарищ комиссар, а через вас всю партию, что боец Куликов партийной книжечки не опозорит!

И это было как присяга.

Комиссар взглянул на него без улыбки, очень внимательно (не было сейчас усталости в воспаленных зрачках) и все понял. И тогда вышел он из-за стола, подошел к Куликову, положил руку на его плечо и сказал очень тихо и просто:

— А я вам верю...

Эти слова и унес с собой Куликов.

Наутро немцы перешли в наступление. Лавиной танков и огня обрушились они на соседа, и сосед дрогнул, попятился. И тогда, чтобы спасти положение, командование бросило батальон Субботина в контратаку. Все понимали, и Куликов понимал, что вот оно, началось то, чего ждали...

Политрук дрогнувшим от волнения голосом крикнул:

— Коммунисты, вперед!

И, услышав этот клич, Куликов, по привычке, оглянулся. Вот сейчас, как всегда, подымутся Лозовой, Ти-

хонов, Коваленко, Макаров, пойдут передом, а за ними и он.

Но тут его точно обожгло. Ведь теперь он сам, сам коммунист... Вот и партийная книжечка в заветном, специально для этого случая сшитом карманчике. Он нащупал ее.

И тогда поднялся Алексей Куликов во весь рост и зычно, так, что его по всему полю было слышно, крикнул:

— Партейные и беспартейные, за мной!

И первый бросился в огонь.

6. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ ДЕРЕТСЯ НА ПЕРЕВАЛЕ

Когда-нибудь, когда будет Алексей Куликов глубоким стариком и окружат его внучата у завалинки и ласково пригреет солнце бабьего лета,— может, и сумеет он рассказать спокойно и обстоятельно о лете 1942 года, о боях на Дону и Кубани, о том, как лавиной навалил враг, а наши войска дрогнули.

А сейчас не может он спокойно рассказывать об этом. Еще стоят в памяти страшные картины. И степь горит. И горький дым клубится над Ростовом, над Сальском, над Новочеркасском. И кружатся в небе, как ястребы, немецкие бомбардировщики. Бросаются на добычу. Рыщут. И бомбы падают и в степь, и на дорогу, и в Дон, и мертвые рыбы всплывают на поверхность воды, и хлеб горит, и города горят, и с грохотом рушатся элеваторы и водокачки, и нет переправ на Дону.

И мечутся по степным дорогам перепуганные отары овец. Тоскливо мычат стада. Коров доить некому, и пить надоенное некому. И льется по степи молоко, смешиваясь с дорожной пылью.

И день и ночь с отяжелевших деревьев с тяжким стуком падают яблоки. До земли пригнулись ветви, вот надломятся. Падают яблоки, и стук этот бьет в душу, стучит в висках. И какой-то старик станичник в обтрепанных шароварах с лампасами и с Георгиевскими крестами на груди выбегает на дорогу, по которой отступают войска, и кричит, размахивая клюкой:

— Стойте, куда вы, на кого оставляете!

И идут по дорогам сотни безоружных людей. Дети цепляются за мамкин подол. Восьмилетняя сирота несет на руках годовалого брата. Раненые бойцы, закрыв глаза руками, проезжают в фургонах. И сердце полно горечи. Полынь, полынь, полынь... Горько пахнет полынью степь. И пшеничный дым стелется над полями. И стук яблок, падающих, чтобы гнить.

Иные сердца дали в те дни трещину, а другие еще больше — стали скалой. Горсточка бойцов осталась вокруг Куликова: кто убит, кто не выдержал — побежал. Убит политрук. Славной смертью пал он на переправе, и тело его поплыло по Дону в море, но и мертвый не разжал он железных пальцев вокруг горла немца,— так и поплыли вместе.

До самых гор докатился Куликов с товарищами. В горах гневно билась речка, и лейтенант Дубровин, командир роты, горько усмехнувшись, сказал Куликову, что про эту речку много гордых стихов и песен сложено.

— Какие песни про нас с тобой, Куликов, петь будут, раз мы так воюем? — И Куликов увидел на глазах лейтенанта слезы.

И впервые в жизни подумал Куликов, что не бесследно живет на земле человек и умирает не без следа, не так, как снег сходит весной с поля. О каждом человеке останется память хорошая или дурная. Эту память хранят и горы, и камни, и реки, и люди. Когда-нибудь будут стоять на этом перевале в горах люди и вспомнят Куликова. Проклянут или прославят?

Он сказал лейтенанту:

— Что ж, товарищ лейтенант, как будет ваше решение, так и мы будем...

— Не могу я отступать больше,— с мукой в голосе сказал лейтенант и зубами заскрипел, чтоб не заплакать.— Пойми, Куликов, не могу! Не могу я уйти за горы: как буду людям в глаза смотреть? Ведь офицер я, Красной Армии офицер, и есть у меня офицерская честь. Будем стоять насмерть!

Куликов тихо ответил:

— Есть стоять насмерть!

И они остались на перевале.

Легко драться, когда за твоими плечами, как крылья, воинское счастье, военная удача. Тебя самого несет в бой. Но много сил надо, чтобы драться, когда вокруг те-

бя военная беда, военное горе. И ни в одной армии мира не найти солдат, умеющих стойко драться в дни больших неудач. Так только русский солдат драться может.

Вот и беспечны мы, и добродушны, и неорганизованны, но когда грянула беда и ломит враг, и торжествует, и уж победные реляции шлет,— откуда и силы берутся у русского воина, и злость, и ярость, и умение! Стиснув зубы, говорит он себе: буду стоять насмерть. И стоит. Как скала, стоит.

Есть люди, у которых много сил для жизни, а для смерти — сил мало. Неудачливый, побитый невзгодами, исковерканный человек все за жизнь цепляется, все надеется лучше жить, и надежда эта дает ему силы для жизни.

Но когда сказал себе человек: буду стоять насмерть, здесь я умру, но не двинусь — для этого куда больше сил надо. Большая сила души нужна, чтоб драться у своей могилы и знать: за горами — жизнь, но я не уйду за горы.

Когда-нибудь на этот перевал будут приходить люди, чтоб увидеть место боя. И будут показывать друг другу: вот здесь стоял пулемет лейтенанта Дубровина, вот здесь за камнем был окоп Алексея Куликова. Куликов сам отрыл его своей лопаткой. Вот здесь на камне — выбоинка, сюда положил Алексей Куликов свою шрамоватую снайперскую винтовку и бил немцев. Вот здесь истек кровью Митрофан Лозовой, парторг. Вот могила Николая Руденко. Снимите шапки! Он был мальчик и умер как воин.

Вот по этой тропинке ползли немцы.

— Сдавайтесь! — кричали они, а Дубровин и Куликов отвечали им смехом и пулями. И горное эхо многократно повторяло их смех, словно сами горы смеялись над немцами. И сыпались на врага пули, гранаты и камни, словно сами горы дрались за себя.

Кровь окрасила мшистые камни. Поэты сочинят легенду: отчего черны камни в горах? От поганой вражеской крови. А вот камень с розовыми и красными прожилками — это в нем кровь Куликова.

Смотрите на этот камень. На нем следы пуль. Смотрите на эту землю. Она впитала кровь и расцвела чудесными цветами. Смотрите на эти вольные горы. За них

дрался пензенский колхозник Алексей Куликов с товарищами.

Они дрались так, словно этот перевал был последним клочком русской земли, а они с лейтенантом Дубровиным — последними русскими воинами.

— Сдавайтесь! — кричали им немцы, а они отвечали смехом. И, умирая, немцы так и не могли понять, почему упорствуют эти двое русских. Не дано фашистам понять величие русской души.

Что там, за горами — того не знал Алексей Куликов. Может, там и войска нашего нет, может, в самом деле мы окружены и всему конец? Но он сказал себе: буду стоять насмерть, и стоял. Нет, не может пропасть Россия, будем жить на вольной русской земле!

Так держались они день и ночь, а к утру откуда-то пришла рота и сменила их. И тогда почувствовал Куликов, что весь он изранен, и окровавлен, и смертельно устал. Он повис на руках санитара, беспомощный, как ребенок, слабый и телом и духом... И его повезли за горы.

Его повезли на машине по большому прекрасному шоссе, оно само бежало под шинами, ластилось к резине. Вдоль шоссе стояли диковинные деревья, каких никогда и не видал Куликов, а только слышал: кипарисы, пальмы, чинары... Но он не глядел на них и недолго им удивлялся. Он глядел на дорогу: по ней шли на фронт войска. Шли свежие полки с золотистыми автоматами и зелеными пулеметами, а за ними ползли и короткие и длинные пушки, и минометы, похожие на граммофоны, и закрытые серым брезентом «катюши». Шли русские танки, новенькие, еще краска на них не облупилась; шли американские автомобили, лакированные до блеска. Шли горные стрелки в широкополых шляпах со звездами. Шла конница в мохнатых бурках. Шли азербайджанцы, грузины, русские — может, пензенцы...

Куликов жадно всматривался в машины и в лица. Уж и ран своих он не чувствовал, словно их смазали целебной мазью. «Ага! — кричало все в нем.— Что же я-то говорил? Нет числа нашей силе, и никто нас покорить не может!»

И тогда сорвал он со лба кровавую повязку, чтоб не мешала видеть дорогу, и, размахивая ею, закричал проходившим мимо войскам:

— Эй! Ребята! Земляки! Счастливый путь! Дерись, как мы на перевале дрались. Не поддавайся! Бей фашиста! Его свободно можно бить. А я, ребята, скоро вернусь. Средний ремонт пройду и вернусь. До скорого!..

...А зовут его Алексей Куликов, и родом он — пензенский, сейчас служит старшим сержантом в батальоне капитана Рубакина,— тут его знают все.

1942

РАССКАЗЫ О СОЛДАТСКОЙ ДУШЕ

ПОСЛЕ СМЕРТИ

О жизни лейтенанта Воганова можно рассказать в трех словах: детство, школа, училище. А о смерти его надо писать тома и складывать песни. Бывает так, что в самой долгой жизни есть всего три часа, которые всей жизни стоят. У Воганова это были три последних часа.

Было дано ему в эти часы подняться на нечеловеческую высоту подвига, когда нет уже ни жизни, ни смерти, ни рубежей веков,— есть только вечность и бессмертие. В эти часы дотла сгорела жизнь Федора Воганова. Но немецкие танки не прошли!

Весь полк вышел встречать батарею Воганова, когда она возвращалась с огневой. Весь полк почтительно и удивленно глядел на этих людей и эти орудия так, словно впервые их видел. Отныне это были люди-легенда, люди-песня; эти полусожженные орудия принадлежали уже музеям и истории, но сами артиллеристы ничего не знали об этом: хмуро и молча шли они подле лафета, на котором тихо колыхалось тело их командира.

Федю Воганова похоронили под тополем, за околицей. Отзвучали речи. Отгремели прощальные залпы. Писарь, философски вздохнув, вычеркнул лейтенанта Воганова из списков личного состава, и полк вернулся к обычной боевой жизни.

Но вечером во всех батареях, во всех блиндажах, на кухне, на медпункте только и было разговоров, что о подвиге и смерти Воганова. Расспрашивали очевидцев, сами пытались вспомнить. И те, кто не видал никогда живого Воганова, досадовали на себя:

— Как же! Жил среди нас такой человек, а я прозевал...

А те, кто знал Воганова, старались припомнить все

встречи с ним, и его слова, идущие или не идущие к делу, все равно, и его привычки.

— Он любил рысь крупную,— сказал один ездовой.

— Бывало, за гречневую кашу все отдаст! — вспомнил повар.

И хотя многие из этих воспоминаний не объясняли ни подвига, ни величия героя, все горячо продолжали вспоминать, словно хотели из мельчайших осколков коллективно сложить портрет покойного и таким, как сложится, запомнить, чтобы потом, в старости, поведать детям и внукам.

Так оживал и начинал жить новой жизнью герой полка Федор Воганов, может быть, не совсем похожий на того кудрявого мальчика, каким он был в жизни, но такой, каким должен быть герой, по мнению артиллеристов полка.

А потом кто-то нашел карточку и показал товарищам:

— Это мы еще в училище снимались. Мы ведь с Вогановым однокурсники...

И все увидели на снимке щеголеватого молоденького командира с широко раскрытыми на жизнь глазами. Таким щеголем его никогда не видели в полку. Тогда секретарь партбюро показал партбилет Воганова. Маленькая фотография была залита кровью, кровь запеклась как раз на лбу и висках,— и все признали, что вот эта карточка похожа. Артиллерийский разведчик Дорохов долго разглядывал фотографию и потом выпросил ее у секретаря на одну ночь. Всю ночь он трудился над большим портретом Воганова и к утру показал товарищам. И все признали, что портрет похож. Кто-то сказал, правда, что нос не тот, Воганов был курносый, но разведчик обиделся.

— Человек красиво жил и красиво умер,— с горечью сказал он,— а вы хотите некрасивый нос. Нет! Пусть будет во всем красивый.

Портрет напечатали в дивизионной газете, и все, кто видел, решили: «Как живой!» — и сохранили номер на память.

После Воганова немного осталось имущества, но остался пистолет «ТТ» казенного образца, такой, как у всех. И хотя не было на нем ни серебряных насечек, ни просто памятных знаков и был он, вероятно, не лучше

других,— все командиры загорелись вдруг страстным желанием получить себе в вечное владение вогановское оружие, словно то был талисман славы.

— Да что у вас — своего пистолета нет? — рассердился подполковник, которого все одолели просьбами.

Но комиссар сказал, что вогановский пистолет по справедливости следует отдать тому командиру, чья батарея будет лучшей. И тогда началось в полку соревнование. Пистолет, которым отражал Воганов последнюю атаку немцев, стал призом.

Батарею, где некогда командовал Воганов, пополнили. В ней появились теперь новые люди, которые никогда Воганова и не видели, но с первого же дня они стали называть себя «вогановцами», потому что все в батарее звали себя так. И новый командир нисколько не обижался этим, а даже чуть-чуть гордился, словно и на него тоже падал отблеск бессмертной славы прежнего командира. Да, он гордился, что командует вогановской батареей, той самой вогановской батареей, которую знают все.

А потом приехали корреспонденты и стали жадно расспрашивать людей о Воганове, собирать малейшие подробности того, что еще недавно — ранним весенним утром — было былью, а теперь уже стало легендой, и по всей стране разнеслись вести о Федоре Воганове, о его короткой жизни,— в трех словах ее рассказать можно,— и о смерти, о которой надо тома писать и песни складывать.

Эта весть докатилась и до далекой сибирской деревушки, откуда был Федор Воганов родом. Статью о подвиге лейтенанта прочли матери, но из большой статьи, где много говорилось о мужестве и героизме, мать услышала только одно: Федюшка помер. И зарыдала. И упала на руки соседей и долго билась в их теплых руках. И соседи не утешали ее, а говорили просто:

— Плачь, Степановна. Плакать надо, но и гордиться надо!

А в сельской школе старый учитель вдруг прервал урок и голосом, дрогнувшим от волнения, сказал:

— Дети! Вот на этой парте когда-то сидел Федор Воганов, бессмертный герой... кудрявый мальчик...

И вся детвора оглянулась на эту парту, а нынешние обитатели ее — Ванюшка Гладких и Петя Костиков —

вспыхнули и застыдились от счастья. А учитель все глядел на парту и слова сказать не мог.

А потом на колхозном собрании граждане постановили назвать село, колхоз и весь район именем Федора Воганова и воздвигнуть памятник на площади. И вскоре из города приехал молодой скульптор и стал выпрашивать у Степановны фотографию сына. Она собрала все, что могла,— и ту, где Федюшка кучерявый школьник, и ту, где он щеголеватый командир,— но все это не устроило скульптора. Ведь не мальчику он приехал памятник ставить, а суровому воину! И он создал памятник таким, каким мечтал: остались Федюшкины глаза, широко открытые на жизнь, и кудри и лоб, но был это взрослый и суровый воин, словно продолжал Федор Воганов жить, расти, мужать и после своей смерти.

Я хотел бы увидеть этот памятник. Я завидую Воганову. Сколько еще отпущено мне жить? Может быть, час, может быть, месяц, год, тридцать лет. А Федор Воганов будет жить всегда. Вечно будет стоять он на площади у родного дома, во всем красивый и молодой, и потомки будут вспоминать его короткую жизнь и легендарную смерть и рассказывать о ней своим потомкам.

Это — бессмертие.

1942

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Кровь не успевала замерзнуть на клинках, такая была рубка. Горячий пар шел от белых дубленых полушубков, такая была скачка. Трое суток в седле, трое суток в боях, только снежный прах из-под копыт, да храп коней, да свист шашек, да алые башлыки за спиной, как крылья. И, как во сне,— хутора, пожары, дороги, косматый дым над станицами, кровь и пепел на снегу, и над всем — острый запах горячего конского пота, гари и дыма, старый, знакомый запах боя.

Победа окрыляет. Люди забыли о сне, об отдыхе. Одубели ноги в стременах, на валенках ледяная корка, обветрились, облупились лица, от победного казацкого гика охрипли глотки. Драться! Гнать и настигать врага, рубить на всем скаку, как лозу, поганой крови не

стирая с шашек! И трофеи считать некогда, и трофейный коньяк пить некогда — гнать и гнать, вызволять родную донскую землю.

Еще долго могли без устали драться и нестись сквозь косматую снежную степь люди, да кони выдохлись, кони оказались слабее людей. Седые от инея, измученные, они дрожали всем телом, дышали трудно и хрипло, жадно глотали морозный воздух. И, взглянув на них, майор Дорошенко, командир казачьего полка, с сожалением понял, что и коням, и людям, а вероятно, и ему самому нужна передышка. Он сказал адъютанту кратко:

— В станице людям и коням отдых. До зари.

Казаки вошли в станицу поздним вечером. И все было как всегда в эти дни. Бабы, смеясь и плача, припадали к стременам, обнимали ноги казаков, заглядывали в глаза и искали среди этих богатырей в мохнатых, покрытых снегом бурках своих мужей и сынов. И каждой казалось, что обязательно должен быть здесь, среди этих родных людей-освободителей, он — самый родной и желанный.

Штаб разместился в теплой, просторной хате. Майор Дорошенко, отдав необходимые распоряжения и убедившись, что все в порядке, кратко сказал адъютанту: «Пошли!» — и вышел на улицу. Адъютант тотчас же выскочил вслед за ним, едва успев набросить бурку на плечи.

Адъютанта майора звали Васей Селивановым. Он только недавно с великим нетерпением окончил училище и с великим рвением выпестовал себе усы, полагая, что без усов нет казака. Нынешние бои были его первым огневым крещением. Его первый бой был победным боем. Он не знал горьких дней неудачи. И война представлялась ему такой, как он видел ее в эти три дня. Рубка лозы—вот что такое война. Веселая рубка лозы.

Майора Дорошенко он уважал, даже почитал, но немного побаивался. Побаивался не только как начальника, но и как человека. С веселыми, беспечными, легкими людьми Вася сходился быстро, хмурых же побаивался всегда, а майор Дорошенко был непонятно хмур, и молчалив, и лицом умен. Не таким должен быть казак, по мнению Васи,— казак воюет весело, и гуляет весело, и умирает весело, а у Дорошенко и в бою брови насуплены, губы сжаты и горькие морщинки у рта. Но од-

нажды довелось Васе увидеть, как блестят мрачные глаза майора — страшным огнем горели они, братцы мои, и Вася вдруг почувствовал себя желторотым мальчиком и догадался, что есть в этой войне, и в жизни, и в людях что-то такое, чего еще не дано ему понять и почувствовать. Но об этом некогда было Васе подумать, веселая рубка лозы захватила его целиком. Одно только правило положил себе Вася по отношению к майору: лишних вопросов не задавать, понимать с полуслова, а длинные беседы держать при себе.

И сейчас, на улице, он не стал спрашивать Дорошенко, куда это они идут ночью, молча шел вслед за ним и даже догадок особых не строил. «Верно, караулы поверять идем».

Но Дорошенко вдруг остановился у одной избы и постучал в оконце.

— Куда это мы, товарищ майор? — невольно вырвалось у Васи.

— В гости.

Дверь распахнулась, и на пороге появился старик с лампой. Он удивленно всмотрелся в гостей и, вдруг узнав, радостно заулыбался.

— Господи боже ж мой,— засуетился он,— товарищи, да пожалуйте, пожалуйте ж в хату. Как же так? Боже ж ты мой, радость какая!

Казаки вошли в избу. Было в ней пусто, и холодно, и одиноко, и Вася никак не мог понять, что им делать тут, в этой хате бобыля.

Майор тяжело опустился на лавку. Он молча следил за тем, как суетится старик, потом протянул к огню руки, сперва левую, на которой не хватало пальца, потом правую, и казалось, что за этим он и пришел сюда,— вот так посидеть у огня, помолчать, обогреться после дороги. Потом он потер руки, пальцы хрустнули, и поднял голову.

— Стало быть, не признал ты меня, дед?

— Ась? — удивленно отозвался старик.

— Не узнал, говорю?

Старик нерешительно подошел к нему и всмотрелся.

— Не взыщи, батюшка,— виновато сказал он,— памятью слаб.

— А мы встречались. И недавно. Целые сутки я у тебя жил.

— А-а,— обрадовался старик,— жил, жил... Много вас тут прошло, жило. Как же... только когда ж это? Запамятовал, не взыщи...

Майор вдруг резким движением сбросил с плеч бурку и, отстегнув от ремня полевую сумку, швырнул ее на стол. Вася следил за ним недоумевающим взглядом. Ничего не мог понять он в этой встрече. Майор что-то достал из сумки, выложил на стол, и Вася увидел, что это были Георгиевские кресты — два серебряных крестика на стареньких, потертых ленточках.

— Возьми свои кресты, дед! — громко произнес майор.

Старик растерянно взглянул на кресты, потом на майора, потом на кресты опять.

Вдруг он испуганно съежился.

— Может, я,— пробормотал он,— может, что обидное я сказал тогда? Может, оскорбил?

— Нет, чего уж,— усмехнулся майор.

— Оскорбить не помышлял. А только на сердце у меня в ту пору горько было. Может, и сказалось что невпопад, тебе в обиду. Так ты, родимый, не осуди.

Вася сидел теперь, широко раскрыв глаза, и глядел на этих непонятных ему людей, и все не мог сообразить, что между ними вышло.

— Дождевая вода, и та горькая, потому она и камень долбит,— произнес майор.— Нет, я не обиделся на тебя, дед. Жестокие были твои слова, уж на что я камень — а и меня продолбили.

Старик машинально взял кресты в руки и потер их шершавой ладонью. Тускло блеснуло серебро под огнем лампы.

— У меня за немцев кресты,— дрогнувшим голосом сказал он,— ерманцами мы их тогда звали. Уж рубили, рубили! Ты не вини, родимый, старого человека. Горькое у меня в ту пору сердце на вас было...

— А у меня? — вдруг закричал майор, да так, что Вася даже вздрогнул.— А у меня тогда не горькое было? Думаешь, дед, легко мне было командовать «на конь» и прочь? Легкое, думаешь, дело из родных станиц уходить?

— Большое тогда отступление было,— пробормотал старик.

— Мне, может, каждая слеза станичной бабы в ду-

шу падала, душу жгла,— горячо продолжал майор.— Мне, может, каждый младенческий крик сердце на куски разрывал. Ведь и мои где-то так тоже...— Он заскрипел зубами и замолчал.

С минуту длилось молчание, и в тишине было явственно слышно, как хлопает о ставни ветер, словно птица крылом. Майор вдруг подошел к старику и, глядя на него в упор, бросил отрывисто:

— Помнишь, что ты крикнул мне... когда кресты бросал?

— Как не помнить,— пробурчал дед.

— И я помню. «Ироды,— крикнул ты мне,— опозорили вы русскую славу, опозорили!» — и швырнул свои «Георгии» в пыль. Так?

— Так,— хмуро отозвался старик.

— Я те кресты поднял. Черт его знает, всего навидался я на своем веку, не человек стал — камень, а крик твой, дед, до сих пор у меня в ушах звенит. Я ведь все понял, все понял: за кого ты счел меня тогда, что ты обо мне, казаке, думал. Вот твои кресты, дед. Я их три месяца за собой таскал. В сумке были, а словно я их на груди носил. Тяжелые твои кресты, дед. Тяжелые! Возьми их назад. Хочешь — на груди носи, хочешь — в сундук спрячь. Спроси у моего адъютанта, он тебе расскажет, как мы твоих ерманцев лупили. Не хуже вашего, дед. Расскажи ему, Вася.

И он вдруг расхохотался громко и весело, и это было в первый раз, что видел Вася майора смеющимся.

— Признал теперь, дед? Вспомнил? — смеялся майор.

— Признал,— улыбнулся и дед,— как не признать.

Он взял со стола лампу и поднес ее прямо к лицу майора. Огоньки загорелись в мрачных глазах Дорошенко.

— Ну, такой же? — усмехаясь спросил он.

— Словно бы у тебя на лице рубцов прибавилось. Ась?

— Казаку рубец, что Георгиевский крест,— награда,— снова усмехнулся майор.— А и у тебя, дед, словно бы морщин больше стало!

— Война, сынок, всех метит. Военного человека шрамом, нас, отставных,— морщинкой.— Он поставил лампу на стол и вздохнул.— Как морщинам не быть!

Что мы тут без вас пережили... Старики, бывало, ко мне сойдутся. Беседуем шепотком. «Ты,— говорят они мне,— Тимофей, старый казак, воевал, кавалер. Тактику и стратегию понимаешь. Как, мол, по-твоему, что дальше будет?» А какая у меня, товарищи, стратегия? Карт у меня нет, плантов нет, известия, и те редко доходят. Видывал я старых немцев — ерманцев, поглядел и на нонешних. По моей стратегии выходит: должны мы фашиста побить, такой я себе план строил. А покуда он по моей хате ходит, моими половицами, как хозяин, скрипит... эх! — Он задумался на минуту.— Или еще бабы забегут, то одна, то другая. «Ты б пошел, дед, кудахчут, артиллерию б послушал. Наступают наши аль отступают?» Ну, выйдешь на бугор, обернешь на восток ухо, слушаешь... Ветер шумит в степи, артиллерия бьет... Ухо слышит: уходят наши, удаляются. Ухо слышит, а сердце не верит. Не верит сердце, товарищи, уж такое у меня, у старика, сердце. Не верит оно, что может немец русского человека одолеть. Ну, вернешься к бабам и шепнешь им: «Не сомневайтесь, мол, ждите, вернутся наши, не обманут». Вот вы и вернулись,— он вдруг по-стариковски всхлипнул, затрясся весь,— вернулись, родные. Не обманули!

— Не обманули, дед?

— Не обманули.

— Эх, дед! — майор вдруг пошел к нему и крепко стиснул за плечи.— Эх, казачина!

Даже Васю взволновала эта сцена, чуть не всхлипнул и он. До сих пор земля, на которой он дрался, казалась ему только полем веселой сечи. А сейчас словно края раздвинулись, и увидел он дали, и всю землю под кровью и пеплом, и курганы в степи, и как стоят на них, обернув на восток скорбные лица, наши люди и прислушиваются. Ветер ли то шумит, или наши идут? Беда ли то хлопает крыльями, или, наконец, свобода?

— Что ж, долго погостите у нас али как? — улыбаясь и вытирая слезы, спросил старик.

— До зари, дед,— ответил майор.— Не одни у меня твои кресты, дед, не один ты ждешь. И за Северным Донцом дела у нас есть. И в Донбассе ждут. А в Запорожье ждут меня мои...— Он запнулся и через силу закончил: — Может, одни могилы меня там ждут, все одно торопиться надо.

— Эх, беда какая,— всплеснул руками старик,— и угостить-то нечем! Все проклятые гитлеровцы вытаскали.

— Найдем! Вася, фляжку! Давай, дед, стаканчики. Да вот, есть один.

— Нет, постой,— хитро усмехнулся дед,— этот не годится. Я сейчас.

Он подошел к двери, поднял половицу и нырнул куда-то под пол. Скоро он появился оттуда. В руках у него были три старинные казацкие червленые чарки.

— Дедовские,— торжественно произнес старик, ставя чарки на стол,— уберег от немцев.

Майор стал медленно наливать водку.

На заре полк уходил из станицы. Откуда-то из-за Дона поднималось и растекалось по небу огромное красное солнце, и лучи его, как золотые сабли, замахнулись уж над Северным Донцом, словно солнце перешло в атаку.

Глядя на это солнце, встающее над синей от мороза степью, старик сказал майору:

— Кровавый этот год будет, сынок. Ишь заря какая.

Он стоял, осененный солнцем, седой, худой, без шапки, и голос его звучал пророчески.

— Великая сеча будет, сынок, ох, великая! И в той сечи погибнет, расточится враг. И люди очистятся, и братья соединятся, и мать встретит сына, и жена — мужа, и дети — отца.

Отдохнувший конь бодро взял рысь и вот уже вынес майора на околицу и понес, и понес навстречу новым боям и сече.

А старик остался у околицы. Долго с завистью глядел он, приложив ладонь ко лбу, на гарцующих казаков. И вздыхал, что молодость прошла и не вскочишь теперь на доброго коня, не понесешься в сечу рубить ерманца... Потом повернулся и пошел в станицу. Нынче условились старики собраться в колхозе поглядеть: чем весну встречать, чем пахать, чем сеять.

А над станицей, над степью, над казаками, окутанными снежной пылью, все выше и выше поднималось солнце, кроваво-алое, веселое, молодое солнце сорок третьего года.

1943

ВЛАСТЬ

Даже в ребяческие годы он никогда не мечтал о профессии летчика, моряка или артиллериста. Копируя взрослых, он собирал на пустыре детвору и, взобравшись на холм ржавого заводского хлама, кричал, захлебываясь:

— Митинг открыт! Пролетарские дети всех стран, объединяйтесь!

В школе он был вожаком пионеров, в горпромуче — вожаком комсомольцев, на шахте — партийным вожаком; друзья в шутку называли его «профессиональным революционером». Никогда его не влекло ни к какой другой профессии, кроме этой единственной: вести за собой людей.

В комитете говорили ему:

— Алексей, надо поднять народ!

И он, весело тряхнув головой, отвечал:

— Подыму!

Он подымал комсомольцев на лыжную вылазку, колхозников — на уборку, домохозяев — на древонасаждение, шахтеров — на стахановский штурм. Он и сам не знал, отчего люди идут за ним — в стужу, в ночь, в непогоду. У него не было ни огненного красноречия, ни пламенных слов,— горячее сердце, вот и все, что он имел. Но он знал своих ребят и ключи к ним — молодые или бородатые, все они были его ребята, его народ,— и он знал свою власть над ними. И эта власть, в которой не было для него личных выгод, а только одно беспокойство, и вечное горение, и простуженное горло, и небритые щеки, и ночи без сна,— эта власть над душой человека сама по себе была ему наградой.

Война застала его секретарем горкома партии и превратила в комиссара батальона. Он был хорошим комиссаром, его любили. И он любил свой батальон. Эти окопные парни, эти пропахшие порохом воины были ему давно знакомы. Ни шинель, видавшая виды, ни подсумки, ни снаряжение не могли скрыть в них его старых ребят: это был тот же его народ — раньше он поднимал его в труд, теперь поведет на драку.

Но вот на днях шел бой за курган «Семь братьев», и батальон его полка не поднялся в атаку. Батальон лежал под огнем у кургана, и никакая сила не могла

оторвать бойцов от влажной, сырой земли, к которой они жадно приникли, в которую впились ногтями, вдавились коленями, прижались лицом.

— Ну, комиссар, надо подымать народ! — сказал Алексею раненый командир батальона.

И Алексей, тряхнув головой, ответил:

— Подыму!

Он побежал, придерживая рукой полевую сумку, к кургану. Вокруг, как хлопушки, разрывались мины, и он, сам не зная почему, вспомнил вдруг комсомольскую пасху 1923 года, и факельное шествие, и «Карманьолу», и как тогда мечтал о подвиге.

«...На фонари буржуев вздернем... Эй, живей, живей, живей!» Бежать уже нельзя было, и он пополз. Он пополз к бойцам и громко, чтобы его все услыхали, весело закричал:

— Ну, орлы, что же вы? Свинцового дождика испугались?

Вот так и надо было: не приказом, не окриком — шуткой, потому что в инструментальном ящичке комиссара не найти ключа к простому сердцу более верного и надежного, чем этот: шутка.

— Ну, орлы? Эх, орлы! Подымайтесь, простудитесь. Вперед!

Но никто не улыбнулся его шутке, никто не отозвался и никто не поднялся на его призыв. Он пополз тогда вдоль всего боевого порядка — может быть, его не слышали? Он подползал чуть не к каждому из бойцов, обнимал и тряс за плечи, искал глаза, но люди прятали от него глаза, отворачивали головы и еще пуще зарывались в траву.

И тогда он понял: нет у него никакой власти над ними.

Он привстал на колено и огляделся с тоской: вокруг лежали его ребята, его народ. Вот он знает их: этому, сибиряку, он посоветовал однажды, чтó ответить жене на письмо; того, уральца, принимал в партию, а этот, земляк, донбассовец, вероятно, коногон,— лихой танцор и свистит по-разбойничьи, еще недавно комиссар видел, как он пляшет, и аплодировал ему. Что ж он теперь колени в землю?..

Он закричал в отчаянии:

— Вперед, товарищи! Что же вы? Герои, вперед!

Но никто не двинулся с места, и только немецкие пули сильнее защелкали вокруг.

«Ведь перебьют же, всех перебьют»,— с горечью подумал комиссар, и сознание беспомощности и потерянной власти, и стыд, и обида, и гнев вдруг охватили его со страшной силой.

Он поднялся во весь рост и закричал:

— Вперед! В ком совесть есть, вперед! За Родину!

И, не оглядываясь, побежал вперед. Один.

Он бежал под свинцовым дождем, охваченный отчаянием и злостью, и в мозгу стучало: «Эй, живей, живей, живей! На фонари буржуев... вздернем...», но уже не весело, а сердито, ожесточенно, словно пел сквозь стиснутые зубы; и курган был все ближе и ближе; и казалось, курган сложен весь из свинца, и теперь весь свинец обрушивался на него, и свистел над головой, и падал рядом, и странно, что он еще не убит, но ему было все равно. Все равно! Все равно! «Эй, живей, живей, живей... На фонари...»

И вдруг он услышал топот шагов сзади и шумное дыхание,— он оглянулся и увидел: за ним с винтовками наперевес бегут бойцы. По всему полю подымаются, встают, бросаются вперед бойцы, на штыках — солнце...

«Пошли-таки? — удивленно подумал он.— Поднялись? Кто же поднял их?»

Теперь люди бежали рядом с ним, перегоняли его, он видел их потные лица, и мокрые рубахи, и рты, обметанные зноем, и тогда он сам побежал быстрее, чтоб не отстать от бойцов, и курган был все ближе и ближе, а еще ближе — черные дымки разрывов. Алексей догадался, что это огневой вал наших батарей, что они прижались к самому валу, и первый весело закричал:

— Ложись! Ложись!

И увидел, как послушно и быстро залегли бойцы.

Он перевел дух.

— Сейчас батареи перенесут огонь, и мы двинемся дальше! — Он крикнул это громко, чтобы все услышали.— Наши батареи перенесут огонь, и мы пойдем дальше.

Он сказал это, и слова его понеслись по полю, но самого его вдруг охватило сомнение: пойдут ли? Пойдут ли снова люди? Что, если это только минутный по-

рыв, взрыв стыда? Что, если всей его комиссарской власти над солдатской душой только и хватило на то, чтобы зажечь в бойце минутный порыв, и вся его власть измеряется десятью минутами и тридцатью метрами целины?

Батареи уже били по кургану. Над курганом взлетали груды земли, обломки балок, щепки; немцы пригнули головы, их огонь стал слабее.

— Вперед! — закричал Алексей, подымаясь.— Вперед, герои, за Родину, за Сталина!

И увидел: поднялись те, что лежали рядом, за ними поднялись передние, а затем и все поле. Снова вспыхнуло «ура» — хриплое, знойное, ожесточенное — и снова на штыках солнце, и шумное дыхание рядом, и ветер воет в ушах.

«Вот! — ликующе подумал на бегу Алексей.— Пошли-таки».

— Вперед! — закричал он снова, хотя кричать уж не надо было, но сердце было переполнено. Это не он, а сердце кричало и пело: «Вперед!»

Вот они бегут рядом с ним, его ребята. Он увидел коногона: по его цыганскому лицу текла кровь, со лба на щеки, он не замечал... «Эх, расцеловать бы их всех! Здорово, здорово бегут». Это он ведет их. Как раньше вел. Как всегда. Как тогда, в молодости, на комсомольскую пасху. Факелы. И запахи смолы и первой сирени... Как тогда, на субботник, и запах акаций и сладкий, до горечи сладкий запах угля и дыма... «Сейчас пахнет полынью и еще чем? Свинцом? Свинец не пахнет. Дымом? Старый, знакомый запах смерти». Здорово, смело идут его ребята! И он сам здорово, смело идет! Это он ведет их. На бой. На смерть. На победу. Как всегда вел.

Но вести людей на веселье, когда факелы, и фонари, и запахи смолы и первой сирени,— легко. Вести людей на труд, на привычное и естественное для человека дело — тоже не трудно. Но какой же властью, какой неслыханной властью надо обладать, чтобы повести людей на смерть, на муку, на состояние, противоестественное человеку, повести не приказом, не страхом, а одним горячим сердцем, вот как сейчас он ведет под огнем, по целине, пахнущей полынью и дымом, к кургану, который все ближе и ближе. Вот у него эта власть! Неслыханная власть. Вот он владеет сердцами этих людей.

Вот он скажет: «В штыки!» — и люди бросятся в штыки. Он скажет: «На смерть!» — и люди пойдут на смерть.

«А что, если я скомандую: «Назад!», или «Бросай оружие!», или «Сдавайся немцам!»? Он увидел в эту минуту уральца: на его лице пылало пламя боя, и злости, и ярости, никогда еще не был он таким красивым, как в эту минуту, и Алексей понял: растопчут. Его, комиссара, растопчут, задавят, приколют, если он скомандует «назад». «Приколют, ей-богу приколют»,— обрадованно подумал он. И от этой мысли ему вдруг стало хорошо и весело, словно он увидел и высоту своей власти, и ее пределы, и власть, которая над ним, и над уральцем, и над сибиряком,— власть родной земли, горько пахнущей полынью.

И уже больше ни о чем связно не мог думать комиссар. Курган побежал под ногами. Полынь. Полынь. Полынь. Отчего от запаха полыни свирепеет сердце? Они бегут рядом, комиссар и его бойцы, и вот уже немецкие блиндажи, и порванная проволока, и фриц с распоротым животом, и яростное лицо уральца, и гребень кургана. И навсегда запомнилось, как на вершине ударил резкий ветер в лицо и распахнулась даль, и он увидел синие терриконики на горизонте, и степь, и реку, и белые, словно серебряные, меловые горы вдали...

ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ

1

Всяко бывает в бою. Бывает и так: оглянешься направо — сосед справа немец; оглянешься налево — сосед слева немец; в тылу — враг и с фронта — враг. Со всех четырех сторон зажал тебя противник, перехватил дороги, окружил. Тебе остается, прижавшись к последней пушке, драться до последнего вздоха.

Тогда-то и возникает перед каждым воином великий вопрос о жизни и смерти.

О цене жизни.

О расплате за смерть.

Любой ценой готов заплатить трус за свою никчемную жизнь. Ценою позора, предательства, рабства го-

тов он купить себе право дышать и ползать по земле. И вот он поднимает перед врагом дрожащие руки и сдается. Так он покупает себе клейменую жизнь, жизнь с вечным клеймом предателя и труса.

Лучше смерть, чем рабство, говорит себе у последней пушки настоящий воин. Лучше умереть с пистолетом в руке, чем жить с руками за спиною. Ему тоже дорога жизнь. Необыкновенно дорога. Тем дороже должен заплатить за нее враг. Горы вражьих трупов — вот расплата за смерть одного нашего бойца. Так продает свою жизнь воин и приобретает бессмертие.

И еще одно решение должен принять боец-большевик у последней пушки, в отчаянном положении: решение о партийном билете. Труп большевика может достаться врагу. Партийный билет достаться не должен.

И коммунист уничтожает партбилет вместе со своей жизнью. Они умирают вместе, большевик и его партбилет. Они не сдаются.

Они умирают вместе — вот он, закон жизни и смерти большевика. Предательство — умереть, оставив партбилет врагу. Вдвойне, втройне предательство — уничтожить партбилет для того, чтобы сохранить себе жизнь.

2

Огненное кольцо окружило Никиту Шандора. Огненное в самом буквальном смысле этого слова. Горел сарай, в котором находился Шандор, горела хата рядом, горела сухая трава подле хаты. Казалось, весь бугор — последнее прибежище окруженной врагами горсточки бойцов — горит. Над ними метались косматое пламя, дым и смрад.

Как пробился политрук Никита Шандор сквозь этот ад, было бы долго рассказывать. Он очнулся подле реки. В его нагане остался последний патрон. Река была тихая и холодная.

В селе за рекой исчез политрук Никита Шандор: появился курносый деревенский паренек в рваной стеганке и стоптанных туфлях. Если его спрашивали, кто он, он отвечал:

— Я тутошний.

Только три вещи было у него от политрука Шандора: партбилет, наган с последним патроном и часы. Хо-

рошие ручные часы. С ними Никите было почему-то жалко расставаться.

Когда немецкий танк нагнал Шандора на дороге, часы, неосторожно блеснувшие из рукава, выдали его. Немецкий офицер сразу же вцепился в них мертвой хваткой. Содрал. Стал ощупывать одежду.

— О! Партизан! — побелел он, нащупав под стеганкой наган. — Партизан! — закричал он со злобой и ужасом и швырнул Шандора на танк, на площадку подле башни.

Танк тронулся. Шандор не сомневался теперь: «Вот это моя последняя дорога».

Из люка на него зло смотрели глаза фашиста. Черный глазок пистолета караулил его каждое движение.

«Это моя последняя дорога. Задержан с оружием. Найдут партбилет... Какое высокое небо над головой! Лучше умереть от пули, борясь за жизнь, чем просто так, глупо, у стенки. Какой крутой обрыв впереди! Там речка, кустарник, камыши... Это моя последняя дорога...»

Танк вдруг сделал крутой поворот. Офицер шатнулся, черный глазок пистолета на секунду упал куда-то вниз. В эту единственную секунду и спрыгнул с танка Никита Шандор. Свалился под откос. Покатился к реке. Пополз, обдирая в кровь руки о колкий кустарник. Над ним засвистели пули. Он их не слышал. Жить!

В селе за рекой вновь произошло превращение Никиты Шандора: он сбросил кепку, добыл рваную шапку, какой-то старик отдал ему свою справку, что, мол, колхозник такой-то был командирован на окопные работы. Теперь, если Шандора спрашивали, откуда он, он отвечал:

— Иду с окопов.

Ни часов, ни нагана теперь не было у него. Наган жаль. Но трудно пройти с наганом сквозь вражий тыл. А с партбилетом? Что, если немцы схватят, обыщут, найдут партбилет? «Значит, умру, как и жил, коммунистом». Но пока он жив, он партбилет не бросит. Здесь, на земле, захваченной немцами, он оставался коммунистом. Здесь, в тылу врага, он оставался большевиком. Вот его партбилет. Он нес его, как знамя.

Так он шел по этой земле день, второй, десятый. Осторожно входил в село. Видел фашистские зверства и бессильно сжимал кулаки. Он был безоружен, он ничем

не мог помочь старику, которого гитлеровцы вели вешать, женщине, у которой отбирали корову. Но и безучастным, трусливо равнодушным, посторонним он оставаться не мог. Потому что он был коммунистом.

По ночам он толковал с колхозниками о том, как надо ковать победу. На рассвете, уходя из села, он говорил:

— Мы еще вернемся, товарищи.

Он нашел в степи кипу советских листовок, сброшенных нашим самолетом. Он не прошел мимо. Он припрятал листовки под стеганку, туда, где раньше был наган. В железнодорожной будочке он прочел листовку старику стрелочнику, растолковал и сказал:

— Раздай, дед, на линии.

И научил, как и кому раздать. Потому что он оставался политруком и коммунистом.

Однажды он нашел на дороге брошенный кем-то партийный билет. Он поднял из грязи эту дорогую красненькую книжечку и прочел фамилию ее владельца: Сазонов Андрей Иванович.

— Подлец! — прошептал он, разрывая билет. — Сазонов Андрей Иванович. Запомним.

3

Никиту Шандора окружило огненное кольцо, и он прошел сквозь него, сквозь огонь и косматое пламя, сохранив и жизнь и партийный билет.

Ивана Винокурова окружала вода.

На его глазах рухнул взорванный мост, он не добежал пятнадцать метров. Винокуров остался на острове. Давя все на своем пути, шли на него немецкие танки. Он метнул в них последнюю гранату и бросился через сады, канавы, изгороди. Куда — он не знал сам.

Так он добежал до обрыва. Дальше некуда. Перед ним шумела вспучившаяся река. Сзади грохотали вражьи танки. Короткой, очень короткой была эта секунда под обрывом, но и ее было достаточно, чтобы вспомнить о партбилете. Все сбросил с себя Винокуров — одежду, часы, деньги выкинул, а партбилет сохранил. Взял в зубы. Стиснул крепко. И бросился вниз с обрыва.

Страшна была сейчас река. Необыкновенно широка. Дьявольски холодна. Предательски пустынна. Только

макушки деревьев, точно утопленники, синели на ее поверхности. Да пузырьки вскипали на воде — это с острова по реке били немецкие танки.

Винокуров поплыл к группе затопленных деревьев. Передохнуть. Дождаться сумерек.

«Это мой последний шанс жить»,— подумал он.

Вдруг кто-то тихо окликнул.

— Винокуров!

Он вздрогнул. Черт! Тут можно поверить и в русалок. Он оглянулся. На воде под деревом виднелась голова. Только голова, но он узнал ее.

— А, младший лейтенант,— улыбнулся он товарищу одними глазами.

Теперь их было двое. Они «висели в воде», обхватив руками и ногами шершавые стволы деревьев и погрузившись до подбородка в ледяную воду. Ждали сумерек. С острова доносились то очень близкие, то далекие голоса немцев.

Так прошел час. Все это время Винокуров держал партбилет в зубах. Когда дышать становилось трудно, он вытаскивал из воды руки, брал партбилет и долго, шумно, облегченно дышал всем ртом. Все тело его нестерпимо стыло, по ногам острой волной пробегала судорога, зубы начинали все сильнее и сильнее стучать. Тогда он еще крепче впивался ими в партийный билет и говорил себе: «Ничего. Надо! Надо жить!»

— Не могу! — вдруг прохрипел младший лейтенант.— Судорога.

Он оторвался от дерева и поплыл к острову. Винокуров за ним. Смеркалось. Немцев не было слышно.

Они вышли на берег и стали бегать, чтобы согреться.

— Согреемся и поплывем,— говорили они друг другу.— Поплывем к своим.

В эту ночь на пустынном берегу острова они нашли еще двух наших людей: бойца, дрожащего от холода, и старика — местного жителя. Старик пообещал к утру пригнать лодку и ушел в село.

В эту ночь Винокуров и его товарищи спали плохо. Лежали в выкопанной ими яме, дрожали от холода и гадали: не обманет ли старик, пригонит лодку?

— А если пригонит, куда плыть?

— Как куда? К своим.

— А где они, свои? Может, и тот берег уже немецкий.

— Надо узнать. Плыть надо.

— Доплывем ли?

— Все равно. Пусть хоть мертвых, но к своим прибьет.

К утру старик пригнал лодку.

— Ветхая, стариковская, самодельная,— сказал он, извиняясь.— Но плыть, между прочим, можно.

Про село рассказал, что там хозяйничают немцы. Про тот берег ответил:

— Об этом я неизвестен.— И руками развел.

Младший лейтенант вызвался пойти с дедом в село на разведку. Он был здешний, ему пройти легче. Они ушли.

Оставшиеся нервно ждали его весь день.

— Неужто попался?

— Да нет, он здешний, вывернется.

— А если обыщут, найдут партбилет?

— А партбилет бросить надо было! —сердито сказал боец.— Я свой зарыл. Здесь, на острове, зарыл. Первым делом.

Он хотел было похвастаться тем, как он это ловко и хитро сделал, но, взглянув на Винокурова, сразу умолк.

Винокуров тоскливо смотрел на реку. Он ничего не говорил, ничего не ответил. Но у него было такое чувство, словно он потерял товарища, словно он снова остался один-одинокий на острове. Теперь он не мог бы довериться этому человеку, с которым еще вчера ночью, обнявшись, лежал в яме. Такой продаст. Зачем он зарыл партбилет? На всякий случай? Значит, где-то в тайниках души он уже решил: «Если что... если попадусь, сдамся... Отрекусь от большевиков...» Сам того не сознавая, сам себе в том не признаваясь, он уже решил так. Оставил лазейку трусости, дал трещину. Нет, Винокуров не мог теперь верить этому... этому человеку без партбилета.

К вечеру вернулся дед и сказал:

— Фашисты вашего товарища схватили. Рыщут,— прибавил он. Неожиданно смахнул слезу.— По всему острову рыщут. Чисто волки.— Он помолчал, пожевал губами и сказал:— Ну, счастливого вам пути, ребята.

Той же ночью Винокуров и боец поплыли на дедовской самоделке. Они плыли осторожно и наугад, по старым рукавам реки и плавням.

Всю эту дорогу они прошли молча.

4

И Никита Шандор и Иван Винокуров добрались до своих. Они сохранили жизнь и не потеряли чести. В самые трудные дни их жизни они остались большевиками. Сквозь огонь, воду и вражье кольцо они пронесли свои партийные билеты, не запятнав их изменой.

Вот они предо мной, эти партийные билеты. Размяк, покоробился от воды партбилет Ивана Винокурова. Почернел, загрязнился партбилет Никиты Шандора,— он пронес его в туфле.

Когда-нибудь в музее Великой Отечественной войны эти партийные билеты расскажут нашим потомкам о том, что никогда на земле не было более стойких и более верных людей, чем воины-большевики.

Ноябрь 1941

ДЕЗЕРТИР

Струсил.

Просто струсил Кирилл Журба, молодой человек из села Кошаринцы.

Бросил винтовку.

Бежал.

Бежал, ног под собой не чуя. Оставил товарищей. Потерял совесть. Забыл честь. Ничего не помнит. Как бежал — не помнит, что кричал — не помнит. Только помнит, как тряслись в животном страхе челюсти да екало заячье сердце...

И вот далеко позади остался бой, смолкли крики, стихли выстрелы. Тишина...

Упал в рожь Кирилл Журба. Впился ногтями в землю. Зарычал от радости:

— Жить буду! Долго жить буду!

И заплакал.

В этот миг на шоссе возник грохот. В бой шли машины. Везли людей, везли снаряды. Опять заметался в ужасе Кирилл Журба. Найдут! Найдут его! Господи боже мой, куда же спрятаться?

Встал на корточки. Огляделся. Огромное голубое небо над головой. Широкая степь вокруг. И во все стороны горбатые, как мосты, дороги. Большая грейдерная — в город. Узенькие, припушенные золотой соломой,— в села.

А если взять все дороги, как вожжи, в руки и разобрать, легко найдется среди них маленькая тощая дорожка в родные Кошаринцы.

Вон там, за косогором, начинаются массивы кошаринской озими — прошлой осенью Кирилл сам ее сеял,— рожь его спрячет. А дальше, подле реки, село, там родился Кирилл, по тем улицам бегал босоногим хлопчиком,— родное село укроет. Там в селе мать, и сестра Женя, и черноокая дивчина Настя,— они его успокоят, приголубят, в теплых, мягких подушках спрячут.

Встал Кирилл Журба. Отряхнул с колен землю. И пошел в родные Кошаринцы.

У околицы его остановила колхозная охрана. Бригадир Петр Воевода вгляделся в красноармейца и удивленно протянул:

— Э! Да это же Кирилл! Здорово, Кирилл! Надолго?

— На час,— потупив глаза, ответил Журба,— командир отпустил на час.

— А! Ну, иди! — сказал Воевода и проводил его острым взглядом до самой хаты.

Кирилл переступил порог родной избы, снял фуражку и увидел мать.

— Мама! — закричал он не своим голосом.

— Кирилл? Сыночек! Надолго?

Он хотел сказать ей, что совсем пришел, а почему-то сказал:

— На час.

Мать засуетилась, заметалась по хате. Стала собирать на стол, угощать дорогого гостя. Кирилл молча сидел у стола, глядел в пол, неохотно ел, кусок застревал в горле.

Так прошел этот час, и Кирилл уже почти забылся, отошел душою. Хорошо, что можно было так сидеть на

лавке в красном углу. Хорошо, что не надо было никуда идти. Он словно оцепенел, ни о чем не думал, на часы не глядел.

Зато мать, Агафья Семеновна, часто и беспокойно поглядывала то на часы, то на сына. Вот и час прошел, а толком ни о чем не поговорили. Сейчас уйдет Кирюша на фронт...

— Сыночек,— сказала она робко,— тебе пора. Опоздаешь.

Кирилл вздрогнул.

— Мне, может, только час жить осталось,— закричал он плаксиво,— мать! Что же ты меня гонишь?

— Сыночек! — всхлипывала мать.— Так ведь все наши бьются. Как же так, сыночек? Иди! Не позорь себя!

Он вскочил на ноги и хотел крикнуть: «Сына родного гонишь?» — но не закричал, а сказал только:

— Я еще к Насте зайду. На минутку.

Шел по колхозной улице и видел, как следит за ним недоверчивым взглядом все село. Из всех окон, из-за каждого тына следили за ним старики, ребятишки, бабы. «Точно я вор!»

Вот и Настина хата, и вишня в палисаднике, и та скамеечка, где, бывало... Вот и Настя, невеста.

— Настя! — закричал он и широко раскинул руки, чтобы обнять теплую дивчину, припасть к ее груди, рассказать ей все, как было.

Но Настя подняла на него глаза, и Кирилл понял, что она уже все знает.

— Что ж ты не на фронте, Кирилл? — тихо спросила Настя.— Все наши хлопцы там.

Как окаянный, как проклятый, ушел отсюда Кирилл Журба в темную ночь. Бродил, не находя себе места, и сам не знает, как добрался домой и уснул.

Утром его разбудила мать. Ни слезинки не было в ее глазах. Лицо было сухим, суровым.

— Собирайся, Кирилл! Пора! Иди! — сказала она.

И тогда он закричал на нее, закричал так, как сроду не кричал. Вскочил, замахнулся... Но не ударил! Страшны были глаза матери. Нет ничего страшней.

Он упал на койку и зарыдал, как ребенок.

Мать, не глянув на него, вышла и заперла хату на замок.

Все село, от околицы до околицы, шумело и волновалось. В разговорах у колодцев, на улице, на колхозном дворе одно слово раздавалось громче других: «дезертир».

Председатель сельсовета Иван Таенчук вызвал к себе бригадира Петра Воеводу.

— Подозрительно мне,— сказал председатель,— что в такую обстановку находится дома красноармеец Кирилл Журба. А?

— И мне это подозрительно.

— Так иди, товарищ Воевода, и скажи Кириллу, что требуем мы его в сельсовет.

Воевода пошел к хате Журбы, но увидел, что она на замке.

— Эй! — закричал он.— Чи кто есть дома?

Никто не отозвался.

Воевода подошел к окну, заглянул в него и заметил, как Кирилл, точно наблудившая кошка, забирается под лавку.

— Эй, Кирилл! — крикнул Воевода в окно.— Что же ты прячешься?

Но Кирилл только плотнее забился под лавку. Все хотел втянуть туда и ноги. Но ноги торчали наружу, ноги в тяжелых, армейских сапогах.

— Эх, Кирилл! — покачал головой Воевода.— Сукин ты сын, сволочь.

В это время и пришла домой сестра Журбы Евгения. Она отперла хату, впустила Воеводу и колхозников.

— Идите! — сказала она при этом.— Берите его!

Кирилла повели по колхозной улице к сельсовету. Все село наблюдало, как вели его. Он шел, опустив голову: хуже вора, хуже конокрада был он сейчас. «Проклятый! Окаянный!» — отзывалось в ушах.

Колхозники сами передали дезертира властям. Кирилл Журба предстал перед судом Военного трибунала. Он во всем сознался, ничего не скрыл. Был подавлен. Говорил мало. Но не плакал.

Ему объявили приговор: расстрел. Он выслушал его, опустив голову. Ну что ж, заслужил! Петр Воевода узнает о приговоре, скажет: «Правильно». Настя не уронит слезинки. Даже мать не вытрет глаза кончиком старенькой шали. Сухими глазами проводят они Кирилла на позорную смерть.

И это было тяжелее всего.

Шатаясь, вышел он из суда. Если б можно было теперь начать жить по-новому! Если б можно было снова очутиться среди товарищей, рассказать им о муках и позоре этих дней, искупить, доказать, оправдаться... Поздно! Завтра его расстреляют.

Но назавтра Журбу снова вызвали. Ему объявили, что, учтя его молодость, ему дают возможность искупить вину. Он поднял голову. Он прислушался. Жаркая волна радости разлилась по телу...

Иди, Кирилл Журба. Иди в бой! Кровью смывай с себя позорное пятно! Иди, бей врага! И возвращайся с победой.

Тогда обрадуется тебе старуха мать, тогда примут тебя родные Кошаринцы, пожмет тебе руку бригадир Воевода Петр, поцелует тебя твоя Настя.

ЮНОСТЬ ОТЦОВ

*Пьеса в трех актах,
восьми картинах*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Владимир Ильич Ленин.
Степан Рябинин — в 1918 году — комсомолец; в 1942 году — полковник.
Наташа Логинова — гимназистка, комсомолка.
Елена — дочь Наташи, комсомолка.
Николай Сергеевич Логинов — отец Наташи, врач.
Антон, Ефимчик, Очкарь, Даша, Федька, Борис, Антип, Маруся — комсомолки, комсомольцы 1919—1920 годов.
Мадам Обломок Евдокия Петровна — экономка купчихи Распоповой.
Иван Егорович Шорох — командующий красноармейской группой.
Ковалев — военный комиссар.
Валька Сосновский — гимназист.
Вася Селиванов — адъютант полковника Рябинина.
Надя — комсомолка.
Паша — горничная Логиновых.
Барыба — рабочий парень, пекарь.
Товарищ из Казани, «Теоретик» из Казани, Делегат из Питера, Делегат из Туркестана — Комсомольцы, делегаты III съезда РКСМ
Делегат.
Гвоздильщик.
Девушки-комсомолки. Железнодорожники. Гвоздильщики.
Пекари.

Время действия в прологе и эпилоге — осень 1942 года.
В первом, втором и третьем актах — 1918—1920 годы.

ПРОЛОГ

Осень 1942 года. Штаб казачьей дивизии. Тишина и покой дивизионного тыла. Только изредка где-то вдали бухает глухо пушка. Большая землянка командира дивизии полковника Рябинина. Полковник, накрывшись шинелью, спит. Его адъютант, лейтенант Вася Селиванов, очень молодой красивый казак, «обороняет» наружную дверь, на которую «наступают» восемь девушек во главе с Еленой Логиновой.

Вася. А я вам докладываю: полковник спит.

Елена. А я требую: разбудите полковника.

Вася. А требовать вы не можете.

Елена. А просить я вас все равно не буду.

Выстрел.

Вася (*зло пожав плечами*). Странное дело. Война... Передний край. Пушки стреляют. И вот — нате вам — появляется тут явление природы... цветок душистых прерий... И требует. (*Вдруг яростно.*) Спит человек. Понятно вам, товарищ? Спит! Точка!

Елена (*вскипев*). А вам не понятно разве, что если мы требуем немедленно разбудить полковника, то у нас к нему дело?

Надя. Важное дело.

Бухает пушка.

Вася (*насмешливо*). Какое же может быть у вас «важное» дело к полковнику?

Елена. А вот уж вам знать это ни к чему.

Надя (*укоризненно*). Елена! (*Тихонько отстраняет ее и к Васе — ласково, почти заискивающе*). Очень важное, очень секретное у нас дело. Ну, товарищ лейтенант. Ну что же вы? Ну, разбудите полковника.

Вася. Казака разбудить немыслимо. Вы, девушки, понятие имеете, как казак спит?

Надя. А вы попробуйте... Ну?

Вася. Нет и пробовать не берусь. Мне на фашиста с голыми руками идти легче, чем нашего полковника будить. Вы нашего полковника не знаете. Непонятный это, барышня, человек.

Надя. Строгий?

Вася. Полковники все строгие. Я так замечал, барышня, что ежели человек — капитан, так он веселый;

майор — захлопотанный; подполковник — важный, сурьезный. А раз человек — полковник — он обязательно строгий должен быть.

Елена. А если лейтенант?

Вася (*опешив*). То есть как лейтенант?

Елена. Ну, если лейтенант... Вот как вы... Так обязательно должен быть бестолковый?

Вася. Я... я... (*Вдруг яростно.*) Хорошо! Доложу! Я разбужу полковника. (*Стремительно распахивает дверь землянки, бежит по ступенькам, потом возвращается и обиженно.*) Знаете... Вы вот, может, думаете, что адъютант — это значит холуй, денщик, да? А я... Я рядом с ним, конь в конь, всюду. О нем никто не позаботится. Он один о всех, как отец... Он три ночи не спит, и я с ним не сплю. Мне, может, легче сейчас в рубку идти, чем его будить. Эх вы!

Спускается в землянку. Елена и Надя идут за ним.

Вася (*робко*). Товарищ полковник. Вы спите?

Рябинин. Ты что, Вася?

Вася. Разрешите доложить: здесь девушки...

Разговор Васи и Рябинина.

Елена. Товарищ полковник! Группа комсомольцев прибыла для выполнения специального задания.

Рябинин. Знаю! Ну что ж! Через линию фронта могут переправить вас только ночью... к рассвету... Сколько вам лет?

Елена (*вспыхнув*). Двадцать... двадцать один.

Рябинин. А самой младшей из вас?

Елена. Семнадцать. (*С вызовом.*) А что?

Рябинин (*насмешливо*). Ничего. (*Медленно поднимается, подходит к Елене, смотрит на нее и вдруг бледнеет.*) Наташа! (*Отшатывается, страшно взволнованный.*)

Елена (*растерянно*). Я... не Наташа...

Надя удивленно смотрит то на Рябинина, то на Елену.

Рябинин (*нетерпеливо проводит рукой перед глазами, словно хочет прогнать видение*). Как вас зовут?

Елена (*робко*). Елена.

Рябинин (*нетерпеливо, громко*). Фамилия?

Елена. Логинова.

Рябинин (*взволнованно*). Аленушка? Аленушка? (*Бросается к ней.*) Здравствуй! Ты...

Елена (*бледная, растерянная*). Здравствуйте. Но я вас совсем не знаю.

Рябинин. И я не знаю тебя. Но я очень хорошо знал... Наташу Логинову.

Елена. Маму? (*Вдруг догадавшись.*) Дядя Степан Рябинин?

Рябинин. Да, да, Рябинин. Она была, как ты сейчас. Нет, моложе... и... и...

Надя. И лучше?

Рябинин (*тихо*). Она была лучше всех на земле. (*Страстным, тоскливым шепотом.*) Наташа Логинова! Наташа Логинова!

Надя. Это так... удивительно! (*Живо*). Вы ее любили, Наташу Логинову? (*Опомнившись.*) Простите!

Рябинин (*просто*). Любил!

Пауза.

(*Усмехнувшись.*) Меня уже один раз в жизни спросили об этом. Нет, не она. Она не спрашивала, я не говорил. Но один человек спросил, и я сказал... Николай Сергеевич Логинов...

Елена. Дедушка!

Рябинин. Чудесный старик. Хотя он презирал меня и все мое поколение. Так он жив еще?

Елена. Жив, жив. Он там, в городе, в той же больнице... Завтра я его увижу...

Рябинин. Да!.. Да!.. Завтра... (*Грустно усмехается, качает головой.*) Вот и я — стою сейчас перед этим городом, иногда в солнечный день трубы видны, крыши. Горько... Я не был в нем двадцать с лишним лет. С тех самых пор, как Наташа... (*Запнулся, махнул рукой.*) Ты очень похожа на мать!

Елена. Расскажите о ней! Я никогда ее не видела.

Рябинин (*усмехаясь*). Рассказать о Наташе Логиновой? Это долгий рассказ. Это значит о всех нас рассказать, о всем нашем поколении. О том, почему мы были такими. Как жили... как любили... (*Развел руками.*) И начать не знаю с чего.

Надя. С начала! Начинать надо с начала!

Рябинин. Да? Ну, что ж... *(После паузы.)* Начало было... Начало было осенью тысяча девятьсот восемнадцатого года. Меня, больного и раненого, сняли с эшелона здесь, в этом городе, и положили в госпиталь умирать...

Занавес

АКТ ПЕРВЫЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Тысяча девятьсот восемнадцатый год. Осень. Комната Наташи Логиновой. Мир девочки-гимназистки: учебники, книги, альбомы, сувениры, фарфоровые безделушки, акварельки, гербарии с засушенными цветами. С девичьей кровати бережно сняты кружевные покрывала, и на ней лежит Степан Рябинин в бреду; косматая его голова резко выделяется на белой подушке. Над ним склоняются Наташа, шестнадцатилетняя девочка с каштановой косой, и ее горничная Паша.

Рябинин *(бредит)*. Ребята, коня моего не видели? Серый, в яблоках... Кречетом звали... Вы не видели моего коня? Ребята... *(Затихает, стонет. Вдруг яростно.)* Врешь! Буду жить! Буду! Врешь! *(Скрипит зубами; очнулся, открыл глаза, поднялся на локтях, смотрит на Наташу.)* Кто в городе?

Наташа *(тихо)*. Немцы.

Рябинин. А! *(Заметался на койке.)* Пусти!

Наташа *(испуганно)*. Лежите, лежите, что вы!

Рябинин. Пусти. *(Теряет сознание. Его рубаха распахнулась, видна татуировка на груди — большая пятиконечная звезда.)*

Паша. Барышня, барышня!.. Видите, у него звезда на груди. Красный.

Наташа *(тихо)*. Я видела.

Рябинин *(борется с бредом, приходит в себя, подымается на постели)*. Кто в городе?

Наташа и Паша молчат. Рябинин пытливо смотрит на них и, поняв все, со стоном опускает голову. Наташа склоняется над ним и поправляет подушку.

(Тихо). Вы кто?

Наташа. Я ваш друг.

Рябинин. Я не знаю вас...

Наташа. И я вас не знаю... Но что вы красный, я знаю.

Рябинин (*вздрагивая*). А вы?

Наташа. А я просто гимназистка.

Рябинин (*с ненавистью смотрит на нее*). Что вы хотите делать со мной?

Наташа. Вылечить.

Рябинин. Зачем?

Наташа. Вот мило! Чтобы вы жили...

Рябинин. Я не просил вас об этом.

Наташа. Об этом и не просят.

Рябинин тяжело дышит, ворочает головой, как птица в клетке. Ему очень плохо.

(*Тихо.*) Как вас зовут?

Рябинин (*хрипло дыша*). Меня? (*Хотел сказать, но вдруг спохватился и умолк.*)

Наташа. А я Наташа.

Рябинин. Барышня. Милая барышня! Отпусти ты меня. (*Страстно.*) Отпустите! Нельзя мне здесь...

Наташа. Лежите, лежите! Экий вы беспокойный!

Рябинин (*дико*). Пусти! (*Срывает одеяло, приподнимается и снова падает на постель, теряет сознание, бредит*). Коня! Коня! Вы не видели моего коня, ребята? Кречетом звали... (*С невыразимой тоской, безнадежно.*) Пропал конь! (*Затих.*)

Паша (*вытирая слезы*). Не выжить ему, бедняге.

Наташа (*горячо*). Выживет! Выживет!

Входит Николай Сергеевич Логинов в белом халате. Не глядя на дочь, подходит к постели и наклоняется над Рябининым. Выслушивает его.

Логинов (*Наташе*). Ну-с, ты добилась своего. Я уступил. И что же? Он умрет не в больничной койке у меня в госпитале, а на кружевных подушках у тебя в комнате. Ты этого хотела?

Наташа. Он не умрет, папа.

Логинов. Гм... М-может быть... (*Наклоняется над Рябининым.*) У этого поколения мужичье здоровье. (*Рассматривает его.*) Так вот оно, это племя младое, незнакомое... Упрямые скулы... Низкий лоб... Земля... Тьма... Азия... И они затеяли перевернуть мир... Мальчишки!

Наташа (*тихо*). Герцен и Огарев тоже были мальчишками...

Логинов (*насмешливо*). Герцен? (*Наклоняется над Рябининым.*) Нет, это не лоб Герцена... Нет, это не глаза Огарева... (*Выслушивает сердце.*) Да, сердце. Если что и может помочь этому молодому человеку выкарабкаться из лап смерти, так это его сердце.

Наташа. Так он будет жить, папа?

Логинов. Может быть... Не мешай. (*Горничной.*) Помоги мне, Паша!

Наташа. Я помогу.

Логинов. Ты не должна это видеть. (*Наклоняется над Рябининым.*)

Рябинин стонет.

Он потерял много крови... (*Снимает повязку.*)

Наташа помогает ему.

Мальчишки! У них мало идей, зато много крови...

Рябинин (*в бреду*). Пусти... Что же ты за горло схватил меня, гад... Пусти!

Наташа (*смотрит на Рябинина*). Мы подло живем... Постыдно...

Логинов. Йод!

Наташа (*подавая йод*). Революция — может быть, это то, о чем мы читали в книгах?

Логинов. Вату!

Наташа. Почему мне все это запрещено, папа?

Логинов. Бинт!

Рябинин (*в бреду*). Пусти... Пусти... Да пусти же ты меня, пожалуйста! Меня товарищи ждут!

Наташа. Почему ты держишь меня, отец? Пусти!

Логинов. Куда?

Наташа (*показывая на Рябинина*). К ним.

Логинов (*с досадой*). К ним? Кто они? Ты читала о революции, а это — хаос. Ты мечтала о красоте, а это — кровь...

Наташа (*тоскливо*). Не знаю, не знаю...

Логинов. Все это было, было... И революции были, и баррикады были, и горькие разочарования под конец.

Наташа (*усмехнувшись*). Разочарования отцов...

Логинов (*вспыхнув*). Да... Мы заплатили за то, чтобы вы уже не знали разочарований.

Наташа. А мы тоже хотим искать, и ошибаться, и хоронить иллюзии, и гореть на костре. Сейчас, когда немцы ворвались...

Логинов (*испуганно*). Тсс!..

Наташа (*шепотом*). Немцы топчут молодую революцию.

Логинов. И они ее растопчут... Они уже растоптали ее.

Наташа (*страстно*). Нет!

Логинов. Да. Так всегда кончаются незрелые революции. И мы мечтали перевернуть землю. А она, проклятая, все по-своему вертится.

Наташа (*запальчиво*). Да! Вы начинали жизнь революционерами, а кончаете ее земскими чиновниками.

Логинов (*вспылив*). Не смей! Не смей! Девчонка! Ты... Не смей!..

Рябинин стонет. Николай Сергеевич и Наташа стоят над ним. Оба злые.

(*Сухо, не глядя на дочь.*) Я пришлю сейчас Полину Дмитриевну. Твое место не здесь... у постели больного. (*Быстро уходит вместе с горничной.*)

Наташа (*смотрит вслед отцу, потом подходит к постели Рябинина, долго, задумчиво глядит на него. Тихо, но с силой*). Я не знаю, как вас зовут... но я очень, очень хочу, чтобы вы выжили... и объяснили... (*Испугавшись своей смелости, быстро наклоняется к нему.*)

Глаза Рябинина закрыты, он хрипло дышит.

Не слышите? И хорошо!

Тишина. Слышно хриплое дыхание Рябинина. За дверью раздаются торопливые шаги. Наташа отскакивает от постели. Быстро входит горничная Паша.

Паша (*взволнованно*). Барышня! Барышня! Вас папенька требуют!

Наташа (*оглянувшись на Рябинина*). Хорошо. Иду.

Обе выходят. Долгая пауза.

Рябинин (*ворочается на постели, хрипит*). Пусти! Пусти! (*Рывком поднимается. Стонет. Оглядывает долгим взглядом комнату. Пытается сообразить, где он. Потом с трудом сползает с постели, подходит к окну, распахивает его, стонет и исчезает за окном.*)

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Зал богатого купеческого особняка. Потолок и стены расписаны: на них изображены крылатые амуры, купидоны, нимфы. Огромное венецианское окно из цветных стекол. Много стекол выбито. Камин с изразцами. Остатки роскошной мебели. На паркетном полу обломки фарфора, стекла, солома. Несколько пустых коек с соломенными тюфяками. Дверь в виде арки в левом углу сцены ведет на парадную лестницу. На улице у подъезда два каменных льва. На сцене пусто. Откуда-то глухо доносятся звуки военного оркестра. На сцену вваливается шумная гурьба комсомольцев. Впереди Антон, размахивающий бумажкой, за ним Рябинин на костылях, Очкарь с папкой, Ефимчик в обмотках и с брезентовым портфельчиком, Федька, Даша и другие. Они в восторге остановились перед подъездом.

Антон *(тихо, восхищенно)*. Ва-ажно! *(Нерешительно погладил морду льва.)* Ва-ажно! Душа из меня вон! *(Распахивает дверь, взбегает по лестнице.)*

Остальные бегут вслед за Антоном, вваливаются в зал.

Даша *(шепчет, сложив руки)*. Красота какая! Я такого и не видала сроду...

Очкарь *(подходит вплотную к стене и, щурясь, разглядывает панно. Докторальным тоном)*. Это «Амур и Психея». Обычные для эпохи абсолютизма. Мы, разумеется, это замажем... и...

Антон *(яростно)*. Я те замажу! Я те замажу, душа из тебя вон! Пускай и нам послужит буржуазная красота... Безумству храбрых поем мы песню! *(Оглядывается и восхищенно шепчет.)* Ва-ажно! Знаменито! *(Ко всем, размахивая ордером.)* Ну, подпольщики! Вылезли, а! Безумству храбрых поем мы песню!.. Внизу у нас будет клуб, там — центральный горком, а здесь мы жить будем коммуной.

Рябинин. Убрать все после немцев надо. Ишь свиньи, какой дом запакостили!

Даша *(тихо)*. Полы бы вымыть надо.

Федька *(хмуро, враждебно)*. Здесь немецкий штаб был. Мы на дверях еще листовки клеили. Здесь они, гады, отца моего расстреляли.

Ефимчик *(достает из кармана мелок и старательно, крупно пишет на дверях)*. «Коммуна номер... *(Задумался.)* Номер раз!..» *(Стряхивает мел с пальцев, усаживается на койку. Громко, ко всем.)* А эта койка моя! *(Кладет на нее портфельчик.)*

Антон (*впервые заметив Ефимчика, удивленно*). Постой, постой... а ты откуда взялся? Ты кто такой?

Ефимчик. Я — Ефимчик. Ефим Иваныч.

Антон. Да к нам откуда попал?

Ефимчик. А я от эшелона отстал. Эшелон ушел, а я остался. Ну, все равно. Буду у вас жить. А эта койка моя.

Антон. Ты комсомолец?

Ефимчик. Коммунист. В мировом масштабе.

Антон. А билет у тебя есть?

Ефимчик. Какой билет?

Антон. Какой... какой?.. Комсомольский!

Ефимчик (*растерянно*). А билета у меня нет.

Антон (*смеясь*). Ну, так какой же ты комсомолец — без билета?

Ефимчик. Может, у папаньки мой билет? Мы с ним вместе ехали.

Общий хохот.

(*Взбешенный, со слезами на глазах.*) Чего ржете? Чего ржете? Нет у меня билета. Не билетные комсомольцы бывают, а у кого сердце горячее. Я сам коммунист с семнадцатого года. Вместе с папенькой в ПУАРМе работал. Вот что!

Антон. Что же ты делал в ПУАРМе?

Ефимчик. А я все делал. Листовки таскал, газеты развозил. Меня, брат, все знают. А билета у меня нет.

Антон (*улыбаясь*). Ну ладно, Ефим. Кончено твое дело: остаешься у нас.

Ефимчик. То-то... А билет. (*Вдруг вспомнив, кричит.*) Эй, где там которая из тюрьмы? (*Бросается к Даше, вытаскивает ее на середину.*) Вот, товарищ Антон, ее было вешать назначено, ну, наши войска пришли, повешение, значит, отменяется. Я ее на улице встретил. Да вот она сама, повешенная. (*Даше.*) Ты не робей. Ты говори. Это все наши ребята, народ — ничего...

Даша (*смущена общим жадным вниманием*). Да я... К Ленину меня ребята посылали за инструкцией. Да вот не дошла. Поймалась.

Антон. Куда же ты к Ленину шла? Ленин в Москве.

Даша. Вот и я говорила ребятам: в Москве он. А Петро Кириченко говорит: «Не может Ленин в Мо-

скве сидеть. Он тут, на фронте. Найди и инструкцию получи».

Антон. Какую инструкцию?

Даша *(вздохнув)*. Комсомол мы хотели организовать в селе. А без инструкции как же? Без инструкции нам никак нельзя. И мужики не верят.

Антон *(усмехнувшись)*. Инструкцию мы тебе дадим. Где ваше село?

Даша. За Днепром.

Антон. Не пройдешь за Днепр. Там гайдамаки. Придется тебе с нами пожить. Оставайся у нас.

Ефимчик *(торжественно)*. Уступаю тебе, товарищ девушка, свою койку. Живи тут. *(С сожалением оглядывает койку, берет портфельчик, вздыхает.)* Ничего. Живи.

Из первой двери, возбужденный, вбегает Борис.

Борис. Товарищ Антон! Там... В дальней комнате... Обнаружено мною... чучело... сюда идет!

На сцену вбегает мадам Обломок, полубезумиая костлявая старуха, дико, эксцентрично одетая в рванье. На голове у нее старомодная шляпка с перьями, на руках длинные, по локоть, черные перчатки, из которых вылезают пальцы. Мадам Обломок вбегает на сцену в страшной ярости, но, увидев скопище ребят, пораженная, останавливается.

Общее недоумение.

Мадам Обломок. Кто такие? Кто велел? Нельзя. Вон! Вон!

Напор мадам Обломок так велик, что все ребята и даже товарищ Антон пятятся к дверям.

Антон *(растерянно)*. Постойте, постойте... Вы кто? Вы хозяйка дома?

Борис *(шепотом)*. Может, это сама графиня?

Мадам Обломок. Нельзя... Кто такие? Кто велел? Олимпиада Титовна, ее степенство... Вон!

Антон. Постойте, постойте. Товарищ графиня, так нельзя. У нас ордер есть от городского комитета партии!

Мадам Обломок *(бессвязно вскрикивает)*. Нельзя... Сам государь император. Да. Купцы первой гильдии. Здесь князья... Здесь графья... Танцы, музыка... И сам тоже... Самолично. Наказали, приказали: «Дунечка, стереги! Дунечка, сохрани! Как свой! Как собствен-

ный. Как законная наследница...» Нельзя! Мужики!.. Барыня не велит!..

Антон. Сумасшедшая она, что ли?.. Товарищ... мадам... Черт ее знает, как ей сказать? Вы! Понимаете вы меня?

Очкарь. Типичный обломок абсолютизма.

Антон. Понимаете вы... мадам Обломок, что кончилась ваша власть? В городе Советы. Ваш дом теперь не ваш, не ваш. Наш этот дом.

Мадам Обломок. Не признаю... Господа бога нашего признаю... *(Истово крестится.)* Государя императора нашего, помазанника божьего, признаю... *(Крестится.)* Господина околоточного надзирателя Павла Максимовича признаю... *(Крестится.)* Больше никого не признаю!

Антон *(возмущенно)*. Ну зачем вам такой большой дом? Даже стыдно. А мы тут, понимаешь, клуб устроим коммунистической молодежи... Безумству храбрых поем мы песню!

Мадам Обломок *(всхлипывая, выкрикивает)*. Олимпиада Титовна! Олимпиада Титовна!.. *(Опускается в кресло и плачет.)*

Ефимчик *(удивленно)*. Пла-ачет...

Даша *(сочувственно смотрит на нее, потом подходит, опускается рядом на стул.)* Тетечка! Вы женщина старая... Одинокая...

Мадам Обломок. Одинокая... Ах, ах, одинокая...

Даша. Зачем же вам такой большой дом?

Мадам Обломок *(доверительно)*. Мне в нем страшно...

Даша. Ну, вот... А мы вместе тут жить будем...

Мадам Обломок *(растроганно)*. Да... да... Девушка... принцесса... Все уберем, вычистим... Как перед светлым воскресением. Прибавьте света! Пусть все люстры горят... бал на двести персон... *(Встает и, как птица, машет руками.)* Кружева... Кружева... Тюль... Одного тюля — двадцать аршинов... Облака! Улетаю! *(Взмахивает руками и в изнеможении падает.)*

Все испуганно смотрят на нее.

Даша *(вглядываясь в мадам Обломок)*. Она голодная!..

Антон (*недоверчиво*). Голодная. М-да-а... (*Ребятам.*) Пожрать у нас нету ли?

Ефимчик (*вздохнул; раскрывает свой портфельчик и вынимает оттуда с десяток вобл и хлеб*). А больше у меня ничего нет...

Мадам Обломок (*очнувшись*). Растерялась я... Совсем растерялась... Что вы смотрите на меня, господа? Мне стыдно...

Антон (*смущенно*). Конечно, товарищ графиня, вы к другой пище привыкли. Только, извиняюсь, у нас больше ничего нет.

Мадам Обломок берет хлеб, целует его, начинает есть. Все смотрят на нее.

(*Проглотив слюну, Рябинину.*) Степан, ты случайно не помнишь: ели мы сегодня или нет?

Рябинин. Помню. Ничего не ели.

Антон. Да, да... То-то я гляжу... Ну, давай... А?

Все садятся в кружок, делят и едят воблу.

(*Разрывая воблу.*) Да, безумству храбрых поем мы песню! Начинаем большую жизнь, ребята! (*Многозначительно.*) Начинаем ковать историю.

Очкарь (*озабоченно*). Я уже составил для работы нашего клуба программу-максимум и программу-минимум. Мною предусмотрены... (*достает из кармана бумажку*) лекции о происхождении человека, о коммунизме, о пролетарской культуре, о...

Антон (*насмешливо*). Та-ак... А о млекопитающих будет?

Очкарь (*опешив*). А что?.. Надо?..

Общий смех.

Антон. Ах, Очкарь, Очкарь!..

Федька (*хмуро*). Не нравится мне этот буржуазный особняк. Нам тут делать нечего. Нам в рабочие районы перебираться надо.

Антон. Это зачем же?

Федька. К своим поближе!

Антон. Эх, Федька! Мы главную улицу завоевали, а ты все на Собачовку тянешь...

Борис. А я считаю, главное сейчас — помочь фронту. Хотя бы бельем.

Антон (*удивленно, насмешливо*). Бельем?

Борис. А ты знаешь, что такое чистое белье бойцу?

Антон. А ты знаешь?

Борис. Я-то знаю. Меня вошь ела.

Антон (*насмешливо*). Та-ак... Лекции о млекопитающих, белье, конура... Мелко вы плаваете, ребята. Не это главное.

Рябинин. А что же главное?

Антон (*яростно разрывая воблу*). Политикой заниматься будем, душа из меня вон, политикой! Вот что главное! Декларацию выпустим ко всей молодежи. Губернский съезд соберем. Демонстрацию. Речи. Чтобы почувствовали люди нашу силу. Да мы! Мы... мир перевернем! И всю нашу губернию! (*Его глаза блестят, и он сейчас очень красив.*) Не для того мы взяли власть в свои руки, чтобы заниматься пустяками, бельем... Не о том я мечтал в подполье. Бывало, в горькую минуту... когда потолок конспиративной квартиры на твоей груди лежит, как камень... и шпоры за окном, и стук немецких сапог... а ты идешь по улице, прижимаясь к заборам,— мечтал я об этом времени, ребята. Мечтал я! Встанем на площади... море голов... флаги... музыка... хозяева!.. И крикнем, чтобы мир задрожал! Шагай! Смело шагай, молодой пролетарий! Шагай, твоя земля, твоя воля, твоя власть. Шагай, безумству храбрых поем мы песню!

Комсомольцы, взволнованные речью Антона, стихли. Зачарованный Ефимчик слушает, разинув рот. Мадам Обломок, поев, вышла.

Так, Рябинин?

Рябинин (*усмехнувшись*). Не совсем так.

Антон (*опешив*). А как?

Рябинин. А я думаю, так надо... (*Подходит к нему.*) Вот придем мы с тобой в городской комитет партии и скажем: первое ваше задание мы выполнили. Комсомол в нашем городе создан. Скажите теперь, что делать дальше, чем комсомол может помочь фронту, городу, общему делу...

Антон. Да что мы, сами не знаем? Мы что, маленькие?

Рябинин. Не маленькие. Большие мы с тобой, Антон, верно. А партия — она больше. Куда больше нас с тобой! И умнее!

Пауза.

Антон (*тихо, тепло*). Партия... (*Пауза. Улыбаясь.*) Это верно, Степан. Пойдем в горком. Ну, а пока давай наш дом приведем в порядок. Борька! Займись мебелью. Очкарь, ты берешься за клуб. Федя, тебе надо на заводы... С молодежью свяжись, приглашай сюда, к нам...

Ефимчик. А мне что делать, товарищ Антон?

Антон (*с улыбкой*). Тебе? (*Задумался, хлопнув себя по лбу.*) Тебе, брат, большое дело. Клуб у нас есть, особнячок есть, а пианины, простой пианины нет. С утра послал ребят, чтоб достали,— никто не достал.

Ефимчик. А где же я пианину возьму, товарищ Антон?

Антон. По особнякам пошарь. Буржуазию за душу возьми... Действуй!

Ефимчик (*просияв*). Достану! Ей-бо, достану! (*Убегает.*)

Антон (*обвел всех горячим взглядом*). Ну, безумству храбрых поем мы песню... Пошли...

Комсомольцы с шумом уходят за ним. На сцене остаются Очкарь и Рябинин.

Очкарь (*озабоченно*). Придется сразу же переделывать программу-максимум работы клуба. (*Достает из кармана пузырек с чернилами, огрызок карандаша, а из папки — бумагу, садится и пишет.*)

Рябинин (*молча смотря в пол, и после паузы*). Я хотел тебя спросить, Очкарь, что оно значит слово «эс-те-ти-ческий?»

Очкарь (*не отрываясь*). М-м... Эстетика — это наука о красоте... А эстетический...

Рябинин. ...значит, красивый. Так?

Очкарь. Н-не совсем так, но приблизительно... Я тебе потом объясню, Рябинин.

Рябинин (*задумчиво*). Ишь ты! Хорошее слово! (*С сожалением.*) А я и не знал. (*Задумался, молчит, а затем, не глядя на Очкаря.*) Я сегодня утром у гимназеров был... на собрании. Бойскауты, маккабисты, анархисты, левые, правые эсеры.

Пауза.

Вскарабкался на трибуну... и говорю: «Я к вам от Российского коммунистического союза молодежи». И-и... Какой тут поднялся базар: кричат, свистят, крышками

парт колотят. А я стою, у самого в груди такая злость бушует, такая, брат, злость! А я стою!.. Спокойно стою... Стою, будь ты проклят! И говорю им: «А вам меня не перекричать! А я все равно не уйду!» И вдруг, понимаешь, выскакивает откуда-то... длинный такой, вихрастый, звонкий гимназер... в пенсне... и спрашивает меня: «А что такое комсомол? Это татарское слово, да? А каковы ваши взгляды? А что вы думаете о римском праве, а как вы смотрите на теологию, а каковы ваши эстетические идеалы...» *(Запнулся.)* Ну, в общем, засыпал меня нерусскими словами. А я стою дурак дураком и глазами моргаю. *(С горечью.)* Конечно, какое у меня образование. Приблизительное, я все детство — в шахте. Коногон я, надо же этому сочувствовать. А? Прямо из шахты — на войну.

Очкарь *(сочувственно)*. Значит, провалили тебя. Жаль. Надо было мне на это собрание пойти. *(Потирает руки.)* Я бы их!

Рябинин. Да... Ошарашили меня... и вдруг... *(Его лицо светлеет.)* И вдруг... выходит на трибуну девушка. Гимназистка. Светлая такая, красивая девушка, эстетическая... и нападает на них на всех. Нет, Очкарь, тебе никогда не сказать так, как она сказала. А я гляжу на нее. Гляжу... И, понимаешь, кажется мне... будто я ее уже где-то видел... А где? Туман...

Очкарь. А ты подошел бы к ней, спросил.

Рябинин *(зло)*. На костылях? Глупости ты говоришь, товарищ!

Затемнение.

Действие переносится к подъезду особняка со львами. К подъезду подходят Наташа Логинова и гимназист Валька Сосновский. Останавливаются.

Валька *(продолжает горячо говорить)*. Нет, ты выслушай, выслушай, Наташа! Ты выступила неправильно, сгоряча... Просто всем назло... По-женски...

Наташа. Об этом я уже слышу целый час.

Валька *(с упреком)*. А прежде ты понимала меня с полуслова. *(Спохватившись.)* Ну, хорошо, хорошо! Я кратко. Понимаешь, вокруг нас бушует стихия. Красные, белые, зеленые, желто-голубые... Калейдоскоп. Что должен делать в это проклятое время свободный, гордый, самостоятельный человек? *(Подняв палец.)* Сохра-

нять ин-ди-ви-дуальность! Ин-ди-ви-дуальность! Вот что выше всех этих временных суетных, маленьких партий, идей. Весь свой мир я ношу в себе, и мне нет дела до того, что совершается на земле.

Наташа (*расхохотавшись*). Боже мой, Валька! Ты ли это? Какая нехитрая идея! (*Горячо.*) Какая подлая идея! Отделение души от государства, да? Отделение своей судьбы от судьбы народа, так?

Валька. Но при этой ситуации... при красных...

Наташа. Ах, вот в чем дело! Значит, при красных злобный нейтралитет, а при белых ты звал меня на Дон к Каледину, спасать Россию! Где ваши бойскауты? Ушли в добровольческую армию. Где сестры милосердия? Где эти лохматые юноши?.. Анархисты, что ли? Ушли в банды. Один ты остался, потому что ты вообще трус... Злобный трус... фразер... Прощай... Мне сюда...

Валька (*недоуменно*). Сюда. Что здесь?

Наташа (*торжественно и благоговейно*). Здесь Российский Коммунистический Союз Молодежи.

Валька (*в ужасе*). Наташа, это безумно! Ты — и комсомол!

Наташа (*озабоченно*). Думаешь, не примут?

Валька (*мечется*). Не то! Это безумие! Подумай! Что ты делаешь, Наташа? (*Хватает ее руки.*) Мы росли вместе, мечтали... Читали умные книги... Герцен, Белинский, Жорж Занд...

Наташа. Если б Герцен, Белинский, Жорж Занд жили в наше время, они были бы комсомольцами.

Валька. Никогда! Да ты знаешь, что такое комсомол? Ха-ха, идеалистка! Это притон. Это вертеп. Это...

Наташа (*побледнев*). Ты, ты говоришь это! Мокрица ты! (*Гадливо.*) Пусти! (*Вырвала свою руку из рук Вальки.*)

Валька (*злобно*). Но их завтра развесят на фонарях. На всех фонарях. (*Забегает перед Наташей и шепчет, задыхаясь от злобы.*) А ты подумала, что еще не известно, удержится ли их власть. Что тогда? Что тогда, Наташа?

Наташа (*просто*). Тогда и я буду висеть на фонаре.

Валька (*в отчаянии*). Я не пущу тебя. Просто ты влюблена в этого... на костылях...

Наташа (*тихо*). Подлец.

Валька. Я не пущу тебя. *(Преградил дорогу.)*

Наташа *(брезгливо)*. Уйди... *(Проходит мимо него в особняк.)*

Затемнение.

Зал особняка. Здесь Антон, Рябинин, Очкарь, Федька, Даша и другие комсомольцы. Робко входит Наташа.

Наташа *(смущенно)*. Здесь... комсомол?

Все удивленно смотрят на нее.

Рябинин *(Очкарю тихо, взволнованно)*. Это она... та самая... гимназистка...

Очкарь протирает очки и смотрит на Наташу.

Наташа. Вот я пришла к вам... в комсомол...

Антон *(оглядывает ее с ног до головы и отворачивается к ребятам)*. Не примем.

Наташа растерянно застыла на месте.

Рябинин *(вспыхнув)*. Это почему же?

Антон. Не примем. Точка.

Шум на лестнице.

Что там такое?

Борис *(радостно)*. Пианину приволокли...

Антон. А, тащи ее сюда! Сюда! Сюда!

Устанавливают пианино.

Наташа *(сквозь слезы)*. Но почему, почему вы не хотите меня принять?

Антон *(яростно)*. Нам барышень не надо.

Наташа *(вспыхнув)*. Какое вы имеете право считать меня барышней?

Антон *(яростно)*. Да вы знаете, барышня, куда вы проситесь?

Наташа. Знаю.

Антон. Комсомол есть союз отчаянных людей.

Наташа. Знаю.

Антон. Хорошо. *(Присел на пианино.)* А с чем ты идешь к нам? Через что ты идешь?

Наташа растерянно глядит на него.

Где твой отец, Федька?

Федька (*хмуро*). Нет отца... Ты же знаешь, Антон!

Антон. Я-то знаю. Ты ей скажи, барышне... (*С силой.*) Где твой отец, Федька?

Федька. Немцы отца расстреляли...

Антон (*Наташе*). Слышишь? (*Обводит ребят взглядом, останавливается на Даше.*) Ты откуда пришла к нам, Даша?

Даша (*тихо*). Из тюрьмы...

Антон (*Наташе*). Слышишь? На ней уже вражья петля висела. Вот с чем идут в комсомол, барышня... Из подвалов мы идем. Из нищеты. Через муки. Покажи ей свои костыли, Рябинин. Покажи ей, этой барышне.

Пауза.

Вот мы, комсомольцы, какие!

Наташа опускает голову.

А ты с чем к нам пришла?

Наташа молчит.

У нас к тебе веры нет.

Пауза.

Рябинин (*волнуясь*). Эта девушка... одна... против всех... выступила в гимназии... Я ж тебе рассказывал, Антон.

Антон (*удивленно*). Это она?

Шум и голоса на лестнице.

Что там такое?

Борис. Еще одну пианину приволокли!

Вносят пианино.

Антон (*отмахиваясь*). Ладно, оставьте пока здесь. (*Наташе.*) Хорошо. Поговорим. Жених у вас, барышня, есть?

Наташа (*краснея*). Нет... нету...

Антон. Ну, не жених, парень, в общем, есть? Друзья есть? Так вот — бросить! Бросить!

Наташа (*твердо*). Брошу!

Антон. Отец, мать — буржуи? Любишь? Так вот — бросить, бросить семью...

Наташа. Но мой отец... Он просто врач...

Рябинин (*вспомнив, побледнел*). А-а!..

Все, кроме Антона, оглядываются на Рябинина.

Антон. Бросить! Бросить семью! Безумству храбрых поем мы песню!

Наташа. Хорошо. Брошу.

Антон. Полы мыть пойдешь?

Рябинин. Зачем же ей полы мыть? Она образование имеет.

Антон (*яростно*). Полы мыть. Самые грязные, самые вонючие! Пойдешь полы мыть?

Наташа. Пойду.

Антон. Жизни своей не пожалеешь?

Наташа. Не пожалею.

Антон. А на фронт? А если банды? А если не устоит Советская власть? Тогда продашь нас, да? Продашь?

Наташа (*как клятву*). Нет.

Антон. На смерть пойдешь?

Наташа. Пойду.

Антон. На смерть?

Наташа. На смерть.

Антон. Точка! (*Вдруг широко и хорошо улыбается Наташе, и его лицо опять становится очень красивым.*)

Входит мадам Обломок с огромной щеткой.

(*Наташе.*) А это у нас тут графиня одна. Вот познакомьтесь. (*Указывает на мадам Обломок.*) Графиня.

Наташа (*удивленно*). Здравствуйте, Евдокия Петровна! (*Улыбаясь.*) Какая же это графиня? Это Евдокия Петровна, экономка купчихи Распоповой...

Мадам Обломок (*радостно*). Барышня Наташенька... Господи боже ты мой!

Общее удивление.

(*Наташе, сбивчиво.*) Олимпиада Титовна-то уехали... Совсем уехали... А меня бросили... и весь дом на меня, по завещанию... (*Припадает к плечику Наташи.*)

Шум на лестнице. Вбегает радостно возбужденный Ефимчик.

Ефимчик (*кричит с порога*). Достал! Достал!

Антон. Чего достал?

Ефимчик (*обводит взглядом выстроившиеся в ряд пианино и упавшим голосом*). Пианину достал...

Хохот.

Антон. Волоки сюда. Потом разберемся! (*Наташе.*) Товарищ, вы играть на этом инструменте умеете?

Наташа (*улыбаясь*). Умею... Немного...

Антон. Сыграйте! Безумству храбрых поем мы песню! Пусть гремит музыка в нашей коммуне!..

Ефимчик (*подхватывает*). В коммуне номер раз!

Наташа (*играет и запевает*).

Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой,
Ради вольного труда...
Ради вольности высокой
Собралися мы сюда...

Занавес

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

«Коммуна номер раз». Тот же подъезд со львами. У подъезда, подняв воротник пальто, стоит Николай Сергеевич Логинов. Входит Рябинин (на костылях) и, не обратив внимания на Логинова, направляется к двери.

Логинов (*окликая Рябинина*). Молодой человек! Э... Постойте...

Рябинин удивленно оборачивается.

Вы сюда идете?

Рябинин. Да.

Логинов (*небрежно*). Значит... вы... как это называется... комсомолец?

Рябинин. Да.

Логинов (*небрежно*). Возможно, вы знаете... Наташу Логинову?

Рябинин. Да, знаю.

Логинов. Это дочь моего приятеля. И что же, она тоже здесь... в этом доме?

Рябинин. Да, здесь. Вы хотите видеть ее?

Логинов (*испуганно*). Нет, нет. Это не нужно.

Просто так, к слову... Шел мимо... Я могу скомпрометировать юную революционерку...

Рябинин. Нет. Отчего же?

Логинов. Да. *(Смотрит на него, внезапно.)* Этой ночью вы... грабили... Простите, у вас это называется реквизицией... Да, так вот... и мне говорят: «Ваша дочь, то есть дочь вашего приятеля, с наганом в руках врывалась ночью в квартиры мирных горожан...»

Рябинин *(вспыхнув)*. Буржуазию мы в эту ночь трогали, а не мирных горожан. Они вещи гноят, а боец на фронте разут-раздет.

Логинов *(не слушая)*. Непостижимо! Моя дочь! Откуда в ней это. Эта жестокость, этот робеспьеризм... Я знал ее чистой, тихой девочкой! *(Смотрит на Рябинина.)* Постойте... Постойте... Ваше лицо мне знакомо... Ах, стар, забывчив стал. *(Глядит на его костыли.)* Вероятно, вы лежали у меня в госпитале...

Рябинин. Если вы отец Наташи Логиновой, так я лежал у вас дома...

Логинов *(поражаясь)*. Вы. Это вы... Да, да... *(Всматриваясь.)* Узнаю. Азия... *(Сердито.)* Что же вы, батенька, как Подколесин,— в окно. Женить вас ведь никто не собирался.

Рябинин *(виновато)*. Нельзя мне было в ту пору лежать. Вот и она не понимает... Сердится...

Логинов. Куда же вы ринулись... через окно? Куда вы делись?

Рябинин. В подполье.

Логинов. Не понимаю. Как же вы нашли его... в чужом городе?

Рябинин. А так... Чутьем...

Пауза.

Логинов. Значит, это к вам ушла моя Наташа?

Рябинин *(смущенно)*. Нет, не ко мне. Она в комсомол ушла.

Пауза.

Логинов *(резко)*. Но это вы... живете... с моей бывшей... дочерью?

Рябинин *(вспыхнув)*. Нет!

Логинов. М-да... Я грубо спросил. Вы правы. Простите. Но вы любите ее?

Пауза.

Рябинин (*тихо*). Люблю.

Логинов. И она вас?

Рябинин. Она — нет... (*Грустно усмехнувшись.*) Меня любить не за что...

Логинов. Вы думаете? (*Смотрит на него.*) Да... Лоб... Скулы... (*Насмешливо.*) Вы некрасивы, мой бедный друг, не утаю. (*Вдруг горячо.*) Но Наташа не может полюбить только за красоту. Она моя дочь. Душу! Нам, Логиновым, подавайте душу!

Рябинин. У меня душа обыкновенная... серая...

Логинов. Серая, да, серая... (*Качает головой.*) Великая серость пришла в мир! (*Вдруг удивленно.*) Послушайте, а вы любопытный молодой человек! Как вы сказали? У меня душа серая... Вы ведь сами так сказали.

Рябинин. Я правду сказал.

Логинов. Вы загадочное племя, бог вас знает, а я старею... (*Устало.*) А я старею... Впрочем, вы не говорите ей, что видели меня... Она разбила мое сердце... Но это ничего, это пустяки... и лишила меня покоя... но и это пустяки... ерунда... подумаешь! Но она опозорила мое имя, имя Логиновых... Впрочем, и это тоже ерунда... неважно... Вы, пожалуй, не говорите ей, что встретили меня. Да, да... не говорите. Зачем? Неблагодарность детей — судьба родителей. (*Помолчав.*) Не дай вам бог, молодой человек, быть отцом в смутное время. (*Уходит.*)

Затемнение.

Зал особняка. Теперь это — общежитие. Стоят койки. Посредине — длинный обеденный стол. Наташа играет на пианино. Даша шьет. Мадам Обломок режет хлеб.

Даша. Вы были замужем, тетя Дуня?

Мадам Обломок. Нет! Я барышня. Сватался за меня хороший человек, женской ее величества государыни императрицы Александры Федоровны прогимназии швейцар. Вдовый и непьющий. Я ведь раньше сама собой ровненькая была. Но погубила мою жизнь благодетельница моя Олимпиада Титовна. Не позволила. А я из-под их воли не выходила. Раба. Так и вся жизнь прошла... (*Начинает накрывать на стол.*) Да... меньше двадцати персон за стол не садились.. Скатерти крахмальные... (*Расстилает старые газеты.*) Приборы серебряные. (*Кладет деревянные ложки.*) Посуда — чистый хрусталь... (*Ставит миски.*) И кушаньям числа нет... Цветы в вели-

колепных вазах... Красота такая... Ах! Ах... *(Задумывается.)* Да, на многих балах я была, да все балы-то чужие. Чужих барышень замуж выдавала, чужих детей в купели таскала. Лакейка! А вам — нет. Вам я человек. Вы мне к жизни звук дали! Вам я верой и правдой... Да! *(Раскладывает хлеб подле тарелок, приговаривая.)* Даше, Ефимчику, Бориске, Антоше, Очкарю, Федюше, Степе, Наташеньке и мне... *(Даше.)* Дашенька! Подсоби мне с супом. *(Уходит с Дашей.)*

Входит Рябинин.

Рябинин. Наташа.

Наташа *(обернувшись)*. Это ты, Степан? Что нового?

Рябинин. Плохие новости... Фронт прорван, Наташа.

Наташа. Неужели так плохо? Не может быть... Может быть, еще можно отстоять?

Рябинин. Может быть... Но не думаю... Сегодня вечером нас с Антоном вызывают в горком партии. Говорят, товарищ Клим приедет к вечеру в город...

Наташа *(восторженно)*. Сам товарищ Клим?

Рябинин. Значит, обстановка... тревожная...

Пауза.

Я поэтому сегодня... окончательно оформился как член партии... и партбилет получил.

Наташа. Да? Ох, Степан! Какой же ты счастливый! Как я завидую тебе! *(Жмет ему руки.)* Буду ли я когда-нибудь готова... достойна этой чести?

Рябинин *(не отвечая ей, после паузы и не глядя на нее)*. Наташа, я сейчас твоего отца встретил...

Наташа *(сразу нахмурясь)*. Да... *(Вздрогнула. Опустила глаза. Молчит.)*

Рябинин *(нерешительно)*. Ты бы вернулась, Наташа? А? Все одно уходим.

Наташа *(кусая губы)*. Хорошо... Я вернусь... Зачем же? Вы уходите, а я... останусь... буду через окошко смотреть...

Рябинин. Так ведь я... потому только, что твой старик плох... жалко...

Наташа. Ну да! Ты добрый. А я жестокая, злая... Только знаешь, добрым легко быть, а жестокой...

Рябинин (*тихо*). Наташа!

Наташа. Ты думаешь, я от отца ушла? Я от самой себя ушла, от всего этого кисейного мира... И я выдавливаю его из себя... А ты меня туда обратно гонишь...

Рябинин. Я ж тебя не гоню, Наташа!

Наташа (*не слушая*). Когда я уходила из дому, собирала вещи... все эти безделушки, тряпки... стало мне вдруг так жалко их! Альбомчик с глупыми стихами... «Ты прекрасна, точно роза, только разница одна: роза вянет от мороза, твоя прелесть — никогда...» Потом слоненок, розовый такой... Знаешь, амулет — помогает на экзаменах. И нахлынуло. Балы гимназические... Сладкие тревоги... Замирание сердца... (*Резко*). Я все бросила. Я не вернусь назад!

Входит Антон, а за ним Очкарь и Борис.

Антон (*с порога*). Чертовски устал, чертовски голоден... (*Замечает взволнованные лица Наташи и Рябинина. Хмурится.*) Что это тут у вас?

Наташа. Ничего... Маленькая дискуссия.

Антон. Делать вам нечего!.. (*Улыбается.*) А я сейчас две роты на фронт проводил. Что за ребята! С песнями в эшелон сели. С песнями и уехали...

Очкарь. Да, энтузиазм, не поддающийся описанию...

Антон. Ну вот, остатки подскребем, а там... Безумству храбрых поем мы песню... и сами на фронт, всем горкомом. Поедем, Наташа, а?

Наташа (*улыбаясь*). Поедем. Только меня вот Рябинин не пускает.

Антон (*нахмурясь*). То есть как не пускает? По какому праву? (*Следя за Рябининым тяжелым, злым взглядом.*)

Рябинин пожимает плечами и отходит к окну. Входит Федька, он в рабочей спецовке.

Федька. Здорово, орлы!

Антон (*оборачиваясь*). А, Федя! Как бронепоезд?

Федька. Две недели даешь мне еще?

Антон. Нет у нас двух недель, Федя. Через две недели... (*Грустно свистит.*)

Федька. Ладно. Раньше сделаем. Какой бронепоезд получается, ребята! Какой бронепоезд! Так бы и не слезал с него!

А н т о н. Ты и то не слезаешь! Сам небось и заклепки клепаешь? Так?

Ф е д ь к а *(смущенно)*. Ну сам... А то кто же?

А н т о н. А твое это дело — заклепки?

Ф е д ь к а. Постой, а чье же?

А н т о н. Твое дело массой руководить! Понял? Ты комитетчик, вождь... Понял?

Ф е д ь к а. Какой я комитетчик, Антон? Какой я комитетчик? Я слесарь. Мне б паровоз делать. Мне б машины производить. Погоди, война кончится, я такой двигатель изобрету! *(Идет к рукомойнику, моет руки.)* Необыкновенной мощи двигатель... Скорость быстрее самолета.

А н т о н *(смеясь)*. Изобретатель! *(Оглядывается.)* А что, кормить нас будут или нет? *(Кричит в дверь.)* Мадам Обломок!

Входят м а д а м О б л о м о к и Д а ш а с посудой и хлебом.

М а д а м О б л о м о к. Чего кричишь? Надо порядок знать. *(Ставит посуду на стол.)*

А н т о н. Ну ладно, ладно... Вот дисциплина!

Ф е д ь к а. Евдокия Петровна! *(Улыбаясь, показывает вымытые руки.)*

М а д а м О б л о м о к *(торжественно, громко)*. Господа, прошу к столу!

Все шумно рассаживаются. Даша раздает хлеб. На тарелке остается ломоть.

Д а ш а. Это Ефиму Ивановичу. Не пойму, где он мотается, шелапут...

Все едят.

А н т о н *(мечтательно)*. К этому бы супу да хороший кусок мяса — цены бы супу не было.

Ф е д ь к а. Мясо! Какое оно бывает, мясо-то? Я уж забыл.

О ч к а р ь. Мясо — это буржуазный предрассудок. Миф. Его выдумали. Только пшено реально. Оно — вот... *(Разглядывает сквозь очки суп.)* Э-э... И пшено грозит стать мифом... Я не вижу пшена!..

Б о р и с. Как называется этот суп, мадам Обломок? Очень вкусный суп.

Н а т а ш а *(смеясь)*. Это новости кулинарии: жареная вода!

Мадам Обломок (*обиженно*). Надсмешки строить легко. Что даете, из того и варю. (*Подымается с места и, оскорбленная, уходит.*)

Антон (*кричит вслед*). Мадам Обломок!

Мадам Обломок (*обернувшись*). У меня отец был Петр Федорович! Пожарник.

Наташа (*виновато*). Евдокия Петровна!.. Голубушка...

Антон. Евдокия Петровна!

Мадам Обломок (*возвращается и садится, очень огорченная*). Что это такое — жареная вода? У нас с мадам Распоповой, если хотите знать, графья обедали... И хвалили. И даже околоточный надзиратель Павел Максимович на что был любитель покушать... и тот...

Антон. Ну, ну... Поехала в доисторический мир...

С шумом распахивается дверь, и входит высокий рыхлый парень — Барыба. Он несет на плече Ефимчика, бережно опускает его на пол. Ефимчик весь в синяках и кровоподтеках. Все вскакивают с мест.

Даша (*кричит*). Господи, что с тобой? (*Бросается к нему.*)

Ефимчик. Ничего... Это я... агитировал...

Барыба (*вздыхая*). Великий человек!

Даша (*уводя Ефимчика в другую комнату*). Иди уж, иди, агитатор... (*Уходит.*)

Антон. Где ж это его... разукрасили так?

Барыба (*откашлявшись*). В пекарне Машурьянца... У нас, стало быть... (*Опять откашливается в руку.*)

Антон. Как же это он в пекарню попал?

Барыба (*виновато*). Я привел. Извиняюсь...

Антон. Ну, а ты кто? Откуда взялся?

Барыба. А я по улице шел. Вот как все дело, извиняюсь, и вышло. (*Откашливается в руку. Молчит.*)

Антон (*ко всем*). Поняли что-нибудь?

Все смеются.

Наташа. Нет, постойте... Сейчас мы все узнаем. (*Барыбе, терпеливо.*) Значит, вы по улице шли. А Ефимчик?

Барыба. А товарищ Ефимчик народу по карте объясняли. (*После паузы, убежденно.*) Великий человек!

Антон. Кто?

Барыба. Они! Товарищ Ефимчик!

Антон. Что ж он по карте объяснял?

Барыба. А все. Где фронт, где ихние, где наши. Очень правильно объясняли.

Антон. Да в пекарню-то он как попал?

Барыба. Это я. Извиняюсь! Конечно, кабы знал... *(Кашляет в руку.)* Я им говорю: вы б в нашу пекарню пришли, товарищ, объяснили, а то у нас, говорю, народ темный, а хозяин — лютый зверь! «Зверь, говорит, а вот мы ему когти-то обломаем!» Да... смело так объясняют: «Обломаем!» *(Задумчиво.)* Великий человек!

Антон. Ну, а дальше что, дальше?

Барыба. Лучше б и не водил я их. *(Всхлипывает.)* Ведь до чего правильно все объяснили они... товарищ Ефимчик... про нашу пекарню... «Вы, говорит, во мраке невежества, а кругом революция идет. А вы своего хозяина боитесь!» И кулаком сами машут. Ах, заплакал я, так говорили красиво... *(Всхлипывает.)*

Очкарь. Это Ефимчик-то?

Барыба. Они. *(Подумав.)* Великий человек! *(Помолчав.)* Ну, конечно, разве наш народ прочувствует. Появляется тут хозяин Машурьянец... Сволочь толстая... Одному мигнул, другому шепнул... Мастера и взялись за товарища Ефимчика. *(Свирепеет.)* Ну, тут уж и я не стерпел. Такая некрасивая драка пошла, да уж извиняюсь великодушно, товарищи!

При последних словах Барыбы из смежной комнаты выходят забинтованный Ефимчик и Даша.

Даша. Иди, иди, обедай, оратор.

Ефимчик. Обед. Хорошо! Садись, товарищ Барыба,— давай пополам. *(Оба садятся за стол.)* Это все оттого вышло, что я слов иностранных мало знаю. Разве этот народ обыкновенными словами сагитируешь?.. А иностранных слов я знаю мало...

Очкарь. Ничего, Ефимчик. Я тебя этим словам подучу.

Антон. Вот война кончится, Ефимчик, и пойдешь ты, брат, учиться. И станешь ты, скажем... доктором. А?

Федька. Или инженером. Чего лучше!

Борис. Или по коммерческой части. Ему больше подходит...

Очкарь. Интеллигентом будешь, Ефим Иваныч. В галстуке станешь ходить, и трость при тебе.

Ефимчик (*вскипев*). Да вы что, смеетесь надо мной? Как же доктором? Что я, беспартийный, что ли?

Барыба (*вздыхая*). Ну, не доктором... Ну, народным комиссаром... Можно?

Ефимчик (*успокаиваясь*). Народным комиссаром можно.

Даша. Сиди, сиди уж, ешь! Народный комиссар!

Все. Чай, чай, чай! (*Колотят ладонями по столу.*)

Мадам Обломок из большого чайника разливает чай.

Наташа (*улыбаясь*). А в самом деле, любопытно, что из Ефимчика выйдет. Из всех нас. Какими мы станем в будущем? А будущее? Какое оно? Вероятно, каждый представляет его по-своему. Я, например... я никак его не представляю... Что-то очень светлое, хорошее... а какое оно, не знаю. А ты как думаешь, Степан?

Рябинин. Я фантазер плохой! Только я так думаю, что кончится эта война — начнется другая...

Борис. Другая? С кем же это еще?

Рябинин. Не знаю... Но только еще много войн будет! Может, бескровные войны будут...

Очкарь. Экономические...

Рябинин. Только борьба всегда будет...

Антон. И так до конца нашей жизни?

Рябинин. Да, до конца. Я на все войны контракт подписал.

Наташа. А счастье?

Рябинин. В этом и есть счастье.

Пауза.

Антон. Нет, некрасиво ты жизнь рисуешь, Степан. Борьба. А во имя чего борьба? Будет борьба, будут и праздники. А я иначе себе будущее наше рисую. Замечательно красивой станет тогда жизнь на земле. И земля станет красивой, покроется солнечными городами, садами, парками... Дворцы будут. Дворец науки. Дворец культуры. Дворец труда. Безумству храбрых поем мы песню!

Мадам Обломок (*восхищенно.*) Господи, дожить бы!

Федька. А заводы?

Антон. И заводы станут красивыми! Чистыми! Ра-

достными! Вот я шахтер, а мечтаю я — станут мои черные шахты белыми!

Рябинин (*насмешливо*). И уголь станет белым!

Антон (*яростно*). В белых штреках будем мы с тобой добывать черный уголь, Рябинин. Белые штреки... Белые надшахтные здания... И раз уж на то пошло — сад возле самой шахты. И люди станут красивыми. Все юноши будут, как...(*оглядывает ребят*) как... да нет! Такой красоты парня еще нет среди нас. А все девушки будут красивыми... как Наташа!

Наташа (*возмущенно*). И ты! Вы все это говорите мне просто назло! Вот возьму я и срежу косы... прочь...

Антон. Ни за что! Что ты! Глупая! (*Подходит к ней и говорит так, словно они одни.*) Ты не подумай только, что я за красоту тебя люблю. Я б любил тебя и некрасивую. Но только это очень хорошо получилось, что ты такая да к тому ж еще и красивая... очень красивая... (*Вдруг сообразив, что вокруг много ребят, и заметив, что Наташа вся красная от смущения, он обводит всех глазами и смущенно улыбается.*) Ну что ж! Ну вот! Я не таюсь... Я люблю Наташу, а она меня. В общем, мы... как это называется... Ну, жених и невеста.

Общее изумление. Рябинин, побледнев, опускает голову.

(*После паузы.*) Все слышали? Вот ведь какое дело, товарищи!

Мадам Обломок. Господи! Свадьба! Свадьба!

Наташа убегает, мадам Обломок — за ней. Долгая пауза. Антон исподлобья оглядел всех и вышел. Молчание.

Федька (*зло*). Та-ак... Сюрприз... А... Нашли время для любви...

Борис (*горячо*). А ведь это измена, ребята, измена нашему делу. Ну, от Антона я не ожидал! Наташа — гимназистка: ей без любви немыслимо. А от Антона я не ожидал...

Федька. Враги под городом... Республика в опасности... А они — любовь.

Очкарь. Д-да... Не время, не время...

Даша. Время — не время, сердцу не закажешь.

Очкарь. Душа... Сердце... Любовь... Мы потихоньку скатились, друзья, в сферу метафизики. Черт подери, да комсомольцы мы еще или уже гимназисты?



«АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ, БОЕЦ»



«НЕПОКОРЕННЫЕ»

Ефимчик (*растерянно*). Что ж это, трещит наша «Коммуна номер раз», а? Трещит!

Федька. Теперь им комнату надо отдельную дать. А если в поход тронемся, так особую карету. А там дети пойдут...

Борис. На бюро надо этот вопрос выносить. Это не частный вопрос, это дело принципиальное. Если все жениться начнут, так у нас не комсомол получится, а... тихое семейство...

Очкарь. Я согласен. Ставь на бюро, Рябинин!

Все оборачиваются к Рябинину. Он стоит бледный, крепко сжав костыли руками. Долгая пауза.

Рябинин (*медленно, трудно*). Ну что ж... Можно и на бюро. Комнату. Комнату надо дать... отдельно... (*Улыбаясь.*) Вот у нас уж... и первая семья в комсомоле... образовалась... А любовь! Что ж любовь?.. Любовь делает человека чище, лучше. Без любви на смерть как пойдешь? Любовь силу дает. Наташа теперь... и Антон... они теперь, ребята, всех нас богаче и лучше. И драться они будут так... так. (*Неожиданно со злостью.*) И я б сейчас драться пошел! Люто дрался бы я сейчас с беляками, кабы не костыли мои, проклятые костыли!..

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Вокзал. Бронепоезд «Комсомолец» стоит под парами. Возле него — комсомольцы. В правом углу сцены — железнодорожная будка; рядом с нею — столик, за которым сидит военный комиссар Ковалев. Около него толпятся комсомольцы, получают оружие. В левом углу сцены у решетки стоит Наташа — регистрирует прибывающие комсомольские отряды. Прислонившись спиной к решетке, сидит мадам Обломок, очень печальная. На сцене разноголосый шум, обрывки песен, смех... Изредка — свисток паровоза. Падает снег. Вваливается отряд гвоздильщиков.

Гвоздильщик (*Наташе*). С гвоздильного.

Наташа. Сколько?

Гвоздильщик. Десять человек. Куда?

Наташа. Вот, к будке. Получайте оружие.

Гвоздильщики проходят. Вбегает Даша и с ней семь девушек.

Даша. Наташа, со швейной семь... Куда нам?

Наташа. К теплушке... Вот туда...

Даша. Весело как, Наташенька! *(Девушкам.)* Девчата, за мной!

Проходят к теплушке. К Наташе подходит озабоченный Антон.

Наташа. Все прибывают и прибывают.

Антон *(улыбаясь)*. Не иссякла комсомолия, а?

Наташа. Как прибой... волнами... Шумно, весело... Словно и не на фронт, а на праздник!

Входит Федька с группой железнодорожников.

Федька *(кричит)*. Железнодорожникам дорогу! Одиннадцать человек, один к одному!

Антон. Хорошо, Федя! К будке. Получай оружие!

Федька. А меня на паровоз. На паровоз — не забыл, Антон? Обещался.

Антон *(смеется)*. Ладно! Помню, двигатель душевного горения.

Федька и железнодорожники с песней проходят.

Хорошо, Наташа!

Наташа *(возбужденно.)* Хорошо!

Антон *(сияя)*. Гляди, как шумит комсомолия. Богат и славен комсомол. Его ряды необозримы.

Наташа. Новая жизнь начинается. Огромная...

Антон *(обнимая ее за плечи)*. Наташа!

Наташа. Антон!

Свисток паровоза.

Антон *(под гудок)*. Через огонь... через смерть... по всем дорогам... Да, Наташа?

Наташа. Да... По всем дорогам... сквозь смерть... вместе...

Подходит гурьба комсомольцев-печатников. К Антону подошел озабоченный Очкарь и что-то сказал ему. Антон вместе с ним направился к будке — к Ковалеву и Рябинину.

Антон *(у будки, горячась)*. Как же вы не понимаете, товарищ Ковалев? Ведь это наш бронепоезд, наш. Мы его построили. Он так и называется — «Комсомолец».

Ковалев. Ну и что же?

Антон. И мы желаем действовать самостоятельно. А вы хотите нас куда-то влить, кому-то подчинить...

Ковалев. Та-ак! Воевать вы хотите самостоятельно. И революцию делать самостоятельно. И с иностранными державами сношения иметь тоже... самостоятельно. Может, вам и республику учредить самостоятельную, комсомольскую?

Очкарь (*улыбаясь*). Так далеко мы не идем...

Ковалев (*зло.*) Дойдете!..

Рябинин (*Антону*). Он прав, Антон. Наш отряд должен влиться в общую борьбу рабочего класса...

Ковалев. И подчиниться...

Антон (*яростно перебивая*). Кому? Кому подчиниться?

Ковалев (*спокойно*). Вот этому человеку. (*Указывает на стоящего в стороне Шороха.*)

Антон (*опешив*). А кто ж... этот человек?

Ковалев. Это товарищ Шорох.

Подходит Шорох. Это пожилой человек.

Антон. Кто же его поставил... над нами?

Ковалев. Партия, губком партии.

Пауза.

Рябинин. Я считаю, мы должны подчиниться партии.

Антон (*смотрит на него зло, огненно*). Ты, Рябинин, меня партийному долгу не учи. Для меня ничего нет дороже партии. (*Поворачивается к Шороху и вдруг широко улыбается.*) Здравствуйте, товарищ. Я вам подчиниться рад.

Шорох (*смотрит на него внимательно. Потом, чуть усмехнувшись*). А небось подчиняться не любишь?

Антон (*вспыхнув*). Я партийную дисциплину понимаю, товарищ...

Шорох. Д-да... Хочешь командовать — умей подчиняться. Так и Ленин нас учит. А больше всего учит не думать о своем самолюбии, а думать о пользе для общего дела. Так-то, сынок!

Антон (*окончательно смутившись*). Да я...

Шорох. Ну, ничего, ничего... (*Ласково подмигнув ему.*) Я ведь понимаю... сам молодой... (*Смеется.*) Мы ведь какие старики. Нас баррикады да тюрьмы навсегда молодыми сделали... (*И уже совсем другим тоном.*) Ты, что ль, отрядом командовать будешь?

Антон. Нет. *(Улыбаясь.)* У нас свой военспец есть. *(Показывает на Рябинина.)* А я, если позволите, рядовым бойцом.

Шорох *(внимательно смотрит на него)*. Ну что ж! Хорошо! *(Рябинину.)* Пошли к бронепоезду, посмотрим.

Антон, Рябинин и Шорох отходят к бронепоезду. Мимо Наташи с шумом проходит отряд пекарей, восемь человек во главе с Ефимчиком. Впереди — Барыба.

Ефимчик *(упоенно командует)*. Ать, два! Ать, два! Левой! *(Подходит к будке.)* Р-рота, стой! На-право!

Пекари невпопад, с шумом останавливаются.

Товарищ начальник! Мной сформирована рота молодых пекарей. Желаем на фронт. Даешь оружие!..

Ковалев *(улыбаясь)*. Ну и рота! А ну, подходи по одному!

Первым подходит Барыба.

Сколько лет?

Барыба. Семнадцать.

Ковалев. Большой уродился. Рабочий?

Барыба. Тестомес.

Ковалев. Ну, иди месить белых гадов. Получай оружие.

Барыба получает винтовку, за ним — остальные.

Ефимчик *(заметив Очкаря, возбужденно)*. Вот, Очкарь! И без иностранных слов я упропагандировал! Пришел я в пекарню, мастера удивляются: «Смотри! Ты еще живой?» — «Живой, говорю, и вовек меня вам не убить». — «Опять агитировать пришел?» — «Бейте, говорю, бейте! *(Чуть не плача.)* Опять! И не боюсь я вас, наемники гидры Машурьянца! Теперь опять ваша власть приходит... Мы отступаем... Но мы уходим за революцию биться, и у кого душа честная — пусть с нами идет». Безумству храбрых поем мы песню! *(Улыбаясь.)* И знаешь. Не стали меня мастера бить... А ребята... вот пошли...

Очкарь. Д-да... Незаурядный из тебя агитатор выходит, Ефимчик!

Ефимчик. Правда? Ну, я пойду посмотрю, как там

моя рота... *(Подходит, суетится.)* Так, так... Винтовку получил — осмотри, протри... Подходи следующий... Спокойно, не толпись, все получат... Так...

Все получили оружие, Ефимчик осмотрел свою роту и подошел к Ковалеву.

(Небрежно.) Дайте теперь и мне, товарищ военный комиссар, винтарь получше!

Ковалев *(рассеянно)*. Сейчас... Постой... постой... *(Взглянул на него удивленно.)* Да тебе сколько лет?

Ефимчик *(оторопев)*. Четыр... пятнадцать...

Ковалев. Не подходишь! Молод. И слабенький! Ты погуляй еще!

Ефимчик. Как же так! Моя рота! Я сагитировал. *(Яростно.)* Думаешь, не могу, не могу, да? *(Хватает винтовку.)* Командуй! Командуй! Ну!

Барыба. Великий человек!

Ефимчик *(чуть не плача)*. Командуй! Что хочешь командуй! Ну!

Ковалев *(хохоча)*. Смирно! Напра-во!

Ефимчик делает все остервенело-старательно.

На пле-чо!! Шагом арш! *(Кричит вслед.)* Годишься, годишься, парень! Бери свою роту, веди на посадку!

Ефимчик *(улыбаясь)*. То-то! А про года теперь спрашивать не приходится! Не у попа на исповеди... Пошли, ребята! *(Уходит с ротой к бронепоезду.)* Рота, стой! Товарищ Антон! Рота пекарей... *(Вдруг замечает Шороха. Растерянно.)* Батя! Папанька!..

Шорох. Это ты, Ефимчик? Вот ты где! А я тебя три месяца ищу, чтобы уши нарвать...

Ефимчик *(потупившись)*. Не имеете права драться, батя. Я теперь красноармеец.

Шорох. Красноармеец. Ишь ты! Ну, а обнять красноармейца я имею право? *(Раскрывает объятия.)*

Ефимчик исчезает в них вместе со своей винтовкой.

Ефимчик *(расслабленно)*. Ба-атя! А я уж думал, тебя в живых нет.

Шорох. Не так-то меня легко убить, сынок! Опять вместе, сынок, опять всей фамилией идем на войну.

Ефимчик *(восторженно)*. За власть Советов, батя, а?

Шорох (*проникновенно*). За будущее твое, сынок!

Рябинин (*кричит на перроне*). Приготовиться к посадке!

Шорох (*сыну*). Иди сажай своих. Я еще тут останусь. Я ваш поезд в Морозках догоню.

Ефимчик подошел к теплушке, заглянул внутрь, достал из кармана мелок и пишет крупно на дверях: «Коммуна номер раз!»

Рябинин (*с перрона*). По вагонам!

Наташа, покинув свой пост у решетки, торопливо идет через сцену, за ней семенит мадам Обломок. Навстречу Наташе из-за кулис выходит Николай Сергеевич Логинов.

Наташа (*остановилась*). Папа!

Логинов. Наташа. Я запрещаю тебе ехать... с ними. Ты дочь моя, а не авантюристка.

Наташа (*твердо*). Я не могу не ехать... Пойми!

Логинов (*категорически*). Я запрещаю! В последний раз я говорю с тобой. Остановись, Наташа! Опомнись!

Гудок.

Наташа. Прощай, отец! (*Смотрит на него, хочет броситься к нему проститься.*)

Логинов. В последний раз — слышишь? Выбери! Подумай!

Гудок, шум паровоза. В теплушках запевают песню: «Эх, в Таганроге... д-эх, в Таганроге... в Таганроге случилась беда...»

Наташа. Я выбрала. (*Бежит к эшелону.*)

Логинов (*кричит вслед*). Никогда... Никогда... Никогда не возвращайся ко мне... Не приму, проклинаю!

Шорох (*с перрона кричит Рябинину*). В Морозках ждите меня!

Рябинин. Есть в Морозках!

Поезд уходит. Огни удаляются.

Шорох (*скручивая цыгарку, подходит к решетке, глядит на Николая Сергеевича*). Сына провожали?..

Логинов (*чуть слышно*). Дочь...

Шорох. А я сына... (*Усмехается.*) Так всей фамилией и воюем. Курите. (*Протягивает кисет.*)

Мадам Обломок. Уехали мои комсомолисты...

Занавес

КАРТИНА ПЯТАЯ

Зима тысяча девятьсот девятнадцатого года. Вьюга. Здание железнодорожной школы. Это штаб группы Шороха. Класс. Парты грудой сложены у стены. На стенах — детские рисунки, карта России, доска с начерченными на ней задачами по геометрии и надпись мелом: «Коммуна номер раз!» Столик штаба. На нем телефон. Кое-где оружие. У печки Даша возится над большим котлом. Наташа подходит к ней.

Наташа. Каша готова?

Даша. По-моему, соли маловато... Попробуй!

Наташа (*пробуя*). Вкусно!

Даша (*усмехнувшись*). Это я умею. Вот война кончится, буду я... бабушкой. Внучки спросят: «Бабушка, бабушка, а что ты делала в революцию?» — «А я, деточки, кашу варила... больше ничего и не делала!»

Наташа. А я раны перевязывала — больше ничего. А Антон из винтовки стрелял — только всего и делал. И все мы небольшое дело делали, а получилось огромное. Вот так и скажут бабушки своим внукам. А, Дашок?

Быстро входит замерзший Шорох. Девушки встали невольно. Шорох молча подходит к печке, греет руки.

Замерзли, Иван Егорович?

Шорох. Есть немного... Дрезина-то открытая... Ветер... (*Помолчал.*) Из штаба не звонили?

Наташа. Нет... Связь, Иван Егорович...

Шорох (*перебивая ее*). Знаю. Но думал, восстановили... А разведка вернулась?

Наташа. Нет еще.

Шорох. Та-ак... (*Хмурится.*)

Даша (*робко*). Удалось вам... пробиться, Иван Егорыч... на дрезине-то?

Шорох (*резко*). Ты кашу вари, девушка. Разведчики придут — потребуется. (*Быстро уходит*).

Наташа. Нет разведки. Неужели что-нибудь случилось! В разведке Антон...

Даша. И Рябинин... и Борис... Наташа, скажи мне... Только не обижайся. Ты очень любишь Антона?

Наташа (*смеясь*). Дурочка ты... (*Обняла ее.*) Очень!

Даша. А вот я не понимаю... Ну, как это бывает? Как это любит один человек другого? Вот я их всех

люблю. Всех одинаково: и Рябинина, и Федю, и Ефимчика...

Наташа. Это не то...

Даша (*огорченно*). Я и сама знаю: не то. А иначе я любить не умею.

Наташа. Сумеешь, Даша, милая, сумеешь. (*Прижимает ее к себе.*)

Даша. Ой, как у тебя сердце стучит!

Наташа (*просто и гордо*). Даша, я скоро буду матерью.

Даша. Ой, Наташа!

Входит злой и замерзший Ефимчик с винтовкой.

Ефимчик. Фу, черт! Белогвардейский мороз, честное слово! Безумству храбрых поем мы песню!.. Совсем замерз. (*Басом.*) Повар первого класса, обед готов?

Наташа и Даша шепчутся между собой и не отвечают ему.

(*Обиженно.*) Ну и пожалуйста! Ломаки! (*Берет миску, накладывает себе каши.*) Я не понимаю: и на кой черт берут девчонок на войну?.. От них одно всеобщее неудобство. Что касается меня, то я на женский пол обычно плюю. (*Ест, искоса поглядывая на девчат. Небрежно.*) Между прочим... Я сейчас важный сон видел. Хотите, расскажу.

Даша. Хорош. На посту стоял и сон видел.

Ефимчик (*смутившись*). А может, то не сон был, а видение. (*Ему не терпится рассказать, и он, отбросив амбицию, начинает.*) Вот стою я на посту. Мороз... Устал я... И вдруг... будто кто-то трясет меня за плечо. Я открываю глаза и вижу — Ленин. (*Сияя.*) Владимир Ильич.

Наташа. Ну и какой же он?

Ефимчик (*не замечая иронии*). Вот такой же, как на портрете. Только в военном. Вот он смотрит на меня строго-строго и головой качает! «Нельзя, говорит, нельзя на посту спать, товарищ Ефимчик». А я говорю: «Я ж не сплю, Владимир Ильич... Я только так... Немножко».— «Устали вы, товарищ Ефимчик?» — «Нет, говорю, Владимир Ильич, ничего... Но немножко устал... И замерз».— «А что, спрашивает, что вы сегодня ели, товарищ Ефимчик?» — «Каша, говорю, была, Владимир Ильич».— «А что — каша с маслом, товарищ Ефим-

чик?» — «Нет, говорю, Владимир Ильич, масла не было». — «Ну, ничего, товарищ Ефимчик, врагов разобьем — будет и каша с маслом. И отдохнете тогда. И все мы отдохнем. А сейчас нельзя спать. Нельзя... Нельзя...» И исчез. А я под дубом стою... *(После паузы.)* Вот какой политический сон! *(Небрежно.)* Конечно, его не вам, бабам, рассказывать, а товарищу Антону.

Даша. Ты отцу расскажи. Он тебе закатит три наряда, чтобы не спал на посту.

Ефимчик. Дура!

Даша *(заметив, что Наташа рассматривает что-то на стене)*. Что там, Наташа? *(Подходит к ней.)*

Наташа *(тепло)*. Рисунки... Детские рисунки...

Обе рассматривают рисунки.

Боже, как странно... Неужели и моя в школу пойдет?

Даша *(вздохнув)*. Счастливая ты...

Ефимчик *(кончил есть)*. Да... *(Потягивается.)* Что вы там все шепчетесь, секретничаете? *(Не получив ответа, задет.)* Ну и не надо, пожалуйста. Я скоро опять на пост пойду.

Наташа, накинув тулупчик, уходит. Ефимчик, скучая, оглядывается, замечает карту.

Карта. *(Подходит к карте. Важно.)* Давно я что-то в карты не глядел. Ну, ну! *(Водит пальцем.)* Значит, так... Вот тут, значит, мы сейчас.., А вот тут враги... И тут враги тоже... А тут Москва... Ой!

Входит Шорох.

Шорох. Разведка не возвращалась?

Ефимчик *(у карты)*. Нет. *(Испуганно.)* Батя!

Шорох. Чего тебе?..

Ефимчик. Иди сюда, батя! Скорей!

Шорох *(подойдя)*. Ну!

Ефимчик *(сквозь слезы)*. Что же это получается, батя? Тут — Юденич. Так. Тут — Колчак... Тут — Деникин... Тут... И выходит — от всей нашей Красной республики вот что осталось... Маленький кружок... Я рукой закрыть могу!.. *(Закрывает.)* Вот и вся республика, батя. А?

Даша подошла к карте, смотрит.

Шорох. Да, сынок, трудно...

Ефимчик (*шепотом*). Что же... не устоит Советская власть?

Шорох. Советская власть, сынок, теперь умереть не может: она — народная власть. Она — правда. А разве правда может умереть? (*Ласково обнял сына.*) Нет. Теперь нам назад не идти. Теперь только вперед. К коммунизму. Я умереть могу, смертен. А дело наше — никогда. Оно бессмертное. Мы умрем, вы нас смените. (*Тепло, ласково ко всем.*) Вот смотрю я на вас, ребята. Придирчиво смотрю. Может, иной раз и ругаю зря. Не безразлично мне, какая смена наше место заступит, наше знамя дальше понесет... (*Шум за сценой.*) Что там такое?

Даша (*радостно*). Вернулись, Наташа!

Наташа (*из-за сцены*). Иду!

Вбегает весь окровавленный Рябинин.

Рябинин. Товарищ Шорох!

Федя и Борис вносят мертвого Антона. Все снимают шапки.

Даша. Антон!

Шорох (*тихо*). Как это вышло?

Рябинин (*так же тихо*). Напоролись на белых... Отходить было поздно... Приняли бой... Ну и... (*Указывает на Антона.*) Он как герой дрался...

Наташа (*входит с вязанкой дров, замечает на полу Антона. Наклоняется над ним*). Что ж ты молчишь?.. Не дышишь, Антон? Антон! Антон!

Шорох (*сняв шапку*). Прощай, сынок!.. (*Наклоняется над трупом, покрывает его красным флагом.*)

Вокруг собрались все комсомольцы. Шорох говорит тихо, проникновенно.

Пусть же вечно живет в народе память о светлом юноше из Донбасса... о товарище Антоне... (*Смотрит на него.*) Горячее было сердце!..

Ефимчик. Безумству храбрых поем мы песню!..

Занавес

АКТ ТРЕТИЙ

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Лето тысяча девятьсот двадцатого года. Город под властью врангелевцев. Бывшая дворницкая в доме Логиновых. Ныне здесь живет мадам Обломок. Распростершись перед киотом, она молится.

Мадам Обломок. Господи милостивый, матушка богородица, святые угодники! Пошлите здоровья и многие лета святейшей княгине Анастасии Кирилловне и ее степенству Олимпиаде Титовне, и комсомолистке Наташе. А также не забудь, господи, в своей милости комсомолистов Степана, Антона, Ефима, раба божия... И пошли, господи, мир на земле, и изгони чужие языки, и верни домой воинов, а убиенным дай, господи, царствие небесное и вечный покой... А мне пошли, господи, смерть скорую и легкую. Святой угодник Николай Мирликийский, похлопочи хоть ты за меня.

Стук в окно.

Кто? Кто? *(Выбегает в сени.)*

Слышен стук отпираемой двери. Потом возвращается мадам Обломок с Наташей.

Барышня Наташенька! Как же это? Да что же это? *(Всматривается в нее, качает головой.)* Похудела ты... Постарела ты...

Наташа *(озирается)*. Вот и дома... *(Бродит взором по стенам.)* Здесь у нас дворницкая была... Что дворник?

Мадам Обломок. Умер...

Наташа. И вы давно у нас?

Мадам Обломок. Как уехали вы... Тогда еще на станции папаше вашему плохо сделалось... Довела я его до дому да так и осталась...

Наташа *(глядя в пол)*. Как папа? Что он...

Мадам Обломок. Плох...

Наташа *(тихо)*. Меня вспоминает?

Мадам Обломок молчит.

(Грустно улыбнувшись.) Проклял. Ну-ну!

Долгая пауза.

Вот и вернулась я...

Мадам Обломок. Надолго ли?

Наташа. На одну ночь...

Пауза.

Мадам Обломок. Понимаю, матушка, я все понимаю.

Пауза.

А когда же совсем?

Наташа. Скоро и совсем!

Пауза.

Мадам Обломок (*шепотом*). Ну, а наши-то... наши все живы ли?

Наташа. Все. Только... (*Сдавленным голосом.*) Антона нет.

Мадам Обломок (*испуганно*). Ах! Помяни, господи, воина Антона и учини душу его в рай, идеже праведные упокоются... (*Плачет.*) Как же свадьба-то, свадьба?..

Наташа (*грустно усмехнувшись*). Свадьба была. Его повенчали пулей, меня — вечной тоской. (*После паузы.*) Дочь у меня... Аленушка...

Мадам Обломок (*радостно*). Ах! Ах! А я все тебя, дура, барышней зову.

Наташа. Степан часто бывает здесь?

Мадам Обломок. Ходит... Сегодня был...

Наташа. Папа заходит сюда?

Мадам Обломок. Да.

Наташа. Ах, как это нехорошо!

Мадам Обломок. Господи! Что это за время такое. Прятаться надо! И от отца и от людей...

Наташа. В городе что?

Мадам Обломок. По всем улицам на фонарях удавленники. (*Вдруг сообразив, испуганно заметалась.*) Ты-то зачем сюда пришла? Нельзя тебе в этом городе, девушка, нельзя. Ах, ах! Что же ты делаешь с собой?

Наташа молчит.

(*Опускаясь на стул.*) Понимаю... Ах, все понимаю...

Долгая пауза.

Ну, а дочка твоя? С кем же дочка?

Наташа. С Дашей в деревне.

Мадам Обломок. Значит, жива Дашенька, помощница моя?

Наташа. Жива. Работает. И я с ней жила. Да не могу я теперь в тиши...

Мадам Обломок (*сурово качая головой*). Смятенная твоя душа... Мятежница ты... Все гореть тебе!

Наташа. Да, гореть, гореть на высоком костре. (*После паузы, тихо.*) Аленушка держит. Ручонки крохотные, а цепкие — держит... И так отрываться трудно... от ее пахучего тельца... Так трудно! (*Помолчав.*) А иногда кажется, толкает меня Аленушка. Сама толкает. Иди!.. Иди!..

За сценой слышен голос Николая Сергеевича Логинова: «Это что за безобразие...» Сердитый звон запора. «Евдокия Петровна!» — и шаги.

(*Побледнев.*) Папа!

Мадам Обломок (*испуганно.*) Он! Он! Ах, ах!.. (*Заметалась.*)

Наташа. Я не могу с ним встретиться... (*Выбегая в боковую дверь.*) Я в чуланчик...

Входит Николай Сергеевич Логинов, очень рассерженный, в халате, в туфлях на босу ногу. Он заметно постарел и опустился.

Логинов (*сердито*). Входная дверь настежь... Все распахнуто. Черт знает что... Что вы, гостей ждете? Бал? Я приказал запирать все... Черт знает что такое!

Мадам Обломок. Простите, Николай Сергеевич, простите! Совсем потерялась я... И умом и памятью обветшала... окаянная...

Логинов (*ворча, но уже спокойно*). То-то, обветшала... все обветшало... Все прахом пошло. (*Усаживаясь у стола.*) Черт знает что... Хаос. (*Словно невзначай, глядит на разложенные на столе для гаданья карты. Небрежно.*) Все в карты глядишь?.. Чепуха какая...

Мадам Обломок (*вкрадчиво*). А не чепуха, не чепуха... Не врут карты. Не человечьего ума дело, а не врут... Опять сходится, как в те разы, что гадала вам: жива ваша Наташенька...

Логинов (*небрежно, но вглядываясь*). Ерунда... Не верю картам... Не интересуюсь...

М а д а м О б л о м о к *(торжественно)*. Жива твоя дочь, неверующий. И, может, близко она... Ни горы, ни версты, ни реки, ни окияны... *(Ощупывает руками карты.)* Все дороги ведут к встрече...

Л о г и н о в *(насмешливо, но заинтересованно)*. Нет у меня дочери... Ничего нет... Ничего нет на земле... Только мы остались... обломки... Обломки...

М а д а м О б л о м о к *(прежним тоном)*. Есть дочь. И, может, еще кое-кто есть. Во тьме не видно...

Л о г и н о в *(все более распаляясь)*. Нет! Ничего нет! Отрубил! Проклял!

М а д а м О б л о м о к *(отшатываясь, в ужасе)*. Какое ты слово... сказал... Православный ты человек! *(Наступая.)* И не грех тебе? И не стыд? Хоть ты и ученый, хоть ты и доктор, а я баба темная, но я все тебе скажу...

Тихий стук в окно.

Л о г и н о в *(вздрагивая)*. Стучат. Кто? Кто? *(Очень возбужденный, выбегает.)*

М а д а м О б л о м о к *(испуганно крестится и мечется)*. Что же это будет, Наташенька?..

Из-за сцены слышен злой, рассерженный голос Николая Сергеевича: «Нет, нет. Пожалуйста. Отчего же. Раз пришли— пожалуйста. Сюда! К свету!» Затем распахивается дверь, и Л о г и н о в почти насильно втаскивает Р я б и н и н а, глядит на него и страшно бледнеет.

Л о г и н о в. А-а! Так вот кто это!

Рябинин опускает голову, молчит.

Простите... Вы зачем же здесь?..

Р я б и н и н. Хотел узнать... нет ли вестей... о Наташе...

Л о г и н о в. У нас? У нас узнать! *(Язвительно хохочет)*. Нет, это я у вас спрошу: где моя дочь? Куда вы мою дочь дели?

Рябинин молчит.

Молчишь. Это ты... ты... скуластый... пришел тогда тайком в мой дом... и увел... ее... На погибель увел. Что ж ты кружишь здесь, как ястреб? У меня нет дочери. Одна была...

Рябинин молчит.

Молчишь. А вот я сейчас полицию позову. А! Пусть выяснит, зачем ты здесь. Почему ты всегда в этом городе в такие дни? А?

Рябинин (*тихо*). Ведите. Я смерти не боюсь.

Логинов взглянул на него и вдруг опустился на стул. Долгая пауза.

Логинов (*устало*). Я не то говорю... Не то... Вы не люди. В вас ни страха, ни жалости, ни любви...

Рябинин (*улыбаясь*). Страха нет. Верно.

Логинов. А любви? (*После паузы тихо.*) Что ж вы... по-прежнему любите?

Рябинин (*просто, тихо*). Люблю.

Логинов. И она... что же... жива?

Рябинин. Да... жива...

Логинов. Вот как! (*Со скрытой радостью.*) Ну что же... Я ей не враг. Но между нами пропасть. Пропасть. Пропасть... (*Задумчиво барабанит пальцами по столу. Неожиданно.*) А может, нет ее, пропасти, а?

Рябинин (*радостно*). Нет. Нету ее, Николай Сергеевич...

Логинов. Н-не... знаю... Между отцами и детьми всегда была пропасть. И вы будете отцом, и у вас... Впрочем, не знаю. Может быть, у вас все будет иначе. (*После паузы, не глядя на Рябинина.*) Если вы встретите Наташу...Сегодня, через месяц... Пусть приходит. Да. Мы поспорим с ней. Хорошо, я готов поспорить. (*Идет к двери.*)

Рябинин за ним.

Нет, вы оставайтесь. Вы ведь не ко мне шли... Оставайтесь. Не знаю... Не знаю... Вероятно, к Евдокии Петровне. У вас свои дела... Не любопытен!.. (*С порога. Значительно.*) Пусть приходит! (*Уходит.*)

Рябинин и мадам Обломок смотрят вслед ушедшему Логинову, напряженно прислушиваются: отчетливо слышны удаляющиеся шаги Николая Сергеевича по скрипучей лестнице. Когда шаги совсем затихают, из чуланчика выбегает Наташа.

Наташа. Степан!

Рябинин (*обернувшись*). Наташа! (*Бросается к ней.*)

Наташа и Рябинин берут друг друга за руки. Оба взволнованы.

(*Тихо.*) Я рад, что снова вижу тебя, Наташа.

Наташа. И я тебе рада, Степан.

Мадам Обломок (*очень возбужденная*). Он сказал: пусть приходит! Наташенька! Идем. Упадем в ноги... Красота небесная... Примирение!..

Наташа (*испуганно*). Нет, нет, не теперь...

Рябинин недоуменно глядит на Наташу.

После, потом... Я сама приду... Сейчас нельзя!

Мадам Обломок, огорченная, уходит, взяв самовар.

Пауза.

(*Тихо.*) Я принесла приказ.

Рябинин (*радостно*). Да?

Наташа раскрывает книгу и вырывает вклеенную туда страницу.

Конспирация: Лев Толстой — «Война и мир». Хорошо.

Наташа. Войска готовы к удару по городу. Штурм — дело ближайших дней. А вы?

Рябинин. У нас все готово к восстанию!

Наташа. Я так могу передать?

Рябинин. Да, я только что иду от Мокроусова.

Наташа. О нем легенды рассказывают.

Рябинин (*восхищенно*). И стоит. Это замечательный большевик. Я, знаешь, я учусь у него. Смелости. Нет. Ее и у наших много. Мудрости я у него учусь. Он всегда знает, что, когда и как надо делать. Это само собой не дается, я понимаю... Это опыт партии, опыт борьбы... (*Усмехнулся.*) Когда-нибудь и мы с тобой, Наташа, будем многоопытными большевиками...

Наташа. Степан, как все-таки интересно жить!

Рябинин. Все-таки.

Наташа. Трудно. Иногда так трудно... Это я только тебе говорю... (*Задумчиво.*) По-моему, еще ни одному поколению не доставалась такая трудная юность.

Пауза.

Потом будем вспоминать... когда-нибудь...

Оба задумчиво смотрят перед собой.

Рябинин. Я чертовски рад, что снова тебя вижу... (*Смотрит на нее нежным, внимательным взглядом.*) Ты очень изменилась, Наташа.

Наташа. Постарела.

Рябинин (*шутливо*). Да. Старая-старая... И уже не девочка. Женщина.

Наташа. И даже мать.

Рябинин (*смущенно*). Кто же у тебя? Сын?

Наташа. Дочь... Аленушка...

Рябинин. Дочь... Это хорошо... И даже завидно.

Пауза.

Ну и что ж она... разговаривает уже?

Наташа. Глупый. Ей и года нет...

Рябинин (*совсем смущенно*). Ну, я не специалист... ты извини... (*Неестественно весело.*) А я хотел бы вас увидеть обеих... Потом, когда-нибудь... После войны... Мать и дочь... (*Увлекаясь.*) Мать — в губкоме, дочь — в школе... Потом женихи пойдут, наряды... дочку замуж...

Наташа тихо, радостно смеется.

И вот однажды заявляется к вам... старый, одинокий, небритый бродяга, Степан Рябинин. (*Дрогнувшим голосом, стараясь за шуткой скрыть волнение.*) Что, Наташа, найдется одинокому местечко в вашем доме?

Наташа (*кладя ему руки на плечи*). Не надо о будущем... Так трудно сейчас мечтать о счастье.

Рябинин (*взяв ее руки в свои*). Послушай, Наташа! (*Он бледен, взволнован, но, видно, решился на что-то.*) Я хочу тебе сказать... Может быть, не время сейчас... Да у нас всегда будет не время...

Тихий стук в окошко.

Наташа (*вздрогнула*). Кто это?

Рябинин (*тоже вздрогнув*). Я думаю, это мои... комсомольцы. (*Выбегает в сени и тотчас же появляется вновь.*)

Вслед за Рябининым входят комсомолец Антип и молоденькая, хорошенькая Маруся; у обоих тяпки.

Антип (*застенчиво, но вместе с тем восхищенно, восторженно смотря на Наташу*). Вот вы какая! Смелая! Оттуда... От наших... (*Продолжая смотреть тем же восхищенным взглядом.*) Ну, что же наши? Скоро? Да? Скоро?

Наташа. Теперь уже скоро. *(Протягивает ему руку.)*

Антип неловко хватает руку Наташи, простецки трясет и крепко пожимает.

Антип. Здравствуйте.

Наташа *(приветливо)*. Как вас зовут?

Антип. Антипом. Некрасивое имя, правда? *(Оглядываясь на Марусю.)* Только подпольная кличка у меня другая... Я по-подпольному товарищ Антон...

Наташа *(вздрогнув)*. Как?

Антип *(несколько смущенно)*. Товарищ Антон. У нас тут, видите ли, был раньше товарищ... Комсомол он создал... Его товарищем Антоном звали. *(Воодушевляясь.)* Ведь это какой человек был! Он при немцах налет совершил на нашу типографию. Среди бела дня. На хозяина — маузер. А на подъезде объявление наклеил: «По случаю смерти хозяина типография закрыта». *(Заметив что Наташа побледнела.)* Что с вами? Вы тоже знали его?

Наташа *(тихо)*. Знала.

Антип *(запальчиво)*. Что, скажете, плохой парень был?

Рябинин *(громко)*. Он был замечательный большевик.

Антип *(смущенно)*. Мне, конечно, до него не дойти. Я это сам сознаю... а имя я взял... на себя...

Маруся *(влюбленно глядя на Антипа)*. Он всегда у нас такой... Выдумщик!

Рябинин *(спохватившись)*. Да! Вас надо с Марусей познакомить.

Наташа и Маруся здороваются.

Тебе, Наташа, утром рискованно идти одной. Могут узнать... А ты с Марусей пойдешь... Будто на огороды, к реке... Туда девчата часто ходят.

Маруся. Вот и тяпки.

Наташа. Хорошо. Отлично придумано.

Рябинин. А еще лучше — пусть и Евдокия Петровна с вами пойдет... Для маскировки. Только до реки... А там уж...

Наташа. Ну, а там... Я сама...

Рябинин. Ну, вот Маруся и заночует тут. Пошли.

Я сейчас прямо к Мокроусову... Обрадуется старик твоей весточке. Он ведь все время к этому готовился. А на зорьке я еще забегу.

Антип (*подходит к Наташе*). Прощайте, товарищ!

Наташа. До свидания, товарищ... Антон.

Антип и Рябинин уходят.

(*Приветливо смотрит на Марусю. Та краснеет*). Вас Марусей зовут?

Маруся. Да.

Наташа. Сколько вам лет?

Маруся. Семнадцать.

Наташа. Вы его любите?

Маруся (*вздрогнув*). Что вы? (*Крайне смущается, густо краснеет, опускает голову — совсем тихо.*) Да. (*После паузы.*) Только он говорит... нельзя сейчас... не время... Нельзя...

Наташа. Можно.

Слышны тяжелые шаги на лестнице, за сценой.

(*Беспокойно.*) Отец! Сюда, сюда... (*Хватает Марусю за руку и уходит в чуланчик.*)

Входит Николай Сергеевич Логинов.

Логинов (*осматривается, идет по комнате, подходит к столу, берет карту*). Бубновая дама... (*Смотрит на нее и швыряет на стол.*) Чепуха!

Занавес

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Тюрьма. Камера. На койке сидит Маруся. Она вся избитая, в крови. Около нее суетится страшно возбужденная мадам Обломок.

Мадам Обломок. Кровь... В крови вся... Марусенька... За что они?.. За что?

Маруся. Я не могу-у... когда бьют.

Мадам Обломок (*гневно*). Не имеют права! Не воровки мы.

Маруся. А Наташа! Что они делают с нею?! (*Плачет.*) А она молчит... Страшно как!..

Мадам Обломок (*мечется*). Наташенька! Барышня-красавица. Дочь благородных родителей. Не смеют!

Со звоном падает запор. Маруся вздрагивает и забивается в угол. Распахивается дверь, в камеру бросают избитую и окровавленную Наташу.

Наташа (*слабым голосом*). Воды...

Мадам Обломок (*подавая воду*). Мучители!.. Чего же они хотят от тебя?

Маруся. Они хотят, чтобы мы сказали... Наташа! Скажи им хоть слово... хоть что-нибудь. Они замучат тебя.

Наташа. Душу не растопчут... (*Жестко.*) И ты им ничего не скажешь... Ни слова не скажешь, ты слышишь?

Маруся плачет.

(*Так же.*) Бить тебя будут, а ты молчи. Слышишь, Маруся?

Маруся. Я не могу, когда бьют...

Наташа. Одно слово... и они повесят твоего Антона... и повесят Степана... И в город не войдут наши. И люди навеки останутся рабами... из-за одного твоего слова, Маруся, слышишь? Они проклянут тебя!

Маруся (*в ужасе*). Наташа!

Мадам Обломок в это время стоит неподвижно, как бы прислушиваясь к чему-то, стремительно подходит к Наташе.

Мадам Обломок (*исступленно*). Наташа! Спасай! Душу спасай. Душу... Вот... Вот оно... Свершается. За грехи твои... Бога забыла... Отца отвергла... На закон руку подняла... На власть, мятежница... Кайся! Последний час настал!

Наташа (*устало*). Мне не в чем каяться...

Мадам Обломок. Священника зови... Все грехи свои, все, что они требуют... все... все... со смирением.

Наташа молчит.

А-а! Не хочешь! Жестокосердуешь! Зачерствела в окаянстве своем! Не покоряешься! Так я сама... позову! (*Бросается к двери.*) Эй! Господа! Люди!

Наташа (*стала во весь рост. Ее глаза горят*). Зови!

Маруся (*в ужасе*). Наташа!

Наташа (*мадам Обломок*). Зови! Священников, судей, палачей — всех зови... Пусть на твоих глазах бьют...

Мадам Обломок (*испуганно*). Наташенька!

Наташа. Пусть при тебе пытают... жгут... Зови!

Мадам Обломок. Наташенька! (*Падает на колени перед ней.*)

Наташа. Я знаю, что грех, что долг. Умереть молча — долг... Слово обронить — подлость!

Маруся (*тихо подходит к ней, шепчет*). Я буду молчать... Наташа!

Мадам Обломок. Господи, спаси сирот твоих...

Измученная Наташа медленно опускается на койку. Долгое молчание.

Маруся. Еще и жизни не было, как же умирать? Мы с Антоном так ни разу и не поцеловались. (*Печально улыбается.*) Он у меня строгий... (*Вздыхает.*) Так теперь и... (*После паузы.*) Я позавчера его в саду ждала. Там есть аллея каштанов...

Наташа (*ласково*). И беседка в конце.

Маруся. А ты и беседку знаешь?

Наташа. Знаю. Я все знаю.

Маруся (*вздыхая*). А с акаций уже все осыпалось... Позавчера я еще была вольной... Каштаны цвели... (*Тихо.*) Нас расстреляют?

Наташа. Нет. Повесят.

Маруся. Ой! (*Закрывает лицо руками.*)

Наташа. Маруся! Маруся! Маруся! (*Обнимает ее.*)

Маруся. Я за тебя буду держаться, Наташа!.. Когда поведут нас... Ты сильная.

Наташа. Маруся, мы будем идти и думать... ты о своем Антоне, я о своем. И голову, голову высоко... как Софья Перовская. Чтобы все видели... как надо умирать...

Маруся. И Антон увидит.

Наташа. Да. А потом в город придут наши... И флаги на улицах...

Маруся. Антон речь скажет на площади... И все девушки будут слушать его. А нас не будет. И он потом забудет меня...

Наташа. Кто умирает так, как мы, того не забывают.

Долгая пауза.

М а д а м О б л о м о к *(бормочет)*. Господи... Да как же вы перед смертью... Перед смертью такие...

Н а т а ш а. Евдокия Петровна. Вас выпустят. Зачем вы им? Вы выйдете на волю и отнесете мое письмо Степану... Пусть отошлет Даше...

М а д а м О б л о м о к. Сделаю. Все сделаю.

Н а т а ш а. А если отберут... или потеряете... вы расскажете, что в письме было...

Пауза.

Это письмо Аленушке. *(Достает письмо из-под ножки койки.)* Слушайте внимательно. *(Читает.)* «Дочь моя, моя Аленушка! Когда тебе исполнится семнадцать лет, ты прочтешь это письмо... И ты узнаешь, что твой отец пал в бою, а мать — казнена. Но ты не заплачешь, как не плачу и я, которой осталось жить только до рассвета. Я ухожу из жизни с сознанием исполненного долга. Я сделала мало, но я мало и жила на земле. Я не успела больше. И если б у меня была не одна жизнь, а десять, я все б отдала так, как отдаю эту, единственную: не жалея. Я завещаю тебе, моя Аленушка, сделать все, чего я не успела сделать. Я завещаю тебе мою неистраченную любовь и неизрасходованную ненависть. Я завещаю тебе будущее. Идя на смерть, я благословляю тебя на большую и гордую жизнь... А ты будешь замечательно жить, моя девочка! Будь же достойна этой жизни, она оплачена кровью твоего отца... и твоей матери...»

Пауза.

Маруся вдруг подбегает к окну и плачет. В окно ударил первый утренний луч.

(С досадой.) Что ж ты плачешь, Маруся? Разве так встречают последнее утро?

М а р у с я *(сквозь слезы)*. Я уже не плачу!

Н а т а ш а *(взволнованно)*. Смотри... заря!

М а р у с я. Как флаги...

Н а т а ш а. Да... Через несколько дней будут красные флаги над городом... И все преобразится. Война кончится.

М а р у с я. Какой она будет... жизнь... без нас.

Н а т а ш а. Необыкновенно красивой! Люди будут красивые, благородные... И моя Аленушка... среди них...

Они будут вспоминать нас и петь наши песни... старые песни... *(Поет очень тихо, задумчиво.)*

Маруся плачет. Наташа крепко обнимает ее. Потом обе поют полным голосом. Песня несется в узкое решетчатое окно, и скоро ее подхватывает вся тюрьма. Все явственнее и громче доносится хор: «Вихри враждебные...»

Маруся, ты слышишь? Тюрьма поет, нас провожает.

Внезапно звякнул запор, с грохотом отворилась дверь. Сноп света от фонаря упал в камеру. Голос офицера с порога: «Логинова! Бровко! Выходи!»

Маруся *(прижимаясь к Наташе)*. Уже!

Мадам Обломок *(бросается к дверям)*. Не имеете права! Не пущу!

Офицер *(строго)*. Ну!

Наташа *(Марусе)*. Идем *(Медленно идет с Марусей к выходу.)*

Маруся испуганно прижалась к Наташе; та, почувствовав ее детское тело, выпрямляется, обнимает подругу и, высоко подняв голову, идет. Мадам Обломок ползет за ними на коленях и на лету ловит руку Наташи. Мощно гремит песня, которую поет вся тюрьма.

Занавес

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Второе октября тысяча девятьсот двадцатого года. Москва. Фойе Свердловского коммунистического университета на Малой Дмитровке, где ныне помещается театр имени Ленинского комсомола. III съезд РКСМ.

В фойе шумно, оживленно. Поэт-комсомолец читает стихи. Мраморная лестница, на ней группа делегатов.

Делегат. Товарищи! Имею внеочередное заявление. Туркестанская делегация привезла с собой в изобильном количестве урюк и проявляет частнособственнический гнусный индивидуализм...

Шум, смех.

Делегат из Туркестана. Это неправда, товарищи! Наш урюк — ваш урюк. Милости просим. Но пусть и питерцы...

Голоса. Что, что питерцы?

Делегат из Питера. Питер имеет масло и селедки... утаивать это мы не собираемся...

Хохот, шум.

Делегат. Итак, после заседания съезда пир на коммунистических началах, так?

Все бегут вверх по лестнице в фойе. На лестнице появляется взъерошенный и потный Очкарь. Схватив какого-то паренька за верхнюю пуговицу тужурки, он яростно доказывает ему что-то.

Очкарь. И ты должен понять и признать, товарищ, что это не метафизика, что эти разногласия выдвинуты самой жизнью, и вы должны признать, товарищ, что здесь, в Москве, вы все напутали, и наша харьковская платформа...

Парень *(с отчаянием)*. Так ты ведь... Так ты ведь слова не даешь мне сказать.

Очкарь *(напирая)*. Не дам! Не дам, пока ты не поймешь своих заблуждений...

На лестнице появился Рябинин в военной форме. Он остановился, прислушивается к разговору Очкаря и парня.

Рябинин *(кладет руку на плечо Очкаря)*. Ну, ладно, слова ему не давай. Дай хоть вздохнуть ему. Дай человеку умереть спокойно.

Очкарь *(оторопело смотрит на него)*. Рябинин! Ты? Откуда?

Рябинин. И не угадаешь. Из Крыма.

Очкарь *(радостно трясет его за плечи)*. Ну, рад! Ну, душевно рад тебя видеть! *(Вдруг впивается рукой в его плечо.)* Постой! Нет, постой. Ты мне прежде скажи: ты с чем на съезд приехал? Ты какой линии? Предупреждаю, если ты против классовости, так я тебя и знать не знаю. И лучше б тебе на съезд не приезжать.

Рябинин *(смеясь)*. Постой, постой... Какая классовость? Ничего я не знаю. Я с окраины.

Очкарь *(охваченный фракционным пылом)*. А! Хорошо! Отлично. Я тебе все объясню. *(Потирая руки.)* Понимаешь, мы, харьковчане, с боевым духом на съезд приехали. Мы им тут головки отвинтим!

Рябинин. Кому «им»?

Очкарь. Им. Всем. Бюрократам. Мы исходим из того, что наш союз должен быть не массовым, а клас-

совым союзом рабочей молодежи. Интеллигенция поналезла... мещанство...

Р я б и н и н. Постой, постой. Да ты ведь сам из интеллигенции.

О ч к а р ь *(смущенно)*. Ну и что ж! Но я... Но у меня дух рабочий. Я, брат, в комсомольском котле уже два года варюсь.

Р я б и н и н. Ну и они... интеллигенты... и они пускай поварятся.

О ч к а р ь *(яростно)*. Ты меня не собьешь! Не собьешь! Мне странно только, что ты, рабочий парень, шахтер, изменяешь своему классу.

Р я б и н и н. Постой, я никому не изменяю. И не кричи ты на меня! Ты ведь знаешь, на меня кричать... немыслимо.

О ч к а р ь *(визгливо)*. Ну и ладно. Вот приедет Владимир Ильич, он разберет наши разногласия, и ты увидишь...

Р я б и н и н *(взволнованно)*. Ильич будет на съезде?

О ч к а р ь. Будет. Все говорят — будет. Вот он вам покажет!

Р я б и н и н *(сияя)*. Только б увидеть его... Только б посмотреть! *(Стоит задумавшись. Потом тряхнул лохматой головой.)* Ну, а еще кто из наших на съезде? Кого встречал?

О ч к а р ь. Нет... Никого не встречал... Будто чье-то знакомое лицо мелькнуло... да, я был занят. Такая, понимаешь, вредная сволочь мне попалась, мы дискутировали.

Р я б и н и н *(всматриваясь)*. Смотри—Федька! С кем это он?

О ч к а р ь *(тоже смотрит)*. А это его Казань «обрабатывает». *(Петушась.)* Ну, я сейчас...

Р я б и н и н. Постой, подойдем тихо.

Очкарь и Рябинин подходят к группе, в которой потного, сбитого с толку Федьку «обрабатывают» товарищ из Казани и «теоретик» из Казани.

Т о в а р и щ и з К а з а н и. Мы в Казани этот вопрос уже продискутировали вдоль и поперек. У нас в Казани по этому вопросу есть своя платформа. *(Вытирает пот со лба. Теоретику.)* Саша, ты сам объясни ему... Ты лучше скажешь.

«Теоретик» из Казани *(небрежно, пренебрежительно)*. Что ж говорить здесь! Я на съезде выступаю... по программному вопросу... Товарищ, пожалуй, и не поймет.

Федька. Не понимаю... Хоть убейте, не понимаю... Значит, вы толкуете — юношеская партия. А коммунистическая партия, то есть РКП...

Очкарь порывается ввязаться в спор, но Рябинин одергивает его.

«Теоретик» из Казани. Как же не понять! Мы в Казани этот вопрос считаем давно решенным. Мы в Казани исходим из чего... Саша... да объясни ты ему...

«Теоретик» из Казани *(небрежно, но с апломбом)*. Я считаю, что мы переросли движение и движение переросло нас... Нам угрожает разбухание и растворение в широкой массе. Я считаю, что мы должны быть малыми, а большими — по делам и задачам. Союз должен превратиться в юношескую коммунистическую партию, объединяющую только авангард авангарда...

Федька. А остальных? А всю рабочую массу? Кто ее будет воспитывать?

«Теоретик» из Казани. Не понимает!

Товарищ из Казани. Мы в Казани считаем, что воспитывать должен Наркомпрос... Мы в Казани... Да объясни ты ему, Саша!

Федька *(разводит руками)*. Послушайте... Значит, выходит так: одна партия для взрослых, другая партия для юношей. Потом детская партия... И, может, еще женская партия. Послушайте, а не много ли партий, когда есть одна очень хорошая, отличная РКП?

«Теоретик» из Казани. Не понимает! *(Страдальчески пожимает плечами.)*

Товарищ из Казани. Мы в Казани...

Очкарь *(которого все время одергивает Рябинин)*. Вы, казанцы, увиливаете от главного вопроса: классовость или массовость? Нет, ты мне скажи! Да?

Федька. Рябинин! Где Рябинин?

Рябинин. Здесь я, Федя! Здесь, лохматый черт!

Федька. Степка, черт! А мы уже тебя похоронили. *(Обнимает его.)* Друг милый!..

Рябинин. Ну нет, друг, поживем еще... Мы огнеупорные.

Федька *(вытирает рукавом пот со лба)*. Замучили,

совсем замучили проклятые теоретики. «Мы из Казани!», «Мы из Казани!..» Прямо не Казань, а чистое наказанье!

Очкарь. Отчего же не понять? У них это рецидив юношеского синдикализма... Они взяли нашу верную мысль и повернули ее в уклон...

Рябинин (*Очкарю*). Слушай, друг! Если ты сейчас же не прекратишь своих дискуссий, то я... я тебя убью! Ты меня знаешь... Я такой. И харьковская делегация лишится своего самого брызгающего агитатора. Дай друзьям поговорить.

Очкарь (*сконфуженно*). Я замолчу. Я подожду, что Ленин скажет. Вот вы тогда увидите.

Федька. А верно, что Ленин будет?

Рябинин. Все говорят.

Федька. Вот он им, «теоретикам» из Казани, задаст!

Рябинин. Черт их знает, всегда под ногами путаются эти болтуны... дискуссионеры... с платформами и разногласиями. А тут — фронт, война еще не кончилась... Эх, Федя! Как думаешь: о чем Ленин сегодня скажет нам? А? Я так думаю: скажет, как скорее войну кончить, как победить...

Федька. Он про все скажет!

Пауза.

Ты, Степан, сейчас откуда?

Рябинин. Из Крыма.

Федька. Как же добрался?

Рябинин. Ехало нас пять делегатов... Добралось трое.

Пауза.

Ну, а ты?

Федька. Что ж! Участвовал во взятии Ростова. Потом организовали комсомол... Я в Донбюро попал... Остался, работаю... Воюю за рабочую молодежь. (*Восхищенно.*) Великолепные там железнодорожные мастерские в Ростове. Я там днюю и ночую.

Рябинин (*смеясь*). Ну, а паровозы как? Изобретения?

Федька (*убежденно*). Будут и паровозы. (*Шепотом.*) Я тебе по секрету скажу. Думаю здесь на учебу отпроситься. Неужели не пустят?

Рябинин. Могут и не пустить. Война еще идет, Федя!

Федька. Да... война...

Расталкивая всех, к Рябинину бросается Ефимчик.

Ефимчик. Вот! Все свои: «Коммуна номер раз!» Привет! Безумству храбрых поем мы песню!

Рябинин (*удивленно*). Ефимчик!

Федька (*сердито*). Ты как сюда попал? Ну, Ефимчик, знаешь!..

Ефимчик. Все знаю. Плюю я на вас!

Рябинин. Постой, постой плеваться. Ты от кого, Ефимчик, делегат?

Ефимчик. Я сам от себя делегат. Взял и приехал. (*Закладывает руки в карманы и ожесточенно смотрит на всех. Федьке.*) Выгонишь, бюрократ, да? Выгонишь! А я на вас, бюрократов, плевал!

Федька (*возмущенно*). Ну вот, поди с ним потолкуй!

Рябинин (*Ефимчику*). Да откуда ты сейчас?

Ефимчик. Из Ростова.

Рябинин. А-а, значит, вы теперь земляки!

Федька. Черт ему земляк, неугомонному... Вот вернемся, я о тебе поставлю вопрос... и отцу твоему скажу...

Ефимчик. А я не вернусь. Я вас, бюрократов, не больно-то испугался. (*Рябинину.*) Обюрократились они с моим отцом... вместе. Я отцу говорю: «Батя, что ты в своем совнархозе сидишь? Пошел бы ты воевать, батя, довольно стыдно так... бюрократиться». А он сам воевать не идет и меня не пускает. (*После паузы.*) Возьми меня на фронт, Рябинин. Возьми хоть ординарцем.

Рябинин. А иностранные слова выучил? Мне ординарца надобно грамотного...

Федька. Вот с этим-то плоховато!

Все смеются.

Ефимчик (*свирепо*). Плюю я на вас, раз такое дело. Я к самому Ленину пойду.

Рябинин. Ленин сам сюда приедет. И ходить не надо.

Ефимчик. Ленин здесь будет? А? Ну, так я к нему пойду и спрошу: «Владимир Ильич, почему меня на

фронт не пускают? Я старый фронтовик... и коммунист с семнадцатого года...»

Подходит Даша.

Даша. Голос Ефимчика узнаешь за сотни верст. Здравствуйте, ребята!

Общее воодушевление.

Рябинин. Даша!

Даша. Степан! А что, и Наташа здесь?

Рябинин (*медленно, тяжело*). Наташи здесь нет. Наташи и не будет. Наташи никогда не будет... (*Запнулся.*)

Все стихли.

Даша (*шепотом*). Нат-а-аша!

Федька. Ты видел ее?

Рябинин (*негромко*). Видел. Она висела на фонаре. И смотрела мне прямо в душу: «Запомни. Запомни. Запомни».

Пауза.

Я не забуду... Никогда...

Все смотрят, грустно опустив головы. Пауза. Вдруг откуда-то из-за стены раздается восторженное, все нарастающее: «Ура! Ура! Ура Ленину!» Все приходят в движение, устремляются в зал. Беседовавшие на лестнице комсомольцы обернулись. Ефимчик бросился к двери, но пробиться в зал он уже не может: вход запружен делегатами. Он беспомощно мечется. Федя и Очкарь также останавливаются у распахнутой настежь двери. Фойе опустело. В нем на прежних местах остались только Даша и Рябинин, застывший в напряженной позе, его глаза устремлены в зал. Овация и крики наконец утихают.

Даша (*тихо, радостно*). Пойдем, Степан. Пойдем слушать Ленина.

Они медленно идут в зал.

Затемнение.

То же фойе. У входа в зал комсомольцы и среди них Даша, Рябинин, Федя и Очкарь. Ефимчик, взобравшись на спину Феди и Очкаря, возвышается над остальными. Тишина. Все напряженно слушают речь Ленина на III съезде РКСМ. Ленин заканчивает доклад, его голос отчетливо слышен из зала. Даша застыла, сложив руки у горла.

Голос Ленина. ...Вы должны построить коммунистическое общество... Перед вами задача строительст-

ва, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием... Вы должны быть первыми строителями коммунистического общества среди миллионов строителей...

Только смотря на каждый шаг свой с точки зрения успеха этого строительства, только спрашивая себя, все ли мы сделали, чтобы быть объединенными, сознательными трудящимися, Коммунистический союз молодежи сделает то, что он полмиллиона своих членов объединит в одну армию труда и возбудит общее уважение к себе.

Даша (*тихо, шепотом про себя, как молитву*). Вся задача жизни...

Федька. Молчи ты! Слушай.

Даша (*тихо*). В труде... да, в труде...

Федька (*тихо*). Ленин... Одно слово — Ленин...

Рябинин (*задумчиво*). У меня такое ощущение... будто что-то кончилось... в нашей жизни. И что-то начинается... новое... большое... (*Усмехаясь.*) Может, это наша юность кончилась, а?

Даша. Он сказал... И мне вдруг стало видно. Все, что там за войной... за разрухой...

Федька. Он как-то в завтрашний день говорит. А вот Очкарь недоволен. Не сказал о разногласиях...

Очкарь. Какие теперь разногласия!

Рябинин. Нет, правда, кончилась наша юность — начинается зрелость. (*Неожиданно.*) А хорошая у нас была юность, товарищи, а?

Все смеются.

Ефимчик (*грустно*). Безумству храбрых поем мы песню!

Долгая пауза.

Даша. Я, ребята, после съезда обратно к себе уеду. (*После паузы.*) Он ведь сказал — надо социализм строить. (*Задумчиво.*) Социализм! А я это слово и раньше слышала. Часто... А увидела только сейчас.

Федька (*сияя*). А я теперь вырву! Ну, просто из глотки вырву путевку на учебу! (*Смеясь.*) Эх, подождал бы ты немного, Степан, отвез бы я тебя на собственном паровозе.

Ефимчик. А учиться много надо?

Федька. Немного! Лет семь!

Ефимчик (*вздохнув*). Ох!

Федька (*Ефимчику*). Ну, а ты, герой, что с собой делать будешь?

Ефимчик (*растерянно*). Не знаю... Ильич говорит: учиться. А мне охота воевать.

Рябинин. Воевать тоже надо учиться.

Смех.

Ефимчик. Да чего вы ржете, чего ржете? Я, может, если захочу, сам профессором заделаюсь, а не то что...

Очкарь (*протирая очки*). Нет, Ефимчик. Нам с тобой, кажется, начинать с азов... я ведь тоже... (*шевелит пальцами*) чего-то недопонимаю.

Пауза.

Рябинин. А я опять на фронт. (*Смотрит перед собой прямо в зрительный зал.*) Москва... Хороша Москва... Хороша-а!

Даша (*тихо, восхищенно*). Столица...

Все смотрят в зал.

Рябинин. Может, еще встретимся, ребята... Вспомним былое... Споем... А если... не суждено... так вспоминайте!

Федька (*первый начинает*).

Вихри враждебные веют над нами...
Темные силы нас злобно гнетут...
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Занавес

ЭПИЛОГ

Та же землянка полковника Рябинина, что в прологе первого акта. Рябинин кончил свой рассказ. У дверей Вася. На лавках, на табуретках и на ступеньках лестнички сидят девушки.

Рябинин. Ну, вот... С этого съезда мы и пошли в большую жизнь... кто драться за социализм, кто его строить. И дрались, и строили, и жили в нем... И вот теперь снова за него деремся... (*Шутливо.*) Ну, вот вам и весь рассказ.

Елена *(тихо)*. Спасибо...

Пауза.

Надя. Ну, а вы? Как же вы?.. Как ваша жизнь сложилась?

Рябинин. Да вот... как видите... по-солдатски...

Надя. Вы женились?

Рябинин. Я? Нет... На ком же?

Надя. А с ребятами вашими вы потом встречались?

Рябинин. Редко. Видел я как-то портрет Федьки в газете. Его орденом Ленина наградили...

Надя. За что? За паровоз?

Рябинин. Нет, кажется, за танки. Про Очкаря давно ничего не слышал. Про Ефимчика перед самой войной два раза в газете читал. Один раз его за бюрократизм ругали...

Все. Ефимчика?

Рябинин *(улыбаясь)*. Да. А другой раз хвалили выше мер. Он ведь, знаете, кто сейчас? Не угадаете. Директор треста.

Все *(весело)*. Ефимчик?

Рябинин. Да. И отчаянный, видать, директор. Хочу представить его в этой роли и не могу. Обмотки мешают. Очень он обмотки любил. *(Помолчав.)* Д-да... Мы и не заметили в суете да в работе, как молодость прошла... И стали мы солидные... и висок в серебре. Но, знаете, вот приходится мне часто встречаться с генералами, иногда и с наркомами. Все народ государственный, обремененный заботами. А поговоришь с ними по душам... и видишь,— наш, старый комсомолец. Комсомольское — не отмывается. *(Помолчав.)*

Как тебя мне не узнать!
На тебе стоит печать
Донецкого губкома,
Луганского горкома...

Это песенка у нас такая была... *(С гордостью.)* Да, мы были неплохим поколением, это я могу честно сказать.

Вася *(вздохнув)*. Вы, Степан Андреевич, поколение историческое. Вы историю делали. И рассказать есть чего. А я вот на днях в партию вступил, биографию рассказывал. Тянул, тянул, а больше как на полторы минуты не вытянул. Ну, нечего рассказывать — хоть плачь. Никакой истории!



«НЕПОКОРЕННЫЕ»



«НЕПОКОРЕННЫЕ»

Елена (*ее щеки пылают*). А мы только начинаем свою историю. Мы будем, если хотите знать, поколением не хуже вашего.

Рябинин (*мягко улыбаясь*). Ну, ну! Мы не поссоримся... (*Внимательно смотрит на всех.*) Вы для меня племя и знакомое, и незнакомое, и похожее на нас, и уже непохожее. Но вам надо быть лучше нас. Вы знаете куда больше, чем мы в ваши годы знали. И потом — вы жили в социализме, а мы... мы только мечтали о нем.

Пауза.

Елена (*тихо*). Нам пора...

Рябинин (*нежно смотрит на нее*). Я бы тебя не пустил. Мне, не скрою, больно. Но вы хоть понимаете, на что идете?

Елена. Понимаем и готовы!

Рябинин. И все ли у вас есть?

Елена. Все, все есть.

Рябинин (*ворчливо*). Есть ли у вас, например, спички?

Елена (*улыбаясь*). Спички есть! Мы ведь не в первый раз идем.

Рябинин. Бывалые. Слыхал, слыхал о вас... У вас небось и свои герои есть.

Все. Есть.

Надя. И свои потери...

Рябинин. Вот что, Вася, ты их сам проводишь. Сам. До отметки 173,5. Понял?

Вася (*четко*). Есть проводить до отметки 173,5.

Рябинин (*грозит ему пальцем*). И смотри мне!

Вася. Есть смотреть!

Рябинин. Ну, что же мы с вами так прощаемся? Песню! Песню надо. И обязательно нашу... Старую комсомольскую. Впрочем, знаете ли вы... ее... «Молодую гвардию»?

Елена (*улыбнувшись, начинает*).

Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе,
Штыками и картечью
Проложим путь себе...

Рябинин слушает песню и, размахивая в такт трубкой, сам тихо начинает подпевать.

Занавес

НЕПОКОРЕННЫЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Всё на восток, всё на восток... Хоть бы одна машина на запад!

Проходили обозы, повозки с сеном и пустыми патронными ящиками, санитарные двуколки, квадратные домики радиостанций; тяжело ступали заморенные кони; держась за лафеты пушек, брели серые от пыли солдаты — всё на восток, всё на восток, мимо Острой Могилы, на Краснодон, на Каменск, за Северный Донец... Проходили и исчезали без следа, словно их проглатывала зеленая и злая пыль.

А все вокруг было объято тревогой, наполнено криком и стоном, скрипом колес, скрежетом железа, хриплой руганью, воплями раненых, плачем детей, и казалось, сама дорога скрипит и стонет под колесами, мечется в испуге меж косогорами...

Только один человек у Острой Могилы был с виду спокоен в этот июльский день 1942 года — старый Тарас Яценко. Он стоял, грузно опершись на палку, и тяжелым, неподвижным взглядом смотрел на все, что творилось вокруг. Ни слова не произнес он за целый день. Потухшими глазами из-под седых насупленных бровей глядел он, как в тревоге корчится и мечется дорога. И со стороны казалось, был этот каменный человек равнодушно чужд всему, что свершалось.

Но, вероятно, среди всех мечущихся на дороге людей не было человека, у которого так бы металась, ныла и плакала душа, как у Тараса. «Что же это? Что же это, товарищи? — думал он.— А я? Как же я? Куда же я с бабами и малыми внучатами?»

Мимо него в облаках пыли проносились машины — всё на восток, всё на восток; пыль оседала на чахлые тополя, они становились серыми и тяжелыми.

«Что же мне делать? Стать на дороге и кричать, разметав руки: «Стойте! Куда же вы?.. Куда же вы уходите?» Упасть на колени середь дороги, в пыль, целовать сапоги бойцам, умолять: «Не уходите! Не смеете вы уходить, когда мы, старики и малые дети, остаемся тут...»?»

А обозы всё шли и шли — всё на восток, всё на восток — по пыльной горбатой дороге, на Краснодон, на Каменск, за Северный Донец, за Дон, за Волгу.

Но пока тянулась по горбатой дороге ниточка обозов, в старом Тарасе все мерцала, все тлела надежда. Вдруг навстречу этому потоку людей откуда-то с востока, из облаков пыли появятся колонны, и бравые парни в могучих танках понесутся на запад, все сокрушая на своем пути. Только б тянулась ниточка, только б не иссякала... Но ниточка становилась все тоньше и тоньше. Вот оборвется она, и тогда... Но о том, что будет тогда, Тарас боялся и думать. На одном берегу останутся Тарас с немощными бабами и внучатами, а где-то на другом — Россия, и сыны, которые в армии, и все, чем жил и для чего жил шестьдесят долгих лет он, Тарас. Но об этом лучше не думать. Не думать, не слышать, не говорить.

Уже в сумерках вернулся Тарас к себе на Каменный Брод. Он прошел через весь город — и не узнал его. Город опустел и затих. Был он похож сейчас на квартиру, из которой поспешно выехали. Обрывки проводов болтались на телеграфных столбах. Было много битого стекла на улицах. Пахло гарью, и в воздухе тучей носился пепел сожженных бумаг и оседал на крыши.

Но в Каменном Броде все было, как всегда, тихо. Только соломенные крыши хат угрюмо нахохлились. Во дворах на веревках болталось белье. На белых рубахах пятна заката казались кровью. У соседа на крыльце раздували самовар, и в воздухе, пропахшем гарью и порохом, вдруг странно и сладко потянуло самоварным дымком. Словно не с Острой Могилы, а с работы, с завода возвращался старый Тарас. В палисадниках, навстречу сумеркам, распускались маттиолы — цветы, которые пахнут только вечером, цветы рабочих людей.

И, вдыхая эти с младенчества знакомые запахи, Тарас вдруг подумал остро и неожиданно: «А жить надо!.. Надо жить!» — и вошел к себе.

Навстречу ему молча бросилась вся семья. Он окинул ее широким взглядом — всех, от старухи жены Евфросиньи Карповны до маленькой Марийки, внучки, и понял: никого сейчас нет, никого у них сейчас нет на земле, кроме него, старого деда; он один отвечает перед миром и людьми за всю свою фамилию, за каждого из них, за их жизни и за их души.

Он поставил палку в угол на обычное место и сказал как мог бодрее:

— Ничего! Ничего! Будем жить. Как-нибудь...— и приказал запасти воды, закрыть ставни и запереть двери.

Потом взглянул на тринадцатилетнего внука Леньку и строго прибавил:

— И чтоб никто — никто! — не выходил на улицу без спросу!

Ночью началась канонада. Она продолжалась много часов подряд, и все это время ветхий домик в Каменном Броде дрожал, точно в ознобе. Тонко дребезжала железная крыша, жалобно стонали стекла. Потом канонада кончилась, и наступило самое страшное — тишина.

Откуда-то с улицы появился Ленька, без шапки, и испуганно закричал:

— Ой, диду! Немцы в городе!

Но Тарас, предупреждая крики и плач женщин, строго крикнул на него:

— Тсс! — и погрозил пальцем.— Нас это не касается!

2

Нас это не касается.

Двери были на запоре, ставни плотно закрыты. Дневной свет скупо струился сквозь щели и дрожал на полу. Ничего не было на земле — ни войны, ни немцев. Запах мышей в чулане, квашни на кухне, железа и сосновой стружки в комнате Тараса.

Экономя лампадное масло, Евфросинья зажигала лампадку пред иконами только в сумерки и каждый раз вздыхала при этом: «Ты уж прости, господи!» Древние

часы-ходики с портретом генерала Скобелева на коне медленно отстукивали время и, как раньше, отставали в сутки на полчаса. По утрам Тарас пальцем переводил стрелки. Все было как всегда — ни войны, ни немца.

Но весь домик был наполнен тревожными скрипами, вздохами, шорохами. Изо всех углов доносились до Тараса приглушенный шепот и сдавленные рыдания. Это Ленька приносил вести с улицы и шептался с женщинами по углам, чтоб дед не слышал. И Тарас делал вид, что ничего не слышит. Он хотел ничего не слышать, но не слышать не мог. Сквозь все щели ветхого домика ползло ему в уши: расстреляли... замучили... угнали... И тогда он взрывался, появлялся на кухне и кричал, брызгая слюной:

— Цытьте вы, чертовы бабы! Кого убили? Кого расстреляли? Не нас ведь. Нас это не касается.— И, хлопнув дверью, уходил к себе.

Целые дни проводил он теперь один, у себя в комнате: строгал, пилил, клеил. Он привык всю жизнь мастерить вещи — паровозные колеса или ротные минометы, все равно. Он не мог жить без труда, как иной не может жить без табака. Труд был потребностью его души, привычкой, страстью. Но теперь никому не нужны были золотые руки Тараса, не для кого было мастерить колеса и минометы, а бесполезные вещи он делать не умел.

И тогда он придумал мастерить мундштуки, гребешки, зажигалки, иголки,— старуха обменивала их на рынке на зерно. Ни печеного хлеба, ни муки в городе не было. На базаре продавалось только зерно — стаканами, как раньше семечки. Для размола этого зерна Тарас из доски, шестерни и вала смастерил ручную мельницу. «Агрегат! — горько усмехнулся он, оглядев свое творение.— Поглядел бы ты на меня, инженер товарищ Кучай, поглядел бы, поплакали б вместе, на что моя старость и талант уходят». Он отдал мельницу старухе и сказал при этом: — Береги! Вернутся наши — покажем. В музей сдадим. В отделение пещерного века.

Единственным, что мастерил он со страстью и вдохновением, были замки и засовы. Каждый день придумывал он все более хитрые, все более замысловатые и надежные запоры на ставни, цепи, замки и щеколды на двери. Снимал вчерашние, устанавливал новые, пробо-

вал, сомневался, изобретал другие. Он совершенствовал свою систему запоров, как бойцы в окопах совершенствуют оборону,— каждый день. Старуха собирала устаревшие замки и относила на базар. Раскупали моментально. Волчьей была жизнь, и каждый хотел надежнее запереться в своей берлоге.

И когда однажды вечером к Тарасу постучал сосед, Тарас долго и строго допытывался через дверь, что за человек пришел и по какому делу, и уж потом неохотно стал отпирать: со скрежетом открывались замки, со звоном падали цепи, со стуком отодвигались засовы.

— Дот,— сказал, войдя и поглядев на запоры, сосед.— Ну чисто дот, а не квартира у тебя, Тарас.— Потом прошел в комнаты, поздоровался с женщинами.— И гарнизон сурьезный. А этот,— указал он на Леньку,— в гарнизоне главный воин?

Соседа этого не любил Тарас. Сорок лет прожили рядом, крыша к крыше, сорок лет ссорились. Был он слишком боек, быстр, шумлив и многоречив для Тараса. Тарас любил людей медленных, степенных. А сейчас и вовсе не хотел видеть людей. О чем теперь толковать? Он вздохнул и приготовился слушать.

Но сосед уселся у стола и долго молчал. Видно, и его придавило, и он притих.

— Оборону занял, Тарас? — спросил он наконец. Тарас молча пожал плечами.

— Ну-ну! Так и будешь сидеть в хате?

— Так и буду.

— Ну-ну! Так ты и живого немца не видел, Тарас?

— Нет. Не видел.

— Я видел. Не приведи бог и глядеть! — Он махнул рукой и замолчал опять.

Сидел, качал головой, сморкался.

— Полицейских полон город,— вдруг сказал он.— Откуда и взялись! Все люди неизвестные. Мы и не видали таких.

— Нас это не касается,— пробурчал Тарас.

— Да... Я только говорю: подлых людей объявилось много.

— Думают, как бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу.

— Да...

И опять оба долго молчали. И оба думали об одном: как же жить? Что делать?

— Люди болтают,— тихо и нехотя произнес сосед,— немцы завод восстанавливать будут...

— Какой завод? — испуганно встрепенулся Тарас.— Наш?

— Та наш же... Какой еще!

— Быть не может! Где же немец руки найдет?

— Тебя заставит.

— Меня? — Тарас медленно покачал головой.— Моими руками завод строился, моими — разрушался. Не будет моих рук в этом деле. Нехай отсохнут лучше.

— Могут заставить,— тихо возразил сосед. Он поднялся с места, сгорбленный, старый, стал прощаться.

— Ну, бувай, Тарас. Живи. Сиди. Гарнизон у тебя сурьезный,— грустно пошутил он уже на пороге.

Тарас тщательно запер за ним двери — на все засовы, на все замки. «Нас это не касается!» — сказал он себе. Но это была неправда. Весть, принесенная соседом, слишком близко касалась его. Дверь запереть можно, душу как запрешь?

Семья и завод — вот чем была жизнь Тараса. Ничего больше не было. Семья и завод. Что же осталось? Семья? Где они, сыны мои, мои подмастерья? Нет сынов. Одни бабы остались. Сурьезный гарнизон. Завод? Где он, завод, цехи мои, мои ровесники? Нет завода. Развалины. Вороньи гнезда.

Что ж осталось? Одна вера осталась. Моими руками строилось, моими рушилось, моими и возродится. Фашисты, как болезнь, как лихолетье, помучают и исчезнут. Это временное.

И сейчас впервые с ужасом подумал Тарас: «А что, как надолго?..» И тотчас же отбросил эту мысль. «Того быть не может!» Но она назойливо лезла в душу: «А что, как это навсегда? И завод задымит, как прежде? И, может, еще Гартман объявится или его наследники? И словно ничего не было — ни Клима, ни Пархоменко, ни Острой Могилы, ни эшелонной войны восемнадцатого, ни голодной ярости двадцать первого, ни штурмовых ночей тридцать первого?» Он ходил по комнате, думая все об одном и том же: «Неужели это навсегда? Неужели подлые руки найдутся?» И отвечал себе: «Может, найдутся, да не мои! Сыны мои в оборо-

не не устояли. Я устою. Я дождусь». И он все ходил да ходил по комнате, и ветхие половицы тихо скрипели под его тяжелыми ногами. А с циферблата древних часов, из-под копыта коня генерала Скобелева, с тяжким стуком падали в вечность секунды, капля за каплей, капля за каплей...

3

Капля за каплей, капля за каплей...

Ровно в шесть часов утра пронзительно резко звенел будильник в комнате Тараса и будил его. Старик торопливо вскакивал и вспоминал: торопиться некуда. Но он вставал и первым делом сверял часы и переводил пальцем стрелки на ходиках, отстающих на полчаса. Начинался день, а с ним и тревоги. И каждый новый день приносил новые тревоги.

Немцы объявили, что все работники бывших городских учреждений обязаны немедленно выйти на работу на свои места. Антонина, жена среднего сына Андрея, сказала об этом Тарасу. Но он только отмахнулся рукой.

— Нас это не касается!

— Но меня касается...— робко возразила она. До немцев она была бухгалтером жилотдела.

— Не касается, не касается! — свирепо закричал на нее Тарас и не стал больше слушать об этом.

Через несколько дней Антонина получила повестку. Городская управа строго предлагала ей явиться на работу. «Началось! — екнуло сердце Тараса.— Подлых рук ищут!» Он отобрал у Антонины повестку, скомкал ее и выбросил.

— Не будет моя фамилия служить врагу! Не будет! — закричал он на Антонину, словно она во всем была виновата.— И тебе не позволю. И себе не позволю. Так и знай!

А еще через несколько дней домик в Каменном Броде затрясся от ударов в дверь. Пришла полиция. Запоры Тараса не помогли — пришлось отворять.

Они вошли в его дом как к себе в хату, прямо в комнаты, в шапках, в черных шинелях. На Тараса и не поглядели. Сели без спросу.

— Кто Антонина Яценко?

— Я,— дрожа всем телом, отозвалась Антонина.

— Паспорт!

Она отдала паспорт. Рыжий, кривой на один глаз полицейский взял паспорт и сунул его в карман. Потом молча встал и пошел к дверям.

— А паспорт? — кинулась к нему Антонина.

— Получишь на бирже.

Тарас, еле сдерживаясь от ярости, попробовал было вступиться:

— Не знаю, как величать вас, господин...

Но полицейский сверкнул на него единственным глазом:

— Ты сюда не касайся, старик. Твой черед будет. Ты у меня на заметке! — потом рванул дверь так, что замки и цепи загремели.— Ишь, запираются еще от власти! — и вышел.

Пять минут продолжалась эта сцена, а Тарасу показалось, словно двадцать пять лет. Словно отбросило его на двадцать пять лет назад, и опять ночные стуки в Каменном Броде, хриплые голоса через дверь: «Телеграмма!» — и бряцание шашек о сапоги...

— А я думал,— сказал он, скривив губы и качая головой,— что так и умру, не услышав больше слова «полиция»...

Утром Антонина ушла за паспортом на биржу труда и вернулась только к вечеру. Тарас взглянул на нее и ни о чем не спросил. Спрашивать было нечего.

Антонина молча опустилась на лавку и словно застыла. Так сидела она в сумерках кухни, бессильно опустив руки, и молчала. Бабка Евфросинья подсела к ней.

— Били?— шепотом спросила она.

— Только что не били, а то всего было,— отозвалась Антонина.— За всю жизнь на коленях наползалась.

— Отпросилась?

— От Германии отпросилась, а на службу — идти.

— Идти? — всплеснула руками бабка.— Что старик скажет? Да ты б им, поганым, в рожу плюнула...

— Плюнешь! Как же! Кровью плюют на этой бирже люди. Сама видела. Нет, мама, не героиня я. Я ползала.

В эту ночь она плохо спала. Все чудились ей за стеной тяжелые шаги Тараса. «Ходит и ходит. Ходит и ходит,— мучалась она.— Меня проклинает». А потом мерещился Андрей, весь в крови; он глядел не на нее, а ку-

да-то сквозь нее, словно была она пустая и прозрачная. Она падала на колени перед ним. «Никогда я тебе не изменяла, Андрей, ни душой, ни помыслом». Но он все глядел через нее и ничего не говорил, словно ее не было. А за дверью все звучали шаги Тараса и чей-то насмешливый голос дразнил: «Измена в твоем гарнизоне, Тарас! Измена!»

Утром, собираясь на службу, она старалась не встречаться глазами с Тарасом, но всею кожей чувствовала, как он следит за ней. Следит молчаливым, тяжелым взглядом — никуда от него не скрыться.

И, уходя уже, взявшись рукой за щеколду двери, Антонина умоляюще произнесла:

— Не судите меня, Тарас Андреич!.. Я... я не могу, когда бьют...

4

«Я не могу, когда бьют». Она жила теперь в вечном страхе и ожидании ударов. Каждый громкий окрик заставлял ее спину вздрагивать. Спина была сейчас самой чуткой частью ее тела. Все притупилось и одеревенело в ней. Только спина жила.

День на бирже труда лишь оглушил и растоптал ее, все остальное пришло потом.

Служба в жилотделе управы сначала успокоила ее. Работать никто не хотел. Сидели, грызли семечки. Шелуху сплевывали в пустые ящики письменных столов.

— Плюйте, девочки, плюйте,— говорила им Зоя Яковлевна, главбух отдела.— Только убедительно вас прошу, когда немец войдет, делайте вид, что вы работаете. Делайте вид, убедительно вас прошу.

Но появлялся комендант. Требовалось вставать, и кланяться, и ждать, пока немец ответит кивком. Он медлил. Он нарочно медлил. Обводил ледяным взглядом спины, ждал, пока склонятся еще ниже.

— Ниже, ниже! — шептали Антонине подруги. Она не умела кланяться, она никогда не кланялась так. И спина ее начинала дрожать, ожидая удара.

У старика архитектора была одышка. Когда он склонялся в поклоне, кровь приливала к его дряблым щекам, и его начинал мучить кашель. Он давился им и

склонялся еще ниже. «Когда-нибудь я так и умру!» — думал он при этом.

Наконец комендант отвечал небрежным кивком и проходил мимо, к себе. Антонина старалась не глядеть на подруг, подруги не глядели на нее. Старик архитектор грузно опускался на стул и принимался долго и мучительно кашлять.

Постепенно Антонина успокаивалась, только спина настороженно вздрагивала при каждом стуке дверей. «Только бы не били! Только бы не били!» Подруги успокаивали ее: «Дурочка, кто же станет нас бить? Мы же служащие городской управы». Городская управа казалась им убежищем.

Но однажды утром в жилотдел ворвался синий от злости немецкий лейтенант. Брызгая слюной, он кричал что-то бессвязное и все тыкал в свои часы. Инженер Марицкий попытался объясниться с ним. Дрожа всем телом, он бормотал, что через полчаса, всего через полчаса, рабочие придут на квартиру господина лейтенанта и сложат печь. Он сам, инженер, придет и, если угодно, сам все сделает. Если он и опоздал на полчаса — всего на полчаса, господин лейтенант,— то только потому, что господин полковник приказал послать людей на его квартиру, а рабочих рук нет, и хотя мы объяснили господину полковнику, что господин лейтенант...

Лейтенант слушал его оправдания и медленно расстегивал свой поясной ремень. «Что он хочет делать? — удивлялась Антонина.— Зачем он расстегивается?» — И вдруг услышала свист ремня в воздухе и крик. И тогда она сама закричала в ужасе и закрыла лицо руками. Ее спина мучительно заныла, словно это били ее. А в воздухе все свистел и свистел ремень и с тяжелым стуком падал на что-то мягкое.

Все, кто был в комнате, отвернулись или потупились, чтобы не видеть, как хлещут ремнем большого, взрослого, всем в городе известного человека. Было стыдно... Было невозможно смотреть. И только молоденькая Ниночка, счетовод, широко раскрытыми от удивления и ужаса глазами смотрела на эту сцену. Впервые в своей жизни видела она, как бьют человека.

А немец все продолжал и продолжал хлестать Марицкого ремнем, и теперь уже не со злобой, а методично, деловито, как машина, по лицу, плечам и спине. Ин-

женер стоял перед ним согнувшись, большой, широкоплечий. Он не уклонялся от ударов, не кричал, не плакал. Он только втянул голову в плечи, съежился и старался руками закрыть лицо. Плечи его вздрагивали.

Странная тишина царила в комнате. Молчали люди у своих столов. Молча бил немец, молча принимал удары инженер. Страшное, постыдное молчание.

Потом немец спокойно и медленно надел ремень, одернул мундир и вышел. Все продолжали молча стоять у своих столов. Антонина плакала. Марицкий смущенно поднял глаза. Он попытался улыбнуться, чтобы скрыть смущение и боль, но мускулы его лица судорожно дрогнули, не выдержали, и вместо улыбки получилась жалкая, больная гримаса. Он закрыл лицо руками и разрыдался при всех.

С тех пор и стала вздрагивать спина Антонины при каждом громком окрике, при стуке дверей, при звоне шпор на лестнице. Она не ходила теперь по улицам, а шмыгала. Прижималась к стенам. Боялась перекрестков. Она теперь всех боялась, даже Тараса. Ей было страшно в городе, вчера еще, до немцев, родном и веселом. Ей было страшно дома, вчера еще, до немцев, уютном и милом. Ей было страшно на земле.

Она плакала теперь часто и по всякому поводу. Плакала на службе, плакала дома, глядя на Марийку, дочку, плакала в постели, слыша шаги Тараса. Она подурнела и состарилась от слез. Боялась глядеться в зеркало. «Нельзя плакать! — убеждала она себя.— Я совсем стану старой. Как я покажусь Андрею, когда он вернется?» Но при мысли об Андрее она снова принималась плакать.

А за стеной всю ночь напролет шагал Тарас. Его шаги гулко отдавались в скрипучей тишине домика. «Все ходит и ходит. Все ходит и ходит. Меня проклинает».

Но Тарас теперь редко думал о ней.

5

Он думал теперь о Насте, о дочке. Он следил за нею тайком, исподлобья, острым, внимательным взглядом. Она удивленно спрашивала:

— Вы чего, папа?

— Ничего,— отвечал он и вздыхал.

Но какая-то тайная мысль мучила его, не давала покоя. Он спросил однажды жену, недовольно морщась:

— Не пойму я, мать, вроде наша Настька красивой стала? А?

— Хорошая,— гордо ответила Евфросинья.— И похвалить не грех — хорошая.

— Да-да...— горько вздохнул Тарас.— И я гляжу...

В другой раз он спросил:

— А сколько ей лет... нашей Настьке-то?

— Восемнадцать, отец. Неужели забыл?

И опять он тяжко вздохнул.

— Да, восемнадцать, как забыть, помню. Ох-хо-хо!

Раньше Тарас и не замечал Насти среди других ребят, наполнявших дом. Своя и чужая детвора шумела и возилась во всех углах, он глядел только, чтоб его инструмента не касались. Всем остальным занимались школы да комсомолы. Дети росли, стаптывали сапоги, сами находили свое счастье. А сейчас никого не было — ни комсомола, ни школы. Он был один, Тарас,— глава фамилии. И судья и учитель. Он один отвечал за души детей.

На беду, некстати, не ко времени вдруг расцвела и созрела в эту горькую весну Настя. Налилось весенним соком тело, стало упругим и жадным. Пришла ее пора любить, страдать, ждать своего девичьего счастья.

Какого счастья? У Тараса сердце ныло, когда он глядел на Настю. Ее дома не видно было и не слышно. Она ходила тихо, и работала тихо, и разговаривала тихо, больше молчала. Сядет у окошка, на лавку, и — молчит. Сидит и молчит. «Почему молчит?» — мучился он. Сидит и молчит. Сидит и молчит. И странно так, тяжко молчит, о своем думает. О чем? О каком счастье мечтает? Молчит все.

Он следил за каждым ее шагом.

— Не ходи на улицу,— строго говорил он, заметив, что она надевает платок.

— Хорошо,— покорно отвечала она, аккуратно складывала платок и садилась у окошка на лавку. А он хо-

дил тяжелыми шагами по дому и мучился. Потом напускался на дочь.

— Ты чего сиднем сидишь? Пойди прогуляйся. Да старенькое платье надень, чего наряжаться не по времени!

И она покорно надевала старенькое, повязывала голову рваным платочком, обувала стоптанные туфли. Но и из этих обносков, всему наперекор, неукротимо и победно рвалась ее молодая краса. И Тарас тревожно вздыхал: «Вот до чего дожил! Красе родной дочери не рад!»

Но душа ее оставалась для него загадкой. «Что они за племя такое, что за народ эти молодые, нынешние?» Совсем он их не знал. Незнакомое племя. Но и не зная, он сомневался в них. «Где уж им! На папашины деньги учились, горя не видели, с Александром Яковлевичем Пархоменко в поход не хаживали, почем фунт лиха — не знают». И теперь он проклинал себя, что раньше детьми не занимался, и как с ними говорить — не знает, и как в их душу войти — не знает, а отвечать за них перед людьми и миром придется ему.

— Ты чего молчишь? Чего молчишь все? — крикнул он однажды на дочь.

Настя удивленно подняла глаза и, пожав плечами, ответила:

— А чего мне говорить, папа? Вы спрашивайте.

А он и не знал, о чем и как ее спросить. Он присматривался к Настиным подругам строго и придирчиво. Всякие были, хорошие и плохие. Но одну он люто невзлюбил, Лизку. Впрочем, она уже называла себя Луизой.

Когда Тарас впервые заметил и разглядел это взбалмошное существо, он от удивления даже рот раскрыл. И наряд на Луизе был какой-то пестрый, крикливый, и юбка выше колен, и прическа какая-то не русская — белобрысые локоны как-то смешно и нелепо скручены на лбу,— и все в ней было и не русское, и не немецкое, а какое-то обезьянье.

— Ты чья такая? — уставился на нее Тарас.

— Антона Лукича дочка... Луиза,— бойко ответила Лизка.

— Брысь, паскуда! — гаркнул Тарас.— Вот я твоему отцу, старому дураку, скажу, чтоб он тебя выдрал.—

Но тотчас же опомнился и украдкой виновато глянул на Настю. Настя молчала. Тарас хлопнул дверью и вышел.

Луиза, однако, продолжала бывать в доме Тараса. Сначала она старика побаивалась, околачивалась где-то на кухне, поближе к порогу, разговаривала с женщинами шепотом и все поглядывала с опаской на двери Тараса,— ее самое еще смущали и наряд, и локоны; потом она осмелела, обнаглела даже. А однажды набралась храбрости и напустилась на Тараса:

— Вы что ж, Тарас Андреевич, Настю на улицу не пускаете? Ее дело молодое, ей гулять хочется.

Тараса чуть удар не хватил от бешенства. Но он сдержался. Подошел к Насте и посмотрел на нее грустным-грустным, долгим взглядом.

— Тебе гулять хочется, дочка? — спросил он ласково, так ласково, как никогда не говорил с ней, и голос его дрогнул.

Она удивленно подняла на отца глаза и тотчас же опустила их.

— Нет, папа.

— Слышишь? — обратился к Лизе Тарас.— Не хочется ей гулять. Не такое, Лиза, время, чтоб гулять.

— Измена! — фыркнула Лизка.

— Измена,— так же коротко и серьезно ответил Тарас.— Хуже измены. Вот умер бы у тебя отец, горе в доме, пошла б ты гулять? А у нас нынче в каждом доме — горе. Не до гулянок. Не простят нам наши, если мы гулять тут будем.

— Война все спишет!

— Нет! — убежденно покачал головой Тарас.— Нет, врешь, Лиза. Не спишет. Все запишет война. Ничего не простит, ничего не забудет. Поимей это в виду, девушка! Вернутся наши, поставят нас перед собой и своими чистыми глазами в душу глянут. В самую душу. И все увидят: кто ждал, кто верил, а кто — продал, забыл.

— Когда ж они придут?

— Не могу тебе сказать, девушка. Но придут. И имей в виду — обязательно придут.

— А молодость пройдет! — вздохнула Лизка.— Самая лучшая пора пройдет. Наши вернутся и на нас,

старух, глядеть не станут. Нет,— тряхнула она локонами,— уж лучше хоть как-нибудь, а отгулять...

А Настя молчала.

Откуда-то из темноты вынырнул Ленька — главный воин гарнизона Тараса — и, озорно усмехаясь, сказал:

— Дедушка! Тут про таких,— он сверкнул на Лизку глазами,— песня сложена, в городе поют. Я всю знаю.

— Какая песня?

— Называется «Позор девушке, гуляющей с немцем».

Он встал в позу и мальчишеским звонким голосом запел:

Молодая девушка немцу улыбается.
Позабыла девушка о своих друзьях.
Только лишь родителям горя прибавляется,
Горько плачут бедные о милых сыновьях.
Молодая девушка, скоро позабыла ты,
Что когда за родину длился тяжкий бой,
Что за вас, за девушек, в первом же сражении
Кровь пролил горячую парень молодой,
Где-то там над речкою, над широкой Волгою,
Был убит за родину молодой герой.
Только ветер волосы развевает русые,
Словно их любимая теребит рукой.
Вымоет старательно дождик кости белые
И засыплет медленно мать сыра-земля.
Так погибли юные, так погибли смелые,
Что дрались за родину, жизни не щадя.
Лейтенанту-летчику молодая девушка
Со слезами верности весною поклялась,
Но в пору тяжелую сокола забыла ты
И за пайку хлеба немцу продалась.
Под немецких куколок прическу ты сделала,
Красками накрасилась, вертишься иглой.
Но не нужны соколам краски твои, локоны,
И пройдет с презрением парень молодой.
Да, вернутся соколы, смелые, отважные.
Как тогда ты выйдешь молодца встречать?
Ведь торговлю ласками и торговлю чувствами
Невозможно, девушка, будет оправдать...

Слушая эту песню, бабка Евфросинья вздыхала. Антонина тихо плакала, Лиза краснела и ежилась, а потом вдруг сама разрыдалась и выбежала вон.

А Настя побледнела и сказала:

— Не все девушки такие. И другие бывают.

Больше она ничего не сказала. И опять не мог понять Тарас, что за этими словами скрыто, как не пони-

мал раньше, что скрывается за ее молчанием. О чем она думает, о чем молчит, чего ждет? «Ох-хо-хо! — вздыхал он.— Посматривать за нею надо, посматривать!»

Да как уследишь за ними! Даже бабка Евфросинья ушла тайком куда-то утром и вернулась только в обед, злая, весь день плевалась и грохотала горшками.

— Ты чего плюешься, чего плюешься? — не выдержав, спросил Тарас.— Ты где все утро была?

— В церкви.

— Ну?

— Тьфу!

— Что ж тебе не понравилось в божьем храме? — усмехнулся Тарас.

— Тебе, безбожнику, все одно.

Но вездесущий Ленька вылез и тут:

— Ей, дедушка, поп не понравился.

— Поп? Какой поп?

— А немцы своего попа поставили.

— Откуда ж взяли?

— А из сада. Костя, что в саду в бильярдной шары подавал, теперь немецкий поп.

— Костя? Этот старый пьянчуга — поп? — удивился Тарас и посмотрел на жену. Евфросинья молча двигала горшками в печи. Тарас рассердился: — Над тобой немцы издеваются, дура. Над богом твоим, над храмом твоим и над верой твоей, а ты ходишь. Молись дома, если надо, а к немецкому попу не ходи! Слышишь?

В другой раз, вечером, вся в слезах пришла Антонина. Была в кино. Пошла с подругами, чтоб не идти домой: в этот вечер она особенно боялась Тараса, ее измучили его шаги за стеной.

В кино показывали немецкую военную хронику. Под пронзительные вопли фанфарных маршей двигались по экрану немецкие танки, били немецкие пушки. По всем углам зала сидели полицейские в черных шинелях и настороженно, как кобчики, следили за публикой: боялись демонстраций. Но никто не кричал, не свистел, не шикал. Случилось другое, странное: зал начал плакать. И чем громче били пушки, тем горше рыдал зал.

Немцы никак не могли понять, отчего русские женщины плачут, когда на экране так весело, совсем не как

на войне, бьют пушки. Офицеры злились на русских женщин, а русские женщины плакали все громче и громче. Каждой казалось, что это в ее мужа, сына, брата бьет немецкая пушка. И каждая плакала о своем. Кричать было нельзя — они плакали.

Офицер из гестапо не выдержал, вскочил и заорал:

— Прекратить слезы! Здесь не похороны! Улыбайтесь! Улыбайтесь же, русские свиньи!

Зажгли свет в зале. Из всех углов выползли полицейские. Офицер, размахивая стеком, кричал:

— Улыбайтесь, ну! Улыбайтесь, свиньи, свиньи!

А женщины продолжали плакать...

— Что ж ты не улыбалась? — криво усмехнулся Тарас, выслушав рассказ Антонины.— Раз уж пошла в немецкое кино — улыбайся! А со своими слезами дома сиди. Не видишь разве — издеваются фашисты над твоими слезами!

Они над всем издеваются — над Евфросиньиной верой, и над Антонининым горем, и над молодостью Лизы-Луизы и над ее локонами; они все топчут, они и Настю растопчут, если не уберечь, и Леньку, и маленькую Марийку,— раздавят душу каблуками своих кованых сапог и пройдут... Как уберечь, как уберечь их?

— Каждый думает, как бы спасти свою жизнь, а надо бы думать, как спасти свою душу.

6

Каждый думает, как бы спасти свою жизнь, а надо бы думать, как спасти свою душу...

Тарас «спасался» в своем доме. Он по-прежнему сиднем сидел дома, за закрытыми ставнями. Что там творилось в городе — того он не знал.

Но город властно тянул его, звал, мучил: ты видел меня в славе, погляди — вот я распят на кресте. Коснись моих ран, Тарас. Раздели мои муки.

Он не мог больше сидеть за замком, взял палку и пошел.

И вот открылся перед ним город на холмах, ни на какой другой в мире не похожий, но такой, каким был всегда: крыши и трубы, крыши и трубы; те же улицы,

падающие с окраин вниз, в центр; те же дома под железом и черепицей, те же акации в городском саду. И так же, в назначенную пору, летит с тополей веселый и легкий пух, кружится над улицами и падает на крыши. Как снег. Как теплый, розовый снег.

— Все, как было! — горько покачал головой Тарас.— Все, как было!

А хозяином в городе — немец!

Оскорбленный и потрясенный шел Тарас по городу. «Что ж это за люди? Что ж это за люди?» — гневно думал он и только сейчас заметил, что людей на улицах нет. Пусто и тихо. Так тихо, словно не в городе, а на кладбище. Словно у города вырвали язык, и не может он ни кричать, ни петь, ни смеяться, а только тихо стонет, как глухонемой, которому от его немоты больно.

Какие-то тени мелькают вдоль заборов, торопливо перебегают перекресток, скрываются в подворотнях. Где-то там, за закрытыми ставнями, шевелится, ворочается жизнь, но ни громкий голос, ни песни, ни плач не пробиваются сквозь щели. Даже дым из печей — тощий и бледный: может быть, оттого, что топить нечем; может быть, оттого, что варить нечего. Дымок подымается, дрожит в небе и тает быстро и пугливо.

Мимо Тараса пробежало несколько знакомых, он окликнул их почему-то шепотом,— словно и на него уже действовала настороженная тоскливая тишина улиц, и он уже говорил шепотом в своем родном городе,— они не услышали его и не обернулись. У людей появилось какое-то странное движение шеей, такого и не было никогда: быстрое, испуганное от привычки озираться. Люди боялись встреч.

Подле пепелища городского театра Тарас лицом к лицу столкнулся с доктором Фишманом, лечившим всех его детей и внуков. Тарас по привычке снял картуз, чтобы, как всегда, поздороваться, но увидел на рукаве Фишмана желтую повязку с черной шестиугольной звездой — клеймо еврея — и поклонился низко-низко, как не кланялся никогда.

Этот поклон испугал врача. Он отпрянул в сторону и инстинктивно закрылся рукой. Тарас молча стоял перед ним.

— Это вы мне... мне поклонились? — шепотом спросил, наконец, врач.

— Вам, Арон Давыдович,— ответил Тарас.— Вам и мукам вашим.

— А... да... да...— растерянно пробормотал Фишман.— Здравствуйте... Моё почтение... Как поживаете? Я — ничего себе...— Но что-то сдавило вдруг его горло, он взмахнул руками и вскрикнул: — Спасибо вам, человек! — и побежал прочь не оглядываясь.

Тарас долго смотрел ему вслед. На пустынной улице все маячила согбенная спина врача, подпрыгивала и дергалась... А вокруг, как всегда: крыши и трубы, крыши и трубы; те же дома под железом и черепицей; и улицы, падающие с окраин вниз, в центр, и акации в городском саду. И так же, как всегда, в назначенную пору летит с тополей веселый и легкий пух, кружится над улицами и падает на крыши, как снег.

«Куда же тебе еще пойти, Тарас? На что тебе еще поглядеть? Не довольно ли видел?» Но он все шел да шел по мертвым, распятым улицам города, из которого вырвали веселую живую душу. Вырвали и растоптали. И нет ее, ничего нет,— город глухонемых и нищих.

Один Тарас идет, и громкий стук его палки о камни тротуара будит и скликает воспоминания. Они, как эхо, слетаются к нему со всех сторон, от каждого камня, от каждого дома, с каждого перекрестка. Здесь он родился. Здесь женился. Здесь состарился. Бывало, здесь, на площади, шумели горячие митинги. Клим говорил, потрясая рукой. Пархоменко уходил отсюда в бессмертие. Комсомольцы пели «Паровоз» и делали паровозы. И день и ночь висели над городом веселый звон железа, и песня за рекой, и детский смех в саду.

Нынче все стихло: задавили песню, расстреляли смех. Воспоминания — единственно живое, что оставалось здесь.

Тарас и не заметил, как нечаянно забрел на базар. Бывало, скрипели тут возы и суетились, толкались люди; башни полосатых арбузов высились рядом с горами теплого, дымящегося мяса; в горшечном ряду сияли глиняные солнца обливных макитр, глечиков, кувшинов; продавец игрушек на все лады пробовал свои свистульки,— незатейливая музыка вплеталась в базарный гам;

и, покрывая все шумы, голоса, свисты и скрипы, гремел над базаром отчаянно ликующий, радостный, оголтелый крик петухов из птичьего ряда,— без петуха нет базара.

И хоть был Тарас заводской человек, базары он любил. Он любил в воскресенье, после получки, приходить сюда с женой и важно шествовать вдоль рядов, чувствуя себя хозяином всех вещей, выставленных на продажу. Он все мог купить. Базар был богат, но богат был и Тарас-мастер.

Сейчас покупать было нечего и не на что. У редких возов стояли понурые очереди: постаревшие, осунувшиеся женщины в стоптанных туфлях, небритые мужики, обросшие седой щетиной. На лотках одиноко лежали бородавчатые картофелины, похожие на старушечьи лица, и сморщившаяся морковка, недоступная, как заморский апельсин. Здесь зерно продавали стаканами, картофель — штуками, сахар — кусочками,— горькою мерою нищеты.

Нищета разоренных сел пришла сюда, на базар, и встретилась с голодной нищетой распятого города. Нищета принесла на базар все, что еще можно было выскрести со дна заветных сундуков. Подвенечное платье с увядшими цветами, кацавейку, усыпанную серебряной мишурой нафталина, потертый коврик, детское одеяльце с голубыми ленточками, последнюю рубаху с тела. А те, у кого и этого не было, принесли на рынок совсем бесполезные, никому не нужные вещи: подсвечники, поржавевшие от старости и плесени, зеленые самовары с побитыми боками, детские игрушки — какого-нибудь облезшего плюшевого зайца или нелепо счастливую куклу.

Владельцы этих никому не нужных вещей и сами сознавали их ненужность и даже не предлагали их покупателям. Молча стояли они весь день на рынке, вытянув перед собой свои тускло-зеленые подсвечники, и с тоскливой мольбой глядели на прохожих. И казалось, каждая вещь кричит за своего хозяина: «Купите! Это последнее, что у него есть. Завтра он умрет с голода».

Страшный язык нужды! Перед Тарасом словно вывернули внутренности города, сведенного судорогой голода и отчаяния. Он узнавал людей и вещи, тени лю-

дей, обломки вещей. Эти самовары он видел некогда на чайных столах в палисадниках, под тихими акациями; мирные, счастливые субботние чаепития! Он узнавал коврики, безделушки с комодов, камчатные скатерти, фарфоровые статуэтки, патефонные пластинки — символы простого, сытого счастья. Он знал, что за этими символами скрыта частная жизнь целого поколения. Нынче это за горсть зерна продается на рынке. Нищий покупает у нищего, голодный обменивается с голодным. Они делают это молча. На толкучке не слышно былого шума, нет веселой суеты. Тишина отчаяния. Какой-то пожилой человек в пенсне и с пустой кошелкой долго стоит перед лотком с картошкой, потом медленно снимает с себя пиджак, вертит его в руках, зачем-то встряхивает и отдает продавцу. Тарас узнает человека в пенсне и отворачивается. Это директор техникума, где учился Никифор.

Тарас встречает здесь много знакомых,— горькие встречи! Люди не узнают друг друга, всем стыдно и скверно. Знаменитый мастер литейного цеха продает свой патефон-премию. Химик из заводской лаборатории торгует самодельными спичками. Где-то здесь и Евфросинья меняет на хлеб замки Тараса.

Тут же на базаре, под ногами живых людей, где-нибудь у тротуара, лежат, скорчившись, мертвые. Живые осторожно обходят их и отворачиваются, стараются не глядеть,— в стеклянных глазах покойника им чудится их собственный завтрашний день. В городе привыкли к мертвым.

Растрепанные цыганки в грязных цветастых платках пристают: дай погадаю! Мужчины грустно отмахиваются. Бабы соглашаются. Озираясь по сторонам, нет ли немца или полицейского, гадалки бормочут страстным, убежденным шепотом:

— Твой сокол жив, голубушка. Жди, вернется. Многие муки принял он. В реке тонул — не утонул, в огне горел — не сгорел, враг его не убил, и пуля не взяла, и бомба пролетела, не задела. Вернется он, голубушка, с первым снегом, по санному пути, ты надейся.

— Дай-то бог,— вздыхают и крестятся бабы.

Подле слепца, гадающего по выпуклой книге, особенно много баб. Слепец водит пальцами по невидимым буквам и пророчит. Бабам жутко.

— Кровавые реки прольются,— монотонно читает слепец,— и в тех реках захлебнется враг рода человеческого. И случится это...— он с усилием нащупывает выпуклые буквы, а бабы, замерев от страха и надежды, ждут ответа.

Над базаром, как и над городом, висит больная, немощная тишина: голосам и звукам не хватает силы, словно здесь не люди бродят, а призраки. И только итальянские солдаты торгуют шумно и весело. Они великолепны, эти королевские мушкетеры в шапочках с перьями, когда, обвешанные бабьими тряпками и барахлом, кипят они в торговом азарте, продают свое и ворованное, меняют, покупают и тут же продают купленное.

Но вдруг взламывается, раскалывается тишина базара. Кто-то исступленно крикнул: «Облава!» — и все всполошилось и заметалось вокруг. Мимо Тараса побежали люди. Он увидел искаженные ужасом лица. Он услышал выстрелы и вопли. Кого-то били головой о мостовую. Страшно кричала женщина с рассеченным лбом, ее черные волосы слиплись от густой крови. Над базаром низко и тревожно летали галки. Схваченный автоматчиками парень бился в железных лапах, не веря еще тому, что схвачен. Он рвался из цепких рук молча и исступленно, скрипел зубами, не желая тратить силу в бесполезных криках, но все его большое тело кричало, выло о свободе и рвалось из плена. Его били зло, ожесточенно, а он все рвался, все не верил, что это конец. И вдруг, обессилев, обмяк и затих. В последний раз обвел парень страстно-тоскующим взором вольный мир молодости. Все было кончено для него. Теперь Германия, каторга, и — вероятнее всего — смерть.

А мимо Тараса все бежали и бежали охваченные ужасом люди. Они бежали, вины за собой не чуя. Вся вина их была в том, что они — люди, а это охота на людей. И Тарас был человек, и за ним охотились, и он бежал, хрипя и задыхаясь, ожидая, что вот-вот лопнет, не выдержав, сердце. Он вбежал в какую-то подворотню и там перевел дух. Мимо него пронеслась вся свора и где-то затихла вдали.

Под воротами и во дворе столпилось много людей. Все они тяжело дышали. Кто-то сказал, сплевывая кровь:

— Автоматов бы нам! Автоматов!

— Ничего! — отозвался Тарас.— И топоры годятся.

По улице прошел эсэсовский патруль, и все затихли. В тишине было слышно, как стучат о камни тротуара кованые сапоги немцев. Казалось, камни стонут под сапогами, камни кричат. А из всех окон, щелей, ворот глядят вслед глаза, горячие, ненавидящие... Гитлеровцы идут по мертвым улицам. Пустынны площади. Молчит глухонемой город. Страшная тишина висит над ним — тишина затаенной ненависти. В этой тишине — как проклятие, как кошмар, как бред — цокот кованых сапог о камни. И, заслышав этот цокот — днем ли, ночью ли,— испуганно замирает жизнь, прячется все живое, затихают дети, скрываются в погреба женщины. Мужчины сжимают кулаки: не за мной ли? Не мой ли черед? Уже невозможно слышать этот тяжелый ненавистный стук сапог.

Над всем городом висит этот страшный солдатский запах — запах казармы и вонючего табака.

Жить было невозможно.

7

Жить было невозможно.

На семью Тараса еще не обрушился топор фашистов. Никого не убили из близких. Никого не замучили. Не угнали. Не обобрали. Еще ни один немец не побывал в старом домике в Каменном Броде. А жить было невозможно.

Не убили, но в любую минуту могли убить. Могли ворваться ночью, могли схватить средь бела дня на улице. Могли швырнуть в вагон и угнать в Германию. Могли без вины и суда поставить к стенке; могли расстрелять, а могли и отпустить, посмеявшись над тем, как человек на глазах седеет. Они все могли. Могли — и это было хуже, чем если б уж убили. Над домиком Тараса, как и над каждым домиком в городе, черной тенью распластался страх.

Законов не было. Не было суда, права, порядка, строя. Были только приказы. Каждый приказ грозил. Каждый запрещал. Приказы точно определяли, каких

прав лишен горожанин. Это была конституция лишения прав человека. Человеческая жизнь стала дешевле бумажки, на которой было напечатано: карается смертью.

Дом больше не служил убежищем человеку. Замки не оберегали ни его жизнь, ни его имущество. Люди редко жили или спали в домах. Они прятались в погребах и сараях. Заслышав цокот кованых сапог, они забивались в щели. Если б были пещеры в городе, люди ушли бы в пещеры, зарылись бы в норы, только б не жить под «новым порядком».

Вся жизнь обывателя состояла теперь в том, чтобы спрятаться. Спрятаться от немца, посторониться, когда он шагает по улице, укрыться, когда он входит к тебе в дом, уклониться, когда он тебя ищет.

А гитлеровец шагал и шагал по городу, выпятив грудь, вытянув, как цапля, ноги, надвинув на низкий лоб каску, шагал с тупым воодушевлением автомата и все давил, мял, топтал,— жить было невозможно.

Жить было невозможно, но надо было жить.

Как жить? От этого вопроса нельзя было отмахнуться. Нельзя было сказать себе: «Нас это не касается». Перед каждым человеком в городе встал этот вопрос: как жить, что делать? И каждый человек должен был сам его решить для себя и для своей совести.

Теперь часто по вечерам приходил к Тарасу сосед, Назар Иванович. Сорок лет прожили рядом, крыша в крышу, сорок лет ссорились. А сейчас общая беда соединила их,— сидели все вечера вместе, курили, вздыхали...

Обычно разговор начинал Назар. Беспокойный человек, он целыми днями слонялся по городу.

— Иду я сегодня по улице,— рассказывал он,— вижу, тротуары чинят. Сердце у меня так и упало. Боже ты мой, думаю, неужто навсегда, навеки упрочается в нашем городе немец?

— Этого быть не может. Тротуары! — фыркал Тарас.— Тротуары — видимость. Тротуар они могут переделать, а душу мою переделать могут? Могут они меня или тебя в немцев превратить? Память мою они вытоптать могут? Нет! — он с силой качал головой.— Нет, не хозяева они в нашем городе — пришельцы. Как пришли, так и уйдут.

Назар пожимал плечами.

— Давно и стрельбы не слышно и самолетов наших не видать. Хоть побомбили бы нас, что ли, все на душе веселее б стало. Далеко фронт ушел, ох, далеко! Под Волгу.

— Фронт ушел, фронт и придет. Верить надо.

— Ох, верить, верить!

Махорочный дым полз по низкому потолку, бился о ставни...

— Как жить, Тарас Андреич? — тоскливо спрашивал Назар.— Нет, ты мне скажи: как жить? Что делать?

— А это решай каждый, как совесть велит,— отвечал Тарас.

— Совесть драться велит! А драться чем? Безоружные мы с тобой старики, Тарас.

— Топор есть — стариковское оружие, верное.— Тарас задумчиво качал головой.— К партизанам бы путь найти! Хоть и стары мы с тобой, Назар, а все послужили б! — Наклонялся к Назару и шептал: — Надо выход душе дать, ой, надо! Терпеть, Назар, у меня мóчи нет.

И каждый человек в городе о том же думал: как жить, боже мой, как же жить, что делать?

8

— Если я правильно понимаю политическую обстановку,— сказал своей жене Старчаков Яков Васильевич, бывший завхоз треста,— сейчас настало мое время, время коммерции. Мы открываем комиссионный магазин.

Жена не удивилась. Она знала, что в заячьем теле ее мужа живет душа тигра. Может быть, и в самом деле настало время Старчаковых — золотое время частной коммерции? В местной газете появилось объявление: «С разрешения немецкого командования господин Старчаков открывает комиссионный магазин». Объявление было набрано жирным шрифтом.

Ковры и подсвечники изменили свой маршрут, они плыли теперь не на рынок, а в магазин Старчакова. Они плыли густой и плотной массой, как бревна по реке в большую воду. Старчаков не успевал выписывать кви-

танции. Он ликовал. Он принимал, щупал, ласкал, оценивал вещи. Ему казалось, что все эти вещи принадлежат ему. Ему уж было тесно в этом городишке. Он мечтал о магазине в Берлине на Унтер-ден-Линден.

Вещи запрудили маленький магазин. Старчаков объявил, что прием вещей на комиссию прекращен. Теперь он ждал покупателей. Покупателей не было.

Он ходил по своему магазинчику, переставлял вещи в витрине, ждал. Он ждал покупателей. Покупателей не было. Коммерция не произрастала на скудной почве голодного города. Комиссионера все чаще стало искушать странное желание: взять и повеситься на антикварной люстре, среди текинских ковров, которые все хотят продать, а никто купить не может.

В местной газете появилось новое объявление: «С разрешения немецкого командования господин Старчаков ликвидирует свой комиссионный магазин. Просьба ко всем сдавшим вещи на комиссию получить их обратно». Объявление было набрано бледным петитом. Между этими двумя объявлениями протекла и отшумела вся недолгая карьера первого поднемецкого коммерсанта: его величие и падение.

Когда владельцы вещей, сданных на комиссию, явились за своими вещами,— они увидели: магазин был пуст. Немцы «конфисковали» вещи; ненужные переломали. Под ногами хрустели осколки фарфора. На стене, на одном крюке, качалась распоротая ножом картина: «Бой у Острой Могилы».

Эту картину написал местный художник. Он издавна жил и работал здесь. Во многих дворцах культуры, клубах и школах висели его панно. Каждое воскресенье, бывало, он ходил на свидание с ними. Он надевал праздничный пиджак и шляпу. «Я иду на свидание с моими детьми»,— говорил он. Они жили теперь своей жизнью — его картины, его дети. Каждая имела свой возраст, свой характер, свою биографию. Одни дались ему легко, другие, рождаясь, измучили его. Он любил их неодинаковой любовью — одних больше, других меньше. Были любимцы и были уродцы. Но все они были дороги ему.

Когда немцы обосновались в городе, он захотел узнать, что сталось с его детьми.

И он их увидел. Растоптанные, загаженные, вырванные из рам, они корчились и умирали на свалке; ему осталось только плакать над их трупами.

Он хотел умереть в эту ночь, его спасли близкие. Кто-то сурово сказал ему:

— Вы должны жить, чтоб написать то, что видели. Страшную картину должны написать вы для потомков.

— Да, да...— бормотал он.— Надо жить... Надо жить...

Он не умер. Он остался жить, чтобы видеть и запомнить. Он бродил по улицам, кладбищам, пустырям и видел страшные картины. Но сейчас он не мог писать: его руки были в плену, его тело было в плену, и только память художника, горячая, честная, была свободна и проклинала скованные цепями руки.

Чтобы не умереть с голоду, он писал пестрые акварельки, изображавшие украинский пейзаж, каким он никогда не был, но только это и покупали итальянские солдаты. Им нравились акварельки, намалеванные художником. Они посылали их в Италию: вот земля, которую завоевал ваш сын.

Механически фабриковал художник эти мельницы, речки и хатки, а в воскресенье на базаре продавал их поштучно и оптом, как продают капусту. Надо жить, надо жить, говорил он себе. Надо жить, чтобы видеть и запомнить.

Однажды его пригласили в гестапо.

— Нам нужны хорошие художники,— сказали ему там.— Пишите для нас плакаты, и мы сделаем вам сытую жизнь.

Он усмехнулся.

— Я не умею писать плакаты. Только акварельки... речка... хатки...

— Жаль. Вы могли бы быть сыты.

— Я сыт,— задыхаясь, ответил он.— Я по горло сыт.— И вспомнил свои картины, распоротые фашистскими ножами.

Он пришел к себе домой в мастерскую и там один, в пустой, гулкой комнате, долго плакал. Плакаты? Да, я умею писать плакаты. Я буду писать плакаты. Я сам буду развешивать их на площадях. Я сам готов висеть рядом с ними. Страшные плакаты буду я писать!

Распятый, окровавленный город. Вокзал, омытый слезами. Синие руки матерей. Зеленые вагоны с решетками. Черные тополя, заплаканные, как вдовы. И девушки, прощающиеся с отчизной, с молодостью, с волей. «Плач полонянок» — вот как будет называться эта картина. Он станет ее писать немедля. Он не может больше не писать.

Плач полонянок. Он стучится в его уши. Он стучится в его сердце. Над всею Украиною звенит этот горестный девичий вопль. Вдовий плач матерей. Горький крик полонянок.

Все чаще и чаще уходят на запад невольничьи эшелоны. Все пустынней и пустынней становятся города. Из десятого класса «Б», где до немцев училась Настя, шесть девушек уже распростились с родиной. Их везут сейчас в вагонах с решетками. Что ждет их в неволе? Что ждет Настю? Что всех их ждет, девочек из десятого «Б»?

Их было пятеро подруг, боевая пятерка: Настя, Лариса, Лиза, Галя, Мария. В эту весну они должны были окончить школу. Они ходили обнявшись по парку и мечтали. Жизнь казалась им прямой и ясной, как эта аллея, небо — близким и доступным, как вершина этого тополя, будущее — веселым и кудрявым, как эта береза.

Пришли немцы. Под тяжелыми гусеницами танков хрустнули девичьи мечты и надежды. Девочки из десятого «Б» не успели даже собрать осколков. «Прощайте, девочки! — писала Галя с дороги.— Крылья оборваны, руки скованы, надежд нет. Прощай, жизнь, прощай, молодость, прощай, родина!»

Чей завтра черед? Лариса, чтоб ее не угнали в Германию, поступила в театр «Кабаре», открытый немцами. Она всегда собиралась стать актрисой. У нее был нежный девичий голос. Она пела грустные песенки и всегда, когда пела, плакала. И ее подруги тоже.

Но Ларисе ни разу еще не удалось допеть до конца свою песенку в театре,— немецкие солдаты, шикая и свистя, прогоняли ее со сцены. Им не нужны были ее песни. Им нужны были ляжки. Они аплодировали только ляжкам. На холодной сцене окоченевшие девочки тоскливо плясали. Немцы недовольно кричали: «Живей!

Живей! Кобылы!» Офицер щелкал стеком, как наездник кнутом. Девочки ожесточенней дрыгали синими ногами. Только бы не угнали в Германию!

За кулисами все время толпились немецкие и итальянские офицеры. Кулисы казались им цирковой конюшней. Они бесцеремонно хлопали девушек по спинам и приглашали ужинать.

— Свиньи, свиньи! Боже, какие это свиньи! — с отвращением и ужасом говорила Лариса Насте.— Я умру, если один такой приблизится ко мне. Лучше в петлю!

Лиза-Луиза перестала бывать у Насти в доме. Немецкий офицер подарил ей кофточку. Великолепную кофточку из голубой ангорской шерсти; ни у кого в городе не было такой. Когда Лиза-Луиза прогуливалась по главной улице, на нее все смотрели. Какая-то женщина неотступно следовала за нею три квартала и глаз не отрывала от кофточки.

У этой женщины были сумасшедшие глаза, тоскующие, черные. Лиза-Луиза возмутилась. Это нахальство — идти за ней и смотреть! Слишком много сумасшедших развелось в городе.

— Вы что на меня смотрите? — прикрикнула она на женщину.

— У вас красивая кофточка, девушка.

— Ну? А вам что?

— Ничего,— растерянно улыбнулась женщина.— Носите. Носите. Это была моя кофточка. Мне когда-то подарил ее муж. Потом его убили, и я перестала носить. К нам в дом пришел немец и взял ее. И другие вещи тоже. Моя девочка Ирочка заплакала, глупенькая, и немец убил ее. Но это ничего, ничего. Вы носите кофточку... Она красивая. На ней пятна Ирочкиной крови, я потому и смотрю. Это очень красиво — красное на голубом...

Луиза в ужасе отшатнулась от женщины и убежала. «Это очень красиво: красное на голубом!» — кричала ей вслед женщина. Луиза прибежала домой и разрыдалась. Она долго не могла успокоиться. Кофточку она сняла. Но ей казалось теперь, что и на юбке, и на чулках, и на ботинках черные пятна крови. И на губах не помада, а кровь. И на ногтях не лак, а кровь. На всем ее теле — пятна, пятна крови...

— Что ж подружек твоих не видать у нас? — насмешливо спросил как-то Настю Тарас.— Тихо даже стало. Небось устроились?

— Да...— коротко ответила Настя.— Устроились.

— То-то я и гляжу — нет их. Куда же они устроились, твои Катьки, Машки?

— Галю в Германию угнали.

— А-а!

— А Мария здесь устроилась лучше всех.— Настя грустно усмехнулась.— У немцев она теперь на всем готовом. На казенных харчах.

— В тюрьме? — удивился Тарас.— За что ж такую девочку в тюрьму?

— Не знаю... Говорят, за листовки...— нехотя ответила Настя и отвернулась.

Тарас попытался вспомнить Марию. Вспомнилось что-то курносое, веснушчатое, озорное... А может, он путал? Много их тут, босоногих, бегало. «В тюрьме! — произнес он про себя.— Ишь ты!» В первый раз с уважением подумал он о незнакомом молодом племени. А Настя? Какой путь изберет Настя, каким пойдет? Путем Гали, Луизы или Марии?

Она молчала. Молчала по-прежнему: душа за семью замками. Но Тарас видел: она уже избрала свой путь. Только он не знал — какой.

Каждый человек в городе искал свой путь для себя и для своей совести.

— Как жить, как жить, Тарас Андреич? — тоскливо спрашивал сосед Назар.— Нет, ты скажи мне: как жить, что делать? Терпеть?

— Не покоряться! — отвечал Тарас, и перед ним все мелькало чье-то курносое, веснушчатое, озорное лицо.— Не покоряться!

9

Не покоряться!

Фашистский топор повис и над семьей Тараса — старика потребовали на биржу труда. Он не пошел.

— Я не хочу работать,— сказал он полицейскому, пришедшему за ним.

Первый раз в жизни произнес он эти слова: я не хочу работать. Его руки тосковали по напильнику. Его легким нужен был железный воздух цеха, его ушам — веселый звон молотов в кузнице, его душе — труд. Но он сказал полицейскому: я не хочу, я не буду работать. Сейчас труд был изменой. Сейчас голодать — значило не покоряться.

С ним поступили так же, как со всеми: его заставили прийти на биржу труда.

Только гитлеровцы умеют мирные слова наполнить ужасом. Только они умеют все превратить в застенок. Застенком, где пытали ребячьи души, была школа. Застенком, где немецкие врачи на русских раненых пробовали свои яды, была больница. Застенком был лагерь для военнопленных. Застенком были театр, церковь, улица.

Но в рабочем городе, где жил Тарас, самым ужасным застенком была биржа труда — первый этап невольничьего пути.

Сюда никто не приходил по доброй воле. Сюда волокли схваченных в облаве, изловленных на улице, вытащенных из погребов и подвалов. Еще час назад у этих людей были имя, семья, дом, надежды. Еще час назад этот мальчик играл с товарищами, эта девочка прижималась к теплым коленям матери. Сейчас все будет кончено для них. Вместо имени — бирка, вместо дома — вагон с решетками, вместо семьи — чужбина. Только надежда остается у раба. Надежда и ненависть.

Здесь, на бирже, происходило расставанье людей — в судорогах и борьбе. Людям казалось, что здесь, в воротах невольничьего пути, еще можно упереться, отсюда еще можно вырваться. Можно вымолить себе волю, выползать на коленях, вырвать зубами. Они с ужасом отталкивали от своей шеи ярмо. Они кричали о своих правах человека, показывали мятые и бесполезные справки, просили, доказывали, грозили, плакали. Напрасно. Отсюда нельзя было вырваться. Здесь непокорную шею сгибали, непокорную душу вышибали вон.

Тараса заставили ждать череда. Его еще не били, но вся его душа была уже в синяках. Он видел стены, забрызганные кровью, он слышал стоны и вопли.

Беременная женщина с большим острым животом валялась в ногах чиновника и умоляла не забирать единственного сына. Над нею стоял ее сын, четырнадцатилетний бледный мальчик, и говорил:

— Встаньте, мама! Встаньте! Не надо! — по его губам текла струйка крови, он отирал ее рукавом и снова просил, и умолял, и требовал: — Встаньте, встаньте, мама! Не надо!

Чиновника он ни о чем не просил.

Вдруг чиновник взвизгнул:

— Щенков плодите, а для великой Германии жалеете? Падаль! — и пинком сапога в живот отшвырнул женщину.

Дико закричала она и схватилась за живот. Ее крик ударился о четыре стены комнаты, о стекла, о потолок и затих. И снова поползла она по полу, бережно придерживая руками живот, поползла к сапогам чиновника, к ножкам его дубового стола, умолять, просить, плакать. Только смерть могла бы заставить ее отказаться от борьбы за сына.

А перед чиновником уже стояла молодая пара: муж и жена. Он говорил, она плакала. Он прерывал свою речь и утешал ее: «Что ж ты плачешь, Катя? Это ж ошибка, сейчас все выясним»,— видно, слезы жены мучили его и мешали связно говорить.

— Здесь ошибка, господин начальник,— убежденно доказывал он.— Мы законные муж и жена. Вот документы. Мы — законные. Как же нас разлучать? Мы согласны ехать. Но как же врозь? Ведь мы законные... Ведь и ваш бог и наш бог одинаково за закон брака... Об одном только просим: не разлучайте нас!

— Странно, странно, майн готт! — смеялся чиновник.— Но что же вам делать вместе в публичном доме? — И он хохотал, хлопая себя по бедрам, и, изнемогая от смеха, падал животом на стол.

Распахнулась дверь кабинета коменданта биржи, и оттуда вышвырнули комок крови и мяса. Комок шлепнулся об пол. Все в ужасе расступились. А комок корчился на полу и хрипел:

— Врешь! Врешь, не покорюсь!

И Тарас, сжимая свою суковатую палку, решал про себя: «Бить я себя не позволю! Лучше — смерть».

Но его и не собирались бить. Его пригласили, нако-

нец, в кабинет коменданта, и сам комендант биржи вежливо поднялся ему навстречу. Тарас узнал в коменданте местного немца Штейна.

— Садитесь, господин Яценко,— пригласил комендант.

Тарас подумал, подумал и сел. Палку он поставил меж колен и оперся на нее.

— Вам пришлось ждать, Тарас Андреич? Извините меня. Дела!

— Ничего...— проворчал Тарас.

— Вы нам нужны, господин Яценко. Поэтому начну прямо с дела. Немецкое командование решило восстановить завод.

Тарас вздрогнул.

— Это грандиозная строительная задача. Мы с вами немолодые люди, мы отбросим политику в сторону. Для мастера нет политики, есть дело. Мы предлагаем вам дело, мастер. Вы будете сыты, ваша семья обеспечена...

— Я не мастер,— тихо ответил Тарас.— Я черный рабочий.

— Что? — удивленно уставился на него Штейн и расхохотался.— А, хорошая шутка! Я понимаю. Шутка мастера.

— Я черный рабочий! — строго повторил Тарас. Штейн посмотрел на него и увидел упрямые, суровые стариковские складки у рта и острый подбородок, упершийся в палку.

— Руки! — вдруг закричал он исступленно.— Покажи руки, свинья!

Тарас, усмехаясь, протянул ему свои руки. Сильные, жилистые руки в давних бугорках отвердевших мозолей, ладони, в которые навеки въелась железная пыль и машинное масло.

— Это чернорабочего руки? — крикнул Штейн.— Это руки мастера, господин Яценко. Это золотые руки. Им цены нет. Но Германия умеет ценить такие руки.

— Я черный рабочий! — опять повторил Тарас и встал, опираясь на палку.

Штейн тоже встал. Их взгляды скрестились. Штейн был здешний немец. Он хорошо понимал не только русский язык, но и русский взгляд.

— Хорошо! — задыхаясь, закричал он. — Чернорабочий? Отлично. Нам нужны и чернорабочие. Пойдешь чернорабочим. Не пойдешь — понесут. Будешь упираться — живым закопаем в землю.

Штейн сдержал свое слово. Теперь каждое утро за Тарасом заходил полицейский гнать на работу. Тарас надевал какое-то тряпье, брал палку и выходил. Ни разу он не надел своей спецовки. — Я свой рабочий мундир не опозорю! — Полицейский обходил еще несколько квартир, пока не собиралась вся партия непокорных заводских стариков. Так, под конвоем, их и гнали через город. Так, под конвоем, пригоняли на завод.

Они входили в старые, знакомые заводские ворота. Перед ними лежал труп завода. Скорчившееся, обуглившееся железо. Глыбы мертвого камня.

Старики шли по заводу... Высокой травой заросли дорожки. На стенах выступил лягушечий мох. Черные вороньи гнезда в стропилах. Хмурое дырявое небо. Рыжий бурьян бушует там, где некогда бушевало раскаленное железо. Вдруг падает ржавая балка: подпоры прогнили и рухнули. Облака бурой пыли подымаются над руинами. Испуганно взлетают вороны. Кричат хрипло и тревожно. Бьются крыльями о стропила. И долго-долго еще носятся и кружатся над развалинами цеха, как над трупом.

Мастера идут под конвоем по кладбищу завода, сами похожие на скелеты. Все опустили головы: страшно глядеть на развалины. Вокруг запах мертвого железа, тяжелая тишина. Только шарканье ног по ржавым плитам.

Непокорных стариков пригоняют к развалинам электростанции. Их заставляют разбирать полуразрушенные стены и расчищать площадку. Ну что ж! Ломать стену они будут, строить — никогда. Они делают это медленно и насмешливо. Немец-надсмотрщик злится: русский не умеет работать! Русский есть ленивый осел! Тарас усмехается: поглядел бы ты, немец, как русский «лентяй» шуровал здесь, когда сам себе был хозяином, как ворочал тяжким молотом Петр Лиходид, какой азарт кипел здесь, какой пот был на рубахах.

Когда немец уходит, старики сразу бросают «работу». Кряхтя, усаживаются на камни. Закуривают. Знаменитые мастера сидят тут на развалинах. Они сложи-

ли эти цехи. Они их и разрушили. Кому из них доведется воскрешать?

— Сколько тебе лет, Тарас? — спрашивает старик Артамонов. пенсионер.

— Шестьдесят, Пал Петрович,— почтительно отвечает Тарас.

— Молодой еще! — вздыхает Артамонов.— Здоровый. Ты доживешь.

И все с завистью глядят на ширококостного, кряжистого Тараса. Да, дожить, дожить бы! Дождаться! Дни, недели остались до освобождения, у стариков каждый час — последний.

— Не доживем! — горько качает головой Назар.— Все скелеты стали, все скелеты. Гляжу я и удивляюсь: чем только люди живы?

— Верой живы, Назар,— строго отвечает Тарас,— верой.

— Завод можно быстро пустить! — говорит старик Артамонов.— Я б перво-наперво...— И он начинает выкладывать свой проект. У каждого старика есть свой проект. Продуманный, выстраданный, выношенный, как мечта. Каждый начал бы восстановление завода со своего цеха. Они доказывают друг другу, что так вернее. Они спорят, горячатся, сердятся. И все — мечтают.

Дожить. Дожить бы! Увидеть, как заструится первый робкий желтоватый дымок над силовой... Услышать, как громыхнет первый молот в кузнице...

Но ни один из них не перенес бы, если бы задымил завод для врага. Нет, этого допустить нельзя. Лучше видеть родной завод трупом, чем рабом. Пусть лучше лежит мертвый до поры. Его не дадим унизить.

Бранясь, возвращался немец-надсмотрщик. Старики принимались за работу. Медленно разбирали стену. Кряхтя, волочили камни. Перекладывали кирпич с места на место. Битый кирпич. Разрушенная стена. Мертвые камни, могильные плиты.

10

Мертвые камни, могильные плиты...

Умер старик Артамонов: волочил камень, упал и не поднялся больше. Так и остался лежать, обняв камень

старческими руками. Артамонова похоронили тихо, торопливо, не так, как хоронили бы на заводе. Немцы украли у старого мастера не только почетную жизнь, но и почетную смерть.

Только девять стариков шли за его гробом. Беспокойный человек Назар по дороге на кладбище рассказывал страшные вести: на шахте Свердлова фашисты расстреляли семьсот человек шахтеров, их жен, стариков и детей.

— Все шурфы трупами забиты. Такой, говорят, смрад над шахтой стоит — горе! — И, качая головой, предсказывал: — Всех истребят, помяните мое слово, всех. И до нас дойдет! Сперва евреев изничтожат, потом нас.

Похоже было, что его слова сбываются. Однажды утром Тарас увидел, как по улицам гонят огромную толпу евреев.

Они идут, окруженные частоколом штыков, испуганные, раздавленные люди. Они не знают, куда и зачем их ведут: на смерть, на дыбу, на каторгу? Но обреченные, они покорно бредут, куда их гонят. Не слышно ни криков, ни плача. Мокрый, холодный ветер хлещет людей. Дождь, как кнут, падает на спины и плечи.

Женщины, спотыкаясь на мокрых камнях, несут больных детей. Старики и калеки ковыляют в хвосте колонны и боятся отстать и остаться один на один со штыками конвоиров. Упала старуха и забилась в припадке на мостовой, но кричать и звать на помощь боится. Молча бьется она на мокром булыжнике, судорожно хватает руками воздух, а мимо нее бредут и бредут обреченные люди. Сгибаются под тяжестью мокрых узлов. Волочат пожитки. Все брошено — родной дом, очаг, добро. От большой, годами сколачиваемой жизни только и осталось — жалкий узел. Но людям сказали явиться с вещами, и они обрадовались. Значит, не смерть. Значит, еще не смерть. И они цепляются за свои узлы, как за самую жизнь, как за образ трепетной и теплой жизни.

Только один человек идет без вещей, без пожитков, отрешенный от всей суеты земной — старый доктор Фишман. Ничего у него нет с собой, кроме старенького докторского саквояжика. Словно не на смерть он идет, а на утренний обход больных.

Вокруг него бредут, задыхаясь под тяжестью вещей, его соплеменники. Они не знают и не верят, что это их последний день, последний час, последний туман над городом, последний дождь на крышах. И они хлопочут о своих узлах, об одеялах, о пуховом шарфике для простуженной дочки.

А он знал. Он знал, что это его последний путь. В последний раз шел он по городу, где родился и вырос. И был до горечи дорог ему этот русский мокрый ветер в черных тополях, и запах русской земли, покрытой жухлой листвой, и русские заплаканные крыши, и русский осенний дождь, падающий над городом.

Тарас долго смотрел ему вслед. Молча колыхалась толпа, даже дети стихли. Равнодушно, молча шли полицейские и автоматчики. Падал туман, и дождь, как кнут, стегал да стегал улицу...

— Прощай, доктор Арон Давыдович! — прошептал Тарас.— Не осуди: ничем я тебя выручить не могу. Сами ждем казни.

Евреев расстреляли где-то за городом. Чудом уцелевшие одиночки прятались в русских семьях. Русские люди охотно, не страшась, прятали мучеников: это был долг совести.

Улица, на которой жил Тарас, прятала шестилетнюю девочку. Полицейские дознались о ней и рьяно искали. Этого даже Тарас уразуметь не мог. «Неужто,— усмехнулся он,— германское государство рухнет, если будет жить на земле шестилетняя девочка?» Но полицейские продолжали рыскать по домам. У них появился охотничий азарт. Они, как псы, вынюхивали след. Улица не сдавалась.

Каждый вечер девочку, закутанную в темный платок, переносили на новое место от соседа к соседу. В каждом доме был освобожден для нее сундук и в нем постелька. Девочка и жила, и ела, и спала в сундуке; при тревоге крышку сундука захлопывали. Ребенок привык к своему убежищу, оно больше не казалось ему гробиком. От девочки пахло теперь нафталином и плесенью, как от древней старушки.

Марийка от подружек узнала об этой девочке: детвора говорила о ней шепотом. Когда ребенка принесли в дом Тараса, Марийка, замерев, спросила деда: «Это

девочка из сундука?» — и Тарас не знал, что ей ответить.

Девочка из сундука была бледненькой и хилой. В ее больших черных глазах жил испуг. Годы понадобятся, чтобы успокоить и развеселить такие глаза! Марийка вдруг обняла девочку и прижалась к ней. Черненькая и беленькая головки...

— Будем в куклы играть,— сказала Марийка и оглянулась на Тараса.— Можно? Мы в сундуке будем в куклы играть! — поспешила она прибавить, и Тарас отвернулся, чтобы смахнуть слезу.

Ночью в домик Тараса ворвались полицейские. Они перевернули вверх дном все комнаты и чуланы, нашли и взломали сундук. Девочка спала. Она продолжала спать даже на руках полицейского, безмятежно улыбалась во сне и тихонько чмокала губами. Грубый толчок разбудил ее. Она увидела чужие страшные лица и черные шинели. Она закричала, так закричала, что Тарас не выдержал и бросился на полицейского.

Когда, обливаясь кровью, Тарас поднялся, наконец, с пола, он прежде всего вспомнил о девочке, о беленькой девочке, о своей, о Марийке. Он оглянулся на нее и увидел ее глаза. Огромные, синие, они были расширены ужасом. «Что ж это? Что ж это, дедушка? За что?» — спрашивали ее глаза.

Но слез в них не было.

Слез не было. Дети научились не плакать. Они отвыкли смеяться и научились не плакать.

11

Дети старели. Они на глазах превращались в маленьких старичков и старушек. Иногда Тарасу казалось, что они с Марийкой ровесники. Как маленькая старушка, нахмурив лобик и сложив на животе ручки, сидела Марийка где-нибудь в углу и думала. О чем она думала? Тарас боялся ее спросить.

— Дедушка,— спросила она однажды,— а скоро русские придут?

— А ты кто же, не русская? — рассердился Тарас.

— Нет. Немецкие мы теперь. Да?

— Нет! Русская ты! И земля эта русская. И город наш был и будет русский. Надо так, Марийка, гово-

рить: наши придут. Наши скоро придут! Наши немца прогонят.

Он учил ее этим словам, как молитве. И она знала уже, что слова эти надо держать в душе, немец их слышать не должен.

В школу она не ходила. Она была там только раз и вернулась хмурая, заплаканная.

— Ты чего? — встревоженно спросил дед.

— Я больше... не пойду... в школу...— прошептала она так горько, что Тарас вздрогнул.

Целый год мечтала Марийка о том, как пойдет в первый раз в школу. Старшие девочки много рассказывали ей о школе, но запомнилось и в мечты вошло только одно: в школе дети поют хором. А теперь пришла Марийка в школу, весь урок просидела, а песен не дождалась. На переменке запели было девочки сами, учительница прибежала и замахала на них руками: «Тшш! Тшш! Нельзя петь!» — И школа померкла для Марийки.

— А ты пой одна,— посоветовал ей Тарас.

— Не,— покачала она головой, совсем как маленькая старушка.— Нельзя. Немец услышит.

Только перед сном в постельке она сама себя убаюкивала песенкой, которую сама же и сочинила: «Придут на-а-аши... Дети пойдут в шко-о-олу. Будем песни спива-а-ать...» И опять сначала и много раз: «Придут на-а-аши. Дети пойдут в шко-о-олу... Будем песни спива-а-ать...»

Леньке тоже не понравилась школа. Он пришел оттуда угрюмый, долго ходил вокруг деда, не зная, с чего начать. Наконец, сказал:

— Теперь, дедушка, школа платная будет. Вязанка дров в неделю, два ведра угля и еще деньгами...

Тарас нахмурился, постучал пальцами по столу.

— А когда ж я вам средств жалел на науку? — спросил он обиженно.

Ленька еще потоптался на месте и, глядя в пол, произнес:

— Только я, дедушка, все одно в школу эту ходить не буду. Там на нас теперь смотрят как на одноклеточных. Или как на скотину. Учить будут только читать, писать да считать. Вот и вся нам наука.

— А каких тебе еще наук надобно? — сердито отозвалась бабка Евфросинья.

Ленька презрительно посмотрел на нее и ответил:

— А мне, бабушка, многие науки надобны. Мне желательно географию изучать про нашу страну, а также историю и физику. Только этому нас немцы обучать не будут.— Он опять повернулся к деду и спросил уже умоляюще: — Так я в эту школу ходить не буду, дедушка? Мне...— он запнулся, хотел сказать: «Мне обидно», а сказал: — Мне совестно.

— Не ходи! — коротко ответил Тарас.

На этом и закончилась для Леньки и Марийки учеба,— в ребячьих душах прибавился еще один горький рубец.

Немцы теперь часто бывали в домике Тараса. Через город на фронт под Сталинград сплошным потоком шли колонны. Останавливались на короткий отдых, на ночь, иногда на день.

Немцы были хмурые, злые. Они боялись степи. Они боялись самого слова «Сталинград» и произносили его неохотно, редко. По ночам они вздыхали, ворочались, бредили во сне. Однажды Тарас услышал даже, как немец плакал.

В эти дни Марийка редко выходила на улицу, сидела в уголке на своей скамеечке, подперев кулачками подбородок, и думала. Вся душа ее была в кровавых рубцах. По ночам с ней часто случались странные припадки — припадки страха. Она начинала кричать, плакать, метаться в постельке, ей мерещились ужасы, кровь, девочка из сундука. Она успокаивалась только на руках Тараса. Он один мог успокоить ее, словно от него исходила какая-то спокойная, уверенная сила. Марийка прижималась к груди старика и, цепко охватив ручонками его плечи, засыпала.

Он бережно клал ее в постельку, садился рядом на табурет и так сидел часами.

«Все можно залечить, восстановить, поправить,— думал он, глядя на сведенное в больной гримаске лицо девочки.— Война кончится, и все раны зарубцуются, все заводы отстроятся, вся жизнь обновится. Но чем вылечишь окровавленную, искалеченную, оскорбленную душу ребенка?»

— Где же вы, сыновья мои? Где вы?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Где же вы, сыновья мои? Где вы?

Было у Тараса три сына — нет вестей ни от одного. Живы ли они? Он старался думать, что живы. Он ждал их.

Это было большое ожидание, в нем сроков нет,— это была вера. Жива наша армия, живы и мои дети. Вернется армия, а с нею вернутся и сыновья. Вернутся сыновья, а с ними и армия. Без армии они не могли вернуться. Врозь он и не ждал их.

Андрей пришел один. Он пришел осенью, поздними сумерками, худой, бородатый, черный,— его и не узнали сперва. И одежда на нем была чужая — какая-то серая крестьянская свитка, таких и не носят теперь; и пыль на его лице, бороде и лаптях — чужая, нездешняя, бог весть с каких дорог; и весь он был чужой, незнакомый, горький. В синих впадинах под глазами, в острых изжелта-черных скулах, в злых складках у рта залегла горечь одному ему известных разочарований и мук.

— Ну, здравствуйте! — сказал он, грустно усмехнувшись, и, сняв шапку, осторожно стал стряхивать пыль с нее, как гость.

Страшно закричала Антонина, бросилась мужу на шею.

Заплакала бабка Евфросинья. Всполошились дети. Растерянный Тарас так и застыл на пороге с коптилкой в руке.

— Это кто? — испуганно спросила Марийка у Леньки.

— Это папка твой.

— Непохожий какой папка! — огорченно сказала Марийка и недоверчиво подошла к отцу.

Андрея провели в комнату, усадили за стол. Вокруг него собралась вся семья. Испуганно прижалась к непохожему отцу Марийка. То плакала, то смеялась Антонина, суетилась возле мужа и, наконец, припав к его коленям, успокоилась и затихла. У печи и стола хлопотала бабка Евфросинья.

Андрей сидел все еще чужой, нездешний, нерешительно гладил волосы Антонины, неумело прижимал

к себе Марийку, что-то говорил, восклицал не к делу и не к месту, как все восклицали сейчас, и бродил растерянным, но жадным взглядом по комнате, словно спрашивал себя: верно ли, дома ли я, не померещилось?

И раньше всего пришли к нему знакомые с детства запахи: запах мышей в чулане, квашни на кухне, железа и сосновой стружки в комнате Тараса. Потом он увидел семейные фотографии, в рамках из ракушек, часы-ходики с генералом Скобелевым на коне, горку с глечиками и обливными расписными тарелками, лампадку на медно-зеленой цепи перед киотом. Все на месте, ни единого пятна на стене.

— А у вас все — как было! — сказал он не то удивленно, не то обрадованно.

Вокруг колебалось все, все было непрочно, неверно, шатко, и самого Андрея мотало между жизнью и смертью; представлялось ему, носит он в себе целый мир, мятущийся и окровавленный, а оказалось — носил в своей душе только эту комнату. Только о ней одной думал. Только к ней одной стремился. Чтобы вот так сидеть у стола, а вокруг — знакомые стены, знакомые запахи, знакомые, дорогие лица, семья... Он и сам не знал, что так любит свой дом.

Все пройдет — и война и колебание мира. Только это вечно: семейные фотографии на стене, запах квашни на кухне.

Он обрадованно, легко засмеялся, потер руки и в первый раз почувствовал себя дома.

— Папка пришел, значит, наши в городе? — шепотом спросила Марийка у Леньки.

— Нет, это только твой папка пришел.

Тарас ни слова еще не сказал с тех пор, как Андрей пришел. Тяжелым взглядом следил он за каждым движением сына, и когда тот сидел у стола, и когда он стал мыться, радуясь теплой воде и удивляясь, как быстро она побурела от грязи, и когда чуть не заплакал, приняв от Антонины белье — свое, собственное, заждавшееся его, пахнущее крахмалом, домом, сундуком, заботливыми женскими руками...

И только когда вымытый, переодевшийся и сияющий от полноты счастья Андрей уселся снова за стол, Тарас, наконец, нарушил свое тяжелое молчание.

— Ты откуда же взялся, Андрей? — тихо спросил он.

Андрей вздрогнул. Тарас снова настойчиво повторил свой вопрос.

— Из плена...— чуть слышно ответил Андрей.

И вдруг стал торопливо рассказывать о плене. Антонина сжала его руку, вся семья притихла. А он, все больше и больше возбуждаясь, рассказывал о том, что вытерпел в плену, и сам теперь удивлялся, как он все это вынес и не погиб.

Но отец перебил его:

— Как же ты в плен попал, Андрей?

— Как? — невесело усмехнулся сын.— Как все попадают. Ну, окружение... Налетели немцы... Я на винтовку поглядел: что с ней делать? Бесполезное оружие!.. Я ее бросил и сдался...

— Сдался? — закричал Тарас.— Сдался, чертов сын?

Андрей побледнел. Наступило трудное молчание.

— Эх, дядя! — с досадой сказал Ленька, отводя от Андрея глаза.— Как же это ты? Я б нипочем не сдался.

И тогда Андрей рассердился:

— Не сдался б? Ты! Щенок! Вояка! Все вы тут, погляжу, вояки! Смерти не нюхали, немца не видели, а тоже... рассуждаете. Что ж, я один против немца? Их сила... А я?

— А умереть у тебя совести не было? — крикнул на него Тарас.

— Умереть? — вскрикнула Антонина и обеими руками уцепилась за Андрея. Словно его уж отрывали от нее и вели на смерть.

— Умереть? — криво усмехнулся Андрей.— Легко вы говорите, отец... Умереть я, конечно, мог... Это дело нехитрое...— он обвел всю семью недобрым взором и прибавил: — Может, и верно, лучше бы мне умереть!

Все молчали. Только Антонина еще крепче вцепилась в руку Андрея.

— Вишь ты! — снова невесело усмехнулся он.— Из плена шел... на крыльях... думал, дома ждут. Думал, радость домой принесу. А вишь ты, принес... неудобство.

— Мы тебя не таким ждали,— сказал, качая головой, Тарас.

— Несправедливый вы, Тарас Андреич! — вдруг дрожащим от слез голосом произнесла Антонина.— Вы ко всем несправедливы. Всегда. Что ж он один за всех умирать должен? Хорошо, что живой пришел,— и она оглянулась на женщин, ища в них поддержки.

Бабка Евфросинья, как всегда, непонятно качала седой головой. Настя молчала.

— Квочка! — презрительно сказал Тарас. — Ты б лучше детей уложила... Чего не спят? — закричал он, срывая на них свое отчаяние.— Ну, приехал! Ну, живой! Представление кончено! Спать!

Бабка Евфросинья и Антонина стали укладывать ребят. Марийка легла в постельку сразу,— она была напугана и утомлена приходом непохожего отца. Ленька еще долго бушевал и спорил — не хотел спать. Андрей молча сидел у стола, катал хлебные шарики... Вот он и дома, а дома нет. Тарас тяжелыми шагами ходил по комнате.

— Если же ты из плена ушел,— вдруг спросила молчавшая все время Настя,— значит, уйти можно?

— Что? — очнулся Андрей и досадливо повел плечами.

Настя повторила вопрос. Подошла Антонина и села подле Андрея. Взяла его руку в свою.

— Бабы выручили...— нехотя объяснил он.— Бабы нас жалели... Чужие бабы жалели нас! — повторил он с упреком и вызовом отцу.— Совсем неизвестные, темные бабы, а жалели...— Но тут же вспомнил, как их жалели бабы: «несчастненькими» называли их они, и это была горькая, презрительная жалость к своим, но незадачливым мужикам.

А они шли через села горестной толпой, и вид у них теперь был и не мужиков и не солдат, а — пленных. Черт его знает, откуда появляется у пленного человека этот вид — шинель без хлястика, без ремня, взгляд исподлобья, руки за спиной, как у каторжан. Так они шли безоружной толпой через села. Через те самые села, по которым еще месяц назад проходили стройным и грозным воинством. Тогда их тоже жалели бабы, провожали за околицу, плакали втихомолку. Только несчастненькими их не звали тогда, нет!

Вдруг он сказал отцу:

— Думаешь, мне этот плен легко дался? Я, может,

сам себя сто раз проклял, что не помер в бою. Помереть легче! Гнали нас по большаку... Чуть отстанешь — бьют прикладами. И ноги в крови, и морда в крови, кровью умываешься. Много перемерло нашего брата по дороге. Кто сам помереть не мог, того немцы приканчивали... Потом пригнали нас в лагерь. Под Миллерово. Просто пустырь обнесен колючей проволокой — вот и весь лагерь. Если дождь льет — значит, под дождем живешь. Если холод — значит, в холоде. Спали на сырой земле. Ели...— он махнул рукой.— Есть не давали. То, что бросят нам за проволоку бабы, то и ладно. Дрались меж собой из-за куска, как звери. И опять тут много нас перемерло. А я, вишь, на беду, уцелел.

Он говорил теперь горячо и быстро, и перед ним вставали страшные картины лагеря, и снова в его ушах хрипели предсмертные стоны товарищей, свист бича и вечный похоронный звон колючей проволоки под ветром...

— А вокруг всего лагеря сидели бабы... И день сидели. И ночь. Своих мужиков высматривали, плакали ж они, бабы, ох, страшно плакали! Выли! И мы начинали выть. Кто жить хотел, тот выл. А были такие — умирали молча. И это страшней всего. А я выл. Как волк воет. И все мне мерещился дом... и Антонина... и Марийка... И чем горше становилось, чем смерть ближе — тем больше я жить хотел. И жил. А как жил, чем — теперь и объяснить не могу.

— Но как же ты все-таки из плена ушел, Андрей? — снова со странной настойчивостью повторила свой вопрос Настя.

— Бабы и выручили. У немцев, видишь ли, политика хитрая. Нас в этих лагерях померло тысячи — этого никому не видно. А они одного выпустят, он пока домой дойдет — об этом звону, звону. Вот они и распорядились, что бабы могут, в случае если своего мужа или брата среди пленных разглядят, брать его к себе, на волю. Ну, справка, конечно, нужна от старосты. Да это дело легкое! Есть бабы, которые в разных лагерях до ста «мужей» вот этак-то освобождали.— Он усмехнулся.— Ну, а меня кто же выручит? Своих близко нет. А на волю, на волю хочется!.. Чувствую, помру я здесь, как щенок слепой, и никто не вспомнит. И проволока эта колючая так меня измучила, словно она мне в душу

впилась, колючками душу рвет до крови. Ну вот... Я и бросил бабам за проволоку записку. Выручайте, мол, если добрая душа найдется! И свое имя, отчество, фамилию, откуда родом...— он остановился на минуту, задумался и вдруг тихо, ласково улыбнулся.— Нашлась добрая душа, Лукерья Павловна... Луша... Высвободила... Взяла меня к себе, в хозяйство... У нее без мужчины все покосилось, повалилось...— он запнулся, покраснел, потом, собравшись с духом, закончил: — Ты меня, Антонина, суди как хочешь, только я с этой женщиной жил... как с женой...

Антонина вздрогнула испуганно и как-то очень беспомощно посмотрела на мужа и невольно выдернула свою руку из его руки.

— Ведь я...— пробормотал Андрей,— я ведь не знал, живы ли? Здесь ли?.. Все сейчас на земле пошатнулось, пошло враскос...

— Ничего! Ничего! — зло расхохотался Тарас.— Чего, брат, с женой стесняться! России изменил, так чего уж тут жена? Только вот что я тебе скажу, Андрей. Жена простит, она существо бессловесное, кроткое. Простит ли Россия?

— А перед Россией моей вины нет...— глухо пробурчал Андрей.

— Врешь! Врешь! — закричал на него Тарас.— Всех ты обманул! И Россию, и жену, и меня, старого дурака, и мое ожидание.— Он круто повернулся и ушел к себе, сильно хлопнув за собой дверью.

Воцарилось молчание. Грустно сидела, опустив голову на руки, подавленная Антонина. Молчала Настя. Сжалась в комочек безответная бабка Евфросинья, горько качала головой.

И чтоб как-нибудь развеять это невыносимое молчание, Андрей спросил:

— Ну, а вы тут как живете?

Ему никто не ответил. Только Настя пожала плечами. Андрей взглянул на склоненную голову жены и вдруг увидел: голова седая. Он не поверил. Еще раз взглянул: под робким светом коптилки тускло блеснули серебряные нити. «Боже ты мой! — ужаснулся Андрей.— Что же с ней сделали?» Он испуганно оглянулся вокруг. Молчала Настя. Что-то бормотала себе под нос мать. Молитву?

Вот дом — и нет дома! Те же бури и беды, что свистели над ним, Андреем, ломали, корежили его тело и душу, прошумели и над тихим домиком в Каменном Броде, Антонину состарили, Тараса ожесточили. Все здесь с виду осталось прежним: и фотографии под тусклыми стеклами, и тихий свет лампад — а прежней жизни нет. И дома нет. И покоя нет. И счастья нет, как не было.

Андрею вдруг захотелось потянуться к жене, обнять ее, взять в ласковые руки ее бедную, усталую седую голову, прижать к своей груди, заплакать вместе: «Ну, что было — было! Ничего! Ничего! Тоня! Теперь я здесь, теперь я с тобою. Проживем как-нибудь. Переждем войну, не навеки же». Но он не сделал этого. Зачем? И сам он в свои слова не верит, и Тоня не верит. Неправда его слова.

Нет, не вырвался он из плена! Вот она — колючая проволока. По-прежнему и он в плену, и семья в плену, и весь город в плену у немцев. Душа его в плену. Все опутано колючей проволокой. Колючки впились в душу.

А у старика, у отца, душа свободна. Ее в цепи не закуешь. Ее колючей проволокой не опутаешь, бессмертную, ожесточенную душу Тараса. И сын вдруг горько позавидовал отцу.

В эту ночь в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...

2

В эту ночь в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...

Как ни рано поднялся Андрей, многие встали еще раньше. Скрипели половицы, изо всех углов ползли шорохи. Андрей встал и оделся. Антонина сделала вид, что спит. Андрей поглядел на нее и вздохнул. Вот и прошла его первая ночь дома после разлуки... Не так прошла, как мечталось... Ну что же! Все теперь на земле не так... Он вышел умываться в сени.

Там уже возилась мать. В самодельную ручную мельницу она засыпала зерна и молола их. Шестерни тоскливо скрипели.

— Это отец смастерил,— объяснила мать, заметив,

что сын заглядеался на ее работу.— И название этому выдумал: агрегат. А по-моему, горе это наше, а не агрегат. Одно горе, больше нет ничего...

Ставни были еще закрыты. Сквозь щели протискивался тощий и словно помятый утренний свет.

— Открыть ставни, что ли? — вызвался Андрей.— Темно, как в могиле.

— Так и живем! — отозвалась мать.— Глядеть не на что.

Теперь, утром, все дома показалось Андрею не таким, каким было прежде. На него вдруг глянуло страшное лицо нужды, вчера он ее не заметил. Он и сам не сумел бы объяснить, в чем он ее увидел: в агрегате ли Тараса, в кислых лепешках, заменяющих хлеб, или в том, что самовар пылился в углу («Значит, нет в доме ни сахару, ни чаю. Как же мать без чаю живет, чаевница?»),— но нужда хозяйничала здесь, это он увидел ясно и принял почему-то как упрек себе. Словно он, Андрей, был виноват в том, что война, и немцы в городе, и нет хлеба.

Понемногу к столу стала собираться семья — все хмурые, молчаливые. Даже Ленька глядел на дядьку исподлобья, с явным неодобрением. Дольше всех не выходила Антонина.

А когда, наконец, вышла и, странно волнуясь, подошла к мужу, он понял, отчего задержалась она: пудрилась.

Но и пудра не могла скрыть, как постарела и осунулась Антонина. Особенно постарели ее глаза, стали тусклыми, испуганными. «Плачет много»,— догадался Андрей и отвернулся.

Завтрак прошел быстро и хмуро. Все молчали. Только маленькая Марийка щебетала и ластилась к Андрею.

— Ты в школу ходишь? — спросил он.

— Не...— удивленно ответила Марийка.— Теперь же немцы!

— Да, да...— пробормотал он.— Я не подумал.

Он и это принял как упрек себе: словно он виноват, что теперь нельзя Марийке ходить в школу.

— Ну, я с тобой сам заниматься буду! — торопливо посулил он дочке.

После завтрака Тарас стал собираться на завод. Торжественно вытащил свое рванье, стал одеваться.

— Что, отец на заводе работает? — удивленно спросил Андрей у сестры.

— Да... вроде...— усмехнулась та.

— Под конвоем дедушку водят на завод! — закричал Ленька.— Вот! А без конвоя он не ходит.

Его голос услышал и Тарас у себя в комнате.

— Да, да! — отозвался он оттуда.— Почет! Почет мне на старости лет от немцев за мое непокорство. Как губернатора, меня ведут на завод. Под конвоем.

— И ты служишь? — спросил Андрей у Насти.

— Я? Нет!

— А что же делаешь?

— Я прячусь.

— Прячешься? От кого же?

— От всего. От Германии. От службы. От немецкого глаза.

— Как же ты... прячешься?

— А так... Хоронюсь, не высовываюсь. У меня теперь вся жизнь в том, чтобы прятаться,— загадочно усмехнулась она.

И Андрей с удивлением и даже завистью подумал: «А они тут свою войну с немцами ведут; малую, конечно, войну, но гляди-ка, какую непримиримую».

— Что-то мой полицай опаздывает,— сказал Тарас, выходя из своей комнаты и поглядев на часы. Был одет Тарас в неописуемое рванье, где только добыл такое! И Андрей понял: это старик нарочно!

— Опаздывает полицай! — насмешливо повторил Тарас.— Непорядок! Конечно, извинить можно — полицейских рук у них теперь недостача. Непокорства в народе много, не управляются!

Он посмотрел на сына и спросил, словно невзначай, небрежно:

— Ты теперь в полицию служить пойдешь, Андрей, а?

Андрей побледнел.

— Как вы обо мне думаете, отец! — пробормотал он обиженно.— Даже странно!

— А куда же тебе еще идти? — беспощадно продолжал старик.— Ты свой путь выбрал. Теперь меченый...— он сердито фыркнул в усы.— Это мне на тебя обижаться надо, тебе на меня обижаться не из чего.

В Андрее вдруг вспыхнула злость. Что это отец в самом деле? «Не пряниками меня немцы одаривали — плетью... Вы и во сне того не видели, что я пережил». Ему вдруг вспомнился лагерь. Этого никогда не забыть! За это никогда не расплатиться!.. Ему захотелось все это зло яростно швырнуть в лицо отцу. «Ну, давай, давай, старик, посчитаемся, у кого душа круче заварена злобой, давай!» Но тут вдруг раздался стук прикладом в дверь и голос: «Эй, выходи!»

— А-а! Пришел-таки! — усмехнулся Тарас и надел картуз.— Иду! Погляди и ты, Андрей, какой ноне старикам почет. Иди, иди! — прикрикнул он на сына, видя, что тот остался на месте.— Тебе на это поглядеть надо.

Андрей послушно вышел за отцом на крыльцо. На улице уже стояли старики, опершись на палки. «Словно пленные»,— подумал Андрей. Он узнал всех. Как не узнать! Мастера!

Несговорчивые старики, они много крови испортили Андрею в былое время, когда он сам стал молодым мастером подле них. Они всегда были для него стариками. Они всегда говорили ему «ты», он им всегда «вы». Как не узнать! Их знали все. Академики с ними советовались. Директоры их побаивались. Новый директор представлялся сперва им, потом обкому. Их можно было убедить, реже — уговорить, приказать им было нельзя.

Тарас занял свое место в ряду, полицейский махнул рукой, и старики пошли.

Они шли, крепко опираясь на палки. И теперь было видно Андрею: постарели, подались мастера. И отец сдал, самый молодой из них. Рваное пальто болталось на его тощих плечах так беспомощно, так по-стариковски. Но каждый держал голову высоко и прямо. Видно, из последних сил, из непокорства, которое самой силы крепче, старались они идти гордо и достойно. Словно и впрямь был для них этот конвой почетом.

«Нет, это не пленные,— невольно подумалось Андрею.— Это... это — непокоренные».

Тарас, как всегда, шел рядом с Назаром.

— Что, Тарас,— сразу же спросил Назар, как того Тарас и боялся.— Не Андрея ли я на крылечке видел?

— Его! — буркнул Тарас.

— А-а... Значит, с гостем тебя, Тарас! С сыном! По старому бы времени, магарыч...

— Не с чего!

— Да, да... Это так, конечно... Ну, и что ж рассказывает Андрей? Как? Армия наша где?

— Теперь какие рассказы!

— Ну да... Все-таки... Это так...— не унимался Назар.— Он откуда же пришел, Андрей?

— Из окружения,— соврал Тарас. Слово «плен» выговорить бы не смог.

— А! Ну да... да... Теперь многие из окружения выходят. Вот и мы воевали в гражданскую, а такого слова чего-то не помню, не слышал: «окружение». А? Али забыл?

Дальше шли молча.

— Да...— задумчиво произнес Назар.— Разбежались наши кто куда... Окружение... Да без вести — неизвестные... Может, и армии-то нашей больше нет, а, Тарас? Одни мечтания наши? Может, вся она, как и твой сынок, разбежалась по окружениям да по домам... А? А мы ждем.

Тарас сам об этом думал с тех пор, как Андрей пришел, но теперь ничего не ответил Назару. Шли молча.

— Эй! Э! — закричал вдруг идущий в первом ряду старик Булыга.— Эй, полицай, ты не той дорогой ведешь. Слышь-ка!

— Молчать! — рявкнул на него полицейский и погрозил ему автоматом.

Старики заволновались.

— Это куда ж нас ведут? — забеспокоился Назар.— Уж не в тюрьму ли?

— Все одно! — отозвался Тарас.

— Да нет... Все-таки...

— Если на расстрел,— вдруг сказал литейщик Омельченко, Захар Иваныч,— так я спасибо скажу. Все равно не дожить нам до светлого дня. А чем так жить...— он махнул рукой.

Но привели их не в тюрьму, не на расстрел, а на ремонтный заводик. Это был маленький, почти кустарный заводишко, его при эвакуации и не разрушали. Сейчас из его единственной трубы поднимался бледно-желтый дымок.

Полицейский ушел куда-то, недоумевающие старики остались одни. Из цеха вдруг выбежал к ним какой-то человек в немецкой спецовке, в котором Тарас по виду признал русского мастерового.

— А-а! — радостно закричал мастеровой, увидев стариков.— Смена прибымши...

— Постой! — строго остановил его старик Булыга.— Ты кто здесь?

— Я-то? — засмеялся человек.— Я мастер тут.

— Мастер! — пробурчал Тарас.— Сукин ты сын, а не мастер... Иуда!

— Постой! — опять властно прервал Булыга.— А нас сюда зачем?

— Догадываюсь: за тем же... Мастера?

— Ну, мастера, допустим.

— Ну вот! Догадываюсь так: работать будете! Работа срочная есть...

— Мы работать не будем! — сказал Назар.

— Будете! Заставят! Военный заказ! Тут разговоры короткие,— вздохнул мастер в немецкой спецовке.— Видите ли, пригнали откуда-то пропасть битых танков...

— Немецких?

— Конечно! Чьих же? То есть такую пропасть! Я и целых у немцев столько не видал. Ну, а своих рук у них, видно, не хватает. Которые танки поменьше побиты, те, конечно, в своих мастерских ладят. А эти — ну одно произведение искусства, честное слово, так побиты! Стало быть, их нам в ремонт...

— Постой, постой! — прервал его удивленный Тарас.— Битые танки! Кем же битые?

— Ну, не могу сказать, кем,— засмеялся здешний мастер.— Догадываюсь, конечно: мастерами биты! Ну, теми, с кем война идет! — Он оглянулся по сторонам.— Ну, как сказать? Противником.

Из цеха к старикам торопливо вышел важный и толстый немец в пенсне и в военной форме.

— А! — весело крикнул он.— Карашо! Вы есть русский майстера? О! Да! Здравствуйт, русский майстера!

Старики негромко прогудели:

— Здравствуйте!

— Будем знакомы! — сказал веселый немец: — Я есть инженер. Вы есть русский майстера. Очень кара-

шо! И есть один работ... О! Великий работ! Надо ремонтирт танки... Скоро! Как это? А, да — срочно! Две недели! Нет — расстрел.

— Надо работу поглядеть,— негромко сказал Тарас.

— Что? А? Это есть справедливо! Майстер должен видеть работ.— Инженеру нравилось, что он умеет хорошо говорить по-русски с русскими мастерами.— Вы увидаль работ. Битте!

Стариков ввели в цех. Они увидели длинный ряд переломанных, покореженных, побитых немецких машин. Это были уже не те танки, что пугали их на городских площадях. Это было беспомощное, бессильное, мертвое железо.

— Дас ист есть,— торжественно сказал веселый инженер.— Как это? Могучественный немецкий техника. Он есть сейчас больной. Мы с вами есть доктора. А? — засмеялся он своей шутке.

— Аккуратная работа! — восхищенно сказал Тарас, разглядывая пробоины в броне.— Ничего не скажешь! Чисто! Это где же их так, сердешных? Под Сталинградом?

— Не ваше дел!— крикнул инженер, и его лицо стало багровым.— Молчайт! Молчайт! Молчайт!

— Я молчу,— пожал плечами Тарас.

— Молчайт! — еще раз, но уже тише крикнул инженер. Он вспомнил, что умеет говорить по-русски с русскими мастерами, и сказал уже спокойно:

— Эти танки должны скоро идти в бой. Нет — расстрел.

— Мы эту работу сделать не можем,— негромко сказал старик Булыга.

— Вас? — закричал инженер.— Что? Как это... не можем?

— Не можем мы! — прогудели теперь все.

Немец остолбенело поглядел на них. Он не ждал отказа. Он даже пенсне снял и зачем-то повертел в руках. Вдруг он понимающе улыбнулся:

— А, да-да! Я понимай... Это есть справедливо... Майстер должен кушайт... Вы,— он ткнул пальцем в худого Булыгу,— вы есть скелет... Я буду кормиль майстера. Это есть справедливо...— Он два слова выговаривал особенно вкусно: «справедливо» и «расстрел».

— Нет,— усмехнулся Булыга,— нас уже не накормишь... Сыты!..

— Мы эту работу сделать не можем,— твердо сказал Тарас,— мы не мастера.

— Как не майстера? — удивленно закричал инженер.

— Мы черные рабочие.

— Как черный рабочий? — завопил немец.— Мне сказаль: майстера! — Он оглянулся на мастера в немецкой спецовке, но тот, страшно побледнев и вспотев, отвернулся.

— Не мастера мы! — умильно сказал Назар, глядя прямо в глаза немцу.— Самоучки... Невежество... Черные рабочие... И потом, возьмите в рассуждение, господин,— какие мы работники теперь? Старики! Шкелеты! И кормить нас уж ни к чему, только корму перевод... Так и живем, повестки ждем от смерти. Увольте нас. Какие мы мастера.

Немец растерянно выслушал его, обвел взглядом всех.

— Все черный рабочий? — спросил он.

— Все! — хором подтвердили старики.

Немец посмотрел на них недоверчиво и даже обиженно.

— Я буду карашо кормиль! — нерешительно сказал он.

Мастера не шелохнулись. Они по-прежнему стояли молча и покорно, склонив головы и не покорясь ни в чем,— и это больше, чем их слова, убедило немца в том, что эти работать не будут.

— Марш! — исступленно закричал он тогда и замахнулся рукой, словно хотел ударить. Потом круто повернулся и ушел к себе.

Старики продолжали неподвижно стоять на месте.

— Что ж мне теперь делать с вами? — рассердился полицейский.— Ну до чего ж вы, старики, вредные, скажу я вам! И помереть никак не помрете! Куда мне вас теперь вести? — Он подумал и махнул рукой.— Ладно, идите пока по домам. А я господину коменданту доложу о вас, нехай распорядится. Расстрелять вас всех надо, другого выхода нет.

— Спасибо за доброе слово, господин полицейский! — кротко поклонился Булыга.

Уже у заводских ворот Тараса нагнал мастер в немецкой спецовке. Он был бледен.

— Извините меня,— прошептал он, хватая Тараса за рукав.— Уж вы извините меня за мою малую душу. Не сумел я отказаться от этого ремонта, да и не подумал. А теперь уж поздно... Только вы хоть то поимейте в виду,— торопливо прибавил он,— что я вас сейчас не выдал. Учтите хоть это!.. Ведь я же знаю, какие вы мастера.

— Я не поп и не судья,— непримиримо покачал головой Тарас.— Каждый человек живет по своей совести.

Дома Тарас застал только Андрея, женщин не было.

— Тебя-то мне и надо! — сказал Тарас сыну.— Садись!

Тот сел.

— Ты, Андрей,— начал Тарас,— хоть какой-никакой, а все-таки человек военный... Так?

— Ну, так...— ответил сын и тоскливо подумал: «Долго он надо мной издеваться будет? Или это теперь навсегда?»

— Не вояка, конечно, об этом говорить не будем,— продолжал Тарас,— а все-таки кое-чему тебя учили? Так?

— Ну, так.

— Вот ты мне и скажи: с какого расстояния надо гранату кинуть так, чтобы танк разворотить?

— А вам зачем? — усмехнулся Андрей.— Кидать гранаты собрались?

— А может, и собрался! Был бы помоложе — кидал бы. В плен не сдавался б, будь спокоен.

— С пяти, с десяти метров вернее всего...— зло ответил Андрей.

— Так близко? — удивился Тарас.— Это что ж — значит, жди, пока на тебя танк наползет? Так, что ли?

— Ну, почти так...

— Большая смелость для такого подвига нужна. Тут надо душу иметь железную!

— Д-да... Разумеется.

— И что же,— спросил Тарас,— находятся такие смелые люди, а?

— Есть, конечно... Да вам-то что? — насторожился сын.

— Да-а... Есть...— вздохнул старик.— Счастливые те отцы, у которых такие дети! Ну, ладно! Теперь другой вопрос: а броня? Броню танка гранатой ведь не возьмешь? Выходит, тут пушкой надо брать? А?

— Ну, пушкой...

— И не всякой пушкой, заметь! Тяжелый танк легкой пушкой не возьмешь?

— Конечно.

— Значит, должны тяжелые пушки, мощные быть? Так?

— Ну, так...

— Выходит, и пушки есть. Значит, есть! Есть! — торжествующе крикнул старик и ударил ладонью по столу.— Есть, чертов ты сын, наша армия! А я из-за тебя чуть веры не лишился.

— Послушайте! — в бешенстве вскочил Андрей.

— Нет! — оборвал его отец.— Теперь ты меня слушай. Мой приказ.— Он встал из-за стола перед Андреем, грозя ему черным узловатым пальцем.— Под Сталинградом или в другом месте, про то не ведаю, набито много немецких танков. Немцы сюда их привезли. Чинить. Подлых рук ищут. Так вот тебе мой последний сказ, Андрей. Ты что хочешь с собой можешь делать, хоть в полицию иди служить. Мне до тебя дела нет! Я тебя из своей души вырубил. Но на завод... Слышишь? На завод...— он остановился, захлебнувшись кашлем.

Бледный Андрей молча стоял перед отцом.

— Я тебя мальчонкой,— продолжал Тарас,— на завод привел и к своему верстаку поставил. Я тебе, чертов ты сын, свой напильник дал и показал, как его держать в руках надобно. И объяснил я тебе, чертов ты сын, какой напильник к чему — какой драчовый, какой личной, какой бархатный. Так? И если ты, сукин сын, теперь отцовским напильником посмеешь... посмеешь... Я тебя сам, своими руками! А в остальном,— устало махнул он рукою,— живи как сам знаешь. Что хочешь делай!

3

— Что хочешь делай! — сказал ему отец, а Андрей и не знал, что ему с собой делать.

Сам лишенный всех человеческих прав, он не мог

быть семье ни заступником, ни кормильцем. Он был лишний рот, ничего больше.

Его жизнь теперь не имела ни смысла, ни оправдания, ни даже цели. Зачем ты живешь на земле, Андрей? На это ему ответить было нечего.

Даже в плену у него была цель жизни: выбраться, вырваться из-за колючей проволоки. Ну, выбрался! Живя у Лукерьи, он лелеял новую цель: добраться, во что бы то ни стало добраться до семьи! Ну, добрался! И повис на шее семьи тяжелым грузом... Дальше что? Он не знал, что дальше...

Отец его, Тарас, жил и терпел муки и берег семью ради того, чтобы дождаться прихода наших. Ждать, ни в чем не покоряясь врагу,— вот ради чего жил, стиснув зубы, старый Тарас.

Андрей не имел права ждать. Ждать, пока тебя — здорового человека военного возраста — придут и освободят? С какими же глазами ты к освободителям выйдешь?

Но и ждать было невыносимо: голод повис над семьей. Андрей голову ломал над тем, как беде помочь, но придумать ничего не мог. Идти на работу? Куда? Да и работа на врага не кормит, а сушит. Не в полицию же идти служить в самом деле.

Полицейские пронюхали про возвращение Андрея. Долго вертели его бумаги в руках. Придирались. Требовали, чтоб стал на учет, определился на место. Андрей отговаривался болезнью. Потребовали справку от врача, но намекнули, что можно обойтись и «по-хорошему» — взяткой. Но взятку давать было не из чего. Андрей отдал полицейскому зажигалку, которую от нечего делать смастерил для себя. Полицейский взял.

«К Лукерье в деревню пойти, что ли, добыть хлеба для семьи?» — подумал как-то Андрей и долго потом носился с этой мыслью. Но жене побоялся сказать. Ни слова не проронила тогда Антонина в ответ на его признание и потом не обмолвилась ни разу, но Андрей чувствовал: касаться этого не надо, нельзя.

Лукерья Павловна сама пришла в дом Тараса. Неожиданно. В полдень, когда дома были только бабка Евфросинья да Антонина.

Робко отворила калитку.

— Что, Андрей Тарасович Яценко здесь проживает? — конфузясь, спросила она у Антонины.

— Д-да...— удивленно отозвалась та и стала разглядывать незнакомую гостью: ее деревенский наряд, узелок в руках.

— А его видеть... можно?

— Его дома нет. Но он скоро будет. Вы подождите.

— А вы кто же будете?..— опасливо спросила женщина.— Жена?

Что-то в ее голосе заставило Антонину ответить:

— Н-нет... Сестра.

— А! — обрадовалась женщина и облегченно вздохнула.— Значит, дошел он? Живой? — И она радостно засмеялась.

Они все еще стояли у калитки.

— Вы Лукерья Павловна? — тихо спросила Антонина и вдруг почувствовала, что все лицо ее заливается краской.

— Да! — удивленно ответила гостья.— А что, вам про меня рассказывал Андрей Тарасович?

— Да... Рассказывал...— не глядя на нее и комкая край фартука, сказала Антонина.— Да вы что же стоите здесь? — встрепенулась она вдруг.— Вы проходите, проходите в комнаты...

— Нет, ничего. Вы не беспокойтесь! Вы не беспокойтесь! Я и тут подожду. Значит, живой? — снова повторила она и опять радостно вздохнула.

Антонина ввела ее в комнату, усадила за стол. Лукерья Павловна осторожно повела взглядом вокруг.

— А где же жена?..— спросила она, с трудом произнося слова.— Что, нашел жену Андрей Тарасович?

— Н-нет...— запинаясь, ответила Антонина.— Жены у него нет.

— Как нет? Он сказывал, жена есть.

— Д-да... Но она уехала... Эвакуировалась. Пропала без вести... Так и нет вестей...

— А! — покачала головой Лукерья.— А уж он убивался по ним как, по жене да по девочке. Он ведь знаете какой? — застенчиво улыбнулась она.— Он ведь нервный да ндравный...

— Да, знаю...

— Значит, живой! — в третий раз повторила она и опять тихо, счастливо улыбнулась.

В это время и вошел Андрей. Увидев Лукерью рядом с женой, он испуганно отшатнулся. Потом подошел... Лукерья радостно поднялась ему навстречу, краснея и прижимая руки к горлу, но вдруг, случайно взглянув на Антонину, остановилась. Что-то — она и сама не знала что — заставило ее догадаться, что Антонина не сестра Андрею... Она опустилась на стул, оробела и вся сжалась в комочек.

— Вы уж извините...— сказала она, болезненно улыбаясь.— Конечно, каждой бабе своего счастья хочется... хоть приблизительно...

— Ничего,— грустно вздохнув, отозвалась Антонина.— Горе у нас общее.

«Нехорошо как вышло! — подумал Андрей, садясь.— Очень нехорошо! Некрасиво! А кто виноват? Я ли один, или уж время такое... лихолетье, война?»

Неожиданно пришел Тарас. Ему, видимо, бабка уже сказала о гостье. Он шагнул прямо к ней и низко-низко ей поклонился.

— Спасибо тебе, женщина! — сказал он, и голос его дрогнул.— За душу твою спасибо. За твое человечество. Только не того ты человека спасла. Не стоит этот человек того...— Он презрительно взглянул на сына и вышел.

Всем стало еще более неловко.

— Сердитый у нас дед...— извиняясь, сказала Антонина.— Принципиальный... Вы уж не взыщите. Такой...

— Нет, я ничего... Ничего...— торопливо сказала Лукерья.— Я что же? Я ведь только поглядеть зашла, убедиться: живой ли. А теперь я пойду,— заторопилась она.

— Куда же вы? — испугалась Антонина.— Оставайтесь у нас. Переночуйте. Погостите. Как же так? Так нельзя,— и она оглянулась на мужа. Тот стоял молча, потупившись.

— Нет, нет, спасибо, спасибо, не беспокойтесь...— засуетилась Лукерья.— Я тут у сродственницы.— Она встала и хотела уйти, но не знала, что делать ей с узелком, который все время лежал у нее на коленях.— Извините,— нерешительно сказала она, подымая узелок...— Это я... в подарок,— она посмотрела на Андрея, потом на Антонину и протянула узелок ей.

— Нет, нет, не надо, что вы! — отшатнулась та и замахала на нее руками.

— Не обижайте! — тихо проговорила Лукерья.

Андрей пошел провожать ее. Антонина молча смотрела с крыльца, как шли они рядом. Она вздохнула и опустилась на ступеньки...

— Какая женщина хорошая! — умильно сказала бабка Евфросинья, развязывая узелок.— Вот подумала про нас. Гостинчик припасла. А семье — все поддержка.

Тарас услышал это и выбежал из своей комнаты, багровый от стыда.

— Догони! — закричал он сердито.— Отдай! Что же, мы нищими уже стали? Милостыню берем? — Но тут он увидел Марийку: девочка бескорыстно-счастливыми глазами, как на чудо, смотрела на яйца. Тарас махнул рукой и вышел во двор.

«Нищие! Хуже нищих!» — подумал он и, покачав головой, оглядел дом и хозяйство. Все покосилось... Сарай, как старик, сгорбился, дом еле дышит... надо бы чинить, да где уж!.. «Человека тоска ест, металл — ржа, а дерево — черви. Так уж заведено. Все прахом пошло. Впору для всей фамилии гробы готовить. Да и на гробы,— горько усмехнулся он,— леса нет. Только и есть всего три сосновых доски в хозяйстве».

4

Три сосновых доски... Из них даже гроба не сделаешь! Но Тарас и не собирался сколачивать гроб для себя. Он еще не хотел умирать, он еще не лишился веры.

Из сосновых досок он сколотил ящик. Приделал к нему колесо. Прибил ручку. Получилась тачка.

Бабка Евфросинья тревожно следила за работой мужа.

— Идти собрался, Тарас?

Он не ответил.

— Может, обойдемся? — нерешительно сказала она.

Он досадливо передернул плечами:

— Э! Пустые слова!

— Сам пойдешь?

— А кто же? Больше идти некому.

— Может, Андрей? — осторожно спросила она.

— Андрей до нас не касается! — хмуро отмахнулся старик.

Бабка Евфросинья грустно покачала седою головой.

— Не такие твои года, чтоб идти, Тарас...— вздохнула она.

— Да,— криво усмехнулся Тарас.— Не такая мне старость причитается за мой труд на земле. Ну, да что толковать! Не умели свое право защитить, не сумели своих сынов воспитать — теперь обижаться не на кого.

Вечером бабка Евфросинья и Настя собирали Тараса в дальнюю дорогу. Вытаскивали из заветных сундуков платья, костюмы, белье, стряхивали нафталин, разглядывали вещи на свет: возьмут ли в деревне, что дадут за них? О каждой вещи, вытащенной из сундука, бабка Евфросинья могла бы рассказать целую историю: как откладывались из получки деньги, как долго совещались все женщины дома и как потом, всей семьей, шли покупать. Но об этом лучше было не вспоминать. Бабка Евфросинья и не вспоминала, а только вздыхала тайком от Тараса, складывая вещи в тачку.

Но один сундук она долго не хотела отпирать. Все обходила его и снова к нему возвращалась.

— Тут Настюшкино приданое,— сказала она наконец.

— Вот как! — удивилась Настя.— А у меня и приданое было!

— А как же? — обиделась мать.— Не хуже, чем у добрых людей.

— А я и не знала! — засмеялась Настя.— Ну, отпирайте, мама! Женихов все равно нет. Не идут женихи, задержались за Доном. Отпирайте!

Настюшкино приданое тоже пошло в тачку.

Ночью пекли Тарасу на дорогу лепешки из последней муки.

— Ты с рассветом пойдешь, Тарас? — осторожно спросила жена.

— А что! — насторожился Тарас. Он и сам думал выйти с рассветом.

— Днем, я думаю, некрасиво будет с тачкой пойти. Люди нашу бедность увидят.

— А мне стыдиться нечего! — закричал Тарас.

— Прежде ты бедности стеснялся...

— Прежде! — проворчал он.— Прежде тот беден

был, кто работать не хотел. А теперь мне стыдиться нечего. Днем пойду!— закричал он в бешенстве.— В самый полдень. Пусть все мою тачку видят!

И он, простившись с семьей и даже не взглянув на Андрея, вышел из дома ровно в полдень.

Высоко подняв голову и раздув седые усы, пошел он, толкая тачку, через весь Каменный Брод, через весь город, по самым людным улицам. Знакомые молча глядели ему вслед.

А он шел, ни на кого не глядя. Торжественный и печальный, весь черный от горечи, сжигающей его.

Так прошел он через весь город и вышел на большую дорогу. У перекрестка он остановился, чтоб разогнуть спину. Но то, что он увидел на дороге, заставило его обо всем забыть.

Тачки, тачки, тачки — насколько хватало глаз, одни тачки да спины, согбенные над ними. Спины и тачки — больше ничего не было, словно то была дорога каторжников. Скрипя и дребезжа, катились тачки по камням и тащили за собой людей, измученных, потных, черных от пыли. Казалось, это не люди идут, а сами тачки с прикованными к ним человеческими руками.

Словно никогда не было на земле ни железных дорог, ни автомобилей, ни пара, ни электричества, и человек еще не приручил лошадь; словно никогда не было на земле магазинов, и люди всегда брели за хлебом туда, где его сеют, словно никогда ничего не было на земле — только тачки, да горбатые спины, да пыльная дорога впереди...

Подле тачек устало и безнадежно брели люди. Старики и женщины. Шли семьями. Муж и жена по очереди толкали тачку. Восьмилетняя девочка несла на руках маленького брата и прижимала его к себе бережно и любовно, как мать. В тачке сидел малыш и навзрыд плакал, раздирая пальцами опухшие от пыли глаза. Ничего уже не было на земле у этой семьи — ни родного города, ни дома, ни своей крыши.

Для них не было ни высокого неба, ни крылатых облаков на нем, ни зеленых верхушек деревьев. Клочок пыльной дороги впереди — вот и все. И они проклинали дорогу. Они ощущали солнце только затылком, немилосердное, злое солнце,— и они проклинали солнце. Их плечи дрожали и ежились под внезапными дождями —

и они проклинали дожди. Их окровавленные, стертые руки уже не могли толкать тачку — и они проклинали руки. Но того, кто был единственным виновником их горя, нельзя было проклинать вслух. И они, измученные дорогой и тачкой, проклинали Гитлера каждым вздохом усталой груди, каждым плевком обметанного зноем и пылью рта, каждым стоном ребенка.

Тарас стоял на перекрестке и растерянно глядел на дорогу. «Боже ты мой! Боже ты мой!» — повторял он, качая головой. Он и не представлял себе раньше размеров народного бедствия. «Боже мой! Боже ты мой!» И пред этим океаном народного горя свое горе показалось ему маленьким, ничтожным.

И как ручеек, откуда бы он ни бежал, в конце концов всегда вливается в море, так и старый Тарас влился в океан народного горя — и растворился в нем...

Человеческий поток принял его, закрутил, согнул над тачкой и понес. Теперь у него была только тачка да клочок дороги впереди. И для него уже не было ни неба, ни леса. Весь народ шел, прикованный к тачке, шел и старый Тарас.

Через несколько часов он почувствовал, что устал. Поясница нестерпимо ныла, руки, натертые деревом, горели. «Не привык еще»,— усмехнулся Тарас и свернул с дороги. В канаве отдыхали люди. Какой-то юркий седоватый человек с веселыми глазами тотчас же спросил Тараса:

— Откуда?

Тарас сказал.

— Куда же вы идете? — удивленно всплеснул руками юркий человек.

— Как куда? — пожал плечами Тарас.— На Днепропетровщину...

— А зачем?

Тараса рассердил этот допрос, он не ответил.

— Если вы идете туда за хлебом,— торопливо сказал юркий,— так я вас не понимаю! Я сам из города Днепропетровска. Честь имею, Петушков, Яков Иванович, парикмахер. Если бывали в нашем городе, то обязательно брились у меня. Знаете, парикмахерская Красного Креста на...

— Нет, не бывал!

— Да? Жаль! И вы идете в Днепропетровск? —

всплеснул руками парикмахер.— Я иду оттуда. Это — нищая область.

Тарас недоверчиво пожал плечами.

— Вы мне не верите? — обиженно вскричал Петушков.— Вы сомневаетесь, как такая область могла стать нищей? Так я вам скажу! — Но тут он вдруг спохватился и опасливо поглядел по сторонам.— Нет, я вам ничего не скажу! Идите! Идите!

— Ваш город давно... э... под властью... э... фюрера? — послышался вдруг голос из кювета, и оттуда приподнялся пожилой человек в пенсне.

— Наш? — переспросил Тарас.— Четыре месяца.

— А-а! — загадочно усмехнулся человек в пенсне.— А мы уже ровно год...

Тарас понял и опустился рядом со своей тачкой. Человек в пенсне и парикмахер сочувственно смотрели на него.

— А вы куда идете? — спросил он глухо.

— К Дону,— ответил парикмахер.— Там еще должен быть рай...

— Рай! Э...— усмехнулся человек в пенсне.— Мне достаточно и полного амбара.

— Рай! — закричал яростно Петушков.— Мне для моего продукта обязательно нужен рай! На меньшем не помирюсь.

Тарасу было все равно, куда идти — к Днепру ли, к Дону. Он вытащил тачку на дорогу и, подумав немного, зашагал на восток. Теперь солнце было у него на затылке. Впереди маячила верткая спина парикмахера, сзади тяжело дышал, сопел и кашлял человек в пенсне, которого звали Петром Петровичем.

Вечер застал их в поле за Донцом.

— Здесь ночевать будем? — спросил парикмахер.

— Надо бы в село...— нерешительно сказал Тарас.

— В село? Э, нет. Туда нашему брату... э... бродяге, на ночь хода нет... Запрет.

— Чей?

— Чей же? Их!

— Партизанов боятся...— шепотом произнес парикмахер и тихо засмеялся.

На поле уже кое-где дымились костры тачечников, и, завидев их мирный дымок, с дороги стали сворачи-

вать люди. Выбирали себе место на поле, ставили тачку и валились подле нее без сил.

Поле давно было вытоптано. В то жестокое лето через него не раз перекатывались армии и народы. Повсюду были видны следы боев и следы кочевий: сожженная трава, расщепленные деревья, окопы, воронки, пепел, черные остатки костров...

Прокатились через это поле беженцы и рассеялись по лицу земли. Только трупы павших лошадей у дороги остались да следы повозок, глубокие и горькие, как морщины.

Прошли по этому полю армии, истоптали его, борясь, похоронили покойников, подобрали раненых и прошли дальше, поля этого не запомнив. Только раненые помнят: их кровь на этой черной траве...

И вот раскинулся здесь теперь диковинный лагерь тачечников. Баба, сняв с себя ситцевую кофточку, стирает ее в воронке. Вода ржавая. Говорят, от глинистой почвы. А может, и от крови? Дети спят в окопах. На остатках старых костров раздуваются новые. И уже ползет к небу горький сиротский дым... Догорает закат невиданный, багрово-черный, словно впитал всю кровь и все горе земли, пламя ее битв и дым ее костров. А с дороги приходят все новые и новые толпы людей с тачками. Уже тесно на поле. Уже спят люди в кюветах. Жмутся один к другому. Из Харькова, из Полтавы, из Донбасса, из Запорожья. Артемовцы с мешком соли на тачке, кременчугцы с краденным на фабрике табаком, рубежане с банками краски. Словно все города Украины сбились на этом поле. Словно весь народ пошел кочевать за тачкой, искать хлеба. Хлеба!

«Украина ты моя! Украина! — горько покачал головой Тарас.— Бедолаги мы с тобой!»

Меж тем парикмахер раздул костер и теперь, любуясь, глядел, как кучерявится и завивается пламя, словно то была лучшая прическа его работы.

Со всех сторон к огню потянулись руки. Человек в клетчатом пальто и мягкой шляпе, сидевший в стороне, тоже невольно потянулся к огню, но не подвинулся, не подошел.

— А вы, гражданин, откуда идете? — любезно крикнул ему общительный парикмахер, как бы приглашая к огню и к беседе.

— Простите... гм...— глухо отозвался человек в мягкой шляпе.— Я на улице... гм... не разговариваю,— и уткнул лицо в воротник пальто.

— Интеллигент,— обиженно сказал Тарасу Петушков.— Интеллигент с высшим образованием! А коли ты интеллигент,— крикнул он яростно,— так сиди дома, нечего на дорогу выходить.

— Простите... гм...— произнес человек в шляпе,— я вижу, вы не поняли... Я — певец... Гм... Я должен горло беречь... Здесь сыро...

Петушков расхохотался:

— Ну, голос надо было дома беречь!

— Мне выбирать не приходится,— кротко возразил актер.

— Да, выбирать не приходится,— вздохнул Петр Петрович.— Если б мне два года назад приснился сон, что я, пожилой человек, бухгалтер Востриков, стану... э... бродягой,— я подумал бы: экой дурной сон! А вот... э... сбылся. Да вы подсаживайтесь, подсаживайтесь! — крикнул он актеру.— Огонь бесплатно!

— Благодарствуйте,— ответил тот, приподнимая шляпу, и пересел ближе к огню.

— Что ж это вы так? — усмехаясь, спросил Тарас.— Говорят, немцы артистов любят.

— Какая компания! — восхищенно воскликнул парикмахер.— Какое общество собралось у нашего огонька! А, Петр Петрович? И в хорошее время не каждый день соберешь такое общество.

— Да...— мечтательно крякнул бухгалтер,— к этому обществу да графинчик... С лимонной корочкой.

— С апельсинной...— коротко вставил актер.

— Зачем же с апельсинной? Общепринято с лимонной. От дедов.

— Апельсины мягче. Иначе не могу... Простите... гм... голос.

Парикмахер подбросил веток в костер. Сырые, они корчились в огне, как клубок змей, и шипели.

— Яичница с помидорами,— сказал парикмахер,— вот мое любимое блюдо, если угодно знать.

Ему никто не ответил. Он снова подбросил веток в огонь.

— А этот бурак можно варить,— послышался вдруг робкий женский голос.

— Что? — обернулся парикмахер.

Бочком к огню, положив голову на свою тачку, сидела женщина. Она повторила:

— Я говорю... вот бурак на поле... его можно варить.

— Позвольте,— всполошился актер,— но это кормовой бурак. Это корм свиньям...

— Э, батенька! — возразил бухгалтер.— Чем же люди хуже свиней? Ведь мы свинину едим?

— Ели,— поправил Тарас.

— Ну, ели! Значит...

— Только люди уж, видно, весь бурак повытаскали,— грустно сказала женщина.

— А вот мы поищем! — воскликнул парикмахер и ринулся в поле.

Он скоро вернулся, потный и всклокоченный.

— Да...— сказал он, выкладывая перед женщиной все, что собрал.— Из-за бурака и то драка. Зверь стал народ.

— Голод...

— А в чем же варить? — спросила женщина.

— Да, в чем же варить? Я и не подумал,— парикмахер беспомощно огляделся вокруг себя. Было темно, но от костров падали наземь огненные пятна.— Э! Вот! — Он наклонился и поднял что-то с земли.— Каска! — Он подал ее женщине.— Вари в ней.

Женщина повертела каску и вдруг всхлипнула.

— Что вы? — всполошились все.

— Пробитая...— она показала каску, и все увидели черную дырочку в звезде.

У костра стало тихо.

— Я другую найду! — нервно усмехнулся парикмахер и начал шарить руками в траве.

Скоро бурак сварился. Тарас достал пол-лепешки, остальные — что у кого было.

— Смотрите! — удивленно сказал парикмахер.— Вкусный бурак!

— Голод — лучший кулинар. Э-это известно...— засмеялся Петр Петрович.

— Я не возражаю против голода! — вдруг взволнованно сказал актер.— Артист должен быть немного голодным — иначе поет желудок, а должна петь душа. Но я не могу, когда люди жрут! — закричал он.— Чавкают! Я служил в харьковской опере... Хорошо, пусть немцы.

Я знаю немцев. У них был Вагнер. Но это... это — не немцы! Нет! Не спорьте со мной! Они заставляли меня петь у них на ужинах... и чавкали... и кричали: «К черту Вагнера!» И требовали от меня песенок, которые поются у них в борделях,— он вдруг остановился, взялся рукою за горло и зябко повел плечами.— Простите... Гм... я не должен волноваться. Голос. Должен беречь. Я еще надеюсь спеть Вагнера... Один раз в жизни. Когда...— он не докончил, но все поняли и вздохнули.

— Вам сырые яйца надо глотать...— сочувственно сказал парикмахер.— Каждый день сырые яйца... Я близкий к искусству человек, я понимаю...

— Да, это хорошо... яйца...— расслабленно произнес актер.

— Мы найдем богатое село! — вдохновенно продолжал парикмахер.— Мы найдем такое место, где еще есть яйца!.. И амбары, полные хлеба!.. И нас встретят, как желанных гостей... и...

— Нет таких сел, Яков Иваныч,— покачал головой бухгалтер.

— Есть! — закричал Петушков.— Должны быть! Для моего продукта мне нужно село богатое, неразоренное, веселое...

— А что у вас за продукт? — спросил Тарас.

— О! У меня продукт психологический! — уклончиво ответил парикмахер.

— Восемьдесят четыре картошки и сто семнадцать ложечек муки,— вдруг тихо прошептала женщина.

— Что? — встрепенулись все и оглянулись на нее. Женщина смутилась. Она не заметила, что произнесла это вслух.

— Нет, позвольте! — пристал к ней неугомонный Петушков.— Вы сказали что-то про картошку?

И он выпытал всю ее историю. У женщины — ее звали Матреной — на шахте остались две девочки. Старшенькой — десять, меньшенькой — пять лет. Она оставила им немного муки и картошки, по счету. И приказала брать в день три картофелины и класть в суп три ложечки муки. Старшенькая, Любаша, поклялась, что не потратит больше. Теперь у них осталось сто семнадцать ложечек муки и восемьдесят четыре картошки.

— А я еще и полпути не прошла,— вздохнула шахтерка.

— Да, и нас дома ждут голодные...— глухо сказал бухгалтер.— Сколько уж мы ходим, Яков Иваныч, с тобой...

— Так ведь не с пустыми руками ждут, с хлебом. Что мы им без хлеба? Надо найти село богатое, неразоренное, чтоб обменяли мы свое барахло с пользой...

— Где же такое село найти? — вздохнул бухгалтер.— И найдем ли?

— Найдем! — уверенно ответил парикмахер.

— Ну-ну!

И, переночевав подле тлеющего костра, они с рассветом все вместе отправились искать землю неразоренную...

5

Поиски земли неразоренной... Никогда Тарас и помыслить не мог, что наша земля так велика и бескрайна, что столько на ней сел и станиц, хуторов в коричневом вишенье, одиноких лесных избушек, столько дорог. И широкие, как бульвары, грейдерные, с акациями в два ряда; и старые, травой заросшие чумацкие шляхи, и новенькие, строгой профилировки, с кюветами, полными воды; и горбатые проселки с навеки окаменевшими колеями в грязи; и веселые, опушенные золотою соломою, как казацкими лампасами, полевые дорожки; и бойкие, в рытвинах и ухабах, большаки, непроезжие в грязь; и робкие, путаные степные тропки; и, как стрела, тугие, прямые просеки в лесу... Много дорог. По всем по ним прошли Тарас и его товарищи, а все еще не нашли земли неразоренной.

Неунывающий Петушков вел их и все сулил счастливую землю впереди. Но не было этой земли на горизонте. Горели села, мычали угоняемые немцами стада, плакали бабы, качались у дорог повешенные, их синие босые ноги не доставали травы.

И часто теперь к костру тачечников приходили искать пристанища бабы с детьми из сожженных сел.

— Пустите погреться, люди добрые! Ничего у нас нема. Нема хаты, нема добра. Одна душа осталась.

— Шестьдесят шесть картошек и девяносто девять ложечек муки...— шептала Матрена, глядя на детей погорельцев.

Петушков теперь то и дело расспрашивал встречных тачечников про края, из которых они идут.

— Ну, как там, а? Меняют?..

— Да меняют...— неохотно отвечали люди,— христа ради меняют... У самих ничего нет...

— То есть как нет? — удивлялся Петушков.— Куда же делось?

— Куда, куда? Известно, куда девается...— и исчезали в дорожной пыли, безнадежно махнув рукой.

После таких разговоров было еще труднее идти и верить, что есть на свете земля неразоренная.

— Нет ее, нет! — твердил Петр Петрович, но шел, как и все...

— Должна быть! — кричал парикмахер.— Не могут же немцы такую жирную землю обглодать, как косточку...

— Фашисты все могут! — качал головой Тарас.

— Шестьдесят картошек и девяносто три ложечки муки,— шептала, вздыхая, Матрена.

Дымил костер... Тлели старые, палые листья. И не было земли неразоренной.

Тарас почернел от пыли, похудел, стал совсем молчаливым. Чем больше чужого горя видел он вокруг, тем меньшим казалось свое. Ему было все равно, куда идти. Ему было все равно, что есть — бураки, лесную ягоду, грибы, кору с деревьев. Спина его сгорбилась над тачкой, кровавые мозоли на руках отвердели. Он шел за одержимым мечтою Петушковым и сам не знал, верит ли он, что есть земля неразоренная, или уже не верит...

По ночам у костров Петушков вдохновенно рассказывал о жирной, нетронутой земле, что ждет их впереди. Тарас молчал, бухгалтер спорил. Актер сам загорался мечтой.

— Да, да!.. — говорил он.— Это прекрасно! — и с тревогой заглядывал в глаза парикмахера.— Но дойдем ли, дойдем? — Его пальто истрепалось в дороге, к нему пристали репей да колючки, мягкая шляпа, в которой он спал, давно потеряла форму. Он был худой и старый человек, небритый, с большим кадыком: никто бы не узнал в нем знаменитого харьковского баритона.

— Дойдем! — убежденно отвечал парикмахер.— За Доном земля богатая.— И он принимался рассказывать

об этой земле, и чем дольше не было сел на их пути, тем ярче и фантастичнее были его рассказы.

— Таких сел нет и никогда не было! — спорил с ним бухгалтер.

— Были,— защищал актер.— Мы давали концерт однажды, и я помню столы под вишнями... И горы душистого белого хлеба. Кувшины с молоком. Золотистый мед в прозрачных чашах... Яичница, как вечерний закат...

— Да, жили, жили! — вздыхал Тарас.

А Петр Петрович все никак не мог вспомнить, отчего он был раньше недоволен жизнью.

— Определенно помню,— недоумевал он,— был я недоволен. А чем, отчего — хоть убей, не вспомню.

И никак не мог вспомнить, из-за чего не ладил со своим директором.

— Я из-за него и не эвакуировался... Нет, говорю, не поеду! Мне лучше с немцами жить, чем с вами, директор. А из-за чего ссорились? Э... не помню. Определенно помню: хам он был, скотина. А теперь доведись встретиться... э... расцеловал бы его, хама! Честное слово, расцеловал бы!

— Да, жили, жили...

— Пятьдесят четыре картошки и восемьдесят семь ложечек муки.

А земли неразоренной все не было.

Они вошли уже в донские степи. «Теперь скоро, скоро!» — говорил Петушков. Он повеселел. Иногда, сгорбившись над тачкой, он свистел даже.

Они шли теперь по жирной, черной, доброй земле. По вечерам над нею поднимался такой густой и сытный пар, что Петушков уверял, будто его можно мазать на хлеб, как масло. Но у них не было хлеба. Они, как воробьи, питались падалицей. Вокруг них на сотни верст осыпались и гнили пшеничные поля,— тачечники собирали и ели гнилые зерна. «Теперь скоро, скоро!» — уверял Петушков. Он положительно опьянел от запахов жирной земли, клевера и гречишного меда. Он во всем видел и угадывал приметы счастливой земли, как моряк в тумане моря угадывает приметы близкого берега.

— Вишь, какие станицы пошли! — говорил он.— Большие, хозяйственные...— И он показывал на останки колхозных дворов и тракторных станций, на веселые

крыши под железом и черепицей, на теплые, крытые скотные дворы. Его смущало, правда, что не слышно тут ни рева стада, ни кудахтанья птицы.

— Дальше, дальше все будет! — убеждал он. И все теперь верили ему. Запах гречишного меда и гниющей пшеницы раздувал их жадные ноздри...

На донских дорогах наши тачечники столкнулись с потоком из России. Появились люди из Курска, из Белгорода, из воронежских городов. Россия встретилась с Украиной, поставили рядом тачки, сели, закурили цигарки из прошлогодней сухой травы, растертой тут же на кровавых от тачки ладонях.

— В большие станицы не ходите,— советовали они друг другу,— там немецкие гарнизоны стоят... И достать ничего не достанете, да еще последнее немцы отымут.

— Да, уж после них ходить нечего... Аккуратно едят... Как саранча...

— Ну, как у вас? — расспрашивал Тарас людей из Курска.

Те только рукой отмахивались в ответ:

— Да как и у вас! Похвастаться нечем...

— Лютуют?

— Об этом уж не будем говорить...

И Тарас задумался, толкая свою тачку: есть ли мера людскому горю, есть ли сроки?

— Сорок восемь картошек и восемьдесят одна ложечка муки,— тревожно шептала Матрена.— Боже ты мой, боже!..

А неразоренной земли все не было.

На другой день Петушков вывел их с большака на автомобильную дорогу.

— Теперь скоро! — объявил он, словно ему было, как пророку, дано видеть сквозь туманные дали.— Теперь скоро!

Они втащили свои тачки на крепкий, сухой, укатанный грунт грейдера, и первое, что там увидели,— была распростертая женщина.

Она лежала у обочины, подле своей тачки, лицом вниз, на запад...

— Мертвая! — удивленно сказал бухгалтер.

Они столпились над ней, растерянные и подавленные. Окоченевшие руки женщины цепко впились в куль

зерна... Мешок свалился с тачки и прорвался. Из него высыпались наземь хлебные зерна,— казалось, мертвые руки женщины пытаются собрать их и собрать не могут.

— Не дошла!..— тихо прошептала Матрена.

Осторожно, чтоб не задеть мертвую колесами, обошли тачечники труп и молча побрели дальше. И снова была перед ними дорога, рыжая от пыли.

В эту ночь холодный дождь заставил их спрятаться в скирдах сена. К трем мокрым скирдам сбилось множество тачечников. Они облепили их жалким мушиным роем, забились в сено, жались друг к другу, одинаково мокрые и дрожащие. Над скирдами стоял непрерывный кашель, хриплый, больной... Никто не мог уснуть. А дождь падал и падал... Начиналась пора осенних дождей, а все не было земли неразоренной...

И Петушков вдруг подумал: «А может, ее и нет вовсе? Одно мечтание?» Но сейчас же бросился к тачке: «Промокнет продукт!» — и лег на тачку всем телом. А бухгалтер Петр Петрович задыхался в кашле и думал: «Не дойду! Разве в мои годы бродяжат?» Он давился кашлем и сплевывал густую, склизкую мокроту. Всю ночь мерещилась Матрене мертвая женщина, как лежала она, царапая окоченевшими пальцами землю, и все пыталась собрать зерна, и не могла собрать... «А дома, поди, как и у меня, голодные рты ждут. Теперь и не дождутся». Актер громко откашливался: «Гм! Гм!» Он хотел убедиться, что есть еще у него голос. Он даже крикнул что-то хрипло, простуженно. А струйки все ползли по его телу. И всю ночь стояла перед Тарасом мертвая женщина. Стояла во весь рост, протянув к нему руки, как к судьбе. «Определи, Тарас, меру за мои муки!» И он отвечал ей: «Такой меры, женщина, нет».

Утром дождь кончился, взошло солнце, на редкость молодое и веселое. Петушков воспрянул духом.

— Я всю ночь не спал, думал,— торопливо сообщил он.— И знаете, я нашел, отчего нам не везет!

Все молча смотрели на него.

— Мы все бьемся около больших дорог. Ну, ясно, тут — немцы. После них нечего искать. А нам надо в глушь! — крикнул он.— В глушь! Куда нога не ступала!

Он говорил много и горячо, и ему опять поверили, и пошли за ним.

Они ушли с большой дороги и стали пробиваться напрямик, к Дону. Петушков вел их. Одержимый лихорадкой мечты, сжигающей его яростным пламенем, он торопил их, злился, кричал: «В глушь! В глушь!» И они ползли за ним, опухшие, больные,— спотыкались, падали, но ползли.

И вот однажды, в полдень, измученные тачечники вдруг услышали то, чего уж давно не слышали: кричали петухи.

— Слушайте! — ликующе завопил Петушков и, подняв над головой руку, замер.

Но все уж и без того услышали. И остановились. И тоже замерли, не веря тому, что слышат.

Кричали петухи. Кричали так звонко, так весело, так неистово, что на всех лицах невольно появилась теплая, застенчивая улыбка, и каждый вдруг вспомнил самое лучшее, самое счастливое, что было в его жизни: кто детство, кто свадьбу, кто первую удачу. Городские люди, они вспоминали каждый свое. Петушков стоял на цыпочках, замерев от восторга, на его лице были написаны счастье и гордость. Матрена сложила руки на груди, как перед молитвой. Актер снял шляпу. Так стояли они молча и благоговейно.

И вот из лесной чащи выплыла к ним счастливая земля. Старые седые волы медленно тащили возы и глядели на мир недоверчиво, исподлобья. И на возах вздыбились горы серебристой капусты; тугие, как бубны, арбузы глухо гудели, ударяясь друг о друга; из огромных мешков выпирала грудастая картошка; помидоры сочились кровью; в клетках метались неистовые петухи, солидно крякали утки; розовые поросята с тупым удивлением взирали на мир; хмурые мужики длинной хворостиной сердито стегали волов; а подле возов медленно шагали немецкие солдаты и все жевали.

Обоз полз медленно и долго. Мимо тачечников все плыли и плыли высокие возы, проплывали коровы с печальными, покорными глазами, бестарки с золотой пшеницей, хмурые мужики, бабы с заплаканными глазами, жующие немцы... Проплывали и исчезали вдали. Вот и последний воз скрылся в лесной чаще. Прошла, прошумела и растаяла счастливая земля. Актер медленно опустился на тачку и, уткнувшись в шляпу, заплакал.

— Как я их ненавижу! Как я их ненавижу! — сдавленным шепотом произнес Петушков и сжал кулаки.— Я их и брить не мог. Щеки брею — ничего. А как дойдет до горла...

— Тридцать три картошки и шестьдесят шесть ложечек муки,— прошептала Матрена и заплакала.— Боже ж ты мой!

Больше никто ничего не сказал.

Матрена вдруг встала, вытерла рукавом глаза и низко поклонилась Петушкову, потом остальным.

— Спасибо вам, товарищи, за компанию, за доброту вашу. Низкое спасибо!

— Ты что? — испуганно спросил ее Петушков.

— Нельзя мне! — строго сказала Матрена.— Назад пойду. Мои последний запас едят.

— А... а хлеб как же? Что ж привезешь домой?

— Уж как есть. Обменяю где-нибудь или выпрошу за ради Христа.

— Ну, иди! — тихо сказал Петушков и нерешительно обвел глазами спутников.— А мы еще пойдем... немного...

Матрена взялась за тачку и вытащила ее на дорогу.

— Может, покойникам хлеб привезу...— сказала она,— а все идти надо.

— Прощай, Матрена! — негромко сказал Тарас.— Тебе надо дойти.

— Авось дойду! — вздохнула шахтерка.

Тачечники долго смотрели ей вслед. Вот она скрылась...

— Ну-с! — как можно веселее сказал парикмахер и вдруг увидел лицо актера. Тот сидел, закрыв глаза; дряблый подбородок его отвис и дрожал мелко и часто.

«А он не дойдет! — испуганно подумал парикмахер.— Он никуда не дойдет».

— Вам что, плохо? — сочувственно спросил он, осторожно трогая актера за плечо.

— А? Да... Извините... Ослаб! — сознался актер. Он попытался, как всегда, улыбнуться, но улыбка не вышла. Он виновато развел руками.— Вот ведь подлость какая! А? Извините...

Он извинялся за свою немощность, а Петушков вдруг в первый раз почувствовал свою вину перед ним

и перед всеми. «Что же я тащу их, старых людей, неведомо куда? Может, и нет на свете неразоренных сел?»

«А какая хорошая мечта была? Красивая!»—пожалел он и, вздохнув, сказал:

— Ну что ж! Зайдем в ближнее село. Поглядим!

Ближнее село оказалось большой, полупустой станицей. Много хат было заколочено досками, крест-накрест, еще больше стояло без крыш и дверей, словно лежали среди села трупы непогребенных.

Парикмахер выбрал хату побогаче и постучал в окошко. Выглянула женщина с добрым и больным лицом. Увидев тачечников, она грустно покачала головой.

— Войти можно? — вежливо спросил парикмахер.

— Та можно! — ответила женщина и отперла калитку.

Они вкатили свои тачки в широкий и пустой двор, весь усыпанный желтой листвой, как ковром.

— Ну вот! — весело сказал парикмахер.— Принимай купцов, хозяйка!

— Купцы пришли, а покупателей черт ма! — грустно ответила баба.

— Нет, ты товар погляди, товар! — закричал Петушков.— Ну, давайте! — и обернулся на актера. Тот обессиленный опустился на тачку.

— Что же вы? — шепотом спросил его парикмахер.— Давайте!

Актер только безнадежно махнул рукой в ответ.

— Ну, давайте тогда я... покажу ваше...— Петушков заглянул в тачку актера и вытащил оттуда узлы.

— Напрасно развязывать будете, беспокоиться,— сказала женщина.— Ничего у нас нет, извините.

— Нет, вы поглядите, поглядите! — не унимался Петушков и, развязав узел, широким жестом распахнул перед женщиной все богатство его. Тут были костюмы актера, добротные, щегольские, сразу вызывавшие в памяти всех то далекое, довоенное время, когда и они, тачечники, как люди, ходили в концерты, покупали обновки, обсуждали с портным покрой костюма, как судьбы мира.

— Богато ходили! Чисто! — почтительно сказала женщина и с уважением пощупала сукно костюма.

— Это мой концертный фрак...— слабым голосом произнес актер и отвернулся.

— Вы знаете, кто это? — прошептал Петушков, наклоняясь к казачке.— Это артист! Его весь мир знает. Он сам эти костюмы носил. Ведь это только ценить надо.

— Сочувствую,— сказала женщина.— Всею душой сочувствую...— Она с грустью посмотрела на костюмы и опять пощупала сукно.— Только нет у нас ничего, поверьте! Все забрали...

Актер дрожал теперь, точно в ознобе. Он поднял воротник пальто и втянул плечи. Но его трясло и шатало от слабости, старости и голода. Подбородок теперь прыгал, и актер никак не мог совладать с ним.

Казачка испуганно посмотрела на него.

— Больны они? — спросила она шепотом.

Петушков только горько махнул рукой в ответ.

Женщина вдруг метнулась в хату и тотчас же вышла оттуда, неся каравай хлеба, кувшин и тарелку с тоненько нарезанными ломтиками сала. Она поставила все это перед актером. Тот испуганно отпрянул.

— Кушайте, будьте добры! — поклонилась ему казачка.— Не побрезгуйте. Корову взяли, так что только коза... уж извините...

— Нет, нет! — замахал на нее руками актер.— Я не могу даром... Что вы?

— А денег я не возьму...— тихо сказала казачка.

Петушков жадно взглянул на еду. Давно, давно не ели они печеного хлеба. Он проглотил слюну и подошел к актеру.

— Ешьте! — убежденно сказал он.— Ничего! Ешьте!

На лице актера проступили багровые пятна.

— Но как же!..— прошептал он.— Я — артист... Меня знают... Я горд... Я не могу милостыню... Спасибо, но...

Он взглянул на женщину. Она стояла перед ним, низко опустив голову, и теребила руками фартук.

Актер медленно поднялся с тачки, снял шляпу, посмотрел куда-то вверх, в сизое холодное осеннее небо, прижал шляпу к груди — и вдруг запел. Из его горла вырвались слабые, хриплые, больные звуки, но он не заметил этого и продолжал петь. И Тарас с удивлением увидел, как на его глазах молодеет человек и голос начинает крепнуть, вот уже звенит металлом. А может, только показалось ему? Казачка благоговейно замерла

на месте и, сложив на груди руки, смотрела прямо в лицо актера не мигая. У плетня стали собираться соседи — мужчины и бабы. Протискивались во двор. Бабы уже плакали, дивчата вытирали глаза косынками, старики опустили головы на палки и сняли шапки... Актер все пел, протянув перед собой шляпу, арии и песни — все подряд. Он благодарил казачку. И не за вдовий хлеб ее — за добрую душу. Он всех благодарил своею песней. Всех, кто слушал его, старого, больного русского артиста, кто прощал ему простуженное горло и вместе с ним плакал над его песнями, как только русские люди умеют плакать...

Он кончил и обессиленно опустился на тачку. Все молчали. Только бабы все еще всхлипывали и вытирали глаза углами косынок.

Из толпы вдруг выступил старый дед и строго посмотрел на всех.

— Этот человек кто? — спросил он, ткнув пальцем в сторону актера. Потом укоризненно покачал головой.— Этот человек, граждане, артист. Вот кто этот человек. Не похвалит нас наша власть, если мы такого человека не сберегем. Так я говорю, га? — Он снова строго посмотрел на односельчан, потом обернулся к актеру.— Вы у нас оставайтесь, прошу я вас. Если сила есть, еще споете, а мы поплачем. А нет — живите так... Га?

— Живите! — сказала актеру хозяйка-казачка...

— Ну-с? — спросил Петр Петрович, когда, простившись с актером, тачечники вышли из села.— Ну-с, а мы? Может, э... по дворам пойдем? А? С рукой протянутой? — Он посмотрел на Петушкова.

Парикмахер вдруг озлился.

— Мне что? — закричал он тонким, петушиным фальцетом.— Я из-за кого стараюсь? Мой продукт в любом селе бабы с руками оторвут. И, уж будьте уверены, полной мерой заплатят...

— Что ж это за продукт? — недоверчиво спросил Тарас.

Парикмахер тихонько засмеялся и подмигнул всем.

— Пудра,— шепотом сказал он,— пудра, если угодно знать.

— Пудра? — оторопел Тарас.

— Что? А? Хитро пущено? — ликовал Петушков.— А-а? То-то! Психологический продукт! Вы скажете: война. А я вам отвечу: женщина. Женщина всегда остается женщиной, ей всегда пудра нужна.— Он нежно поглядел на свою тачку.— С руками оторвут.

— Да-а...— сказал бухгалтер.— Продукт — первый сорт. Только... э... куда же дальше идти? Дальше... э... некуда.

Действительно, дальше было некуда. Они всю землю прошли от Днепра до Дона,— не было неразоренных сел. Дальше начиналась обожженная прифронтовая полоса. Идти было некуда.

Теперь и Петушков понял это. Но он еще не хотел расставаться с мечтой.

— К вечеру,— загадочно сказал он,— мы, наконец, придем.

Попутчики недоверчиво посмотрели на него, но пошли. К вечеру они вошли в станицу. Она была, как и сотни других оставшихся позади, такая же полувымершая, сонная, пустая, с тоскливо нахохлившимися избами, с мокрой соломой на крыше, с тощими дымками из труб, но Петушков сделал вид, что это и есть то, чего они искали.

— Ну, вот! — ликующе закричал он, украдкой поглядывая на попутчиков.— Вот оно, вот оно, то самое!

Они притворились, что верят и его словам и его радости. Только бы уж конец, дальше идти некуда.

— А ну, налетай, налетай! — весело закричал Петушков бабам у колхозного двора.— Прошу внимания. Имею предложить красным девушкам, а также молодайкам секрет красоты и вечной молодости. Вот! — ловко выхватил он из тачки свой мешок.— А ну, налетай!

Его сразу же окружили девки и бабы, радуясь веселому человеку.

— Что это, что? — заверещали они.

— Это — пудра! — во всю силу своих легких крикнул Петушков.

Стало тихо.

Молодая простоволосая казачка, ближе всех стоявшая к Петушкову, недоверчиво покосилась на его мешочек.

— Пудра?

— Лебяжий пух! — ответил Петушков.

— Это что ж? — тихо спросила казачка.— В надсмешку?

— Нет, почему же? — растерялся парикмахер.— Я всей душой...

— Над вдовьим горем нашим надсмеяться пришел? — покачала головой казачка.— Ай-яй-яй-яй, стыдно тебе, пожилой ты человек!

— Нет, ты скажи, для кого нам пудриться? — зло закричала пожилая баба и рванула с головы платок.— И без пудры поседели от горя нашего!

Теперь зашумели все:

— Ты мужиков наших верни, а тогда — пудру...

— Ты нам прежнюю жизнь верни!

— Для кого нам пудриться, для немцев?

Они подступали к нему яростные, беспощадные, как потревоженные осы,— он горе их разбередил. Петушков отмахивался от них обеими руками и бормотал:

— В городе нарасхват брали...

— Шлюхи брали! — закричала простоволосая казачка.— А мы закон знаем, бесстыдник ты, срамник.

— Сам пудрись! А у нас — радости нет!

Тарас и бухгалтер подхватили парикмахера и чуть не на руках вынесли его из толпы.

Вслед им полетели комья грязи и глины...

— Так! — приговаривал Тарас, когда комок шлепнулся подле них.— Правильно, бабы! Грязью нас, грязью! Мы вам грязь принесли, и вы нас — грязью. Так!

Петушков, согнувшись, брел за своей тачкой...

— Ну-с! — как всегда насмешливо, начал Петр Петрович, но, взглянув на Петушкова, только рукой махнул.

Ночевали на большой дороге...

Где-то, словно дальний гром, гремели орудия. Тарас снял шапку, прислушался. По его лицу прошло легкое, счастливое облачко...

— Хоть голос услышал,— сказал он.— Вот и недаром шел.

Какой-то человек, неподалеку от него, негромко говорил людям:

— А вы слухам веры не давайте. Сталинград как стоял, так и стоит, и стоять будет.

— А вам откуда известно? — спросил ехидный голос из темноты.

— А что знаю, то говорю,— спокойно ответил человек, и Тарас стал прислушиваться к его голосу.— У немцев под Сталинградом неустойка вышла. Крепок орешек, не по зубам!

Тарас обернулся к Петру Петровичу и тихо попросил его:

— Тому человеку, что говорит, скажите — пусть ко мне подойдет.

Петр Петрович удивленно взглянул на Тараса.

— Убедительно прошу! — тихо, но взволнованно прибавил Тарас.

Бухгалтер пошел и сейчас же вернулся с тем, кого звал Тарас. В темноте лица его не было видно.

— Кто меня звал? — сказал человек в темноту.— Зачем?

— Я звал,— негромко ответил Тарас.— Здравствуй, Степан.

— А-а! — с секунду длилось молчание. Потом человек сказал тоже негромко: — Здравствуйте, батя!

Это был старший сын Тараса, Степан.

6

Да, это был старший сын Тараса, Степан.

— Ну, здравствуй, отец! — снова удивленно повторил он.—Что же ты тут делаешь... на дороге?

— Ищу землю неразоренную,— усмехнулся Тарас в усы.

— А! И не нашел?

— Нет! Отчаялся.

— Да-да... А неразоренная земля недалеко... За Волгой.

— Недалеко, а ходу туда нет.

Они сели в сторонке от людей — Тарас на пень, Степан прямо так, на траву.

— Про тебя не спрашиваю,— сказал Тарас.— Я землю неразоренную ищу, а ты тут, гляжу, души неразоренные ищешь?

— Да,— засмеялся Степан.— Пожалуй, что так.

— И находишь?

— Много.

— Много? — недоверчиво протянул отец.— Я не встречал...

— Значит, плохо ищешь...

— Я и не ищу! — отмахнулся старик.— Каждый по своей совести живет. Я про свою душу знаю, а что до чужой — мне дела нет.

— Вот оно и выходит: причина вся — все мы в одиночку чистые...

Тарас не ответил. Они помолчали немного.

— А я тебя в армии считал,— сказал отец.— А ты, выходит, вот где?..

— Да... Так вышло...

— А мне говорил: в армию иду!

— Ну, отец, всего сказать нельзя было...— пожал плечами Степан.

— Это отчего ж? — хмуро спросил старик.

— Да ведь дело-то мое...— ответил Степан, оглядываясь,— секретное... партийное... Так вдруг и не расскажешь!

— А в этом деле беспартийных нет! — сердито проворчал старик.— Мог и сказать. Не чужому. Теперь все партийные! Немцы выучили...

— Да,— засмеялся сын.— Теперь я бы сам сказал... И меня кой-чему выучили...

— Ну, а Валя где? Эвакуирована?

— Нет... Здесь...

— Где здесь? — удивился старик.

— Ну, вообще здесь... Тоже, как и я, ходит,— он наклонился ближе и прошептал: — Она сейчас там... на неразоренной земле... У наших... Я ей навстречу иду... Должны встретиться.

— Скажи-ка! — протянул Тарас.— Вот те и Валя! Так ведь она ж... женщина!

— Вот, как видишь!

— И не молоденькая!

— Я ей сам говорил... Вот тоже, как и ты, ответила: теперь беспартийных нет. Так и ходит.

— Ходит! — воскликнул Тарас и ударил себя по коленям.— А? Скажи пожалуйста. А мне хоть бы слово, хоть намек... сукины вы дети! Не прощу!

Степан усмехнулся, ничего не сказал.

— Что ж ты про сына не спросишь? — проворчал старик.— И отца забыл и сына? Вот вы какие...

— Да я знаю о нем... немного... Жив ведь Ленька, здоров?

— Ну, здоров,— ответил Тарас и вдруг спохватился.— Постой, постой. Да ты от кого знаешь?

— Ну, от Насти...— неохотно выдавил сын.— Пишет она мне... иногда... Люди приносят...

— Та-ак...— горько покачал головой Тарас.— Заговорщики! Ну, Степан, вовек я тебе этого не прощу. Не прощу, нет. А Настю — приду — выпорю.

— Так ведь я ж свою ошибку признал,— засмеялся сын.— Видишь вот, не таюсь.

— Не таюсь! Еще бы от родного отца таиться. Да кто тебя человеком сделал, а? Да я, если хочешь знать, я тебя в большевики вывел!

— Тсс!

— Верно ведь? — шепотом спросил все еще злой Тарас.

— Верно, отец, верно. Все верно!

— Нет мне от сынов радости, чертовы вы дети! — проворчал он, не унимаясь.— Один в плен попал, еле выдрался. Другой от отца таится. От третьего вестей нет. Один я, как пень, старый дурак, хожу по свету.

Он снова посмотрел на сына. В темноте было смутно видно его лицо, только глаза блестели.

— Ну, давай! — дрогнувшим голосом сказал старик.— Давай, как люди, поцелуемся хоть.— Он обнял голову сына, привлек к себе и прошептал прямо в ухо: — Спасибо, сын! Спасибо, что не обманул... Я на тебя надеялся больше, чем на всех... Спасибо! —И он поцеловал его. Потом легонько оттолкнул и добродушно проворчал: — Эть, бородатый какой! Только по голосу тебя и признал. Голос — мой. Ну, пойдем! — сказал он, подымаясь.— Покажу я тебе моих попутчиков.

Они подошли к костру, и Тарас представил Степана:

— Вот. Земляка встретил.

— А-а! — равнодушно отозвался Петр Петрович.— Ну, садитесь, грейтесь!

Петушков скользнул по лицу Степана неопределенным взором и тотчас же забыл о нем. Охватив голову руками, он раскачивался над огнем, вздыхал, бормотал что-то...

— Вы что, больны? — вежливо спросил Степан.

— А? Да, да... Больной... больной я...— пробормо-

тал парикмахер.— Старый, маленький, глупый человек... Это я... Пожалуйста... И мне ничего не надо на земле. Ничего... Только гранату... Одну гранату. Больше я ничего не скажу.

Степан усмехнулся. Все разговоры на большой дороге кончались тоской по гранате, это он отлично знал. Он за то и любил большую дорогу, что люди здесь разговаривали вольно, не таясь, не то что в городах и селах, где глядят на незнакомого человека недоверчиво и заранее боятся и того, что он скажет, и того, о чем он умолчит.

На большой дороге всегда говорят о гранатах, и Степан не раз думал, что если б каждое ненавидящее Гитлера русское сердце швырнуло бы во врага одну гранату — только одну,— от немецкой армии мокрого места не осталось бы. Но голая ненависть не швыряет гранат, это он тоже знал. Гранаты кидает мужество.

Степан лежал сейчас у костра, глядел в огонь, а перед ним, шумя, проходили все эти месяцы борьбы и хождения по мукам.

7

Хождение по мукам? Нет, так будет неправильно сказать. Были, были муки. И сомнения были, холодные, колючие. И, бывало, схватывало за горло отчаянье. Все было! Но зато в минуты восторга, необыкновенного, полного счастья, когда вдруг где-нибудь на дороге, во мраке, встретишь незнакомого, но родного человека, и он распахнет перед тобой, доверясь, все богатство своей души, непокоренной, красивой русской души, и спросит: «Как же быть, товарищ? Научи, что делать?» — и ты вложишь оружие в его тоскующие руки. Нет, не хождение по мукам. Старик отец хорошо сказал: «поиски душ неразоренных». Да, поиски...

Когда в июле стояли они с женой на дороге и мимо них, окутанные пылью, проходили на восток последние обозы, он вдруг почувствовал на минуту — но долгой была эта минута,— как у него из-под ног медленно и неотвратимо уползает земля...

— Валя! — сказал он, не глядя на жену.— Тебе еще не поздно! А?..

Она тихо засмеялась.

— Отчего вы все, мужья, такие? Ей-богу, хуже матери. Мать благословила бы...

А он чувствовал, как уползает, уползает из-под ног земля, на которой было так легко и привычно жить.

— Ты бы уехала, Валя, а? И без тебя все сделается.

— А я не хочу, чтоб без меня,— сказала она, хмурясь.— Сейчас беспартийных нет...

Он обнял жену за плечи, погладил ее седеющие волосы. Последние обозы проходили на восток и пропадали в пыли...

В тот же вечер Степан и Валя Яценко ушли в подполье, это было как переселение в другой мир. Степану оно далось куда труднее, чем Вале.

Он не сразу осознал, что произошло. Еще вчера ходил он, Степан Яценко, по земле плотно, уверенно, властно — сегодня должен красться тайком. По своей земле!

Эта земля... Он знал ее всю, на сотни верст вокруг, ее морщины, ее складки и рубцы, ее видные всем богатства и известные только ему одному болезни и нужды... Он ставил на ней города, прорубал новые шахты, он планировал, где и что рожать полям, и стоял над ними нежный, как муж, и заботливый, как строитель. И за это облекла его она властью над собой и над людьми, живущими на ней, и нарекла хозяином.

Он был беспокойным и строгим хозяином. Он любил во все входить сам. Он ничего не прощал ни себе, ни людям. Часто останавливал он машину ночью на дороге, вылезал из нее и кричал: «Не так пашете! Не так мост кладете! Не так гатите гать! Сделайте так и так. При мне! Чтоб я видел». И люди не спрашивали, по какому праву приказывает им этот незнакомый грузный человек. От его большого, могучего тела исходил ток власти. В его голосе, густом и сильном, была власть. В его глазах, цепких, острых, горячих, была власть. И люди послушно ей покорялись.

А сейчас Степану надо согнуть свое большое тело. Надо стать незаметным. Научиться говорить шепотом. Молчать, хотя б душа твоя кричала и плакала. Потушить глаза, спрятать в покорном теле свою непокорную душу.

Один только Степан знает, каких трудов и мук ему это стоило. Да Валя знает. Никогда, за долгие годы

семейной жизни, не были они так близки, как сейчас. Валя все видела, все понимала.

— С чего же мы начнем, Валя? — спросил он в первый же день их подпольной жизни. Спросил невзначай, небрежно, словно и не ее, а самого себя вслух, а она услышала и поняла: растерялся Степан, не знает... мучится...

Да, растерялся...

Раньше он всегда знал, с чего надо начинать, как запустить в ход большую, громоздкую машину своего аппарата. И день и ночь дрожал, фыркал у подъезда мотор запыленного, забрызганного грязью «голубого экспресса». Трепетали барышни на телефонной станции. Сотни людей были под руками, ждали приказаний.

А сейчас Степан был один. Он да Валя. Маленькая, худенькая женщина. Да где-то там, во мраке ночи, еще десяток таких, как он, сидят, забившись в щели, ждут: придет человек, который скажет, как начинать дело. Они не знают, кто этот человек. Они знают только: он должен прийти.

Этот человек он — Степан.

Против него — враг сильный и беспощадный. У него, а не у Степана власть. У него, а не у Степана земля. У него, а не у Степана армия.

— Вот что, Валя,— нерешительно сказал он,— пожалуй, поступим так... Ты оставайся тут... как центр... А я пойду к людям.

— Ну что ж! — сказала она, внимательно на него глядя.— Иди. Это правильно.

Они просидели до утра, рядышком, словно это была их первая ночь. Но о любви они не говорили. Они вообще говорили мало, но каждый знал, о чем думает, и о чем молчит другой, и о чем старается не думать. Из слов, сказанных в эту ночь, немногое уцелело в памяти Степана,— да и не было их, значительных слов! — но навеки запомнилась рука Вали, теплая и покойная; как лежала эта рука на его плече и успокаивала, и ободряла, и благословляла: иди.

Утром он пошел, а она осталась здесь, на хуторе, у своих стариков. Прощаясь, он сказал ей:

— К тебе тут люди будут приходить... Так ты принимай их... говори...

— Хорошо,— сказала она.

Все это он сказал ей и ночью раз десять.

Он потоптался еще на пороге.

— Ну, прощай, хозяйка.

— Иди!

Он пошел, не оглядываясь. Но, и не оглядываясь, знал он: подняв руку, стоит жена на пороге. Он шел и думал об этой руке.

Ему не надо было спрашивать дороги — он шел по своей земле. Никогда не покидал ее. Был с ней и в пиры и в страду. Вот он с ней в дни ее горя. Больше не был он ей хозяином,— что ж, остался ей верным сыном.

И земля отвечала ему теплой и тихой лаской. Словно вздох, подымался над ней утренний туман и таял, и тогда открылась перед Степаном вся степь без конца и без края. И звенела она, и пела, и ластилась к его ногам. А он шел через серебристые ковыли и жадно вдыхал ее запахи — густые, тягучие, жаркие. Горькая полынь смешивалась с медовым клевером, кладбищенский чебрец с нежной мятою, запахи жирной, черной сырой земли с знойным дыханием степного ветра. А на горизонте синели далекие острые конусы глеевых гор, оттуда приходил запах тлеющего угля. Все детство в нем, в этом запахе, вся жизнь в нем — для человека, рожденного на дымной донецкой земле. Она и в горе хороша, родная земля! В горе ее бережнее любишь.

— Хальт! Хальт!

Степан остановился.

К нему подошли два немца.

— Где ишёль?

— С окопов иду... Окопы рыл...— ответил он.

— Папир?

Он протянул бумаги. У него были хорошие, надежные справки. Он не боялся патрулей. Немцы стали вертеть бумажки. Степан молча ждал: «Вот они, немцы!»

— Сапоги! — сказал вдруг немец.

Степан не понял.

— Эй! Кидай! — нетерпеливо закричал солдат.

Степан снял сапоги. Немец, тот, что был побольше, примерил их. Они были чуть великоваты ему, но он радостно сказал: «Гут!» — и похлопал рукой по голенищам.

«Вот так они и в землю нашу влезли, как в мои сапоги,— нахально! — с горечью подумал Степан и сжал

кулак.— Схватить вот этого за горло и задушить. Хоть одного из них! Хоть этого!»

Но тут он вспомнил Валину руку и словно почувствовал на своем плече ее теплые, покойные пальцы. Он сгорбился и пошел. Немцы подозрительно смотрели ему вслед. Ему еще надо учиться ходить.

К концу третьего дня он пришел наконец на шахту Свердлова — в первый пункт своего маршрута. Он пошел по поселку,— здесь его знали. На площади на него вдруг упала огромная, мрачная тень виселицы. Он невольно вскрикнул и поднял глаза. На виселице стыли трупы, и среди них человек, к которому он пришел: Вася Пчелинцев, кучерявый комсомольский вожак.

— А давайте-ка споем, товарищи,— говорил он, бывало, на заседаниях, когда все осовело клевали носом от усталости, а ворох дел все не иссякал.— Ведь как это говорится: «Песня строить и заседать помогает». Ну? — и, не обращая внимания на неодобрительные взгляды солидных товарищей, первый подымал песню.

Вот он, висит, кучерявый Вася Пчелинцев, скорчившийся, синий, не похожий на себя...

— Как он попался? — спросил Степан у старика Пчелинцева, которого тем же вечером нашел.

— Выдали...— глухо ответил старик.

— Кто выдал?

— Предполагаю, Филиков.

— Как, Филиков? — чуть не закричал Степан.

— Больше некому. Филиков у них теперь служит.

— У немцев? Филиков?

Степану показалось, что покачнулся мир... Филиков! Предшахткома! Еще бородка у него лопаточкой. Когда, бывало, Вася запевал, Филиков первый подтягивал добродушным, дребезжащим баском. Вот Пчелинцев висит, а Филиков служит фашистам...

Это была первая виселица, которую видел Степан, и первая измена, о которой он слышал. Потом их было много. На всем пути качались на виселицах его товарищи, глядели на него стеклянными глазами...

— Запомни, Степан, запомни,— скрипели виселицы.— Помстись!

— Запомню,— отвечал он в душе своей.— И лица и имена... запомню.

Ему рассказывали об изменниках, о тех, кто отрекся

от партии и народа, предал товарищей, пошел служить фашисту... Он хмурил брови и переспрашивал:

— Как фамилия? — и повторял имя про себя.— Запомню!

— Вы машинистку у нас в исполкоме помните? Клаву Пряхину? — Он напрягал память, морщил лоб. Вспоминалось что-то тихое, безответное... Действительно, когда приезжал он в этот исполком, какая-то девица была... Он слышал, как она стучит на своем ундервуде. Голоса ее он не слышал никогда.

— Когда ее вешали,— рассказывали ему,— она кричала: «Не убить, черные вы гады, нашей правды. Народ бессмертен!»

— Клава Пряхина? — удивленно шептал Степан. А он и вспомнить ее не может.

— А Никита Богатырев...

— Что, что Никита? — беспокойно спросил он. Никиту он знал. Огромный, в сером пыльнике балахоном, в сапогах, от которых всегда пахло дегтем, он, бывало, шумел в кабинете Степана: «Не боюсь я тебя, секретарь, никого не боюсь! А как правду-матку резал, так и буду резать». Степан предполагал поставить Никиту командиром партизанского отряда.

— Когда Никиту притащили в гестапо,— рассказывал, протирая очки, сутуловатый Устин Михалыч, завучетом райкома,— он по полу ползал, офицеру сапоги целовал, плакал...

— Никита?!

Значит, плохо ты людей знал, Степан Яценко. А ведь жил с ними, ел, пил, работал... И повадки их знал, и характеры, и капризы, и кто какой любит табак... А главного в них не знал — души их. А может быть, они и сами про себя главного не знали? Клава считала себя робкой тихоней, а Никита Богатырев — бесстрашным бойцом. Он нашей власти не боялся — ее бояться нечего! — а перед врагом задрожал. А Клава боялась председательского взгляда — а врага не испугалась, плюнула ему в лицо...

— Великая людям проверка идет! — качал головой Устин Михалыч.— Великая огнем очистка.

— Что Цыпляков? — спросил Степан.

— Про Цыплякова не знаю! — осторожно сказал Устин Михалыч.— Цыпляков особо живет.

— К тебе не ходит?

— Он ни к кому не ходит... Запершись сидит...

В тот же вечер Степан пошел к Цыплякову и долго стучался в его ставни и двери.

— Кто? Кто? — испуганно спрашивал Цыпляков через дверь.

— Я это. Я! Отвори!

— Кто я? Я никого не знаю.

— Да это я, Степан.

— Какой Степан? Никакого Степана не знаю! Уходите!

— Да отвори! — яростно прохрипел Степан и услышал, как испуганно звякнули и упали запоры.

— Ты? Это ты! — попятился Цыпляков, увидев его, и свеча в его руках задрожала...

Степан медленно прошел в комнату.

— Что же неласково встречаешь? — горько усмехаясь, спросил он.— Гостю не рад?

— Ты зачем?.. Ты зачем же пришел? — простонал Цыпляков, хватаясь за голову.

— По твою душу пришел, Матвей,— сурово сказал Степан.— По твою душу. Есть еще у тебя душа?

— Ничего нет, ничего нет!..— истерически закричал Цыпляков и, повалившись на диван, заплакал.

Степан брезгливо поморщился.

— Что же ты плачешь, Матвей? Я уйду.

— Да, да... Уходи, прошу тебя...— заметался Цыпляков.— Все погибло, сам видишь. Корнакова повесили... Бондаренко замучили... А я Корнакову говорил, говорил: сила солому ломит. Что прячешься? Иди, иди в гестапо! Объявись. Простят. И тебе, Степан, скажу,— бормотал он,— как другу... Потому что люблю тебя... Кто к ним сам приходит своею волей и становится на учет, того они не трогают... Я тоже встал... Партбилет зарыл, а сам встал... на учет... И ты зарой, прошу тебя... немедленно... Спасайся, Степан!

— Постой, постой! — гадливо оттолкнул его Степан.— А зачем же ты партбилет зарыл? Уж раз отрекся, так порви, порви его, сожги...

Цыпляков опустил голову.

— А-а! — зло расхохотался Степан.— Смотрите! Да ты и нам и немцам не веришь. Не веришь, что устоят они на нашей земле! Так кому же ты веришь, Каин?

— А кому верить? Кому верить? — взвизгнул Цыпляков.— Наша армия отступает. Где она? За Доном? Немцы вешают. А народ молчит. Ну, перевешают, перевешают всех нас, а пользы что? А я жить хочу! — вскрикнул он и вцепился в плечо Степана, жарко дыша ему в лицо.— Ведь я никого не выдал, не изменил...— умоляюще шептал он, ища глаза Степана.— И служить я у них не буду... Я хочу только, пойми меня, пережить! Пережить, переждать.

— Подлюка! — ударил его кулаком в грудь Степан. Цыпляков упал на диван.— Чего переждать? А-а! Дождаться, пока наши вернутся! И тогда ты отроешь партбилет, грязцу с него огородную счистишь и выйдешь вместо нас, повешенных, встречать Красную Армию? Так врешь, подлюка! Мы с виселиц придем, про тебя народу расскажем...

Он ушел, сильно хлопнув за собой дверью, и в ту же ночь был уже далеко от поселка. Где-то впереди и для него уже была припасена намыленная веревка, и для него уже сколотили виселицу. Ну что ж! От виселицы он не уклонялся. Но в ушах все ныл и ныл шепоток Цыплякова: «Перевешают нас без пользы; а верить во что?»

Он шел дорогами и проселками истерзанной Украины и видел: запрягли немцы мужиков в ярмо и пашут на них. А народ молчит, только шеей туго ворочает. Гонят по дороге тысячи оборванных, измученных пленных — падают мертвые, а живые бредут, покорно бредут через трупы товарищей дальше, на каторгу. Плачут полонянки в решетчатых вагонах, плачут так, что душа рвется,— а едут. Молчит народ. А на виселицах качаются лучшие люди... Может, без пользы?

Он шел теперь придонскими степями... Это был самый северный угол его округи. Здесь Украина встречалась с Россией, границы не было видно ни в степных ковылях, одинаково серебристых по ту и по другую сторону, ни в людях...

Но прежде чем повернуть на запад, по кольцу области, Степан, усмехнувшись, решил навестить еще одного знакомого человека. Здесь, в стороне от больших дорог, в тихой лесистой балке спряталась пасека деда Панаса, и Степан, бывая в этих краях, обязательно заворачивал сюда, чтобы поесть душистого меду, пова-

ляться на пахучем сене, услышать тишину и запахи леса и отдохнуть и душою и телом от забот.

И сейчас надо было передохнуть Степану — от вечного страха погони, от долгого пути пешком. Распрямить спину. Полежать под высоким небом. Подумать о своих сомнениях и тревогах. А может, и не думать о них, просто поесть золотого меду на пасеке.

— Да есть ли еще пасека? — усомнился он, уже подходя к балке.

Но пасека была. И душистое сено было, лежало копною. И, как всегда, сладко пахло здесь щемящими запахами леса, липовым цветом, мятой и почему-то квашеными грушами, как в детстве,— или это показалось Степану? А вокруг дрожала тонкая прозрачная тишина, только пчелы гудели дружно и деловито. И, как всегда, зачуяв гостя, вперед выбежала собака Серко, за ней вышел и худой, белый, маленький дед Панас в полотняной рубахе с голубыми заплатками на плече и лопатках.

— А! Доброго здоровья! — закричал он своим тонким, как пчелиное гуденье, голосом.— Пожалуйте! Пожалуйте! Давно не были у нас! Обижаете!

И поставил перед гостем тарелку меда в сотах и решето лесной ягоды.

— Тут еще ваша бутылка осталась,— торопливо прибавил он.— Цельная бутылка чимпанского. Так вы не сомневайтесь — цела.

— А-а! — грустно усмехнулся Степан.— Ну, бутылку давай!

Старик принес чарки и бутылку, по дороге стирая с нее рукавом пыль.

— Ну, чтоб вернулась хорошая жизнь наша и все воины домой здоровые! — сказал дед, осторожно принимая из рук Степана полную чарку. Закрыв глаза, выпил, облизал чарку и закашлялся.— Ох, вкусная!

Они выпили вдвоем всю бутылку, и дед Панас рассказал Степану, что нынче выдалось лето богатое, щедрое, урожайное во всем — и в пчеле, и в ягоде, а немцы сюда на пасеку еще не заглядывали. Бог бережет, да и дороги не знают.

А Степан думал про свое.

— Вот что, дед,— сказал он вдруг,— я тут бумагу напишу, в эту бутылку вложим и зароем.

— Так, так...— ничего не понимая, согласился дед.

— А когда наши вернутся, ты им эту бутылку и передай.

— Ага! Хорошо, хорошо...

«Да, написать надо,— подумал Степан, доставая из кармана карандаш и тетрадку.— Пусть хоть весть до наших дойдет о том, как мы здесь... умирали. А то и следа не останется. Цыпляковы наш след заметут».

И он стал писать. Он старался писать сдержанно и сухо, чтобы не заметили в его строках и следа сомнений, не приняли б горечь за панику, не покачали б насмешливо головой над его тревогами. Им все покажется здесь иным, когда они вернутся. А в том, что они вернутся, он ни минуты не сомневался. «Может, и костей наших во рвах не отыщут, а вернутся!» И он писал им строго и сдержанно, как воин воинам, о том, как умирали в застенках и на виселицах лучшие люди, плюя врагу в лицо, как ползали перед немцами трусы, как выдавали, проваливали подполье изменники и как молчал народ. Ненавидел, но молчал. И каждая строка его письма была завещанием. «И не забудьте, товарищи,— писал он,— прошу вас, не забудьте поставить памятник комсомольцу Василию Пчелинцеву, и шахтеру-старику Онисиму Беспалому, и тихой девушке Клавдии Пряхиной, и моему другу, секретарю горкома партии Алексею Тихоновичу Шульженко,— они умерли как герои. И еще требую я от вас, чтобы вы в радости победы и в суете строительных дел не забыли покарать изменников Михаила Филикова, Никиту Богатырева и всех тех, о ком я выше написал. И если явится к вам с партийным билетом Матвей Цыпляков — не верьте его партбилету, он грязью запачкан и нашей кровью».

Надо было еще прибавить, подумал Степан, и о тех, кто, себя не щадя, давал приют ему, подпольщику, и кормил его, и вздыхал над ним, когда он засыпал коротким и чутким сном, а также о тех, кто запирал перед ним двери, гнал его от своего порога, грозил спустить псов. Но всего не напишешь.

Он задумался и прибавил: «Что же касается меня, то я продолжаю выполнять возложенное на меня задание». Ему захотелось вдруг приписать еще несколько слов, горячих, как клятва,— что, мол, не боится он ни виселицы, ни смерти, что верит он в нашу победу и рад

за нее жизнь отдать... Но тут же подумал, что этого не надо. Это и так все про него знают.

Он подписался, сложил письмо в трубку и сунул в бутылку.

— Ну вот,— усмехаясь, сказал он,— послание в вечность. Давай лопату, дед.

Они закопали бутылку под третьим ульем, у молоденькой липки.

— Запомнишь место, старик?

— А как же? Мне тут все места памятные...

Утром на заре Степан простился с пасечником.

— Хороший у тебя мед, дед,— сказал он и пошел навстречу своей одинокой гибели, навстречу своей виселице.

Эту ночь он решил пробыть в селе, в Ольховатке, у своего дальнего родственника дядьки Савки. Савка, юркий, растрепанный, бойкий мужичонка, всегда гордился знатным родственником. И сейчас, когда в сумерках заявился к нему Степан, дядька Савка обрадовался, засуетился и стал сам тащить на стол все из печи, словно по-прежнему почетным гостем был для него Степан из города.

Но они и сесть за стол не успели, как без стука отворилась дверь и в хату вошел высокий пожилой мужик с седеющей бородой и с глазами острыми и мудрыми.

— Здравствуйте! — сказал он, в упор глядя на Степана.

Степан встал.

— Это кто? — тихо спросил он Савку.

— Староста...— прошептал тот.

— Здравствуйте, товарищ Яценко! — усмехаясь, сказал староста и подошел к столу. Степан побледнел.— Смело вы по селу ходите. Я из окна увидал, узнал. Ну, еще раз здравствуйте, товарищ Яценко.— И староста спрятал насмешливую улыбку в усы.

«Вот и все! — подумал Степан.— Вот и виселица!» Но он по-прежнему спокойно, не двигаясь, продолжал стоять у стола.

Староста грузно опустился на лавку под иконами и, положив на стол большие узловатые руки с черными пальцами, посмотрел на Степана.

— Сидайте,— сказал он, усмехаясь.— Чего стоять? В ногах правды нет.

Степан подумал немного и сел.

— Так,— сказал староста.— А вы меня не узнали?

Степан посмотрел на него. «Где-то видел, конечно,— мелькнуло в памяти.— Должно быть, раскулачивал я его... Не помню».

— Та где там! — засмеялся староста.— Нас, мужиков, много, а вы — один. Як колосьев во ржи... А вы даже беседы со мной имели — правда, в опчестве,— напомнил он,— наедине не приходилось. Агитировали вы меня в колхоз. Шесть лет меня все агитировали. А я шесть лет не шел. Несогласный я, кажу, и все тут. Так меня с тех пор Игнатом Несогласным и зовут.

Савка подобострастно хихикнул. Степан теперь вспомнил этого мужика. Кремень.

— Несогласный я,— продолжал староста.— Это так. А на седьмой год я сам пришел в колхоз. А отчего пришел? Га?

— Ну, сагитировал, значит...— пожал плечами Степан.

— Не-ет,— покачал головой Игнат.— Меня сагитировать немысленно. Убедился я, потому и пришел. Сам убедился. И так кинул, и так положил — выходит, в колхоз выгоднее. И я согласился, пришел.

Степан не понимал, к чему ведет свой рассказ староста, и нетерпеливо ерзал по лавке. «Будут селом вести — удеру, вырвусь. Рук вязать не дам».

— Теперь немец нам листки кидает,— продолжал староста,— обещает землю дать в вечное и единоличное пользование. Как думаешь,— прищурился он,— даст?

— Не даст...— ответил Степан.

— Не даст? Гм...— пожевал усы Игнат.— И я так думаю: не даст! Обманет. Помещикам своим отдаст. Ну, а может, кой-кому и даст, га? Для блезира? Ну, старательным мужикам... Опять же старостам... Даст, а?

— Ну, такому, как ты, даст,— ответил Степан со злостью.— За усердие.

— Даст? Ага! — подхватил Игнат, делая вид, что тона Степана не понял.— И я так прикидываю: такому, как я, даст. А я не возьму! — вдруг торжествующе за-

кричал он и хлопнул ладонью по столу.— Не возьму я! Га?

Степан оторопело посмотрел на него.

— Не возьму. Ты это понять можешь? Э,— махнул он вдруг рукой,— где тебе понять. Ты, товарищ, городской человек. А я мужик. Я в эту землю корнями, когтями, душою врос. Сухота моя — эта земля. И вся моя жизнь в ней же. И отцов моих, и дедов, и прадедов. Мне без земли нельзя! А только,— внезапно успокоившись, докончил он,— единоличной земли мне не надо. Невыгодно мне. Не подходит. Морока. И мачтаб не тот. Моей хозяйской душе без колхоза теперь жизни нема.

— Постой,— ничего не понимая, пробормотал Степан.— Нет, ты постой! Ты за что же стоишь?

— Я за колхоз стою,— твердо ответил староста.

— Ну, значит, и за Советы? За нашу власть?

Игнат вдруг лукаво прищурился, оглянулся на Савку, подмигнул Степану и сказал, усмехаясь в усы:

— Ну, поскольку нет на земле другой власти, согласной на колхозы, окромя нашей, советской, так и для меня другой власти нет.

Степан улыбнулся и облегченно вздохнул.

— Ты как,— тихо спросил, наклоняясь к нему, Игнат,— сам от себя ходишь? Спасаешься? Или уполномоченный?

— Уполномоченный, — ответил Степан, улыбаясь.

— Бумаг мне твоих не надо,— махнул рукой Игнат.— Знаю тебя. Ну, раз ты есть от власти нашей уполномоченный, могу тебе сказать, а ты передай: колхоз наш, скажи власти, живет! Как бы это сказать? Подпольно живет. Есть у нас и председатель. Прежний. Орденоносец. Замаскирован нами. И счетовод есть, книги ведет. Книги могу показать тебе. И все добро колхозное попрятано. Вот хоть у сродственника спроси. Так, Савко?

— Так, так истинно,— радостно удивляясь, подтвердил дядька Савка.— Хитро сделано. Государственно.

— А немцы с нашего села ни зерна не взяли! — крикнул Игнат.— Что сами пограбили, то и есть. А мы им ни зерна не дали. А как? Про то моя спина знает,— он задумался, опустив голову. Забарабанил черными пальцами по столу. По губам его, прикрытым седыми

усами, поползла усмешка.— Староста. Немецкий староста я на склоне моих лет... Позор! Кругом старосты звери и мироеды. Кулаки. А я людям кажу: «Уважьте! Старость уважьте мою! У меня дети в Красной Армии». Не согласились со мной мужики, упросили.

— Всем миром просили,— вздохнул Савко.

— Не миром,— строго поправил его Игнат,— колхозом просили меня. У тебя, говорят, Игнат, душа непокорная, несогласная с неправдой. Постой за всех. И вот — стою. Немцы мне кричат: где хлеб, староста? А я кажу: нема хлеба. А почему рожь осыпается, староста? Нема чем убирать! А почему скирды стоят, под дождем гниют, староста? Нема чем молотить! Мы тебе машины дадим, староста. Людей, кажу, нема, хоть убейте! Ну и бьют! Бьют старосту смертным боем, а хлеба все нема.

— Не могут они его душу покорить, вот что! — проникновенно, со слезой сказал Степану Савка.

— Что душу! — усмехнулся Игнат.— Спину мою, и ту покорить они не могут. Непокорная у меня спина,— сказал он, распрямляясь.— Ничего, выдюжит.

— Спасибо тебе, Игнат! — взволнованно сказал Степан, подымаясь с лавки и протягивая руку.— И прости ты меня, бога ради, прости.

— В чем же прощать? — удивился Игнат.

— Нехорошо я о тебе думал... И не о тебе одном... Ну, в общем — прости, а в чем — я сам знаю.

— Ну, бог простит,— улыбнулся Игнат и ласково обнял Степана, как сына.

На заре староста сам проводил подпольщика до околицы. Здесь постояли недолго, покурили.

— Если власти нашей,— тихо сказал Игнат,— или партизанам хлеб нужен, дай весточку,— хлеб дадим.

— Хорошо. Спасибо.

— Не мне спасибо. Хлеб не мой. Колхозный. Расписку возьмем.

— Хорошо.

— Ну, иди...

Степан протянул ему руку. Игнат взял ее, крепко зажал в своей.

— Еще вот что спрошу тебя...— прошептал он, заглядывая в глаза Степана.— Скажи — наши вернутся? Не спрошу тебя, скоро ли и когда, бо того ты и сам не

знаешь. Спрошу только: вернутся ли вообще? Правду скажи! — И он впился в его глаза.

— Вернутся! — взволнованно ответил Степан.— Вернутся, Игнат, и скоро!

— Ну вот! — облегченно вздохнул староста.— А спина моя выдержит, не сомневайся! — И он засмеялся, пожимая в последний раз Степанову руку.

Степан шел полевой дорожкой меж массивов осыпающейся ольховатской ржи и всю дорогу весело ругал себя:

«Чиновник ты! Цыплякову поверил, а в народе усомнился, чернильная твоя душа? Вот он, народ — непокорный, могучий. Бюрократ ты, кресло потертое! Не молчит он — звенит! Как сухое дерево, звенит ненавистью, по искре тоскует. А тебя, бумажная твоя душа, сюда спичкой и поставили. Да нет, не спичкой! Спичка чиркнула и погасла. Кремнем. Кремнем должен ты быть, Степан Яценко, чертова твоя душа! Чтоб от тебя искры летели и раздувалось пламя народной мести».

Обо всем этом и рассказал Степан Вале, когда они наконец встретились.

Они проговорили всю ночь.

У Вали тоже был ворох вестей для Степана.

— От Максима приходил человек,— сказала она.

— От Максима? — обрадовался он. Максим, как и он, был поставлен обкомом для работы в подполье.— Ну, что Максим?

— Пока жив! — улыбнулась Валя.— Большие дела у него! Шахтерских отрядов несколько... Три комсомольских...

— Вот как! — даже позавидовал Степан.— Это хорошо.

— Приходили от Ивана Петровича...

— Ну, ну?

— Толком ничего не сказали. Видно, меня опасаются. Но явку дали. Иван Петрович просит передать — у него в хозяйстве урожай сам-семеро...

— А-а! — усмехнулся Степан.— Иван Петрович всегда был мужик агротехнический! Ишь уродило как!

— Ну, это все ве́сти от людей, тебе известных. А есть и от неизвестных. Никому не известных.

Степан не понял.

— То есть как?

— В Бельске кто-то красный флаг поднял на парашютной вышке. Целый день висел. Немцы боялись — заминировано. Об этом флаге только и говорят вокруг!

— Кто же флаг поднял?

— Никто не знает! Я же тебе говорю: никому не известные люди.

— Этих неизвестных людей надо найти.

— Немцы тоже ищут...

— Ну, немцы могут и не найти,— засмеялся Степан,— а нам своих не найти совестно.

— Потом у нас — в нашем городе — тоже событие,— продолжала Валя.

— Что у нас? — всполошился Степан. Он любил свой город, гордился им и всякую весть о нем встречал ревниво.

— Немцы на главной улице каждый день сводку вывешивают. Народ читает, кто верит, кто нет, но у всех — уныние. И вот стала каждый день под немецкой сводкой появляться другая. Понимаешь? Написано детским почерком. На листке школьной тетради. Чернилами. И даже,— улыбнулась она,— с кляксами...

— Что же в этих листках? — недоумевая, спросил Степан.

— Опровержение! Какой-то малыш каждый день — заметь, каждый день! — опровергает Гитлера: «Не верьте Гитлеру — все, собака, врет. Я слушал радио. Наши не отдали Сталинград. Наши не отдали Баку». Немцы срывают эти листки, ищут виновника, а ничего сделать не могут. Опровергает малыш Гитлера каждый день, и Гитлер с ним справиться не может! Об этом весь город говорит.

— Кто ж он? — взволнованно спросил Степан.

— Никто не знает. Может быть, кто-нибудь из моих малышей...

Степан удивленно посмотрел на нее, не понял. Потом сообразил, что она говорит о своих школьниках. Он всегда забывал о том, что она не только жена.

— Да, может быть, кто-нибудь из твоих мальчиков...— сказал он, извиняясь за свою забывчивость.

— И я все думаю: кто? — продолжала Валя, сияя влажными глазами.— Это кто-нибудь из наших радиолюбителей. Но в седьмом классе все мальчики увлека-

ются радио. И я не знаю — кто. Иногда мне кажется, что это Миша... А иногда, что это Сережа...

Степан молча слушал ее.

— Сколько их таких,— задумчиво продолжала она,— мальчиков, девушек, стариков, подымающихся в одиночку. По приказу своей совести.

— Найдем! — горячо сказал Степан.— Мы будем строить, Валя, наше подполье, как строят пороховой погреб,— осторожно и основательно.

И он стал строить подполье, как пороховой погреб.

Появились связи, отряды, явки, люди, цепочка людей, знавших только правого да левого соседа. Степан знал их всех, и земля, казавшаяся ему после ухода наших войск мертвой, задушенной, сейчас ожила, населилась людьми, готовыми к борьбе.

К Степану часто приходили связные от партизан, от подпольных групп; приходили и с Большой земли, чаще всего девушки.

— И вам не страшно, дивчата? — спрашивал он, искренне удивляясь.

Некоторые обижались. Другие задорно отвечали:

— А чего же бояться на своей земле?

Стали действовать отряды Максима. Запылали немецкие казармы, полетели под откос поезда. Тихие ночи озарялись пламенем малых, но жестоких битв в тылу.

Немцы ответили виселицами. Где-то ждала виселица и Степана. О нем уже знали. Его искали. Но он не думал теперь о смерти. Он снова чувствовал себя хозяином на своей земле.

Да, он здесь был хозяином, а не бургомистры и гаулейтеры. Ему вручили свою душу люди, его приказов слушались, даже и не зная его. И он ощущал себя сейчас, как и раньше, хозяином, военачальником, вожаком, а чаще всего — приказчиком народной души. Душеприказчиком. Ему мертвые завещали ненависть. Ему живые вверили свои надежды. Качающиеся на виселицах товарищи поручили ему месть за них.

У него было теперь большое «хозяйство», куда более сложное и богатое, чем раньше; все это хозяйство надо было держать в памяти, ничего не доверяя бумаге. Он должен был помнить имена и адреса, даты и сроки, поступки и планы, черты лиц и свойства характеров,

выражение глаз каждого человека в минуту опасности. Он должен был знать, кому можно верить целиком, кому наполовину, кому нельзя совсем. Кого надо ободрить, кого отругать, кого обнадежить, с кем помечтать вместе, а кого при первом же случае уничтожить, как Иуду.

На дорогах своих скитаний,— а бродил он все время, то один, то с Валей,— ему встречались тысячи людей. У случайных костров люди говорят откровенно. Он прислушивался.

Старики тосковали по оружию. Молодые парни, бежавшие от невольничьего плена, открыто спрашивали путь к партизанам. Он присматривался к ним. Одним отвечал, пожимая плечами:

— Та хто его знает! Як бы я знав, той сам бы пишов...

Других отводил в сторону, давал безобидный адресок — первое и простое звено длинной цепочки.

Потом он узнавал в отрядах своих крестников.

— Ну, как? — спрашивал он.

— Та ничего! Воюем! — браво отвечали хлопцы.

Ночи в партизанском отряде были для Степана и счастьем и отдыхом. Здесь он был у своих. Здесь, на малой советской земле, или — как у шахтеров — даже под землей, в забытой шахте, он чувствовал себя легко и привольно. Можно было спину разогнуть. Можно было маску скинуть. Можно было вольно засмеяться, назвать человека дорогим именем «товарищ».

Но засиживаться здесь ему было нельзя. Его ждала стонущая, мятущаяся земля,— без него она сиротела.

— Может, на дело меня возьмете? — упрашивал он командира партизанского отряда.— Что ж это я? И моста не взорвал, и гранаты не кинул. Придут наши, и похвалиться нечем.

— Иди, иди! — добродушно ворчал в ответ командир отряда бурильщик Прохор.— Иди, свое дело делай. Без тебя тут управимся. Ты свои гранаты кидай!

Он шел и кидал свои гранаты — листовки, начиненные страшной взрывчатой силой — правдой. Их читали жадно, как дышат в подземелье,— лихорадочными глотками. Кто прочел — рассказывал соседям, а кто прочесть не успел — рассказывал свое, о чем самому мечталось. Как осколки гранаты, разлетались по всей земле обрывки фактов, лозунгов, идей, но и они поражали

самого страшного врага закабаленного народа — безверие.

— Про листовку слышал? Ага! Значит, жива наша правда, не потоптана! Значит, есть где-то люди! Значит, есть у них с кем-то связь! Значит, и армия наша стоит нерушимая, скоро придет на выручку.

Случалось и Степану во время скитаний читать свои листовки. Он читал их так, словно впервые видел,— жадно, как все. Наклеенная на заборе листовка вызывала и в нем новый прилив веры. И он искал в ней между строк, им же самим написанных, новые факты.

Смерти он не боялся. Он и не думал о ней теперь, будто ее и не было вовсе, будто люди ее, как и бога, выдумали себе на страх. Он не боялся, что его узнают на большой дороге. В седом, бородатом, рваном мужике теперь не узнать Степана Яценко. Могут выдать? Ну что ж. Значит, плохо подобрал людей, плохо воспитал, виноватить некого.

Он теперь редко бывал у себя в штаб-квартире, жил на большой дороге, на людях, среди тачечников и бродяг, внезапно появлялся на шахтах и в поселках и так же внезапно исчезал. Иногда верным людям он назначал встречи на дороге и на свидание всегда приходил в срок.

— А мы полицмейстера убили,— докладывал ему молодой кучерявый паренек, чем-то очень похожий на Васю Пчелинцева.

— Убили? Ну, молодцы, молодцы!

— Нам бы теперь, дядя Степан,— захлебываясь от восторга, говорил парень,— нам бы с партизанами связаться. Такой можно налет произвести!..

— Это подумать надо,— отвечал, почесывая щеку, Степан.— Так полицмейстера убили?

— Убили. Наповал.

— Хорошо, хорошо. Теперь, Василек, тебе придется идти служить в полицию.

— Мне? — бледнел паренек и растерянно улыбался.— Вы это шутите?

— Нет, Василек, не шучу. Серьезно,— отвечал он и нежно глядел на юношу.

— Так меня... меня же все затюкают. Меня и отец проклянет!

— А это стерпеть придется.

— А наши придут, что ж я им скажу? — чуть не плача, говорил юноша.— Все партизаны, а я — полицейский...

— А это я на себя возьму.

— Так ведь, дядя Степан...— сдавленным шепотом продолжал Вася,— ведь убьют!

— А смерти, Вася, нет. Ее выдумали. Есть капут для трусов и бессмертие для героев, середины нету.— Он обнимал за плечи Васю, привлекал к себе.— Жаль мне тебя, Василек,— тихо говорил он,— жаль! А идти в полицию надо, больше некому идти. Ты десятилетку кончил, по-немецки немного знаешь. Надо идти. Надо!

И Василек шел служить в полицию. Теперь у Степана везде были свои люди; они сообщали о немецких планах, выручали подпольщиков, помогали партизанам.

Пожилой слесарь докладывал Степану о депо. Сидели тут же у дороги, в стороне от поселка.

— Пустил немец депо! — огорченно вздыхал слесарь.— Вот ведь как!

— Да... неудачно это...

— Теперь мастеров ищет. Паровозы пришли, целое кладбище. А мастеров нет.

— Да...

— Ну, наши мастера не пойдут. Мы им так и сказали, и молодым и старикам: если которая сука пойдет работать в депо — ну, проклянем без снисхождения!

— И не идут?

— Не идут! — радостно-удивленно восклицал слесарь.— Скажи-ка, а? Ни один человек!

— Хорошо! Очень хорошо,— потирал Степан щеку.— А ты, Антон Петрович, пойдешь!

— Я? — растерянно улыбался слесарь.— Нет, зачем же? Обижаете... И я не пойду...

— Нет, пойдешь! На работу станешь. И паровозы возьмешься чинить. А готовые будешь калечить.

— Понимаю...— бледнея, отвечал слесарь.— Понимаю я. Воля твоя, товарищ Степан, пойду. Убьют меня мастера за это дело, а пойду. Понимаю.

И никто из людей, которыми двигал Степан, не спрашивал ни его, ни себя, по какому праву распоряжается ими этот бородатый, похожий на бродягу человек. Они знали, кто стоит за ним. Родина? Нет, роди-

на стояла за всеми. Но только за ним стояла партия. Партия вручила ему власть над их душой.

Представляя людям Степана, председатель подпольной сходки говорил: «Этот человек пришел к нам от партии»,— и все подымали глаза на Степана. Этот человек пришел к ним от партии. Он, как посланец партии, шел по этой вздыбленной, набухшей гневом земле,— ему верили.

— Куда ты теперь идешь, Степан? — спросил Тарас сына.

Костер погас, только одна головешка все тлела, покрылась синеватым пеплом и, как глазок, выглядывала из золы. Завернувшись в мокрый плащ и съежившись, спал Петр Петрович. Парикмахер ворочался во сне и стонал.

— Иду Вале навстречу,— ответил Степан, и на его лице, как и всегда, когда он думал о жене, появилась теплая, светлая улыбка.

Он расстался с ней семь дней назад, там, у самой линии фронта. «Ну, иди!» — сказал он просто. Они всегда теперь так прощались. Только эти два слова вслед тому, кто уходил,— в них было все.

Припав к земле, Степан смотрел, как пробиралась Валя колючим кустарником. Вон там, за этим перелеском,— Большая земля, наши. Он следил за темным силуэтом жены с тревогой и... завистью. Сейчас Валя пройдет этот кустарник, потом овражек, опять кусты, и... наши. Хоть бы увидеть разок! Но он знает: ему нельзя. Это дезертирство. И то уж нехорошо, что пошел провожать Валю до этих кустов. Его место не здесь. Его место там, на опаленной горем и гневом земле, в прифронтовых селах.

— Ну, сынок,— сказал Тарас,— что же дальше будет?

— Дальше? — засмеялся Степан.— Дальше наши придут. Скоро.

Но Тарас вдруг рассердился на него.

— Я тебя не об этом спросил! Это я и без тебя знаю! И ты меня не учи! — закричал он.— Ты еще молод меня вере учить. Я тебя сам поучить могу, как

свою душу в чистоте соблюдать. Я тебя про другое спрашиваю. С чем мы наших встретим?

— Как с чем?

— Они к нам через кровь идут. А мы с чем выйдем?

У Степана вдруг радостно защемило в горле. «Что за отец у меня! Что за старик!» Он с любовной гордостью посмотрел на отца и почувствовал себя его сыном и услышал, как глубоко-глубоко в этой земле шумят корни его рода.

— Хорошего мы с тобой рода, отец! — весело засмеялся он.— Казацкого!

Старик удивленно посмотрел на сына.

— Мы не казацкого, с чего ты взял? Не казацкого — рабочего. И прадед твой рабочий был, и дед, и дядья. Вся фамилия наша — рабочая.

Но Степан весело обнял его за плечи:

— Казацкого, казацкого! Ты не спорь, отец! — Он наклонился совсем близко к нему и сказал уже серьезно: — Я скажу тебе, что делать, отец. Домой иди! По дороге по моим адресам зайдешь, снесешь поручения. А придешь домой — поклонись матери, поцелуй Леньку, а Насте скажи, что приказал я тебя вести к верным людям. Настя сведет.

— Настя? — сердито воскликнул старик.

— Да, Настя,— усмехнулся Степан.

Тарас разгладил усы.

— Хорошо,— сказал он.— Только сперва я ее выпорю. Можно? А потом уж, ладно, скажу: веди, мол, меня, старика, куда надо, Настя!

8

К Насте, запыхавшись, прибежала ее школьная подруга Зинаида.

— Ой, Настя! — закричала она с порога.— Павлик пришел!

Настя почувствовала вдруг, как сердце в ней оборвалось и покатилось... покатилось... Но она даже с места не встала и спросила спокойно, почти равнодушно:

— Павлик? Где же он?

Подруга смотрела на нее с жадным и откровенным любопытством. «Ой, Настька!» — все время вскрики-

вала она. Равнодушие Насти ее озадачило и даже обидело почему-то.

— Ох, бесчувственная ты, Настька! — сказала она, жеманно поджимая губы.— Тебя никто не будет любить. Я Павлика на улице встретила,— прибавила она нарочито небрежно.— Могла и не встретить. Подумаешь! — Но не выдержала тона и закричала с восторгом.— Ой! Настька! Он тебе записку прислал.

— Дай.

Настя взяла записку и почувствовала, что щеки у нее пылают. «Настя! Буду ждать тебя в пять часов возле школы. Ты сама знаешь где. Павел».

— Какой он... стал? — тихо спросила она.

— Ой, Настя, черный весь! Страшный.

Настя попыталась представить себе страшного Павлика — и не смогла. Он вспоминался ей синеглазым, холеным юношей с румянцем во всю щеку. За этот нежный, девичий румянец да за постыдную для мужчин, по мнению десятого класса «Б», страсть к поэзии мальчишки прозвали его «барышней». Его никто не звал Павлом, все Павликом — и родные, и товарищи, и учителя.

Было без десяти пять, когда она подошла к школе. Павлика еще не было. Настя нашла окна своего класса и через разбитое стекло заглянула туда. На нее пахнуло холодом и сыростью пустого, заброшенного здания. У стены черной грудой вздыбились переломанные парты. И ее парта там. Ее и Павлика. Их парусная лодка, на которой плыли они вместе в жизнь. Это было в стихах Павлика. Парусом он называл мечту.

Настя долго простояла у окна. Было грустно и одиноко, как всегда бывает у развалин родного дома, где ты прожил свою жизнь,— большую или малую, все равно. Наконец она оторвалась от окна и пошла вдоль фасада школы. У парадного подъезда стоял скелет из школьного музея и скалил на Настю зубы. «Кто ж его вытащил сюда? — удивилась Настя.— Должно быть, немцы... Зачем?» Она пошла вдоль забора школьного сада. Деревья стояли голые, черные, заплаканные, как вдовы. Мокрый осенний ветер качал их. Простонав, они медленно валились набок. Вот одно упало, вот второе... Настя испуганно, ничего не понимая, заглянула через

забор и увидела: немецкие солдаты, сняв куртки, рубили школьный сад.

— Настя! — вдруг услышала она тихое восклицание за спиной.

Она обернулась. К ней протягивал руки Павлик.

Она взглянула на него и отшатнулась. Боже ты мой, что они с ним сделали! Павлик был худой, черный, оборванный. «Где же твои синие веселые глаза, Павлик?» — чуть не закричала она. От него пахло потом и горькой махоркой.

Он восхищенно глядел на нее.

— Вот ты какая стала! — растерянно пробормотал он и почтительно опустил руки.

— А ты... вот ты какой!

Он только сейчас заметил ужас в ее глазах и опустил голову.

— Какой? — спросил он, глядя в землю.— Страшный?

— Д-да-а... страшный. Черный весь.

Он засмеялся отрывисто и горько.

— Это хорошо, что страшный,— улыбаясь, сказала она и положила ему руки на плечи.— Страшный — значит, честный.

— Да,— горячо ответил он и жадно схватил ее руки.— Я перед тобой чистый и честный, Настя.

— А перед всеми? — осторожно спросила она.

— И перед всеми.

Она радостно засмеялась.

— А я? Страшная я?

— Ты? — восхищенно воскликнул он.— Ты стала большая... Красивая...

— Но я тоже... честная,— прошептала она, опуская глаза.

— Перед всеми?

— И перед тобой тоже.

Он тихо, благодарно сжал ее руку в своей. Теперь они стояли молча, не глядя друг на друга.

С тяжким стоном упало дерево в саду.

— Что это? — вздрогнул Павлик.

— Немцы сад рубят...— ответила Настя.

Ее лицо вдруг покрылось краской. Он покраснел тоже.

— Наш сад? — прошептал он.— Помнишь?

— Помню,— чуть слышно ответила она. Он не услышал ответа, а почувствовал его по губам, как тот первый и единственный поцелуй в саду.

— Там еще дерево было...— задыхаясь, сказал он.— Помнишь?

— Помню.

— Я вырезал на нем буквы: П. и Н.

— И сердце.

— Помнишь?

— Помню.

Опять завизжала пила, зло, исступленно...

— Вот они сейчас по этому сердцу... пилой...— нервно сказал Павлик.— Черт! Не могу я этот звук слышать! Пойдем, Настя!

Они пошли дальше вдоль забора и остановились у большого камня под липой. Это было место их давних встреч, с восьмого класса. Настя села на камень, Павлик опустился подле нее на желтую траву. Оба молчали. Чуть слышно, точно комариный звон, доносилось сюда пение пилы. Настя смотрела прямо перед собой в пустырь. Она все хотела спросить, где был Павлик, что делал, но что-то мешало ей спросить, она и не знала — что.

— Ну, а где наши?.. Весь десятый «Б»? — спросил Павлик.

— Кто где...

— Да... Разбрелись, рассеялись. Где Федор? Помнишь, он все мечтал конструктором стать? Изобрести вечный двигатель. Смешной Федор!

— Он в армии. Вестей от него нет. Может, и убит.

— Счастливый!

— Что убит — счастливый? — усмехнулась Настя.

— Нет, что он там — счастливый. А если и убит, все счастливее нас. Мы все равно подохнем... пропадем, как бурьян...

Настя ничего не ответила.

— Ну, а подружки твои где? Маруся?

— В тюрьме...

— Галя?

— В Германии...

— Лиза?

— Она теперь Луиза.

— Немцам продалась? — усмехнулся Павлик.

— Нет. Теперь она с итальянцами.

— Стерва!

Теперь где-то близко от них застучали топоры и с шумом упало дерево. Забор задрожал. На ребят посыпались мокрые листья и щепки.

— Рубят! Рубят! — нервно сказал Павлик.— Все поколение наше рубят под корень...

— Не вырубят,— тихо сказала она.

— Может быть,— зло пожал он плечами.— Но искалечат — все,— он встал и стряхнул с брюк листья.— Пойдем походим?

Они пошли через пустырь.

— Ты, Павлик, горький стал... злой...— сказала она тревожно и вдруг спросила, замедляя шаг: — Где же ты был, Павлик, что делал?

Он усмехнулся и остановился.

— Это большой рассказ, Настенька,— сказал он, качая головой.— И я тебе его рассказывал много-много раз...

— Мне? — удивилась она.

— Да. Мысленно,— засмеялся он.— Шел сюда и всю дорогу рассказывал, рассказывал тебе... А пришел — и не знаю, с чего начать.

— С заметки в газете,— тихо, не глядя на него, сказала она.

Он вздрогнул.

— Ты читала?

— Да.

— И прокляла?

— Нет. Пожалела...

Он страдальчески сморщил мальчишеские брови.

— Это не надо... Это зачем? Жалеть не надо было. Это мне обидно. Надо было понять.

— А как же это понять? — сказала она чуть слышно.— Я пыталась...

— Понимаешь? — горячо сказал он и схватил ее руку.— Понимаешь, все случилось как в дурном сне... толчками... Вот были наши... вот их нет... и вот — немцы... Я растерялся... Я ничего не успел сообразить. Что делать с собой, как жить? И вдруг —повестка... Так неожиданно... Вызывают в редакцию их газеты. Но почему меня? Я потом узнал от сотрудников, что вызвали всех, кто работал в «Большевистской правде».

Но ведь я не работал там... Я только печатал там иногда стихи. Помнишь?

Она кивнула головой и покраснела. Она вспомнила стихи о школе и парусе. Они были посвящены ей. В газете так и стояло: «Посвящается Н.». Только одна буква, но в десятом «Б» все отгадали сразу. Настя рассердилась на Павлика. Они не разговаривали тогда три дня.

— Это Иверский, хромой черт, меня впутал! — продолжал Павлик.— Бездарный поэт... Понимаешь, такая бездарная сволочь!.. А у немцев он стал главной фигурой редакции. Он-то и впутал нас всех. Он и список составил. Ну вот. Что было делать мне? Что было делать?

Он умоляюще посмотрел на Настю. Настя молчала.

— Да...— сказал он задумчиво.— Надо было не идти. Но, понимаешь, я так растерялся... И мать,— он горько усмехнулся,— мать вцепилась в меня, плачет: иди и иди, убьют! Ну и... я пошел. Пошел, чтоб отказаться, объяснить, что тут ошибка, что я не газетный работник... Но меня никто и слушать не захотел. В редакции сидел офицер из гестапо. Все ходили на цыпочках. Иверский ткнул мне заметку и сказал: «Обработайте!» Ну я и... обработал. Безобидная заметка, пустая... Пять строк. И подписывать такие не принято, а Иверский взял и нарочно подписал мое имя и фамилию полностью. Когда я увидел это в газете,— сказал он, кусая губы,— я сразу же подумал о тебе, Настя...

Павлик опустил голову, стараясь подавить слезы. Настя молчала.

— Так меня заклеймили,— продолжал он, проглотив комок,— и Иверский сказал мне, что теперь я должен написать стихи — оду на приход немцев в наш город. Я ответил, что не умею писать од. Он приказал: «Попробуйте!» Я сказал, что быстро вообще не умею писать. Он дал мне три дня сроку и отпустил домой. И вот я остался один на один с собой... дома... Я метался эти дни, Настя, метался так, что передать тебе этого не могу. К бумаге я не прикоснулся. Я знал, что таких стихов я написать не смогу. Вот я весь перед тобой, Настя,— сказал он, глянув ей в лицо в первый раз за все время своего рассказа.— Я все говорю, что было, хоть и горько это мне... заметку, еще одну замет-

ку я бы, может, и написал... но стихи! Стихи! Они ведь сердцем пишутся, ты знаешь!

— Ну? — тихо спросила Настя.

— И тогда я решился бежать. Прочь из города. И убежал.

— Я знаю... а то бы я не пришла...

— Да? — усмехнулся он.— Я так и думал...

— Тебя искали...

— Да... Мать рассказывала мне... Ну вот. Я решил пробираться к нашим. Но у Дона меня схватили немцы, избили и швырнули в вагон. А потом повезли. Куда — не знал я. Может, в лагеря. Может, в Германию. Только далеко за Днепром я сбежал из эшелона и остался один на чужой земле...

Он провел рукою по лбу.

Настя молчала.

— Неизвестные для меня места! — продолжал Павлик.— Тут давно уж и войны нет. И немцы в городах как у себя дома. В Киеве по улицам кадетики бегают. Народ замучен, забит. Я шел через все это как сквозь ночь и думал: а мне куда же идти, что делать? Кто я такой, Павел Бажанов?

— Как кто такой? — сказала Настя.— Ты комсомолец.

— Да? — усмехнулся он и грустно покачал головой.— Это еще неизвестно...

Она удивленно взглянула на него.

— А ты думала когда-нибудь, Настя, почему, почему ты, я, наши ребята из десятого «Б» — комсомольцы? Думала? И я нет. А тут задумался. И сильно.

— Не понимаю я...— мучительно вздохнула Настя.

— А ты спроси себя: «Почему я комсомолка?» Ведь и ты, и я, и все просто так вошли в комсомол, без мучений, поисков, выбора, а многие и без раздумья.

— Нужно... мучиться?

— Нужно! — убежденно сказал он.— Человек проходит сквозь муку, как сталь сквозь огонь, и тогда становится человеком. А мы сначала надели красные галстуки, потом комсомольские значки. Очень просто. И стали мечтать о жизни. И так мы о ней сыто мечтали, что даже вспомнить стыдно. А тут,— грубо перебил он сам себя,— тут волчья жизнь встала передо мной. А я один. Никого нет. Понимаешь?

— Это я понимаю...— прошептала Настя.

— Мы все остались одни, каждый наедине со своей совестью. И каждый сам за себя должен был свой путь в жизни выбрать.

— Каждый думает, как бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу,— пробормотала она.

— Что?

— Это мой отец так говорит.

— Душа! — засмеялся он.— У нас в десятом «Б» о ней и не вспоминали. Я и не знал, есть ли она у меня, душа-то, или нет — пар... А как засочилась она кровью — тут я ее и услышал.

— Что ж услышал?

Он не ответил. Он стоял, вытянув шею, и прислушивался к чему-то.

— Опять пила? — спросил он неуверенно.— Или мне кажется?

— Тебе показалось...

— Да! — Он нервно и смущенно усмехнулся.— Теперь будет пила! А там за Днепром мне все шаги чудились... Все казалось мне: у меня за спиной — шаги... Да, так о чем же я? — сморщил он лоб.

— Ты постарел, Павлик! — вдруг заметила она.— Ты теперь старый-старый...

— Да, восемнадцать лет.

— Больше! Тебе больше.

— Да, больше,— согласился он.— Семнадцать с половиной лет и полгода под немцем. Да, так о чем же я? Да! Остался один. Один, наедине со своей душой.— Он усмехнулся.— Один! А я никогда раньше не был один. В кино мы и то ходили коллективно, помнишь?

— Помню.

— А тут я — один, и много дорог передо мною. Да не дорог — пусть тропинок, тем выбирать трудней. И я должен был сам выбрать.

— Выбрать? — спросила она.

— Да, выбрать. А что?

— Ничего... Ты говори...

— Видишь, там, за Днепром, журналы выходят. По-русски и по-украински. Брошюры. Газеты. В них расписывается всеми колерами райская жизнь в Гер-

мании. Германия называется Европой, а вы, мол, русские,— азиаты, и вы Европы не видели и не знаете. И не смеете судить. И каждый день в этих газетах оплевывалось самое святое, что было у нас с тобой... И я читал... Понимаешь?

Она молчала и внимательно смотрела на него.

— Я все читал. Одно за другим. Я глотал это, как яд, и говорил: попробуй, отрави мою душу! Ну? И, проглотив, отбрасывал прочь. Не яд — рвотное. Тошнит,— он сплюнул.— Но были и другие брошюрки. Похитрей. Они были написаны... как бы тебе объяснить?.. Шепотком. Понимаешь? Вкрадчивым таким шепотком, в самое ухо... Они и о социализме шептали. Очень туманно, чуть слышно, но все-таки! И больше всего о культуре. Заманчивое слово! Да? Или об украинской нации. Или о миссии молодежи. И в этих брошюрах нашему брату, русскому молодому человеку, даже льстили. И это я читал. И над этим сам один думал... Я не поседел? — вдруг спросил он.

— Нет... Не видно...

— И мать говорит: «Нет! Это у тебя волосы выгорели». Но заплакала все-таки... Да, так о журналах... Еще были журналы литературные. Там можно было тиснуть стихи и не на политическую тему. А так, ни о чем... Понимаешь?

— Нет,— сказала Настя.

Он засмеялся.

— И я не понимаю. Но, говорят, можно. Ну, о синем небе, о голубых глазах. Ни о чем. Некоторые писали. И кушали. А я голодал. Зверски голодал я, Настя, и рассказать даже трудно, как! Картофельная шелуха была для меня пиром. А помойки... Знаешь, Настя, я теперь уважаю помойки. Чрево Парижа! А со стен мне кричали плакаты: «Молодой человек! Тебя ждет Германия!» А петлюровские клубы распахивали двери: «Молодой человек! Иди веселись, танцуй и забудь, что у тебя душа в крови!» А желудок урчал: «Пиши стихи в журналы, ну хоть ни о чем, и кушай!»

— А душа? — тихо спросила Настя.

— Что душа?

— А душа что говорила тебе?

— О душе потом. Я хочу только сказать, что надо было выбирать. И я выбирал. Я, как вожжи, взял

в руки все эти дороги, дорожки, тропинки — стал разбирать. Куда мне коня моего дернуть. И вдруг оказалось, что дорог всего две. Тропинок, тупичков много, а дорог, Настя, только две. И я,— сказал он тихо,— я выбрал.

— Что же ты выбрал, Павлик? — чуть слышно спросила она.

— Я скажу... Но сперва ты вспомни: я был один. И вокруг меня волчья жизнь. И зверски голодал я. И душа и морда в крови. И шаги за спиною. И все, что я считал святым, оплевывалось каждый день. И где-то далеко-далеко Красная Армия, и даже неизвестно, есть ли она еще или нет... И я выбрал,— сказал он, не глядя на Настю, тихо и проникновенно: — большевизм, Россию, комсомол.

Настя вдруг радостно и облегченно вздохнула.

— Павлик! — закричала она.— До чего же ты подлый, Павлик! Можно ли так рассказывать? Я бог знает что уж думала о тебе.

— Только я теперь,— торопливо сказал он,— не такой комсомолец, каким раньше был. Я теперь такой комсомолец, который за свои убеждения умереть не побоится. Ты понимаешь, да?

— Да.

— И если бы теперь меня пригласили повесткой в их редакцию,— усмехнулся он,— я бы знал, что делать.

Он взял ее руки в свои и заглянул в глаза.

— Вот тебе, Настя, и вся повесть о моих скитаниях. А ты? Теперь ты расскажи. Чем ты мучилась, как ты выбирала, искала?

— А мне и рассказать нечего,— усмехнулась она.— Где мне о таком думать! Это ты у нас в классе был самым умным, еще тебя девочки философом дразнили. А я обыкновенная девушка. Я просто живу как совесть велит.

— Совесть! Хорошее слово,— сказал он, усмехаясь.— Жаль, нам редко говорили его.

— А зачем его говорить? Совесть надо иметь, а говорить о ней не надо...

Он посмотрел на нее нежно, внимательно.

— А ты тоже стала старше, Настя,— сказал он.

— Старая!

— Нет. Но ты все была девочка. А сейчас девочек нет...

— Да, нету...

— Я тебе много нежных слов нес, Настенька! — тихо проговорил он.— Сколько есть в языке — столько нес, да еще много сам выдумал.

— Не надо! — испуганно сказала она.

— Я их так бережно нес, чтоб не пролить, не обронить на дороге.

— Не надо! — снова попросила она и закрыла лицо руками.

— Не надо? — грустно усмехнулся он.— Хорошо, я не буду.— И он покорно опустил руки.

— Сейчас о своем счастье не надо думать...— прошептала она.— Стыдно.

— А о любви?

— И о любви... Не надо. Я и так знаю.

— А я?

— И ты знаешь.

— Настя! — рванулся он к ней.

— Не надо! — строго остановила она.— Сейчас не надо. Потом.

— Потом? — горько засмеялся он.— Да будет ли оно для нас, это «потом».

— Будет! Будет, Павлик!

— Хорошо! — сказал он обиженно.— Я не буду. Я ведь только потому и хотел сказать тебе о... любви, что эта встреча у нас: здравствуй и прощай. Ухожу я.

— Уходишь?

— Да. Завтра.

Она ничего не спросила, только сердце вдруг защемило...

— Я к нашим решил пробираться, Настя,— тихо сказал он.— Мне восемнадцать, я уж могу драться. Сияя гордостью, он посмотрел на нее и спросил:

— Правильно?

— Да-да,— нерешительно ответила она.— Правильно... Так легче.

— Легче? — удивился он. Он не такого ждал ответа.

— Да, легче. Там дерутся в открытую, а если умирают — так среди своих.

Он рассердился:

— А как же иначе? Иначе как?

— Как мы деремся,— коротко ответила Настя.

— Кто — вы?

— Подпольщики,— тихо прошептала она.

Он удивленно посмотрел на нее.

— А подполье есть? Есть? — спросил он шепотом.

— Есть,— пожала она плечами и, посмотрев на него, покачала головой.— А ты, Павлик, всю Украину прошел и ни партизан, ни подпольщиков не встретил?

Он опустил голову.

— Я ведь рассказывал тебе,— сказал он, оправдываясь.— Я искал, мучился, выбирал...

— А они дрались и умирали,— тихо докончила Настя. И вздохнула.— Эх, Павлик!

Он молчал, не подымая головы.

Потом он спросил осторожно и тихо, все так же не глядя на Настю:

— А мне к вам... можно?

Она радостно улыбнулась.

— Конечно, Павлик.

— Ты веришь мне?

— Как же не верить,— просто ответила она.— Ведь я же тебе сказала: люблю...

9

Тарас возвращался в родной город... Он торопился. Три месяца не был он дома и вестей оттуда не имел. Живы ли еще домашние, целы ли?

Где-то в пути и новый, сорок третий год встретил. Заря занималась алая, кровавая... «Кровавый будет год! — покачал головой Тарас.— Кровью покорены, кровью и освободимся».

Трудны теперь стали дороги, которыми он шел. Настоящего снега все не было, и осенняя грязь застыла мерзлыми кочками, идти было тяжело. Хорошо, что захватил с собой для обмена меховой пиджак: обменять не пришлось, зато самому пригодился.

Тарас торопился. Тащил он семье мешок зерна да немного картошки — все, что сумел добыть в разоренных селах. Но главное, нес радостные вести домой. Может быть, знают они, а может, и не знают. Закупоренно живут... Вот он и расскажет им, торжественно и неторопливо, что у немцев под Сталинградом неустойка

вышла. И есть слух: ударили наши на Дону. Крепко ударили.

Он узнал об этом от людей на большой дороге, здесь вести разносятся быстро. Подтвердили и те, к кому зашел он по Степановым адресам. Да и у самого Тараса глаза есть. Большая дорога — как открытая карта, ее только надо уметь читать. «Ишь заметались немцы, забегали!..» — злорадно примечал Тарас.

Как-то ночуя в селе, услышал он голоса и суету на дворе. Встал, вышел. Весь двор был полон полицейскими. Они суетились и галдели подле брички, и Тарас догадался: удирают. Он прислушался. «Господа, господа! — надрывался один.— Надо начальника подождать. Он прикажет».— «Да чего там! — кричал другой.— Нет, господа, поехали».— «Да нельзя же, господа!» Только и слышно было на все лады: «Господа! Господа!» Тарас не выдержал и расхохотался.

— Господа-то господа! — сказал он, лукаво прищуриваясь.— А товарищи... догоняют! А?

Эту весть он и нес домой, как самое дорогое, наши погнали немцев.

Вот придет он домой, соберет своих и скажет: «Поздравляю вас, семья моя! Идут наши!» И посмотрит на Андрея. Обязательно посмотрит. Ничего не скажет, а посмотрит, пусть опустит голову сын.

А потом призовет к себе Настю. Сперва выпорет... Ну, это так, для слова сказано. Пороть он, конечно, не будет, а отругать — отругает. «От отца,— скажет он ей,— ничего нельзя таить: ни жениха, ни дела». А отругав, скажет строго: «Приказал тебе, Настя, славный наш партейный секретарь, а мой сын, а тебе он — брат, Степан Яценко, беспрекословно приказал тебе свести и меня к верным людям, о которых тебе известно. Ну, веди!»

А уж потом обойдет стариков. Всех, кто жив еще, кто еще дышит. С каждым поговорит отдельно, осторожно, как Степан учил. Но слова каждому скажет свои.

Скажет: «В одиночку-то мы все честные... Только честность свою в сундуке хороним, как невеста приданое. Нет, ты честность свою на стол клади, в борьбу кидай!»

Но вот и город уже недалеко... Его еще не видно, он скрыт туманом, но сердце уж чует его, торопит... Вот и трубы заводские показались.

Тарас остановился и снял шапку.

Многотрубный город — как большой корабль. Трубы, трубы, трубы... Сейчас они мертвы и дым не волнуется ни над одной, а бывало Тарас различал каждый дымок, знал каждый гудок по голосу...

— Доживу! — сказал он, сжимая кулак.— Доживу! Задымят, как прежде. Ничего. Доживу!

И он толкнул свою тачку вперед.

Расступились перед Тарасом окраины, побежали вниз, к центру, улицы. Каждый камень здесь знаком Тарасу. Каждая крыша. Он растроганно глядел на знакомые улицы.

— Все как было! — обрадованно улыбнулся он.— Все как было. Как не может чужеземец душу нашу переменить, так не может он и города наши и обычаи наши переделать на свое. Все как было...

И только этого не было — виселицы. Тарас невольно остановился.

Много виселиц было на его пути, мог бы и привыкнуть, но к виселице привыкнуть нельзя.

На этой виселице висела девушка. Тоненькая, худенькая, словно подросток. Девичья головка ее беспомощно свесилась на плечо и застыла.

Тарас шагнул ближе, всмотрелся и вдруг закричал так страшно, что камни мостовой должны были б задрожать.

— Настя! — и грохнулся на мостовую без чувств.

...Он очнулся дома в постели, над ним склонилось заплаканное, сморщенное лицо жены.

— Мать! — тихо позвал он.— Что же ты дочку-то? Дочку-то?..

Она припала к его груди и заплакала.

Он провел рукой по ее седым волосам.

— Молчи, мать, молчи! — сказал он чуть слышно.— Насте слез не надо,— и разрыдался сам.

Павлик стоял у дверей, опустив голову,— плакать он уже не мог. Это он нашел и привез на тачке Тараса. Он узнал его по страшному крику: «Настя!» Он и сам в первый день кричал так.

А плакать он уже не мог. Два дня простоял он у виселицы, подле Насти. Его никто не гнал, немцам теперь было не до него. Он смотрел в синее лицо Насти, в ее глаза, подернутые тонкой пленкой смерти, казалось ему: Настя с ним разговаривает. Она всегда была молчаливая. Она всегда умела разговаривать молча. «Ты отомстишь за меня, Павлик, правда?» — спрашивала она. «Правда! — шептал он.— Научи, как отомстить за тебя, чтоб ты довольна была!» Она молчала. Только чуть насмешливо кривился ее скорбный рот. Она встретила смерть гордо. Она палачам смеялась в лицо, а Павлику казалось: это она над беспомощностью его смеется. «Только не стихами, Павлик. Стихов не надо!»

— Доченька! Доченька моя! — причитала бабка Евфросинья.— За что же они тебя, невинную! Не украла, не обидела...

— Молчи, мать, молчи,— тихо шептал Тарас.— Настю не обижай.

— Хоть похоронить бы дали! — плакала Евфросинья.— Поцеловать глазки ее синие... Обмыть...

— Молчи, мать, молчи! Не такие поминки Насте надо.

— За все отомстят,— тихо сказал Павлик.— Только научите как, чтоб она довольна была.

— Это кто? — спросил Тарас, показывая на Павлика.

— Это Настин товарищ,— сказала Антонина.— Он и привез вас домой.

— Мне моей жизни не жалко,— взволнованно сказал Павлик.— Только что ни подберу,— все для Насти мало. Ведь она такая была... такая...

— За нее сыны мои отомстят! — проговорил Тарас.— Народ отомстит, не забудет! — Он вдруг что-то вспомнил и обвел глазами столпившихся у постели людей, словно кого-то искал.— Где Андрей? — спросил он, хмуря брови.— Что ж его в нашем горе нету?

— Андрей? Андрея нет...— прошептала Антонина и вдруг заплакала.

— А где же он?

— Ушел Андрей... Вскоре после вас и ушел.

— Куда?

— Не сказал. Только приказал: передайте отцу, он обо мне еще услышит.

— Та-ак! — сказал Тарас.— Один я! — Он взглянул на заплаканных женщин.— Что ж вы меня в постель уложили? Мне сейчас лежать нельзя. Пустите.

Он встал и медленно разогнул спину.

— Палку мою дайте...— глухо сказал он.— Мне теперь без палки... будет трудно.

Ему подали палку, и, опираясь на нее, он пошел через всю комнату к Павлику.

— Как тебя зовут? — спросил он, останавливаясь перед ним.

— Павел.

Тарас долго и молча глядел на него. Потом тихо произнес:

— Проведешь меня к верным людям... Насти нет, ты меня поведешь. Ничего. Кровью покорены мы, кровью и помстимся. Ничего. Ничего...

На другой день Тарас пошел к Назару. Он нашел его лежащим в белой рубахе под иконами.

— Ты это что, Назар? — испуганно спросил он.

Сосед медленно повернул к нему лицо.

— А-а, Тарас! — бледно улыбнулся он.— Вовремя! Застал.

Тарас сел у постели и осторожно взглянул на Назара. Был сейчас сосед тих и светел, словно от него отлетело уже все земное и покинули его обычная суетливость и суесловие. Он уже простился с землей. Дел у него тут не осталось.

— Нехорошо, Назар! — укоризненно покачал головой Тарас.— Плохое ты время выбрал.

— Не я выбирал. Смерть за мной повестку прислала.

— А ты не иди! Не покоряйся!

— Смерть не Гитлер, ей не покоряться нельзя,— кротко возразил Назар и вздохнул.— О твоем горе слышал, сосед. Всех они казнят, супостаты. Кого быстрой мукой казнят, а вот нас — медленной.

— Нельзя тебе помирать, Назар! — снова сказал Тарас.— Я к тебе с делом пришел.

— Я дела кончил,— тихо прошептал Назар.— В том прости меня, сосед.

Они оба замолчали и задумались. «Вот и пожито на земле много,— удивленно думал Тарас,— и корни пущены, а смотри — уходит человек с земли легко, будто и не жил. Что ж она, смерть? Что ж ее бояться? Умирать легко,— жить, выходит, труднее!»

— В чем грешен я перед тобой, сосед,— с тихой торжественностью произнес Назар,— в чем обидел или оскорбил — прости, Христа ради, не осуди!

— Бог простит! — ответил Тарас.— А у меня на тебя, сосед, за сердцем ничего нету.

— В том спасибо!

Они опять помолчали.

— Бог? — сказал Назар.— Перед ним, ежели есть он, у меня грехов много. Налипло, по земле-то шествуя, как к колесам грязи... Ну, в том я ему сам ответ дам. Ежели есть он. А нету — черви не взыщут, простят...— и он перевел дух.— Суетен был, корыстолюбив и злоязычен. Закона не соблюдал, в том пусть баба моя мне простит, и люди...— он опять перевел дух и закончил: — А перед родной землей на мне греха нет.

— Нету, Назар,— сказал Тарас,— это все люди знают.

— Придут наши... Ты им скажи, Тарас.

— Скажу! Скажу!

— Так и скажи: жил Назар Горовой непокоренный и умер не покорясь.

— Скажу, сосед. Это скажу!

— А что гранат я в немцев не кидал,— сказал он тихо, виновато,— в том пусть простят мне... Стар... Да и гранат у меня не было...

Вдруг страшной силы взрыв потряс домик. Задребезжали стекла. Посыпалась штукатурка с потолка.

— И умереть не дадут спокойно,— огорченно вздохнул Назар.

Взрывы следовали теперь один за другим. Домик Назара скрипел и стонал на все голоса, все доски в нем дрожали...

Вбежал запыхавшийся Ленька и крикнул:

— Ты здесь, дедушка? Немцы город рвут!

— Что такое? — не понял Тарас.

— Взрывают город немцы! — крикнул Ленька.— Уходят!

— Как уходят?

Тарас схватил свою палку и бросился вслед за Ленькой.

— А не давать им уходить! — крикнул он на ходу.

Он побежал по улице, барабаня палкой в ставни и крича:

— Эй, выходи, народ! Эй, немцы уходят! Не дадим же им уйти! Эй, выходи, мужчины!

Подле него уже собирались люди.

— Та нехай уходят! — крикнул кто-то из толпы.— Мы ж их не звали! Ну и черт с ними, и слава богу!

— Чего ты хочешь, Тарас?

— Не дадим уйти фашистам! — кричал он.— Перебьем их тут!

— Без нас перебьют, Тарас!.. Мы ж не военные люди. Нас это не касается.

— Как не касается? — заревел Тарас.— Как это нас не касается? А кого ж? Немцы целые уйдут — вновь заявятся нас топтать, детей наших вешать. Не дадим им уйти! В землю их! В землю!

Он побежал, размахивая палкой, в город, Ленька рядом с ним. Отовсюду уже бежали рабочие, многие с оружием, бог весть откуда попавшим к ним.

С автоматом в руке и гранатами бежал и Павлик. Пробегая мимо виселицы, он оглянулся на Настю. В сумерках не видно было ее лица, только скорбный силуэт синел в озаренном пламенем пожаров небе, но Павлик знал теперь, что Настя благословляет его на бой и смерть.

— Эх, жаль, ружья нет! — горестно крикнул Тарас на бегу.— Эх, ружья, жаль, нету, Ленька!

Они вбежали в центр города, на площадь, еще дымившуюся после взрывов, и сквозь дым и гарь, сквозь тучи кирпичной пыли, сквозь черное пламя, жадно лизавшее камни, увидел Тарас свой город... Дома, вздыбленные в ужасе, скорчившиеся, смертельно раненные, охваченные пожаром, падающие на его глазах грудою черного камня...

Тарас остановился, потрясенный, подавленный новым горем.

— О-о-о-о! — простонал он, хватаясь рукой за сердце.

Что они сделали с городом! Что они сделали, варвары, с сердцем Тараса! Вчера он увидел на виселице

синий труп своей девочки, сейчас на костре перед ним корчился его город...

А сквозь дым тайком, как воры, пробирались отступающие гитлеровцы. Их машины сгрудились среди развалин улицы, наползали одна на другую, в панике бегали механики и солдаты, из кабин высовывались офицеры и грозили кому-то пистолетами...

Тарас увидел их.

— Вот они! — закричал он, показывая на немцев пальцем.— Вот они! Люди, видите их? Бейте ж! Бейте их!

И он поднял над головой свою суковатую стариковскую палку. Был он страшен сейчас, грозен с этой палкой в руках, седой, без шапки, озаренный пламенем горящего города...

— Дедушка! — услышал он голос Леньки.— Вот оружие, дедушка! Бери!

Тарас обернулся на голос. Ленька склонился над чем-то.

— Иди, дедушка, бери!

Тарас побежал и увидел труп немца и оружие при нем.

— Кто его? — хрипло спросил Тарас.

— Кто-то из наших... заводских... Сейчас пробежали тут. Слышь, дедушка, стреляют!

— Ага! — зло захохотал Тарас.— Так, так! Давай и мы, Ленька, как люди! Давай,— он склонился, поднял автомат и гранатную сумку.

— А! — сказал он с досадой.— Жаль, не выучился я, как ее, черта, кидают — гранату...

— Я знаю, дедушка! — торопливо отозвался Ленька.— Дай покажу!

— На, Ленька, кидай! Кидай, внучек! Кидай, прошу я тебя! А я их из автомата.

Ленька размахнулся, зажмурился и швырнул гранату в гущу немецких машин. Раздался взрыв и затем сразу же крики, стоны, беспорядочные выстрелы...

— Кидай, внучек, кидай! Завыли? Кидай, я тебе говорю! — Но тут он почувствовал, что его что-то ударило в бок, обожгло.— О-о-о! — тихо простонал он и повалился наземь...

— Дедушка! — кинулся к нему Ленька.

— Ничего... ничего... ранило... Ты кидай, Ленька! Кидай, прошу я тебя!..

А дома, в Каменном Броде, бледные женщины сидели за запертыми ставнями и при каждом взрыве вздрагивали и крестились.

— Господи, господи! — шептала бабка Евфросинья.— Защити старого и малого, от смерти укрой...

— И Андрея! И Андрея тоже! — просила Антонина.— Где б он ни был, что бы ни делал — спаси, господи, раба твоего Андрея и грехи его прости.

10

Андрей шел домой.

Он снова шел домой, но теперь не робко, не тропинкой, не в крестьянской свитке, тайком, как беглец,— а широкой дорогой боев и наступлений, в армейской шинели.

Где-то у Богучар добрался он, наконец, до наших войск, он сразу сказал командиру, что хочет опять драться. Он сказал еще, что был в плену и что ему надо искупить свою вину перед отцом и армией и вину эту он сам знает. Он хотел еще прибавить, что не с голыми руками пришел к ним, что, пробиваясь сюда, он и в одиночку и с товарищами не раз нападал на обозы отступающих немцев и бил их, и немало набил. Но, взглянув на суровое, покрытое черной копотью боя лицо командира, ничего не сказал. Что сказать им, стоявшим насмерть под Сталинградом, чем ему перед ними хвастаться? Он был должен сейчас, как они, быть весь в крови и копоти, и чтоб от полушубка пар шел, и на рубахе соль выступала от солдатского труда и пота, и на сапогах снег и грязь всех дорог, от Волги до Дона. Что ж он, чистенький, стоит перед ними, воинами? Ему, беглому солдату, перед ними стыдно.

Андрея долго и строго допрашивали в особом отделе, но не так строго, как он сам много раз допрашивал себя.

Он бы так спросил: «В чем вина твоя, Андрей, перед родиной? — В том вина моя, что я смерти убоялся.— А еще в чем? — А еще в том, что я веру потерял.— Отчего же случилось так, Андрей? — Оттого,

что душа у меня была бедная.— А теперь не боишься смерти? — А теперь не боюсь.— Где же ты смертного страха лишился, Андрей? — В рабстве. Рабство горше смерти.— И там же веру нашел? — Нет. Нашел ненависть. Она веры крепче.— Чего ж ты хочешь теперь, Андрей? — Оружия прошу. И места в строю, товарищи.— Зачем тебе оружие, Андрей? Чтоб прощение отца заслужить? — Мне его прощения мало.— Чтоб вину свою перед родиной искупить? — Мне и этого мало. Для одного боя хватит. А я к вам на все бои пришел.— Чтоб ненависть свою насытить? — Ее насытить нельзя. Она — смертная.— Зачем же тебе оружие, Андрей? — Чтоб до конца драться! До победы! На меньшем я не помирюсь».

Так его не допрашивали в особом отделе. А может, и спрашивали, но другими словами, и, внимательно поглядев на него — так, словно в душу глянули,— поверили и направили в строй. Тут ему дали оружие. Он взял винтовку. Она была совсем такая же, как и та, брошенная им в кукурузу, когда сдавался немцам,— обыкновенная русская, трехлинейная, с золотистой ложей и граненым штыком. Отчего же раньше была она для Андрея бесполезным дрекольем, а сейчас показалась грозной силой?

Андрея поставили в строй. Но прежде чем повести пополнение в огонь, командир роты вывел новичков на поле вчерашнего боя и сказал:

— Смотрите!..

И они посмотрели...

Черным снегом было покрыто поле, все истоптанное и истерзанное, сладковатый запах пороха еще витал над ним. А повсюду, как дохлые кони, валялись немецкие танки, обгоревшие и исковерканные; немецкие пушки покорно подымали вверх стволы, как пленные подымают руки; скрючившись и окоченев, лежали околевшие враги, грязные рыжие волосы уже примерзли к земле, в раздавленных касках застыл лед.

От всего поля, перепаханного трактором войны, от поверженного в прах вражьего железа, от могучих следов гусениц наших танков исходил густой и терпкий запах победы и, глотнув его полной грудью, Андрей подумал с завистью: «А меня тут не было!»

Он сейчас завидовал тем неизвестным солдатам —

может, землякам,— что прошли здесь вчера со славою, громя немцев на Дону, гоня их на запад.

— Смотрите! — строго сказал командир.— Смотрите, как наши люди бьются! Как русские бьют.

— Что ж! — ответил Андрей, кусая губы.— Дайте и нам подраться.

— Драки просим! Драки! — нетерпеливо закричали новички. Их будоражил вид и запах победного поля, и их кровь зажигалась пламенем победы.

— Будет вам драка! — усмехнувшись, сказал командир.

На заре они пошли в бой. Они влились в великий поток наших войск, наступающих на врага, и Андрею посчастливилось участвовать в том знаменитом зимнем марше от Волги до Днепра, о котором еще будут писать историки.

Они шли на запад... Навстречу попадались длинные, унылые колонны пленных немцев. Немцы шли в зеленых шинелях с оборванными хлястиками, без ремней, уже не солдаты — пленные. И Андрей злорадно усмехался, глядя на них: «Ага! Вот вы, непобедимые, ну-ну!» — и яростнее кидался в огонь. Бывалые бойцы учили его ремеслу воина. Они знали теперь то, чего не знал он и знать не мог,— он был в плену, а они в боях. Бой — лучшая академия. Зато он мог научить их ненависти. Он рассказывал им о городах, стонущих под сапогом врага. Он говорил им:

— Если б знали вы, с какой тоской и верой ждут нас там, вы дрались бы еще злее!

Когда Миллерово было взято дивизией, где служил Андрей, и села окрест очистились от немцев, Андрей показал товарищам:

— Вот здесь был лагерь смерти!

Он стоял, опаленный боем, окрыленный победой, и глядел на этот пустырь. Еще болталась ржавая колючая проволока... Снег лежал на ней... Он глядел на нее и чуял, как снова закипает в нем жажда мести. Ее ничем не утолить. Под напором советских войск один за другим освобождались города, но Андрею всего было мало. Со смертной тоской ждут, может, об Андрее и не думают,— отец проклял, жена не простила. Ждут штыка русского. Но вот штык в Андреевых руках.

Ждут его или не ждут — это он несет им свободу. Это он через дым и кровь рвется домой.

Может, живой и не дойдет. Он не боялся смерти. Он не отлеживался от нее. Командиру отделения, сержанту Власову, он сказал в первый же день:

— Если убьют, сообщите родным. Адресок — вот он!

Но он знал: теперь и мертвый он пойдет домой.

Ему повезло. Он дошел живой. Ранним утром — еще темно было и город утонул в сером мраке — ворвался он одним из первых в город. На знакомых, родных улицах докалывал он последних фашистов.

Ему разрешили забежать домой. Он не постучал в окошко, вошел стремительно, рванул дверь.

— Андрей! — закричала Антонина и бросилась к нему.

Он осторожно обнял ее. Он боялся быть нежным. Пламя боя горело на его черных щеках.

— Папка пришел! — радостно завопила Марийка.— Папка наш совсем пришел!

— Не совсем, дочка! — ответил он.— Мне еще далеко идти.

Он обвел семью жадным, нетерпеливым взором, но отца не нашел.

— Где отец? — хрипло спросил он.

— Он у себя лежит. Раненый,— торопливо ответила Антонина.

Андрей вошел к отцу.

Тарас лежал в постели и на Андрея взглянул, как тому показалось, насмешливо.

— А-а, Андрей! — усмехаясь, протянул старик.

Андрей со злостью сорвал что-то с груди и, зажав в кулаке, сказал отцу:

— Здравствуйте, тату! И прощайте! А это,— он швырнул что-то на стол; тускло звякнуло оно, как полтинник,— жив ли буду, или погибну — берегите! — и выбежал прочь.

Тарас слабым голосом позвал жену.

— Покажи, что он там кинул!

Бабка Евфросинья подала ему медаль.

— «За отвагу»,— прочел Тарас и опять усмехнулся.— Убежал? Гордый черт, моей крови!



«ШАХТЕРЫ»



«ЧУВСТВО ДВИЖЕНИЯ»

Вбежал Ленька, как всегда запыхавшийся, как всегда — с новостью.

— Дедушка! — закричал он.— Наши идут и идут!.. Полный город войск! И танки!

— Эх! — слабым голосом произнес Тарас.— Вот беда, не могу я встать! Раненый... А то вывел бы я все свое семейство перед бойцами и самому старшему командиру сказал бы: «Могу тебе, командир, прямо в глаза смотреть и всем твоим воинам. У моей фамилии душа перед родиной чистая...»

— А Насти нет! — прошептала бабка Евфросинья.— И от Никифора сколько месяцев вестей не было.

Никифор, младший сын Тараса, еще осенью был ранен под Сталинградом. Его увезли в госпиталь, за Волгу. Врач, оперировавший его, сказал:

— Жить вы будете, а воевать уж нет — не придется.

Никифор заскучал и спросил врача:

— А что ж я теперь делать буду?

— Что до войны делали?

— Рабочий я. Металлист. Монтажник,— ответил Никифор.— Домны я строил, например...

— Ну, и очень хорошо! — обрадовался врач.— Будете домны строить!

Рядом с Никифором в палате лежало много бойцов. Соседом по койке был примечательный человек, сержант Алексей Куликов, родом пензенский.

— Я, брат,— сказал он Никифору,— в среднем ремонте не первый раз. Починят — и опять пойду. На мне рана заживает быстро.

И действительно, поразительно быстро заживали его раны, даже врачи удивлялись. А Куликов усмехался:

— У нас, у Куликовых, шкура крепкая, к лечению способная. Деды без дохтуров жили, сами раны заживляли. А у меня какие раны? Так, ранения!..

Никифору все было неловко, что с ним здесь так нянчатся. Соскребли с него окопную грязь, отмыли, отбелили и положили в чистые простыни, тихого и просветленного. Никогда и никто так не заботился о его теле. Это тело любила мать и, бывало, ласкали бабы,

и сам он двадцать семь лет таскал его по грешной земле; нынче, дырявое, все побитое осколками, оно досталось чужим людям — врачам да сестрам. И вот, глядитко, они ухаживают за ним так, точно он драгоценный сосуд. Даже совестно.

Справа от него лежал боец без руки. Он все, бывало, ворчал, недовольный и едой, и врачами, и палатой. Алексей Куликов слушал-слушал, да и спросил однажды:

— Ты что, мил человек, шорник сам?

— Это почему же шорник? — опешил тот.

— Али сапожник? — допытывался Куликов.— Который человек сидячего ремесла, тот поворчать любит. Работа скучная, одинокая — он и развлекает сам себя.

— Ложечник я! — сердито закричал ворчун.— Ложки делал! Вот кто я, если желательно знать. Может, я первый ложечник был на всею Горьковскую область. Может, моей ложкой вся Расея щи хлебала. А теперь меня самого с ложки кормят, руки нет.

— Какой руки-то нет? Правой, что ли? — спросил Никифор.

— А хотя бы и левой! Лучше б мне герман обе ноги оторвал. На что мне ноги? Не плясун. А без руки — куда же я?

— Была бы правая...— утешительно сказал Куликов.— А без левой и приспособиться можно.

Но на безрукого добрые слова действовали мало, ворчал он по-прежнему.

— Чего меня лечите? — бурчал он на врачей.— Меня лечить без надобности. Отвоевался я. Вы Куликова лечите, он еще гож для боя.

— Ну что ж! — отвечали врачи.— Куликова вылечим для боя, а тебя для жизни.

Эти слова поразили Никифора, он их слышал. И Куликова, видно, поразили они. Вечером Куликов подошел к соседу и склонился над ним.

— Для жизни тебя лечат! — проговорил он.— Слышь, сосед, слова какие? Для жизни! Хорошие слова! Возьми, к примеру, машину, трактор. Переломай ты ему гусеницы, дифер, кузов — что получится? Лом. Не машина это будет, а железный лом. Только всего. А у человека руки оторви, ноги выдерни — он человек

был, человеком и остался. Слышь? Потому в нем душа есть, разум,— он совсем близко наклонился к соседу и дышал ему в лицо.— Не расстраивайся, земляк, слышь? Живи. Очень я тебя прошу. Живи для жизни.

И, слыша эти слова, задумался о жизни и Никифор. Горько было ему, что не доведется больше покурить с ребятами махорки в блиндаже, не бежать ему вместе, рядом, в атаку, когда смертельно весело грохочет артиллерийский гром, смерть жарко дышит в лицо и от ее дыхания жутко, и весело, и буйно на душе... Он теперь знал, зачем остался жив на земле, зачем будет жить долго и плодоносно: для большой жизни остался он жить, для труда. Выписываясь из госпиталя, он долго тряс руку Куликова.

— Домой идешь? — спрашивал сержант.

— Вроде домой,— улыбаясь отвечал Никифор.— Собственно дом-то еще под немцами. Но предполагаю так: освободят! А? Как думаешь?

— Освободят! — уверенно отвечал Куликов.— Ну, иди. А я еще за пулей схожу. Я еще драться не кончил.

— И я б... пошел...— смущенно сказал Никифор.— Да вот костыли не пускают...

— Ничего, ничего! Иди домой! Без тебя управимся,— он опять потряс руку Никифора.— Домой идешь! Святое дело, брат! Все мы отвоюем — домой придем.

В эти дни наша армия, разбив немцев на Дону, гнала их донскими степями.

— На мой дом направление наши держат! — восклицал Никифор.— Как есть на мой дом, по курсу...

И он решил идти вслед за наступающей армией. Попутные машины охотно брали его.

— Давай подвезем! Далеко? — спрашивали его шоферы.

— Оно и далеко и близко,— отвечал, пожимая плечами, Никифор.— Вообще-то оно близко, а поскольку не в наших руках — далеко. Ну, думаю, пока на костылях дошкандыбаю, возьмут, а?

— Раньше возьмут! — отвечали веселые шоферы.

— И я предполагаю, раньше. Торопиться надо.

Он торопился. Он шел и ехал по освобожденной

земле, ночевал в освобожденных селах. Его всюду пускали охотно, ему уступали лучшее место.

— Это не мне,— догадывался он,— это костылям моим. Это крови моей пролитой почет.

И он знал, что за это благодарить неловко, нельзя; вместо благодарности он рассказывал хозяевам о Сталинграде. Он говорил о Сталинграде и шоферам, подвозившим его, и бойцам, кормившим из своих котелков. Его слушали охотно,— и он и его костыли уже принадлежали истории.

Но чем дальше шел на запад Никифор по освобожденной земле, тем все больше захватывали его другие заботы и мысли. Он видел: вставала земля из пепла, непокоренная земля, неистребимая жизнь.

В поселках бабы в голубой колер мазали хатки.

— Эй! — кричал он им.— Больно рано, бабоньки. До пасхи далеко.

— Та хай ему черт! — смеясь, отвечали бабы.— Гибельштрассе замазываем...— И они показывали ему на немецкие надписи на хатках: «Геббельсштрассе», «Герингштрассе»... Бабы с яростью замазывали немецкие следы.

В селах озабоченные мужики из-под снега выкапывали колхозное добро, из сокровенных ям доставали зерно — готовились к севу.

Хмурый мужик по-хозяйски прилаживал к плетню, вместо калитки, дверцу от немецкого автомобиля.

— Ты что ж это? — смеялся Никифор.— Трофеем обзавелся в хозяйстве?

— А что ж? — спокойно пожал плечами мужик.— Они у меня весь двор разорили...

В Бельске Никифор увидел первый торгующий магазин — книжный. Все здания вокруг были сожжены и разрушены, книжный магазин уцелел чудом. В витрине вовсе не было стекла, но книги лежали аккуратными стопочками.

— Так покрадут же! Покрадут! — сказал продавцу Никифор.

— Не украдут! — убежденно ответил продавец.— Народ под немцем жил, на их посулы не льстился. Что ж его теперь сомнением обижать? Нашему народу верить можно.

Как на праздник выходили люди на постройку мостов и дорог: они стосковались по свободному труду, как по хлебу. Подле обугленных заводских корпусов собирались рабочие. На шахтах, не ожидая приказа, откачивали воду. Мастера суетились на кладбищах паровозов. Рылись в снегу, по-хозяйски подбирали болты и гайки. Женщины сносили в школы мебель. Из лесов и балок возвращались партизаны. Все было охвачено жаждой восстановления. Земля подымалась из пепла. Люди не хотели ждать, не могли ждать,— в поле, где вчера прошел бой, сегодня выходили колхозники.

И Никифор почувствовал, как у него начинают нетерпеливо гудеть руки. «Эх, работы сколько! Работы!» — жадно думал он, глядя на мертвые цехи.

Это не усталый, больной солдат шел с фронта — это шел строитель. Жадный. Нетерпеливый.

Перед ним лежала земля, как и он,— тяжело раненная. Над шахтами горько склонялись разрушенные копры. Железные мосты вскарабкивались на деревянные костыли. Всюду кровоточили раны.

— Ничего! — говорил Никифор.— Ничего, брат, живем! Эх, работы сколько! Работы! А костыли что ж? Костыли скоро долой! И задымим, будьте любезны!

Потому что такова жизнь: раны заживают. Они заживают...

1943

О СЕМЬЕ ТАРАСА

Повесть «Непокоренные» («Семья Тараса»), печатавшаяся в «Правде», вышла в свет отдельной книгой.

Как зародилась эта повесть?

По заданию редакции я поехал в очередную командировку в Донбасс. Красная Армия наступала, освобождала города, и, естественно, что всех нас и меня в том числе интересовал вопрос: как жили люди в городах под властью немцев?

Приехав в свой родной город Ворошиловград, в районе которого я прожил и свою молодость, и большую часть войны, где у меня было много знакомых, друзей, я на время забыл о том, что я журналист. Я не строил себе никаких предварительных тематических планов, а горел только единственным желанием самому узнать и понять, как люди жили под властью немцев. У меня был не только профессиональный интерес журналиста, который ищет фактов, а личный, кровный интерес человека здешнего.

За время войны у каждого из нас, военных журналистов, появилось много близких знакомых не только среди военных, но и среди населения. Я думаю, что журналист, не связанный тесно с людьми, которые его знают и которые ему верят и которых знает он и которым он верит,— такой журналист не может глубоко проникнуть в человеческую душу и, следовательно, не может быть настоящим журналистом.

В Ворошиловграде я пошел искать знакомых, судьба которых меня интересовала. Я обошел все квартиры, в которых мы, военные журналисты, жили в то время, когда Красная Армия обороняла Ворошиловград, квартиры своих товарищей. Я вел простые беседы с квартирными хозяйками, рабочими ворошиловградских предприятий, их семьями.

Они со слезами на глазах рассказывали факты из своей жизни.

Вся история Антонины была рассказана мне квартирной хозяйкой. История Андрея и Лукерьи Павловны была рассказана другой квартирной хозяйкой, причем в повести сохранено даже имя: Лукерья Павловна. Степан Яценко — это Степан Стеценко, нынешний секретарь Ворошиловградского горкома партии, человек, который вышел из подполья. При мне принесли ему бутылку из-под шампанского, в которой находилась его тетрадка. Мы ее вместе вскрыли. Я прочитал ее, и мне многое стало ясно, даже то, чего сам Стеценко не рассказывал. Об этой бутылке говорится в повести.

История расстрела евреев, описание базара, положение детей, девочка из сундука — все это было мне рассказано ворошиловградцами. У меня оказался огромный человеческий материал, страшный в своей обыденности.

Первое, что видит всякий человек, который приезжает в освобожденный район, это сотни тысяч людей с тачками, движущихся по дорогам Украины. Я думал написать на эту тему очерк, я торопился это сделать, опасаясь, что другие военкоры могут опередить меня, но никто не написал на эту тему.

Я стал работать над очерками. Чем больше я думал над ними, тем материал казался мне все более значительным.

Творческий замысел должен рождаться из живой жизни. Я собирал материал, как журналист. На первом этапе моей работы я должен был осмыслить этот материал и выступить с ним, не откладывая. Мне думается, что для журналиста, желающего выйти за пределы рядовой корреспонденции в этой войне, которая всколыхнула людские массы, мало созерцать, надо быть публицистом. Нельзя откладывать собранный материал на послевоенный период, как об этом говорят некоторые писатели. Надо использовать его сегодня.

Постепенно у меня возникали смутные очертания будущей повести. Фигуры Андрея, Лукерьи взяты из самой жизни. Но конкретной фигуры Тараса нет. Таких Тарасов я знал давно. Когда мне еще в мирное время приходилось бывать на заводах, шахтах Донбасса, у меня сложилось определенное представление об этой фигуре. Тут сыграла роль та связь с Донбассом, которая у меня была, когда я ездил туда как специальный корреспондент «Правды».

Об этом я говорю потому, что близкое знакомство с Донбассом, с его рабочим людом помогло мне придумать ряд ситуаций, которые мне не пришлось наблюдать в жизни, но которые тем не менее оказались правдоподобными.

Надо было показать, что советские люди, живя в гитлеровской неволе, не потеряли веры в силу Красной Армии. Как это показать? Обычно журналисты вводят в очерк эпизоды, рисующие воздушные налеты нашей авиации на немецкие тылы, или тайное подслушивание советских радиосводок. Но эти факты уже фигурировали много раз. Я пошел по другому пути. В повести есть эпизод, когда Тарас и его друзья видят поврежденные танки, которые немцы притащили на завод для ремонта. И тут наши рабочие убеждаются в том, что Красная Армия живет и бьет врага.

Повторяю, эта ситуация была мною придумана. Каково же было мое удивление, когда я вместе с т. Яхлаковым из уст рабочих одного завода услышал историю, тождественную с той, которая описана в моей повести! Именно по разбитым танкам мариупольские рабочие, оторванные от советской жизни и лишенные правдивой информации о положении на фронте, судили о боеспособности Красной Армии, об ударах, какие она наносит немцам.

В повести имеются такие персонажи, как староста Игнат Несогласный. Если правдисты вспомнят, то Игнат Несогласный был описан в очерке тов. Родина еще прошлой весной. Когда я думал над фигурой «немецкого» старосты, отстаивавшего колхоз, мне вспомнился Игнат Несогласный и его судьба. Я представил его себе в этой роли, примерил, и оказалось, что попадает в самый раз.

Я знаю, что написанная в необычайно короткие сроки повесть носит на себе печать торопливости. И сейчас, после освобождения всего Донбасса и моей последней поездки туда, я бы многое мог сказать и полнее и глубже. Но я считаю, что в дни войны важнее всего слово, сказанное вовремя. В этой повести я задавался основной целью — со всей страстностью и честностью сказать все, что наполняло мою душу, когда я увидел разоренные немцами родные места моей молодости, дорогие моему сердцу города и заводы Донбасса.

1943

Очерки, корреспонденции

1941—1952

О СИЛЕ ПРИМЕРА, О БОЕВОЙ ДРУЖБЕ

1. ПОЦЕЛУЙ

Даже в самом горячем бою может случиться заминка, даже у самого храброго человека может при этом дрогнуть сердце. Кому-то показалось, что заскрипела, разладилась машина боя, нарушился темп и ритм; кому-то померещилось: окружают. И кто-то, бедный душою, уже нервно закричал:

— Где же наши комиссары? Бросили?

Тогда-то и раздался спокойный, веселый голос:

— Комиссар здесь.

Негромкий был голос, а услышали все.

В самой гуще боя, среди наступающих взводов, как всегда спокойный, как всегда улыбающийся, шел худощавый, невысокого роста человек в каске, всем в полку родной и знакомый,— батальонный комиссар Панькин.

И храбрым стало стыдно за минутную дрожь сердца, и нервным стало спокойно, а всем весело и легко. И какой-то огромный черный боец, не сдержавшись, подбежал к комиссару и крикнул, радостных слез не вытирая с лица:

— Эх, комиссар! Не чувствительный я человек, а все-таки... дай я тебя от всего сердца поцелую.

Он облапил Панькина и громко расцеловал его, как целуют отца или кровного брата. А потом поднял над головой винтовку и закричал так, чтобы его слышали все, все бойцы на поле боя:

— Комиссар с нами!

И люди пошли в штыки.

2. РАССКАЗ О НЕИЗВЕСТНОМ ГЕРОЕ

«Вот и смерть»,— просто подумал капитан Поддубный.

Он оглянулся: со всех сторон ползли на него враги. Их было много, он один. Последний патрон оставался в пистолете. Для врагов? Для себя?

«А смерть придет, помирать будем!» — вспомнил он обычную армейскую шутку. Но умирать не хотелось. Драться! Драться!

Он опять оглянулся. Один? Откуда появились эти двое в касках с красными звездами? В одном из них он узнал своего лейтенанта-артиллериста. Боец был незнаком.

— Отходите! — хрипло закричал лейтенант.— Отходите, товарищ капитан! Мы вас прикроем.— И, видя, что капитан колеблется, закричал совсем уже нетерпеливо: — Отходите же! Ну!

Лейтенант и боец стали прикрывать отход старшего начальника. Они защищали его своими телами и своим огнем. Это продолжалось долго, сколько — никто не помнит. Время в бою имеет свой счет. Они измеряли время количеством расстрелянных патронов. Патроны иссякнут, и время прекратит свой бег. Капитан Поддубный был уже вне опасности.

— Ну, вот,— слабо улыбнулся лейтенант,— выручили начальника.

Теперь их осталось двое: лейтенант и боец. Лейтенант был артиллерист, боец — пехотинец. Они не знали друг друга.

Пехотинец посмотрел на лейтенанта и тихо сказал:

— Отходите, товарищ лейтенант. Я вас прикрою.— И, видя, что тот колеблется, закричал уже нетерпеливо: — Отходите же! Ну!

Действовал тот же закон боя: боец охранял жизнь командира. Лейтенант подчинился. Теперь отходил он, боец прикрывал его своим телом и своим огнем. Лейтенант отползал медленно; он видел, как дерется незнакомый ему пехотинец. Вот он упал. Подымется? Лейтенант подождал немного. Боец не поднимался.

— Прощай! — прошептал лейтенант.— Прощай, дорогой ты человек!

Он вспомнил, что так и не успел узнать его имя. В бою было некогда спрашивать, теперь поздно.

Так и осталось неизвестным имя героя. Он вынырнул из хаоса боя, чтоб выполнить свой долг — спасти жизнь командиру, и так же незаметно ушел из боя и из жизни, скромный, безвестный парень в серой армейской шинели с малиновыми петлицами.

3. СЧЕТ АРТАШЕСА АКОПЯНА

Он лежал чуть пониже гребня высотки, во ржи, и смотрел в бинокль; видна была река, и синий лес, и желтоватые дымки над лесом — дымки разрывов. Нам сказали, что это и есть Арташес Акопян, знаменитый снайпер. Мы легли рядом.

Еще в первых боях, в Карпатах, обнаружился снайперский талант Арташеса. Было это так: через оптический прицел Акопян увидел, как далеко от него, за девятьсот метров, на холме стоит толстый и, должно быть, важный офицер и размахивает рукой, словно дирижирует батареями. Арташесу показалось, что это рука толстого офицера посылает снаряды на Арташеса и его товарищей. Он услышал, как разорвался рядом снаряд, как застонал раненый товарищ. В нем вскипело сердце, горячее кавказское сердце. Но прицеливался он спокойно и тщательно, точно в тире. Через оптический прицел он увидел, как упал, разметав руки, толстый офицер.

— Есть,— сказал про себя Арташес.— Первый!

Так начался счет Арташеса Акопяна, беспощадный кровавый счет.

Бинокль, чтоб увидеть врага, винтовка, чтобы врага поразить,— вот все, что нужно Арташесу. Он выбирает только самые важные, самые ненавистные цели: офицеров, пулеметчиков, прислугу у орудий. После выстрела он долго смотрит сквозь оптический прицел: подымется гад или нет? Убедившись, что враг убит, он ищет новой цели.

И шепчет про себя:

— Пятнадцатый — есть.

4. ЦЕНА ЖИЗНИ КОНЧЕВА

Шестая батарея не хотела умолкать. Из всего артиллерийского расчета уцелели один младший лейтенант Кончев и одно орудие. Но пока жив Кончев, жива и батарея. Кончев сам подносил снаряды, сам наводил орудие, сам стрелял. Его орудие гремело, било по врагу. Шестая батарея не хотела умолкать.

Немцы обрушили на упрямое орудие всю ярость своей атаки. Они лезли вперед и, скорчившись, падали, сраженные снарядами Кончева. Так продолжалось долго, до тех пор, пока не кончились снаряды. Орудие умолкло. Наступила тишина, а затем злорадный, яростный рев немцев прокатился над лесом.

Но шестая батарея не хотела умолкать. Еще есть у Кончева «карманная артиллерия» — гранаты. Кончев стал их швырять одну за другой на головы наступающих, пока все гранаты не кончились.

Но и тогда не умолк, не сдался Кончев. Есть пистолет у него. Он прижался к еще горячему стволу орудия и, прикрываясь им, стал расстреливать наступающих. А когда патроны кончились, он повернул пистолет дулом к себе — нет, нет, не затем, чтобы застрелиться, а затем, чтобы броситься врукопашную и бить врага рукояткой пистолета, кулаками, рвать зубами...

Горы вражеских трупов валялись подле разбитых орудий шестой батареи. Гора трупов — цена одной жизни младшего лейтенанта Кончева.

5. СЛУЧАЙ С БАРИТОНОМ

Четыре музыканта из части майора Юхновца — баритоны Лысак и Соломко и трубачи Пейсах и Бондаренко — сидели на перекрестке дорог и рассуждали о том, как лучше пройти к деревне Г.: рожью или орешником?

Вдруг на дороге показалась большая машина. Баритон Лысак вгляделся и заметил на правом крыле ее человека в черной каске, не похожей на каски наших бойцов.

Музыканты, однако, не убежали. Они только спрятались, баритоны — в рожь, трубачи — в орешник. И приготовили гранаты к бою. Немцы заметили их.

— Хальт! Хальт! Держи! — сердито закричал офицер, но больше уже ничего не мог крикнуть.

Гранаты наших музыкантов разбили машину, четыре винтовки выстрелили вдогонку удирающим немцам.

А потом... а потом, как положено, музыканты стали преследовать отступающего врага. За скирдой соломы нашли убитого офицера, в орешнике раненого. Остальных перехватила наша разведка.

Теперь в части майора Юхновца говорят, что у наших музыкантов и «труба стреляет».

6. СОВРЕМЕННИКИ

Так никто и не понял, как попали эти три хлопчика на минометную батарею лейтенанта Пугача. Вдруг возникли они у орудий, босоногие, вихрастые и все до одного курносые, возникли в самый разгар боя, когда вокруг с треском рушились деревья и от грохота своих и вражьих орудий глохли уши.

Самое странное было в том, что хлопчики притащили с собой ящики боеприпасов.

— Мы вам помогаем, дяденька,— робко объяснил старший из них, словно боялся, что лейтенант их тотчас прогонит.

Но лейтенант так обрадовался боеприпасам, что ни поблагодарить, ни выругать не успел.

Хлопчики скрылись.

Они появились на батарее через полчаса и опять притащили боеприпасы. Кое-кто видел, как ползли они под огнем по лощине, верткие и бесстрашные, точно воробьи на баррикаде.

Их встретили теперь как старых знакомых. Лейтенант обрадованно закричал:

— А! Подносчики пришли!

— Мы помогаем, дяденька,— начал оправдываться старший, но по веселым лицам минометчиков понял, что ругать их не будут, а еще поблагодарят.

— Мы еще носить будем! — захлебываясь от счастья, закричали все три хлопчика и опрометью бросились назад, к роте боепитания.

Бой закончился блистательным разгромом немцев. Батарея лейтенанта Пугача ушла дальше.

Грустными, завистливыми взглядами провожали дяденек-минометчиков три хлопчика с хутора Мовчаны, современники Великой Отечественной войны.

1941 г., июль

О СМЕЛОСТИ, О ДЕРЗОСТИ, О РИСКЕ

1. РАЗВЕДКА ЖИЗНЬЮ

Для врачей этот окровавленный человек был только раненым. Санитары подобрали его где-то у леса и принесли на медпункт. Врачи определили характер ранений: тяжелые, рваные, стреляные раны. Боец нуждается в немедленной помощи и эвакуации в тыл.

Но странным был этот раненый: он не желал покоя. Он не хотел перевязок, операций, эвакуации в тыл. Он не хотел сдирать с себя забрызганную кровью и грязью военную форму и облачаться в больничный халат. Он не считал себя жителем госпиталя. Он еще был бойцом. Он еще не кончил боя.

Он только требовал одного:

— Позовите командира или комиссара.

Врачи успокаивали:

— Нельзя! Вам нельзя волноваться.

— Если вы будете горячиться, вы умрете! — прикрикнул на него старший врач.

— Пусть! — крикнул он в ответ.

Какой смысл в его жизни, если он не увидит командира и не расскажет то, что должен сказать об этой ночи! Только она одна важна, эта ночь разведки, все остальное не имеет сейчас цены.

— Понимаешь? — хрипел он врачу.— Командира позови. Или комиссара. Скажи, политрук эскадрона Алиев просит, сам прийти не может. Понимаешь?

Но ничего не понимали эти врачи. Он чуть не заплакал от злости.

— Надо,— сказал ему вчера полковник,— понимаете, кровь из носа, надо пробраться глубоко в расположение противника и раскрыть его систему огня.

И конники пошли. Они пошли ночью, потому что немцы боятся ночи. Они пошли смело, потому что только смелым дается удача.

Они забрались в самое логово зверя, и на них обрушились все его клыки. Но странное дело — чем больше огня выплескивал на них враг, тем больше радовались разведчики:

— А, теперь минометы! Хорошо! Сколько их? Батарея? Так! Еще б артиллерия затявкала. А-а! Вот и артиллерия. Хорошо!

Они собирали сведения об огне противника, как бабы собирают в лукошко грибы — спокойно и деловито; это подосиновики, а это рыжики,— это минометы, а это огонь бронемашин. Они радовались этим снарядам и минам, хотя те рвались над их головами. Разведка боем — так называется это в уставе. Разведка жизнью.

И политрук Алиев радовался больше всех, хотя проклятый кусок стали уже сидел в его теле. Но что тело! Раненный, он говорил своим бойцам:

— Вперед, вперед! Мы еще не все узнали.

И немцы, обманутые темнотой, растерявшиеся перед чертовским напором горсточки храбрецов, гремели изо всех своих пулеметов, орудий, бронемашин. Им казалось, что полки наступают на них. Они озарили свой лагерь таким пламенем вспышек, что Алиев легко засек всю систему огня.

И тогда он сказал бойцам:

— Все! Теперь — назад.

Но его снова и снова ранили. Он пополз, обливаясь кровью и стиснув зубы, чтобы не стонать. Теперь нельзя попасться в лапы врага! Теперь нельзя умереть! Теперь нельзя потерять сознание! Доползти! Доползти! Доложить! И вот он дополз. Вот он лежит, и голова его ясна. Он все помнит, всю систему огня немца, он разведал ее своей кожей, его окровавленное тело — точно стрелковая карточка: оно испещрено следами всех видов оружия врага. Теперь доложить командиру, и враг будет раздавлен. Но эти врачи!

Он рванулся с койки, на которую его уложили, и яростно закричал:

— Эй, врач! Слышишь? Умру — отвечать будешь! Командира позови, пока жив.

И вот пришли к политруку эскадрона Алиеву пол-

ковник и комиссар. Он увидел их и обрадованно улыбнулся бледной улыбкой бескровных губ. Он едва дышал и говорил тихо. Но память его была ясна. Он доложил все, что надо.

А когда все рассказал, вздохнул с облегчением, обернулся к врачу и сказал умиротворенно, снисходительно:

— Теперь лечи!

2. КОГДА СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ РАССЕРДИЛСЯ...

Мало сказать рассердился — пришел в ярость командир противотанкового дивизиона старший лейтенант Барамидзе, когда выслушал доклад командира взвода.

Командир оправдывался:

— Я прицелы и затворы снял, товарищ старший лейтенант. Учтите: грязь! Завязли пушки.— И он беспомощно развел руками.

Но Барамидзе рассвирепел еще больше:

— Бросил? Да? Две пушки бросил? Кому? Немцу? Да? Эх, командир!

Он яростно огляделся вокруг и увидел трактор. На нем прикорнул, отдыхая, водитель Картошников, которого в дивизионе все звали просто Колей.

— Картошников! — закричал старший лейтенант так, что Картошников вздрогнул.— Заводи!

Он вскочил на трактор рядом с водителем, и сердце его стучало сердито, как Колин мотор.

— Лейтенант Бабаев, со мной!

Трактор подпрыгнул, дернулся и заскакал по ухабам.

Подле села навстречу трактору выбежали мальчишки, непременные наши разведчики и осведомители.

— Дяденька! — испуганно закричали они.— Куда вы? В селе немцы!

— Ходу! — взревел Барамидзе. Он вдруг представил себе, как подле его пушек возятся немцы.— Ходу!

Гремя, как танк, фыркая, как паровоз, извергая хвосты дыма, влетел трактор на главную улицу села, занятого немцами. Барамидзе увидел свои пушки. Они стояли в рыжей грязи, а вокруг были немцы, немцы... Их бычьи каски виднелись всюду, и злость еще сильнее застучала в сердце Барамидзе.

Он соскочил и бросился к пушкам. Бабаев за ним. Коля быстро развернул трактор. В мгновение обе пушки были прицеплены. Коля рванул машину. Барамидзе уже сидел рядом. Ярость еще клокотала в нем, но он увидел разинутые рты гитлеровцев и расхохотался.

Раздались запоздалые, бестолковые, недоуменные выстрелы. Кто-то крикнул: «Хальт! Держи!» Но трактор с пушками уже был далеко.

Я встретил старшего лейтенанта на дороге, как раз после этого эпизода. Ярость утихла в нем, но был он еще возбужден. На его лице догорало пламя великолепной дерзости. Барамидзе показался мне самым красивым человеком, какого я встречал на земле. Смелость, боевой азарт делают людей прекрасными.

3. ПРЫЖОК

В этот день тяжелый танк старшего лейтенанта Луцько поработал много. Всему экипажу нашлось дело — и башенному стрелку Батурину, и мехводителю Костюкову, и пулеметчику-радисту Орешко.

Но больше всего поработали гусеницы. Они давили минометы и пулеметы немцев так, что только хруст стоял. Они валили деревья, на которых, привязанные, сидели фашистские «кукушки»,— и от деревьев оставалась зеленая труха, а от кукушек и следа не оставалось.

Наконец, вышел танк Луцько из лесу и очутился над обрывом.

Обрыв был крутой и высокий. Танк Луцько остановился. Боевой курс, боевой путь танка лежал вперед, но не было пути. А из-за обрыва уже глядели на Луцько три ствола семидесятимиллиметровых пушек. Стволы жадно протянулись к танку. Они разворачивались, нацеливались. Точно железные удавы, раскрыли они пасти, чуя добычу.

— Ишь ты! — усмехнулся Луцько.— Да только я не кролик.

Он вздыбил над обрывом танк — тонны брони и железа.

Над стволами немецких пушек, над артиллеристами, хлопотавшими у орудий, над всей огневой позицией поднялась и нависла грозная боевая машина Луцько.

И вдруг... прыгнул.

Страшен был этот прыжок!

Захрустели под гусеницами стволы, лафеты, колеса немецких пушек. В ужасе заметалась прислуга. А танк Луцько все полз и полз по огневой позиции. Он давил пушки одну за другой, как давят смрадных клопов аккуратные хозяйки. Он перепахал и вздыбил огневую позицию немцев, как трактор пашет поле. Он проутюжил ее железным утюгом и для верности растер гусеницами окопы, где скрывалась прислуга.

И пошел дальше, по боевому курсу, к новым делам и подвигам.

4. ПРОВОЛОКА

Тонкий телефонный кабель... Тонкий, как нерв. Как жилка артерии.

Был горячий бой, и кабель рвался часто. Тогда прерывался пульс боя, роты не слышали приказа комбата, телефонисты тщетно кричали в трубки, а по полевым дорожкам, среди осыпающейся пшеницы, уже ползли связисты и сращивали кабель.

Но бой был горячим, и кабель, тонкий, как жилка артерии, рвался часто, и связисты решили, что не к чему, восстановив связь, отползать обратно в укрытие. Лучше просто лежать на линии, у кабеля, и чинить его немедленно, как порвет.

И они остались на линии — Добровольский, Татуревич, Гергель, Мельник,— люди, у которых нервы были куда крепче, чем телефонная проволока, тонкая, как нерв.

Так лежали они под огнем, следили за полетом мин и снарядов. Еще дым разрывов не успевал рассеиваться как они были на месте повреждения,— и никому из них не подумалось, что и нить человеческой жизни, как проволока, тонка, ее легко перебить снарядом или миною. Не к чему было думать об этом! Только трус думает в бою о смерти, боец думает о долге и победе.

Бой закончился. Связисты стали сматывать кабель. Закинув за спину катушки, они шли по полевым дорожкам, среди осыпающейся пшеницы, и нашли Гергеля.

Он лежал у проволоки...

...Когда я слышу теперь слова: «смерть на посту», мне вспоминается связист Гергель, лежащий в поле у проволоки, тонкой, как жилка артерии...

5. КУЗНЕЦ

Мрачно глядел старик Трофим Коваль на бесчинства гитлеровцев в родном селе — и молчал. Молчал, когда грабили оккупанты кооператив и таскали в танк вино и мануфактуру; молчал, когда давили гусеницами поросят и, точно скаженные, носились по селу, пугая старух и детей; молчал даже тогда, когда, озоруя, строчили немцы из пулемета по колхозной улице. Всего один легкий танк ворвался в беззащитное село, а беды наделал много.

Но когда фашисты стали стрелять по обелиску,— не стерпел Трофим Коваль, вскипело в нем сердце.

Этот обелиск на колхозном майдане поставили недавно, в день великой победы колхоза. Чугунную решетку, окружающую обелиск, ковал сам Трофим в своей кузне, ковал любовно, с душой, большой душой.

И вот теперь...

Но не было у старого колхозного кузнеца никакого оружия против танка. Говорят, гранатой можно танк взять,— не было у Коваля гранаты. Говорят, горючая бутылка помогает,— и бутылки не было.

Только и было у Коваля одно орудие его ремесла — кувалда. Так, опершись на нее, и стоял он у своей кузни.

И когда стали немцы стрелять по обелиску, схватил старый Трофим эту кувалду и, себя не помня, подбежал к танку. Словно молодой, вскочил на танк. Словно в кузне, размахнулся и со страшной силой ударил кувалдой по пулеметному стволу.

Ствол не выдержал, согнулся. Пулемет поперхнулся, смолк. И сразу беспомощной, жалкой стала немецкая машина. Заметалась в испуге по улицам. Стала удирать. И удрала.

А старый Трофим Коваль остался на «поле боя» победителем.

Теперь он знает мощь своей кувалды. Теперь он ее уже не оставит. Не раз подымет он ее на вражеские головы — кувалду народной войны.

1941 г., август

О ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ, О ВОИНСКОЙ СЛАВЕ

1. СЧАСТЬЕ БЫТЬ ВОИНОМ

Я спросил сержанта Рыбальченко:

— Ну, а ваша профессия, товарищ?

Я слышал, что он был не то шахтером, не то металлистом.

Он удивленно взглянул на меня, пожал плечами и ответил:

— Воин... В общем, военный...

И я понял, что он прав, и устыдился своего вопроса.

Когда-нибудь, когда закончится война, мы вспомним, что некогда были шахтерами, доменщиками, комбайнерами, писателями. Тогда мы вернемся домой и руками, закоптелыми от пороха, возьмем мирные инструменты; будем непривычно пахать землю плугом там, где мы ее вспахивали снарядами; и долго еще треск отбойного молотка будет казаться нам треском пулемета.

Сейчас мы — воины. Наш инструмент — винтовка, наш колхоз — родная рота, наша семья — товарищи по блиндажу, и производственный план наш — разбить поскорей фашиста. Мы — воины, и свое военное дело мы должны делать исправно, отлично, смело. В нем наша слава, в нем наша жизнь, в нем наше счастье.

Великое счастье — быть воином в Отечественную войну! Нет сейчас в нашей стране звания почетнее, чем звание воина. Нет сейчас на земле дела, более нужного, чем дело воина. Человек в благородной серой красноармейской шинели — первый человек на нашей земле.

Я узнал все-таки, что Рыбальченко шахтер. И узнал вот как.

Весь день шел жаркий бой за шахту. Еще утром была взята эстакада, днем вышибли немцев из камен-

ного здания шахтерской бани, а потом — дом за домом — взяли весь поселок. И к вечеру на окраине, на КП полка, подводили итоги боевого дня. Командир огласил приказ, и все услышали, что взвод сержанта Рыбальченко действовал сегодня умело, стремительно, а взвод Берестового отстал. Я видел, как засветилось счастьем лицо Рыбальченко и как нахмурился, опечалился Берестовой.

Они вышли потом из дома и долго стояли на рудничной улице. Над терриконом медленно плыла голубая донецкая луна, синими искрами играла в серном колчедане и гасла на матовых кусках породы. Тогда-то я и узнал, что Рыбальченко и Берестовой шахтеры.

Они работали здесь же, на этой шахте, за которую сегодня дрались. Оба были забойщиками, и даже уступы их были всегда рядом. И каждый, работая, нет-нет и прислушивался к музыке отбойного молотка в соседнем уступе и к грохоту падающего на плиты угля. И когда оба вылезали на-гора́, они первым делом шли к доске, где уже было обозначено, сколько вырубил Рыбальченко и сколько Берестовой. И тот, кто был побит в этот день, говорил другому яростно, но без злости:

— Ну, я побью тебя завтра, друг, держись!

Сейчас шахтерские дела сменились делами боевыми, шахтерская слава — военной славой. Снова кипит соревнование Рыбальченко и Берестового — на бранном поле, в дыму и огне боя. И как раньше в забое, так и здесь — каждый из них нет-нет, да и прислушается к музыке боя у соседа: далеко ли продвинулся он, здорово ли шибанул немца?

И как бы ни был горяч и путано сложен бой, глаз командира, глаз комиссара всегда заметит и того, кто отличился, и того, кто отстал. Ночью, как только стихнет азарт боя и в штабе сочтут потери и трофеи, очередной приказ по полку беспристрастно отметит и того и другого. Так рождается военная слава.

И, выслушав приказ, вместе выйдут из штаба шахтеры Рыбальченко и Берестовой. Постоят молча на улице, покурят, и тот, кто сегодня был «бит», скажет яростно, но без злости:

— Ну, держись завтра, друг! Опережу!

И разойдутся по своим взводам, чтобы завтра еще яростнее бить фашиста, гнать врага прочь из Донбас-

са, добывать себе право после победы, вернувшись на шахту, сказать всем, кто слышит:

— Я дрался за Родину не хуже других!

2. ВЧЕРАШНЯЯ СЛАВА

На наших глазах родилась слава этого лейтенанта. Ночью он с беспредельной отвагой дрался в бою под Р., утром его имя знала вся армия.

Это была хорошая, заслуженная, боевая слава, и мы от всей души поздравили лейтенанта с нею.

У нас в стране нет серых, незаметных героев, и памятника неизвестному солдату мы после войны ставить не будем. В самом горячем бою мы обязательно узнаем, кто был тот смельчак, что первым ворвался во вражий блиндаж, как звали тех гвардейцев, что пали смертью храбрых, но не пропустили немецкие танки к Москве.

Страна не поскупилась на награду герою, и грудь нашего лейтенанта очень скоро украсилась боевым орденом. И вот уже песни поют в ротах о славном лейтенанте, и не один молодой парень, только что прибывший из училища на передовую и нетерпеливо жаждущий боя и славы, клялся себе:

— Эх, мне бы только до настоящего дела дорваться, а я уж отличусь, как тот лейтенант!

А вчера мы были печальными свидетелями крушения славы нашего лейтенанта.

— Кто? — кричал в трубку начальник штаба.— Кто? Не может быть!

Потом он опустил трубку и с непередаваемой болью сказал:

— Зазнался! — И это слово прозвучало, как свист хлыста.

Мы были у этого лейтенанта на его командном пункте. Мы не узнали его. Зазнался! Перестал быть воином — стал барином. Проиграл бой, потому что никого и ничего не хотел слушать,— решил, что сам все знает. Забыл, что воинская дисциплина — суровый и обязательный закон для всех: от маршала до рядового. Не понял, что орден — не только награда за вчерашнее лихое дело, но и призыв к новым подвигам, что слава не только увенчивает героя, но и обязывает. Не понял,

что вчерашней славой не оправдаешься, на вчерашних делах вперед не уедешь.

И вот уж померкла вчерашняя слава... И вот уж с жалостью, а не с восторгом глядят на него товарищи. И сам он сидит, понурив голову, раздавленный и жалкий...

Мы не называем здесь имени этого лейтенанта. Мы верим: еще вернет он себе новыми боевыми делами вчерашнюю славу и, не утешившись ею, не успокоившись, в каждом новом бою будет ее умножать.

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕСТИ

Капитан Лаврентьев совершил тяжкое воинское преступление. Военный трибунал сурово, по беспощадному закону войны осудил его, но — строги и человечны наши законы — дал ему возможность в боях за Родину вернуть себе честь. Капитан Лаврентьев с достоинством встретил приговор. Он опустил голову, но не потерял ее. Было в этом человеке достаточно металла. Теперь он хотел только одного: боя!

Скоро все в дивизии услышали о капитане Лаврентьеве. Во главе школы младших командиров он пошел в атаку, и слава об этой атаке не умерла еще и сейчас. Но мало было Лаврентьеву, мало! Он упрямо искал дел самых опасных, боев самых горячих. Ему поручили дивизионную разведку, он стал ходить в отчаянные ночные поиски, и не было еще случая, чтоб его разведчики вернулись без «языка» и трофеев.

Вот недавно ворвалась горсточка разведчиков с Лаврентьевым во главе в село, занятое немцами, окружила хату, зашвыряла ее гранатами, а когда оттуда высыпали немцы, четырех из них разведчики убили, а шестерых взяли в плен.

И вот капитан Лаврентьев снова стоит перед Военным трибуналом. Трибунал заседает в селе. За обычным деревенским столом сидят: председатель — военюрист 3-го ранга Крыжановский, прокурор Пастон, члены суда. Но странно теплы глаза судей. Куда приятней обелять, возвращать человеку честь, чем лишать его чести.

А Лаврентьев стоит бледный, взволнованный. Когда в разведку ходил — не волновался, а сейчас предательски дрожит скула и дергается веко.

— Я клянусь,— говорит он, и голос его дрожит,— я клянусь, что это еще не все. Не все я сделал. Я теперь никогда не успокоюсь. Я теперь...

Уходит трибунал на совещание, а мы сидим и ждем. И Лаврентьев ждет. Где-то совсем близко беспрерывно ухает пушка, идет бой. В хате странно тихо тикают стенные часы-ходики. Лаврентьев сидит, опустив голову на руки, и молчит. И мы из деликатности молчим. В такие минуты человеку становится беспредельно ясной вся прожитая им жизнь.

Мы встретились с Лаврентьевым той же ночью. Он снова шел на поиски. Белые бесшумные тени сопровождали капитана — его орлы-разведчики. Мы долго смотрели Лаврентьеву вслед. Он шел легко, уверенно, смело. Это шел человек, которому вернули воинскую честь. Человек, который скорее умрет, но чести своей теперь не уронит.

4. ТРАДИЦИИ

По донецкой степи мимо седых курганов шел измученный походом полк. Тяжело ступали люди, понурили головы кони, запорошенные метелью, еле плелись обозы.

Командир полка окинул колонну взглядом и вдруг отдал короткое приказание. Эскадроны подтянулись, спешились, и люди увидели большую братскую могилу и звезду на ней. На звезде лежал снег. А когда подошли ближе, заметили на могиле дощечку и на ней прочли номер своей дивизии, имена незнакомых бойцов и командиров и дату — 1919 год. Стало тихо.

Ничего не сказал у могилы командир полка, но на всех бойцов вдруг пахнуло горячим боевым ветром, словно, шумя, развернулось над головами старое простреленное в боях знамя,— и люди подняли головы и услышали, как дышит степь и звенит скованная морозом земля, ставшая им сейчас такой родною.

А когда эскадроны вновь тронулись в рейд, бойцы все оглядывались назад, на курган, где лежали их отцы и старшие братья. И дорога теперь казалась им легче: этой дорогой двадцать три года назад шла в бой их дивизия. Это дорога славы.

Традиции! Невесомое, незримое, но какое грозное оружие!

Вот и вооружение у всех частей одинаковое, и люди везде обыкновенные — хорошие, наши люди,— отчего ж решающее дело поручается этой, а не другой дивизии? Отчего все убеждены, что эта справится, эта обязательно справится, у этой уж так заведено? Потому что на ее вооружении — боевые традиции, им она не изменит, их не осрамит.

Как передаются традиции? Ведь и стариков-то давно в полках нет, и прежние квартиры забыты, и архивы пожелтели и запылились в походных ящиках,— а все же живет, живет в дивизии память о былых делах, из уст в уста кочуют рассказы о славных подвигах, и каждый безусый лейтенант или только что пришедший из запаса колхозник с гордостью говорит о себе:

— Я, брат, таманец!

Раненые в госпиталь не идут, чуть не плачут:

— Как же я со своими расстанусь? Лечите тут или вертайте в строй.

Отбившиеся в бою от своей части, упрямо ищут ее, и всякая другая, «не наша» часть кажется им словно бы похуже. В своей части и драться легче!

Мы начали эту войну, вооруженные неувядаемыми традициями прошлого. Одни дивизии пришли со знаменами, на которых ордена за Чонгар, за Перекоп, за Сиваш, другие — овеянные славой боев в Финляндии. Отечественная война родила новые традиции, умножила старые. К чонгарской славе прибавилась слава Ростова. На вооружение молодых дивизий поступила слава боев под Барвенково и Лозовой.

Я видел, как в одном полку старые бойцы принимали пополнение.

— Ты знаешь, земляк, в какой ты полк попал? — строго внушал новичку старый, обветренный и обстрелянный окопный житель.— Ты, брат, чувствуй, ты в полк Сафонова попал! Ты про Скулень в газетах читал? Это, брат, мы были. А Дубоссары, Затишье, Николаев, Ростов? Чувствуй! Ты знаешь, какой полковник у нас? Сафонов фамилия. Три раза его ранили — он из строя не ушел.

И молодой «земляк» с первого же дня понимает, что он в «сурьезный полк попал», что здесь что ни боец — орел. Атмосфера подъема, порыва, веры в победу окрыляет и его, он теперь ничего не боится.

Великое дело — гордость воина. Она принимает своеобразные, любопытные формы. Пожалуй, не меньше, чем своей молодой гвардейской славой, гордятся шепетовцы старой и лютой ненавистью к ним врага. С удовлетворением читают воины Шепетова угрозы немцев по их адресу.

— Не любят нас немцы! — хвастаются бойцы.— За голову каждого шепетовца у них награда положена.

Бойцы гордятся славою своих командиров. Они знают: в командирской славе запечатлены и их дела, а значит, и их слава.

Слава полка, слава родной части куда шире и благороднее простой человеческой славы; в ней героизм сотен людей, в ней боевая дружба слаженного коллектива воинов.

Боец, который не любит, не знает своего полка,— плохой боец, ему не дороги ни честь полка, ни его слава. Комиссар, который не воспитывает в бойцах этой любви,— плохой комиссар, он дает ржаветь в ножнах грозному оружию.

Вот они пришли, дни боев, подвигов, славы. Каждый день, каждый бой упрочивает старые традиции, рождает новые. Каждый грядущий день сулит нам новую славу.

Когда-нибудь на тех местах, где мы сейчас деремся, будут выситься памятники и синеть курганы. Историки бережно соберут реликвии. Они найдут и твою потрепанную карту, товарищ, и твой залитый кровью партийный билет, мой покойный друг, и скупые журналы боевых действий, и эти беглые заметки, написанные в паузе между боями.

1942 г., февраль

P. S. Когда эта статья была напечатана, я получил письмо. Оно было адресовано не мне, а капитану Лаврентьеву. Вот оно:

«Здравствуй, дорогой товарищ Лаврентьев!

Дорогой, да, дорогой, потому что, прочитав статью «Возвращение чести», вспомнил я все, что было так недавно.

В маленьком холодном домике, в селе, на левом берегу р. Самары за столом (если можно скамью назвать столом) сидел военный следователь, а у стены, на соломе, опустив голову,— подсудимый.

— Признаете ли себя виновным? — спросил следователь.

— Да,— глубоко вздохнув, ответил обвиняемый.— Я виновен.

Чернила замерзли, и следователь долго грел чернильницу в руках. Перо со скрипом вывело на бумаге грустные слова признания, и скрип этот больно царапнул по нервам и подсудимого и следователя.

Обвиняемым был ты, товарищ Лаврентьев, следователем — я.

И вот прошло несколько месяцев, и я читаю, что тебе вернули честь, сняли судимость, представили к награде. Я рад за тебя. Я обнимаю тебя и целую, как брата.

Сейчас я работаю прокурором танковой части, маленько ранен, но в госпиталь не иду. Сейчас, когда пишу я тебе эти строки, танки наши готовятся к бою. Полковник уже оделся. На боевые машины сел десант.

Привет всем товарищам по дивизии.

Военюрист 3-го ранга В. Водзинский».

ЛЕЙТЕНАНТ ЛЕОНТИЙ ДЕРКАЧ И ЕГО РОТА

1. НЕРВЫ КОМАНДИРА

Восемьсот немцев шли в атаку на роту лейтенанта Деркача. Восемьсот пар сапог, топчущих нашу землю. Рота Деркача молчала.

Восемьсот немцев уверенно шли в атаку. Они знали: против них горсточка людей. Они уже предвкушали вкус и запах победы. «Победа пахнет русской кровью и немецкой водкой»,— так обещал господин обер-офицер. Рота Деркача молчала.

Враг полз, враг подступал все ближе и ближе, враг уже бежал — вперед, вперед, форвертс! Рота молчала. Пятьсот, четыреста, триста метров... Уже слышно хриплое дыхание врага. Уже можно разглядеть лица, до странности одинаковые и безликие. Уже видны железные бычьи лбы касок, ощеренные рты... Но рота молчала. Прижалась к родной украинской земле и молчала.

Поле пахло чебрецом и гречишным медом, шелестел кучерявый золотой ясень, буйно цвела гречка,— был до терпкой горечи сладок запах родной земли. Леонтий Деркач молча лежал на КП. Из-под запыленной каски чуть поблескивали его усталые глаза, они не мигали, хотя все время напряженно глядели прямо перед собой: туда, где враг. Немцы надвигались все ближе и ближе. Вот двести пятьдесят, вот двести метров. Хотелось закричать: черт подери, из какой стали сварены ваши нервы, товарищ лейтенант?! Какую волю, какую железную силу надо иметь, чтобы спокойно смотреть, как ползет на тебя многоликое, многорукое, огнедышащее чудовище, и не вскочить, не выстрелить, не закричать, а хладнокровно лежать, сжав сердце, как патрон в обойме, и ждать! Упрямо, терпеливо ждать.

Ждать той единственной минуты, которая приносит победу наверняка.

2. КАК ЗАКАЛЯЛИСЬ НЕРВЫ

Две простые истины твердо усвоил Леонтий Деркач за свою долгую красноармейскую жизнь. Истина первая: смелого человека убить трудно, труса — легко. Тонну свинца нужно, чтобы убить храбреца, отвечающего огнем на огонь; шального осколка хватит для мечущегося в панике труса. Вторая истина: побеждает тот, у кого нервы крепче, кто дерется весело.

Два учителя было у Леонтия Деркача в армии: командир Мельник и комиссар Федченко. Командир учил пониманию боя, комиссар — пониманию жизни.

Под командой Мельника Деркач дрался десять лет назад на границе с бандами. Но запомнился Деркачу не посвист пуль, не стоны раненых, не дыхание боя. Запомнилась веселая улыбка Мельника. И его манера: бывало, попадет взвод под сильный огонь, Мельник сейчас же скомандует:

— Все в канаву! Ложись! Закуривай!

Бойцы увидят веселое лицо командира, закурят, пахнет в воздухе горьковатым дымом родной махорки — и успокоятся. А командир тут же задачу ставит. Потом обведет бойцов веселым взглядом, спросит:

— Ну, кто на горячее дело идти хочет?

Ясно — все хотят. Покурили, успокоились, поняли, что пуля — дура.

И Деркач тоже любит в трудную минуту скомандовать:

— Ложись! Закуривай!

Прибежит к нему запыхавшийся, испуганный боец. Губы прыгают, лицо перекошено, точно плохо набитая пулеметная лента, ворот гимнастерки расстегнут. Еще с ходу кричит:

— Товарищ лейтенант! Това...

— Стой! — строго остановит его Деркач.— Ложись. Отдышись. Закуривай. Закуривай, тебе говорю! Ну, что там у вас случилось?

И сразу лицо «гонца» принимает нормальный вид. И самому ему уже кажется, что в самом-то деле ничего ведь не случилось. Он оглядывается: все спокойно вокруг. Командир спокоен. Связист лежит у телефона, спокоен и он. Где-то рядом рвутся снаряды, да черта ли в них! Он закуривает (хорошо пахнет махорка!) и

уже спокойно, трезво, дельно рассказывает все как есть.

Мне пришлось наблюдать эту манеру Деркача. Я заметил при этом, что сам он не курит. Я подумал, что нет у него папирос, вышли, и предложил свои. Он отказался.

Оказалось, лейтенант Леонтий Деркач сроду не курящий.

3. КАК РОС КОМАНДИР

Командир Мельник сделал из Деркача лихого бойца. Комиссар Федченко воспитал в Деркаче командира.

Это комиссар разглядел его в массе переменников, пришедших на очередной сбор. Вызвал к себе. Поговорил. И вдруг распахнул перед ним неожиданные горизонты.

До сих пор Леонтий Деркач так понимал свою жизнь: суждено ему вечно пахать землю. Но комиссар сказал:

— Землю, Леонтий Максимыч, вспашут и без тебя. А кто будет защищать эту землю, если придется? Пахарей много, хороших командиров куда меньше. Надо тебе, Леонтий Деркач, стать командиром.

— Командиром? — Тут Деркач грустно усмехнулся.— Может, товарищ комиссар, вы сведения не имеете, какая у меня горькая грамотность?

— Знаю,— неумолимо ответил комиссар.— Грамоте тебя научим.

И стал учить. На квартиру к себе вызывал. Сам к Деркачу ходил. Сам от него зачет за четыре класса школы принял. Стал Деркач младшим командиром, потом старшиной. Казалось бы, достиг. Всего достиг. Всем доволен Деркач. Только комиссар недоволен. Комиссару мало.

— Мы посылаем тебя, Деркач, на курсы младших лейтенантов,— сказал он однажды.

— Что?! — ужаснулся Деркач.

Ничего не боялся Деркач — ни огня, ни воды, ни бога, ни черта. Грамоты боялся.

Однако комиссар путевку дал, пришлось ехать. И поехал. И отлично кончил курсы, стал командиром. Опять он доволен, комиссар — нет. Комиссару мало.



«ЛАГЕРЬ НА МАЙДАНЕКЕ»



«В БЕРЛИНЕ»

— Будешь командовать ротой, Деркач,— сказал он однажды.— Иди, принимай пятую роту.

— Да вы знаете, что это за рота? — только и спросил Деркач.

— Знаю. Потому и посылаем тебя.

Не было во всем полку роты плачевней пятой. Словно нарочно сюда собрали все, что было худшего в полку. Маметкулов плохо видит. Цвин плохо слышит. Пасько — самый недисциплинированный в полку, его давно хотели как негодного «списать» куда-нибудь. Резов, Масолов, Березовский — все как на подбор, о всех худая слава.

И только в одном повезло Деркачу: в политруке. Замечательный политрук пришел в роту — Гарежа, криворожский горняк, комсомольский работник.

Так началась эта дружба, потом освященная в бою. Гарежа любил Деркача за боевой опыт, распорядительность, знание дела. Деркач уважал политрука за недоступную ему самому высокую грамотность, понимание людей и событий. Храбростью, презрением к смерти отличались оба, но это подразумевалось само собой, об этом и речи нет.

Оба они стали сколачивать роту. Работали, не жалея сил. Все средства и подходы применяли.

С этой-то некогда плачевной ротой и пошел на войну лейтенант Деркач. Вот эти-то некогда горькие бойцы и лежали в ячмене, когда восемьсот немцев яростно шли на них в атаку. Лежали и молчали, послушные приказу командира.

4. ТРИ АТАКИ

Атака, о которой мы рассказывали вначале, была уже третьей. До этого на роту Деркача уже обрушилось два вала. И обрушились оттуда, откуда он их меньше всего ожидал.

Когда немцы первый раз появились на левом фланге роты, Деркач, как всегда, спросил своего друга:

— Ну, политрук, что будем делать?

— Пойду на левый фланг,— просто ответил Гарежа.

— Иди. Бери взвод с правого фланга, два пулемета. А я вам еще три миномета подброшу.

Было мало сил у лейтенанта Деркача, но он уже давно научился маневрировать малыми своими средствами. Маневренность умножает силы.

Тогда-то и было решено: подпустить врага как можно ближе, чтобы бить сильнее.

Батарея-то и встретила первый вал немцев,— рота Деркача молчала. Немцы появились из-за высотки, и на них сразу же обрушился артогонь. Первая атака была отбита артиллеристами.

Деркач вытер пот со лба. Через бинокль было видно, как беснуется на высотке какой-то немецкий офицер, останавливает бегущих, грозит им парабеллумом.

«Значит, будет еще одна атака!» — подумал Деркач.

Как раз в это время ему и сообщили, что поддерживавшая его батарея переходит на другие позиции.

«Что ж,— подумал он,— значит, там нужнее. Ну, теперь выручай, Данилейченко...»

Данилейченко был командир минометной роты.

Из-за высотки снова двинулись немцы. На этот раз их было сотен шесть-семь. Рота Деркача молчала, зато в полный голос заговорили минометы Данилейченко. Эта маленькая артиллерия стреляла неутомимо. Она превысила все уставные нормы скорострельности. Мины падали на врага с убийственной точностью. Куда хотел наводчик — туда падала мина. Минометный расчет сержанта Григорьева (наводчик Сарчев, заряжающий Михайлин, снарядный Долгополов) обрушил шесть мин прямо в гущу противника.

Азарт боя охватил всех. Помкомвзвода Ляшев, по болезни освобожденный от строя, прибежал как раз к началу дела. Его отсылали обратно в санчасть, он умолял не прогонять его.

— Дерутся же ж! — только и повторял он.— Как же я? Без меня? Дайте хоть мины подносить буду.

Он схватил ящик с минами под мышку, поволок, потом прибежал за патронами.

— Третьего дня меня в партию приняли! — прокричал он на ходу.— Так надо ж оправдать!..

Командир роты послал связного Черкеса на левый фланг к политруку с сообщением. Черкес подхватил по дороге ящик с боеприпасами.

— Чтобы пустым не идти. В бою каждый боец дорого стоит.

Потом его послали наблюдать за противником. Он взобрался на дуб и стал сигналить пилоткой. Пилоткой вниз — есть немец, пилоткой вверх — нет. Над деревом, где он сидел, пролетали снаряды, он не обращал на них внимания.

Минометы Данилейченко рассеяли второй вал гитлеровцев. Опять побежали вспять бычьи каски. Ячменное поле понемногу превращалось в большую фашистскую могилу.

Но ни одного ружейного, ни одного пулеметного выстрела не раздалось со стороны роты Деркача. Рота молчала. Противник мог думать все, что ему угодно,— рота не обнаружила себя.

Лежа у ручного пулемета, мечтал пулеметчик Брижатый:

— Эх, подпустить бы гада на пятьдесят метров, чтобы побачить, убедиться, что он от моей собственной пули падает.

5. ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА

И вот она грянула, последняя атака. Собравшись с силами, озлившиеся враги бросились на роту Деркача. Восемьсот пар тяжелых, кованых сапог снова пошли топтать золотой украинский ячмень. Уже не били батареи. Молчали, сберегая боеприпасы, минометы Данилейченко. По-прежнему железное молчание хранила рота Деркача.

Немцы подвигались все ближе и ближе. Они бежали теперь вперед, уверенные в том, что их противник подавлен, что сейчас они наконец услышат запах русской крови. Вперед, вперед, форвертс!.. Ближе, ближе...

У командира пулеметного взвода не выдержали нервы.

— Огонь! — вскрикнул он.

Пулеметчики Федор Мануйлов и Коноплев умоляюще посмотрели на него.

— Огонь! — вскрикнул он.

И, устыдившись своей слабости, пробормотал:

— Огонь отставить!

На командном пункте командира роты запел зуммер.

— Деркач! Что там у тебя? — спрашивал подполковник Брайлян.

— Ничего,— улыбнулся Деркач.— Сейчас будем рыбу глушить.

— Да ты не чуди, не чуди! Говори толком.

— Сейчас буду инспекторскую поверку по стрельбе сдавать.

— А кто принимает? — засмеялся командир полка.

— Майор Дураев. Он тут.

— А! Ну, давай, давай...

Деркач положил трубку. Немцы были в полутораста метрах. Пора! Деркач выпрямился. Теперь ни смешинки не было в его глазах. Сталь.

— Огонь! — подал он сигнал.

И немедленно дружно, и из всех точек, из всех видов оружия обрушился на врага ураганный, беспощадный, все сжигающий огонь. Словно не пулеметные ленты, не обоймы разряжали бойцы в противника, а злость свою, долго сдерживаемую, накаленную, страшную.

Этот ливень огня смял, скосил передние ряды наступающих. Он упал потом на головы тех, кто был сзади. Он настигал бегущих. Он все превратил в кровавую кашу. И тогда взвод младшего лейтенанта Сороки — самый отчаянный взвод во всей части — ринулся в штыки. Он обрушился на колонну немцев, спешивших на помощь своему рассыпавшемуся воинству. Немцев было двести, во взводе Сороки только десятка три человек. И все-таки Сорока атаковал гитлеровцев и рассеял их. Было смешно видеть, как они удирают: кто ползком, кто на карачках, бросая оружие, снаряжение, каски. Бойцы хохотали так, что могучий хохот их был слышен над всем полем боя.

Никто не считал потерь врага. На ячменном поле лежали горы трупов.

Лейтенант Деркач сосчитал свои потери: убитых нет, раненых семь человек.

Он улыбнулся.

— Ну что ж! — сказал он своим героям.— Давай закуривай!..

1941 г., июль

СЧИТАЙТЕ МЕНЯ КОММУНИСТОМ

Мирной и тихой жизнью жил Максим Афанасьев в родном селе. Работал на тракторе. Ухаживал за девушкой. Откладывал деньги на новый костюм. Потом женился. Было маленькое, тихое счастье. Маленькие, приятные заботы. О тракторе, о трудоднях, о доме, о новых обоях и пластинках к патефону.

И за всем этим обыкновенным, будничным, мелькающим, как спицы в колесе, все некогда было подумать о большом и главном: о своем месте на земле, о своем месте в борьбе. Так и жил Афанасьев тихой жизнью. Хороший тракторист. Хороший муж. Аккуратный и непьющий человек.

И вот пришла война. Немец напал на нашу Родину. Куда-то вдаль отодвинулись маленькие семейные заботы. Над большой семьей — над Родиной — нависла беда. Мир пылает. Решается судьба миллионов Афанасьевых. Быть или не быть власти Советов. Быть или не быть нашему счастью.

И когда в первых боях тяжело ранили Максима Афанасьева и товарищи бережно несли его на руках в медпункт, не о молодой жизни жалел Афанасьев, не о доме, не о милой Марусе.

— Эх,— горько шептал он товарищам.— Эх, так и не успел стать я коммунистом.

Мы нашли Афанасьева на медпункте. Увидев нас, он попросил подойти ближе.

— Товарищи,— прохрипел он,— у людей спросите: я честно выполнял свой долг. Все скажут. Если придется умереть, убедительно вас прошу: считайте меня коммунистом.

Считайте меня коммунистом. Живого или мертвого. Тысячи просьб об этом. Это — самое замечательное,

самое великолепное, что есть в нашей великой и святой борьбе.

Никогда не приходилось так много работать секретарю партийной комиссии, батальонному комиссару товарищу Устименко, как в эти дни.

— Народ требует принимать в партию до боя, в бою. Люди хотят идти в бой коммунистами.

И Устименко и его комиссия работают прямо в бою. За дни войны разобрано куда больше заявлений о приеме в партию, чем за шесть предвоенных месяцев.

Каждый день рано утром отправляется партийная комиссия на передовые. Чаще всего пешком. Иногда ползком. Под артиллерийским и минометным огнем.

Где-нибудь в рощице, подле огневой позиции, у стога сена, или прямо в поле, или за линией окопов открывает свое заседание партийная комиссия. Тут же под рукой — фотограф Люблинский, молодой человек, вздрагивающий при свисте снарядов. Он фотографирует принятого в партию. Нужно срочно изготовить карточку.

Часто бывает, что Люблинский только что установит свой аппарат на треноге, скомандует «спокойно», а вражеский снаряд шлепнется неподалеку и «сорвет съемку», засыплет землей фотографа и его объект. Тогда партийная комиссия быстро меняет свою «огневую позицию». Сейчас Люблинскому стало легче работать. К снарядам он привык, и вместо старого аппарата на треноге у него «ФЭД».

Принимаемые в партию приходят на заседание комиссии прямо с передовой. На их лицах дым боя. Они садятся на траву. Волнуются. Один нервно покусывает травинку, другой ждет в стороне, курит. Свершается великий момент в их жизни. Они становятся коммунистами. Отсюда они уйдут обратно в бой. Но уйдут людьми иного качества — большевиками.

И хотя вокруг гремит музыка боя, заседание партийной комиссии проходит строго и сурово, как принято. Коротко излагается биография вступающего, взвешивается, прощупывается его жизнь. Достоин ли он высокого звания большевика! Придирчиво и внимательно смотрят на него члены партийной комиссии.

И главный, решающий вопрос задают каждому:

— Как дерешься? Как защищаешь Родину?

Семь километров нес на плечах Василий Копачевский своего командира, своего парторга Гурковского. Вокруг были немцы. Немцы наседали. Но не бросил Копачевский раненого парторга, положил к себе на левое плечо и нес. А к правому плечу Копачевский то и дело прикладывал винтовку и отстреливался. Так и нес его семь километров до ближайшего села. Но и в селе уже были немцы. Как нашел здесь повозку Копачевский? Как ушел от немцев и увез Гурковского? Чудом. Но вот они оба здесь, среди своих, и боец и парторг. Только сейчас заметил Копачевский, что и сам он легко ранен.

Вот и принимают в партию Василия Копачевского, разведчика с бронемашины.

— Как дерешься? Как защищаешь Родину? — спрашивают и его.

Он смущается. Ему кажется, еще ничего геройского не сделал он.

— Буду драться лучше.

— Кто рекомендует?

Парторг Гурковский, которого семь километров сквозь вражье кольцо нес Копачевский, может дать ему лучшую рекомендацию: она скреплена кровью.

Вот стоит перед партийной комиссией сапер Павел Вербич. Двадцать лет ему от роду. Украинец. Молодой боец.

Но уже успел отличиться в боях сапер Вербич.

Он минировал участок под огнем противника. С редким хладнокровием делал он свое дело. Враг бил по нему, по его смертоносным минам — он продолжал работать. И, только заложив последнюю мину, ушел.

— Говорят, на ваших минах подорвались четыре немецкие машины и один танк?

— Не знаю,— смущается Вербич,— люди говорят так, а сам я не видел.

Сапер редко видит результаты своего героического труда.

Принимается в партию связист Николай Боев. Только вчера он представлен к награде, сегодня вступает в партию. Боев — морзист. Но эта работа не по нутру ему. Он рвется в огонь, на линию. И часто в горячем бою добровольно идет с катушкой наводить линию. Он знает: только геройский, только смелый боец может

стать коммунистом. Он честно заработал право на высокое звание.

И Копачевский, и Вербич, и Боев приняты в ряды ВКП(б). Они поднимаются с травы радостные, возбужденные.

— Ну,— обращается к каждому из них Устименко,— оправдаете доверие партии?

— Оправдаем.

— Жизнь за Родину не пожалеете?

— Нет, не пожалеем.

И это звучит, как клятва. Они уходят отсюда в бой. Нет, не пожалеют они жизни за Родину.

Двадцать девятого августа был принят в ряды партии комсомолец Русинов. Четвертого сентября он пал смертью героя. Такой смертью, о которой песни петь будут.

— Комсомольцы, ко мне! — кричал он.

И с двадцатью комсомольцами бросился в лихую и последнюю атаку. Это было в бою под Каховкой. К старой песне о Каховке поэты прибавят новые строки о коммунисте Русинове, павшем в бою.

В грозные военные дни огромной волной идут в партию бойцы и командиры. Еще крепче связывают они свою судьбу с большевистской партией. Они знают: быть коммунистом сейчас — трудное, ответственное дело. Они рады этой ответственности. Они знают: быть коммунистом сейчас — значит драться впереди всех, смелее всех, бесстрашнее всех. Они готовы к этому. Они не боятся смерти и презирают ее. Они верят в победу и готовы за нее отдать жизнь.

Такой народ невозможно победить. Такую партию победить нельзя.

1941 г., сентябрь

ШАХТЕРЫ

В ясную погоду навалоотбойщик Федорук видит родную шахту из своего блиндажа. Шахта мертва, там враги. Не кучерявится дымок над силовой. Замерзли, покрылись синим снегом вагонетки на терриконе, набок покосился копер. Федорук узнает знакомые контуры эстакад, рудничного двора, поселка. К ним кровью и мясом приросли воспоминания, не отдерешь. И острая, нетерпеливая тоска охватывает его. Тогда он находит командира и начинает бередить ему душу: «Скоро ли, товарищ командир, скоро ли?» И командир, сам шахтер, отвечает:

— Скоро, Федорук, погоди.

В боях за родной Донбасс сложилась, закалилась и выросла шахтерская дивизия Героя Советского Союза полковника Провалова. Она родилась на шахтах. Забойщики приходили вместе с бурильщиками, мастера с учениками. Приходили целые отряды, полуополченские, полупартизанские. Вливались в регулярное шахтерское воинство. Приходили шахтерские семьи, и седоусый глава семьи торжественно объявлял:

— Одно у моей фамилии мнение: стоять за Донбасс до последнего.

Забойщики становились бойцами, бурильщики — пулеметчиками, проходчики — разведчиками. О боях за Донбасс когда-нибудь сложат песни. Шахты назовут именами героев. О капитане Кипиани, о боевом комиссаре Романове, о младшем политруке Мельникове, о лейтенанте Урбанском, о пулеметчике Калайде, о разведчике Комарове будут петь девчата на откатке, как поют о Пархоменко.

Недешево достались врагу мертвые донецкие шахты. Дорога в Донбасс стала дорогой трупов. Под Ели-

заветовской горняки капитана Кипиани уничтожили четыре сотни неприятельских кавалеристов. Шахтеры рубили их зло и методически, как рубают уголь. Шесть тысяч фашистов легло от шахтерских пуль на подступах к Сталино, полторы тысячи — под Чистяковом, две тысячи — под Красным Лучом. У каждого шахтера-бойца был свой кровавый счет с врагом: одни расплачивались за шахту, другие — за семью... И хоть на каждого бойца уже приходилось по десятку битых гитлеровцев, никто еще не считал свой счет оплаченным.

Мутный прибой неприятельского наступления докатился до шахтерского городка Красный Луч и здесь разбился о гранитные скалы шахтерской обороны. Два месяца шла драка на Миусе. Лед стал кровавым на этой реке. Город Красный Луч выстоял! Красным лучом вонзался он в темное царство оккупантов, и на свет его стекались вырвавшиеся из фашистского ада шахтерские семьи, приходили растерзанные, окровавленные, измученные и рассказывали о зверствах, расстрелах, грабежах. И сердце закипало у бойцов, и кулаки чесались в предчувствии великой драки, и снова и снова вырывалось нетерпеливое: скоро ли? скоро ли?

Но тяжкие дни обороны не прошли для шахтеров даром. Шахтеры стали воинами. Теперь забойщики владели пулеметом, как некогда отбойным молотком, теперь умело вели боевую разведку проходчики, как раньше разведку недр. Шахтерская удаль вышла на простор, шахтерская злость нашла цель, шахтерское презрение к смерти рождало героев.

Я встретил здесь старшину разведроты Владимира Хацко. В эти дни его как раз наградили орденом Красного Знамени. Маленький, коренастый, приземистый, облаченный в неповторимую кожаную куртку, он был весь увешан оружием. За плечами автомат, на боку пистолет, на другом — шашка, за поясом кинжал, на ремне граната. Он называл себя «сыном Донбасса», и так его стали звать все. Его дерзости нет предела так же, как его ярости. Лихие налеты — его профессия, отчаянный риск — его стихия.

Вот и сейчас он с пятью «пробивными ребятами» ворвался во вражеские окопы и напоролся на жестокий огонь. Он немедленно ответил огнем из автомата, но автомат скоро «заело», и на Хацко набросился огром-

ного роста гитлеровец. Завязалась рукопашная схватка. Скверная это была схватка, раз маленький Хацко едва достигал до груди рыжего гитлеровца. Но враг остался на земле с собственным штыком в животе, а Хацко вернулся и приволок прямо в кабинет полковника вражеский миномет, потому что «сыну Донбасса» без трофеев приходить неловко.

Так дерутся шахтеры.

Мы встретили здесь старшего сержанта Якова Приходько, командира роты автоматчиков. Его голова была в кровавой повязке. Рассказывал он неохотно, но вся дивизия знала уже историю домика в Грибовке. В этом каменном мешке одиннадцать часов подряд держался Приходько с двумя бойцами. Враг не мог его взять.

Оккупанты окружили дом и изрешетили все стены пулями. Но по-прежнему из слухового окошка убийственно пощелкивал автомат Приходько и косил врагов. Они стали забрасывать дом гранатами, бросали их в окна, на крышу, через трубу. Приходько ловил гранаты на лету и вышвыривал их обратно. Уже полдома обрушилось под минами и гранатами, уже были ранены и бойцы, и Приходько, но шахтеры не думали сдаваться. Тогда гитлеровцы подожгли дом. Смрадный дым пополз по стенам, запахло газовой шахтой, старым, знакомым запахом смерти. Но шахтеры и из обвала, и из газа, и из огня привыкли выходить живыми. Приходько вытащил раненых бойцов в укромное место, где не жарко, и затих. Враги решили, что он сгорел, а он дождался темноты и ушел к своим и раненых бойцов вывел.

Так обороняются шахтеры.

Мы встретили здесь пулеметчика Анатолия Калайду и поздравили его с Красной Звездой на груди. У шахты № 4 было дело. Гитлеровцы пошли в атаку и напоролись на пулемет Калайды. Он был один у пулемета на фланге роты. Огонь его «максима» остановил оккупантов. Но это показалось Калайде неинтересным. Ему нужно было, чтобы враги бежали и падали, скошенные пулями. Он пополз вперед, волоча за собой друга — «максимку». С нового, уже более близкого рубежа он снова открыл огонь. Гитлеровцы не могли теперь лежать — побежали. А он один неотвратимо двигался за ними и поливал их, и поливал...

Так наступают шахтеры.

Разведчики рассказали мне об откатчице Нине Гнилицкой. Кто знает, как она появилась среди бойцов! Но уходить она не хотела. Ее вежливо выпроваживали, она невежливо огрызалась, требовала, чтобы взяли ее в бойцы.

— Я вас в разведку водить буду,— умоляла она.— Я тут все места знаю.

Отделаться от нее было невозможно, и она стала «водить бойцов в разведку». Эта девушка с откатки не знала, что такое страх. Под пулеметным огнем она кричала мужчинам:

— За мной! Лежать дома будете! Вот глядите, мужчины,— и она первая бросалась в огонь.

— В силу необходимости, бывало, за ней идешь, раз впереди баба! — усмехаясь, рассказывали мне разведчики.

А умерла она просто. Враги окружили разведчиков во время их дерзкого налета на село. Не желая сдаваться, откатчица Нина Гнилицкая застрелилась.

Так умирают шахтеры.

Здесь с земляками-шахтерами встречал я солнце Нового года, здесь провел январские дни. Мы бродили по высотам над Миусом, и никогда еще не казался мне таким прекрасным Донбасс, как в эту фронтовую ночь. И боец Филюшкин, в прошлом горный мастер, говорил мне, что отвоевывать Донбасс надо немедленно, пока в затопленные шахты не ринулась весенняя вода, и что только б поскорее разбить врага, а пустить шахты — дело нехитрое, и рисовал мне чертежи на снегу.

— А пускать шахты без нас будут,— улыбаясь, прибавил он.— Мы за Днепр, за Буг, словом, дальше пойдем. Мы теперь не шахтеры, а воины.

А потом я был у разведчиков. И здесь тоже владели людьми великое нетерпение и жажда большой драки, и знаменитый командир полковой разведки забойщик Семен Комаров убежденно говорил Федоруку:

— Теперь, Федорук, скоро. Теперь скоро.

1942 г., январь

ГОРЫ И ЛЮДИ

1

Дождь над Черным морем. Дождь над горами.

Дождь над дорогой. Крупный, тяжелый.

Отчего же кажется эта мокрая дорога веселой, Черное море синим, хмурые горы улыбчатыми?

Я помню эту дорогу в августе. Тогда долго не было дождей, и шоссе пылало сухим зноем. Пыль, зеленая сухая пыль легла на измученных лицах, мертвых листьях, на недвижимых кипарисах. Так бывает только на дорогах отступления, когда в сплошном потоке движутся машины, кони, повозки, люди, стада.

Нет ничего страшнее дорог отступления! Вокруг нас развертывалась роскошно щедрая природа, море было ослепительной бирюзы, горы пылали под розовым солнцем, и белый камень санаторных дач беспечно тонул в зелени виноградников, но чем роскошнее была природа, тем больнее было на нее глядеть. Было страшно думать, что и сюда пришла война. Было страшно видеть воронки бомб и на этих курортах. И людям со слабой душой уже казалось, что пришла пора прощаться с любимым Черным морем. Что эти сады цветут не для нас. Что эти мандарины зреют для врага. Что эти приморские санатории-дворцы достанутся врагу, а в этих парках врагу, а не нам гулять...

Но не для них созрели мандарины! Вот у самой дороги ими торгует автолавка военторга, по четыре рубля кило. В этих санаториях нетерпеливо залечивают свои раны наши воины.

Язык фронтовой дороги красноречив. Спросите дорогу — она без слов расскажет вам о том, что творится там, на переднем крае. Веселая тревога, ярость, кипение на дорогах наступления. Спокойная, уверенная сила на дорогах обороны. Здесь все обжито, все приведено в норму. Здесь машины идут законной скоростью. Здесь дорожные знаки и сигналы — на каждом шагу. Здесь целая литература вывесок, лозунгов и указателей.

Здесь позаботились о том, чтобы вы легко нашли питьевую воду и воду для заправки машин, и баню для проходящих войсковых частей, и дорогу в нужное вам ущелье.

Здесь на каждом крутом повороте стоят торжественные регулировщики. Среди них много девушек. Строго козыряют они вам, когда вы проезжаете мимо, строго указывают флажком дорогу.

И только морякам удается вызвать у них улыбку. Ничего не поделаешь с военными моряками! На уставное приветствие хорошенькой регулировщицы они отвечают совсем не по-уставному: прикладывают руку не к козырьку, а к губам. И посылают воздушные поцелуи. Девушка невольно краснеет. А моряки хохочут. Падает дождь, крупный веселый дождь стучит о дорогу, бьет в седла, в стекла машин, в лафеты тяжелых пушек. Машины проносятся мимо, мимо, уже скрылись за поворотом веселые моряки и унесли с собой на передний край веселую память о матросской шутке. Когда-нибудь перед жестоким боем вспомнится им и эта девушка, и эта дорога, улыбнутся они, и улыбка эта согреет их.

2

Города, как люди, имеют свой характер. Есть люди-богатыри, самой природой высеченные для дел геройских, и есть люди тихие, мирные, глубоко штатские, от которых никакого геройства не ждешь. Ленинград, Сталинград, Севастополь — города-богатыри, сама история, революция, войны создали их такими.

Но маленький, полукурортный, глубоко штатский Туапсе... В его неожиданном мужестве есть что-то трогательно-величественное. Война потребовала, и Туапсе стал городом-воином, как десятки советских городов.

Враги рвались к морю, к Туапсе. Гитлер даже назначал сроки захвата города, но все сроки прошли, а город обороняется.

Путь к Туапсе заслоняют горы, а горы обороняют люди. Воины. Они-то и сорвали все сроки фюрера. Похоронили его черноморские мечты, а с ними заодно — и тысячи его солдат и офицеров.

Что остановило оккупантов под Туапсе? Горы? Но в Греции были горы повыше. Под Моздоком вообще не было гор.

Чудесного сплава воины дерутся сейчас здесь. Они принесли с собой в горы стойкое мужество Севастополя и горечь Керчи, и тяжкий опыт Ростова. Шахтеры, моряки, автоматчики, артиллеристы, пехотинцы, летчики — вот кто бьет сейчас немцев на подступах к Туапсе. Идет жестокая, беспощадная, трудная битва. Битва в горах. Битва в ущельях. Это война мелких подразделений, это поединок одиночных бойцов. Это схватка в угрюмых щелях, на нехоженых тропах, ночные стычки в дремучих лесах. Это бои за высоты, за скаты и гребни, за каждый камень на перевале, за каждую проезжую тропу.

И эта трудная, ни на что не похожая, особенная война требует от воинов большой души, высокой стойкости и нечеловеческой выносливости... Тут нужен воин смелый и находчивый, инициативный, которому и в одиночку не страшно драться. Тут нужен человек, пламенно верящий в нашу победу, в свое оружие и в своего товарища по окопу.

На подступах к Туапсе, как в кровавой мельнице, неотвратимо и мерно перемалывается фашистское мясо. Гитлеровцам надо вылезть с гор к морю, наши бойцы все делают для того, чтобы они не выползли никуда: в горах хорошо хоронить покойников.

Оккупанты сами признаются в своих огромных потерях. Некий обер-лейтенант, командир батальона, забыв о субординации, с раздражением отвечает своему командованию, что он не может выполнить приказа о наступлении, что ему уже больше нечем наступать: потери неисчислимы.

— Не могу же я,— восклицает он,— с девятнадцатью автоматчиками завоевать Кавказ и Черное море!

Ни с девятнадцатью автоматчиками, обер-лейтенант, ни с девятнадцатью корпусами вам не завоевать советского Кавказа, советского моря.

3

Если хочешь рассказать о людях, дерущихся здесь, в горах, надо говорить о части, которой командует товарищ Аршинцев. Надо рассказать о ее Знамени: на нем четыре ордена и слава Чонгара. О верности боевым традициям надо говорить, о дружбе, рожденной

в огне. Надо вспомнить Скулень, Флорешти, Дубоссары. И Прут, побуревший от вражеской крови. И Николаев в огне. И лед на донских переправах зимой сорок первого года, когда к славе Чонгара прибавилась слава Ростова.

Надо вспомнить горькое знойное лето сорок второго года. Ростов, Краснодар, Майкоп, черные дни. Но можно и в черные дни быть героями. В черные дни героями куда труднее быть. В эти дни часть не опозорила своего Знамени, об этом могут рассказать тысячи крестов на вражеских могилах в донецких и кубанских степях. Когда бойцы под командованием Аршинцева дрались в смертном кольце,— дрогнувших среди них не было, а когда по приказу командования отходили,— люди плакали и слез не скрывали. И полковник Аршинцев, бледный от горя и злости, собирал вокруг себя все, что бежало из соседних частей, бросал в бой вместе со своими орлами.

В эти памятные дни встретился Аршинцев со Штахановским, и об этой встрече можно было бы много рассказать. Штахановский был комиссаром ростовского полка народного ополчения. Пожилой тучный мужчина, старый чекист, он был до войны начальником отдела кадров железной дороги. Не драться он не мог и пошел в народное ополчение. Ростовский полк — о нем когда-нибудь сложат песни — этот полк брал Ростов зимой сорок первого года, этот полк умирал на баррикадах Ростова летом сорок второго года. Штахановский ушел из Ростова последним. Теперь он заместитель Аршинцева по политической части, и об их дружбе можно говорить долго.

Но надо рассказать о Лысой горе и о Волчьих воротах. Это уже совсем недавно было здесь, в горах. Восемь тысяч снарядов выпустили неприятели по этой горе, шестьсот самолето-вылетов в день сделали. А гарнизон высоты — восемьдесят четыре человека — стоял, как умеют только советские воины стоять: насмерть.

И чтобы эту стойкость понять и объяснить, надо много рассказывать о любви воинов к своей части. О большой гордости людей за свою часть. О счастье служить под старым, пропахшим порохом Знаменем. Надо рассказать о том, как тоскуют раненые в лазаретах по родному батальону, словно по родному дому, какие письма пишут, как из госпиталей тайком удирают

домой, в роту. Надо рассказать о командире Малолеткове, ветеране дивизии, и о том, как он говорит про себя: «Меня отсюда можно только вынести или вывезти, сам не уйду!» — и как он, раздувая пушистые усы, с притворной строгостью допрашивает в землянке свою дочку-радистку о ее работе и говорит ей, грозя пальцем: «Дочка, не опозорь, смотри, нашу фамилию и нашу часть».

И про землянки надо рассказать, про эти пещеры в горах, где печи сложены из камней, как очаги, и дым их — горько-сладкий и теплый, словно дым родных очагов, и греет и бередит душу. И про ущелье, где бьются быстрые реки, и про высоты, где несут свою гордую службу одинокие гарнизоны, и про весь этот фронтовой быт, трудный и тяжкий, в крови и грязи, где свинец падает на людей, как дождь, а дождь зол и хлесток, как свинец.

Тогда надо и о дороге через хребет сказать. Еще два месяца назад дороги не было. Была тропа и непуганый лес вокруг. Но люди прорубили дорогу, и по ней протянулись на передний край вьюки с фуражом, продовольствием, боеприпасами.

Знаете ли вы, что такое накормить часть? Что такое накормить голодные пушки и пулеметы? Что такое обеспечить бой? День и ночь идут через перевал караваны. Машины пройти не могут. Кони идут пугливо, фыркая, боясь оступиться. Ишаки карабкаются прямо по скатам. Протяжно мычат волы, впряженные в арбы. Вьючные лошади идут медленно и трудно. Хвост передней привязан к уздечке лошади, шагающей вслед,— так и идут караваны длинным цугом. И рядом с ними бредут через горы забрызганные грязью, усталые, мокрые вьюковожатые, люди, о которых мало говорят и мало пишут.

О многом бы надо рассказать — о каждом из этих горных воинов, — от Героя Советского Союза Есауленко до последнего хлебопека.

Но здесь будет рассказ о гарнизоне Безымянной высоты и о бое, случившемся на днях и не попавшем ни в сводки Информбюро, ни в историю части.

В этот день в части был праздник. Праздники редко бывают на переднем крае, и проходят они, как будни,— в огне. Но это был совсем особый, свой праздник,— двадцать четвертая годовщина части. После

краткого митинга замполитрук Еронин сказал старшему сержанту Ломадзе:

— Ну что ж, Ломадзе. Завтра будем оформлять тебя в партию.

Это утро выдалось хмурым и дождливым. На переднем крае было тихо, только с шумом билась река в ущелье да кричали мокрые птицы в лесу. На Безымянной высоте ждали завтрака. Его везли из ротной кухни с переднего края — передний край нашей обороны был далеко позади. Безымянная высота одиноко, как часовой, вдавалась в «ничью землю», гарнизон Безымянной высоты был боевым охранением.

Завтрака ждали с молчанием, нетерпением, как всегда ждут горячей пищи в окопах. Вдруг где-то совсем рядом загремело «ура».

— Митингуют наши, что ли? — удивился Еронин. Но что-то подозрительное было в этом русском «ура». Словно было оно... нерусским. Словно не было в нем русского духа, русского веселья, русской ярости. Иностранным было это «ура», и Еронин закричал на всякий случай:

— Приготовить пулемет!

Но из соседнего дзота уже загремели выстрелы, и тогда вместо «ура» по-русски раздались стоны и проклятья по-немецки. Гитлеровцам не удалось обмануть гарнизон, и они пошли в открытую атаку.

Тридцать шесть бойцов было на Безымянной высоте. Триста оккупантов шли на них в атаку со всех сторон. Начальник гарнизона лейтенант Синельников знал, что в таких случаях, по уставу, боевое охранение может с боем отходить, задерживая и расстраивая огнем боевые порядки противника, давая нашей обороне время для подготовки к встрече с врагом.

Но сегодня был совсем особый день. Ровно двадцать четыре года назад где-то в далекой Сибири, в боях с Колчаком, родилась часть, в рядах которой ныне выпало счастье служить и драться молодому человеку, молодому командиру Синельникову. Это был большой день, и, вероятно, все на Безымянной высоте чувствовали это. Расчет бронебойщиков, на который враги обрушили свой первый удар, предпочел смерть отступлению. В гранатном бою погиб весь расчет, и только раненый парторг Палишко, собрав силы, отполз к соседне-

му дзоту. Отполз не затем, чтобы там отлежаться или умереть, а затем, чтобы снова драться, драться, драться.

Не бинт, не воду, не покой потребовал он, когда вполз в дзот,— винтовку.

— Винтовку! — яростно крикнул он. И ему дали винтовку.

Теперь немцы атаковали станковый пулемет Ломадзе. Телефонная связь уже была порвана. «Поддержите минометами...» — только и успел сказать младшему лейтенанту Рыбакову. Ответ услышали уже не по проводу: мины, полетевшие в немцев, сказали, что Рыбаков все понял.

Две атаки неприятеля в лоб и две с тыла были успешно отражены. Ненадолго стало тихо, только раненые фашисты вопили на весь лес. Ломадзе успел зарядить пулемет новой лентой. Но дострелять эту ленту пришлось уже Кошубяку: Ломадзе был ранен. Кровь хлестала из его рук, и он чуть не плакал, что больше драться не может, жажда боя еще кипела в нем, и только приказ Еронина заставил его уйти в тыл. Кошубяк дострелял ленту Ломадзе, вставил новую и вдруг тяжело осел. Еронин стал дostреливать ленту Кошубяка. Теперь у пулемета осталось всего двое — Еронин и Гридчик. Враги падали под яростным огнем пулемета, из леса ползли новые цепи. Пуля пробила кожух пулемета, потекла вода. Еронин открыл крышку короба и продолжал стрелять. Горячее железо жгло руки. Новая бронебойная пуля пробила короб.

— Гранаты, Гридчик! — крикнул Еронин, и закипел гранатный бой.

Двое воинов дрались в ходах сообщения и траншеях против десятков гитлеровцев и, только когда гранаты кончились, стали отходить к командному пункту Синельникова.

Но и сюда уже ворвались враги. Синельников встал, замахнулся гранатой, но бросить не успел,— автоматная очередь прошила грудь. Медленно выпала из рук Синельникова граната и взорвалась — словно то был салют над могилой героя.

Теперь бой шел у самого гребня высотки. Там дрались минометчики Рыбакова, прикрывая отход раненых в тыл. Раненые шли по глухой тропинке. На плащ-палатке несли лейтенанта Субботина, он тихо стонал. Тя-

жело раненные опирались на более крепких. Все шли молча, как люди, сознающие, что свой долг они выполнили до конца. Они могли теперь смело смотреть в глаза людям переднего края.

А на высоте еще гремели выстрелы, еще кипел бой. Это в полном окружении дрался дзот, в котором находился раненый парторг Палишко.

Вместе с Палишко было еще трое: огромный, веселый и красивый гармонист и песельник Шевченко, пожилой Кошевец и маленький сержант Сережа Войцицкий, паренек из ближнего села, путающийся в полах большой для него шинели. Палишко и Шевченко стреляли, Кошевец и Сережа заряжали винтовки. Палишко стрелял зло, яростно. Шевченко — весело, Кошевец что-то бормотал себе под нос да изредка вздыхал или охал, а Сережа весь отдался делу: все боялся он, что не поспеет зарядить и Шевченко скажет ему: эх, ты, сопля. Когда неприятели совсем окружили дзот, Палишко сказал Шевченко:

— Ну, брат, пошли, встретим гостей.

Они взяли с собой гранаты и выбежали из дзота.

Сережа услышал, как громыхнули гранаты, как завизжали фашисты, как что-то крикнул Палишко, потом все стихло. Ни Шевченко, ни Палишко не вернулись. Сережа взял винтовку и припал к амбразуре.

— Теперь будем мы с тобой, старичок, стрелять,— сказал он, и радость обожгла его.

Наконец-то он будет стрелять, вести бой. Важно ухмыльнулся он и вдруг увидел прямо перед собой у амбразуры вражеского офицера. Рыжим был этот фашист — только и успел заметить Сережа и выстрелил. Офицер упал.

«Моя пуля сшибла!» — в восторге подумал Сережа. В этот момент его ранило в руку.

В дзот ворвались гитлеровцы.

Сережу выволокли из окопа. Он увидел: поле боя, там и сям валялись мертвые враги. Сережа насчитал их до сотни. Со всех сторон неслись стоны и проклятья раненых, санитары не успевали их подбирать. Оккупанты бродили по высоте, о чем-то громко «хайкали», но наступать дальше не собирались, слишком дорого обошелся бой с боевым охранением. На высоте царила суматоха, как всегда бывает после трудного боя, и Сережа, восполь-

зовавшись ею, бросился вниз с обрыва, покатился кубарем сквозь колючий кустарник, вслед за ним загрохотали камни, понеслись вниз, обгоняя его, засвистели пули. Сережа ничего не слышал. Только внизу, в каком-то высохшем ерике, он пришел в себя, нашел тропинку и пошел по ней. Здесь, на тропинке, он и нашел Палишко.

Палишко полз медленно, трудно и, странное дело, молча. У него была раздроблена нога, и кровавый след тянулся по дорожке. Когда Сережа наклонился над ним, Палишко сказал ему:

— Вот и хорошо. Теперь хорошо.

— Что хорошо, дядя Палишко? — спросил Сережа.

— Меня не тащи, не надо,— сказал Палишко,— мне уж срок вышел. Партбилет возьми, отнеси в часть, пусть отдадут его тому, кто мне его давал. Там знают.

Сережа принес партбилет.

Вот и все о бое на Безымянной высоте, о бое, который случился в день 24-й годовщины части.

В этот же день из рейда вернулись разведчики, хозяева горных троп, гроза вражьего тыла. Они пришли усталые, голодные, забрызганные грязью и веселые. Пришел Филипп Кононов, который говорит о себе: «Я воевать любитель», пришли шахтер Иван Казаков и огромный Баюк, считающий, что нет для разведчика оружия лучше, чем острый нож, пришли бойцы Ломоновского. Жадно набросились они на котелки с дымящейся кашей. Их окружили товарищи. И разведчики, глотая горячее пшено, стали рассказывать об очередном набеге, показывать трофейные зажигалки, хвастаться захваченным оружием.

Их слушали с завистью. Всякому бойцу лестно побывать в веселом лихом деле, налететь, как Кононов, на карательный отряд и разгромить его, ворваться, как Ломоновский, в станицу, занятую неприятелем, и нашуметь там. Всякому лестно отбить обоз, попробовать чужеземного вина и хвастнуть трофейной штучкой. И многие бойцы просятся: возьми, научи, поведи в рейд. Кононов долго присматривается к людям. Ему храбрецы не нужны, ему нужны толковые ребята. Иной «храбрец» всех подведет и погубит. Разведчику нужна храбрость умная. И Кононов еще долго рассказывает окружавшим его людям, какая это хитрая, интересная, веселая профессия — разведчик-истребитель.

А во взводе Ломоновского бойцы провожают своего командира в госпиталь. Из очередного рейда Ломоновский вышел раненным. Нетяжелая рана, а без госпиталя не обойтись. Ломоновский сдал взвод новому командиру, все объяснил, но не торопится отъезжать. Вокруг его повозки собрался весь взвод. Все взволнованы. У многих слеза блестит в ресницах. Сам Ломоновский взволнован тоже — ему до смерти горько расставаться с ребятами. Дрогнувшим голосом говорит он новому командиру:

— Возьми моих мальчишек, детишек моих возьми и действуй, как мы действовали.

Новый командир обещает.

— При всех обещаю! — волнуясь, повторяет он.

Ломоновский вдруг весело улыбается.

— Врага бей, как мы били. Жалеть его нечего. Ну,— кричит он ездовому,— трогай!

4

Эхо сталинградского удара громко отозвалось в Кавказских горах. Оно вызвало в сердцах бойцов радость, гордость и... зависть. Хорошую военную зависть. «Эх, отчего я не там! — восклицает каждый.— Эх, когда же наш черед?!»

Никогда не угасал в сердце русского воина наступательный порыв. Скоро ли, скоро ли? — этот вопрос всегда на устах. За встречу в Киеве пьют в землянке украинцы. О походе на Запад мечтают молодые советские офицеры. Не найти воина, который не верил бы в наше победоносное шествие по освобожденной земле, не найти воина, который не обрадовался бы приказу наступать.

Наступать — значит освобождать. Что может быть священнее?

Наша зависть понятна. Каждый хотел бы, как сталинградцы, идти по снежной, из пепла и крови подымающейся земле.

— Да,— говорят в блиндажах люди переднего края,— на улицах Сталинграда уже праздник: ишь как весело врага бьют! Ну, и у нас в горах дождемся праздника. Будем и мы врага бить на улицах Майкопа и Краснодара!

1942 г., декабрь

ЗДРАВСТВУЙ, ДОНБАСС!

Эти строки пишутся в Сталино, обугленном, дымящемся, ликующем Сталино. Еще ползет над городом горький дым пожарищ, черное пламя лижет бетон и железо заводских корпусов, еще корчится в огне растерзанная улица Артема, его горе не выплакано и даже не высказано, а уже ликует освобожденный город. Все, кто выжил в нем, все, кого не успели замучить оккупанты,— все сейчас на улицах. Мужчины и женщины, дети.

Они еще ничего не рассказывают, они не могут сейчас рассказывать, они только плачут от счастья, целуют бойцов и их пыльные щеки, их солдатские руки, их оружие и повторяют:

— Как мы вас ждали! Как мы вас ждали!

Первые часы освобождения. Первое вольное утро после двух страшных лет. Первая встреча освобожденных со своими освободителями. Нельзя описать, и, вероятно, и пытаться не надо. Не расскажешь сейчас того, что чувствуешь, слов не подберешь, но волнение сжало твое горло, и ты шепчешь слова, какие есть, может быть, и не те.

Здравствуй, земля родная!.. Черная... Горькая... Единственная... Здравствуй, Донбасс!

А через город все идут и идут вперед бойцы — освободители Донбасса, запыленные, закопченные, усталые, счастливые. Рыжая донецкая пыль лежит на их костюмах, пламя донбасских боев горит на их лицах, за их плечами слава, как крылья. Они с боем прошли через весь Донбасс и освободили его.

— Как мы вас ждали! — ликующе кричат им с тротуаров.

А бойцы могли бы рассказать, как они сюда рвались.

Они дрались за Сталино еще на миусских рубежах. Уже в июльских, августовских жестоких боях на Миусе было заложено начало освобождения Донбасса. Мы видели миусский рубеж. Немцы называли его крепостью на Миусе. Скалистые берега, реки, холмы, курганы, высоты были одеты в железо и камень и окутаны проволокой. Подступы к ним заминированы, горы дышали огнем.

Войска генерал-полковника Толбухина перемололи на Миусе немецкие дивизии. На поля этих сражений нельзя спокойно смотреть. Это поля славы. Трактор войны словно перепахал их. Наша артиллерия превратила вражеские блиндажи в груду щепок и камня. Прорыв на Таганрог решил судьбу Миусской крепости. Прорвавшись через Миус, войска Южного фронта вторглись в самое сердце Донбасса. Их удар совпал с ударом войск генерала армии Малиновского.

Мы прошли по дорогам боев. Когда-то по этим же дорогам мы отступали. Мы говорили тогда шахтерам Донбасса: «Мы еще вернемся». Вот мы и вернулись.

Мы вернулись не теми, что ушли,— война многому научила воинов, и прежде всего мастерству победы. Только это объясняет успех стремительного победоносного марша войск по Донбассу. Это была музыка, чистая музыка, сказал мне один боец. Да, музыка, симфония победы. Стремительно, без устали шли вперед пехотинцы. Штурмом брали города, ломали сопротивление врага, их поддерживала артиллерия. Танки шли под прикрытием авиации. Безостановочно двигались тылы. Прекрасное взаимодействие всех родов оружия во имя победы.

Бойцы рвались вперед, навстречу им рвалось сердце.

Вдруг радист принял странные позывные:

— Товарищ! Говорит Макеевка, говорит Макеевка.

Радист даже растерялся от неожиданности.

— Какая Макеевка?

— Говорит командир партизанского отряда. Сообщаю сведения об оккупантах, об их огневых точках.

И действительно сообщил все.

Мы встретили потом в Макеевке командира этого

партизанского отряда — товарища Алексинцева. Мы видели и его подпольную радиостанцию.

Товарищи из дивизии встретились с Алексинцевым впервые, только взяв Макеевку.

— Знаешь, когда мы тебе окончательно поверили? — сказали они Алексинцеву.— Когда наш радист поблагодарил тебя, а ты ответил: «Меня благодарить не за что, я служу Родине». Тогда мы убедились, что ты свой, русский человек.

Взяв Макеевку, Енакиево, Ясиноватую, войска безостановочно продолжали двигаться на Сталино. К этому городу рвались все сердца. С трех сторон шли на штурм города бойцы генералов Рослого, Белова.

В городе население нетерпеливо ждало прихода наших войск. Эти чувства уже нельзя было скрыть, да люди их и не скрывали. Вражеская газетенка «Донецкий вестник» первого сентября была вынуждена обратиться со специальным обращением к населению.

«С некоторых пор по городу стали ходить тревожные, очень волнующие население слухи о безнадежном положении немецких войск на фронте и о том, что приход большевиков в Юзовку — это дело нескольких дней. Усилившееся движение машин по улицам города рассматривается как явное отступление немецких частей».

Газетенка заклинала население не верить слухам. Но люди верили своей душе. Душа народа не обманула.

Перед уходом из Сталино враги хотели угнать с собой все население. Они объявили, что тех, кто не уйдет с ними, расстреляют. И они стали расстреливать, сжигать живьем в домах.

Мужчины, девушки, юноши прятались в погребах, на чердаках, в сараях. Они верили: наши скоро придут, наши спасут. Они прислушивались к грохоту боя — бой приближался, а с ним и освобождение. Вот уж на окраине застучали пулеметы. Так трудно было скрывать радость. Сердце рвалось навстречу. Какая-то женщина на Второй линии вывесила над своим балконом алое платье — оно затрепетало на ветру, как флаг. В городе еще были враги.

Сейчас первые флаги вольно взмыли над Сталино. Люди вышли из подвалов. Пришли с пепелищ. Они еще не верят своему счастью. Они хотят забыть горе.

Тротуары осыпаны обуглившимся камнем, битым стеклом, обрывками проводов. Оккупанты отомстили камням города, как мстили людям. Пять дней поджигатели бегали по городу и жгли его зло, исступленно, как умеют только они, дикари. Лучшая улица города, краса его и гордость — Первая линия — превращена в руины. Мертвый завод взорван. Разрушены почти все здания культурных учреждений. Многие из них были использованы как помещения для тюрем, лагерей, застенков. Разорванная колючая проволока болтается на заборах. Сейчас, в эти первые часы освобождения города, еще трудно подсчитать все раны. Еще не были мы на кладбищах, еще не видели противотанковых рвов и шахтных шурфов, забитых трупами. Но мы все сочтем — каждую каплю крови, каждую слезу, пролитую нашими людьми. Мы ничего не забудем.

В городе, освобожденном всего несколько часов назад, уже начинается новая жизнь. Самое замечательное во всем, что видишь сейчас в освобожденных городах,— это страстная жажда восстановления. Люди истосковались по своему труду. Наш шофер удивляется молниеносности, с которой возникают мосты. Люди сами приходят в горсовет, в горком партии. Связисты хотят немедленно восстановить почту, телеграф. Через несколько часов после освобождения Сталино на единственном уцелевшем в центре города большом здании уже висел плакат: «Комбинат Сталиноуголь объявляет прием рабочих».

Тут уже толпятся сотни людей.

Вслед за войсками, а часто и вместе с ними возвращаются в города партийные и советские работники. Я встретил в Макеевке своего старого комсомольского товарища Ивана Диденко. Он сейчас секретарь Макеевского обкома партии. Ему некогда толком поговорить со мной — хлопот полон рот.

— Хотим поскорее дать городу хлеб и воду! — крикнул он мне на бегу.

В Сталино прибыли секретари обкома партии и председатель облисполкома. Тут их уже на улице обступила толпа людей. Их узнают.

— Наши, наши, старые! — ликует народ.

И в том, что в город вернулись старые, давно знакомые руководители, для них, наших людей, освобож-

денных несколько часов назад, заключен драгоценный символ возвращения всего привычного, любимого, родного советского строя.

Уже полдень. Все глуше и глуше доносятся сюда артиллерийские раскаты. Фронт движется вперед, на запад. Движется стремительно, неотвратимо. Бойцы, вернувшие стране Донбасс, продолжают свой солдатский трудный победный марш.

Их зовет сейчас к победе ветер с Днепра...

1943 г., сентябрь

МАРИУПОЛЬ

Этот город когда-то считался самым веселым в Донбассе. Приморский, зеленый, вечно смеющийся, вечно поющий Мариуполь. Заводы и виноградники. Домашнее, уютное Азовское море. Портовые парни, черноглазые быстрые девчата, веселая комсомолия Азовстали. Да, это был хороший, веселый город. Последний раз я был здесь два года назад. Здесь еще пели, немного тревожно и грустно,— но пели. Город еще не знал своей судьбы.

Догорают пожары в Мариуполе... К нашей машине подходит оборванный, черный, бородатый человек. Всклокоченная, почти седая борода. Остатки зубов во рту. Он смотрит на нас влажными, сияющими глазами.

— Я комсомолец.

С ужасом гляжу я в его старческое лицо. Он грустно улыбается.

— Гестапо, лагери, два года под гитлеровцами...

Два года... А словно века. Состарились люди, состарился город. Обветшали здания. Бурьяном заросли трамвайные пути. Под воздействием фашистской «культуры» одичали люди.

Город принадлежал солдатам. Главная улица называлась улицей германской армии. Лучшие кинотеатры служили только солдатам — «Солдатенкино». Русских туда не пускали. Солдатские публичные дома располагались в школах и клубах. Школы были закрыты. На садовых скамейках, в скверах красовалась надпись по-русски и по-немецки: «только для немецких солдат».

Для русских людей Мариуполя были подневольные, каторжные работы, лагери, тюрьмы. Для непокор-

ных — могила в противотанковом рву. Вероятно, немного найдется в городе людей, не перепоротых гитлеровцами. Били все — от солдата до главного коменданта, били за все — за слово, за жест, за взгляд. За популярную в Донбассе песню «Позор девушкам, гуляющим с гитлеровцами» карали особо сурово.

И все-таки Мариуполь верил, что увидит лучшие времена, дождется своих избавителей. По рукам ходили наши листовки. Летчики сбрасывали их над городом и окрестными селами. Иногда ветер относил их в степь, и тогда из города на поиски листовок отправлялись целые экспедиции. Находили. Приносили, спрятав на груди. Читали друг другу. Дожидались, пока постояльцы, немецкие офицеры, отлучатся с квартиры, и жадно бросались к их радиоприемникам. Ловили Москву. Однажды старик Андрей Удовиченко услышал по радио голос своего сына Святослава, красного офицера. Старик расплакался от счастья. Потом он часто рассказывал о сыне людям.

О «тиграх» гитлеровцы писали в своих газетах, как о непобедимых машинах. Мариупольцы с удовольствием разглядывали пробоины на «тиграх» и восхищались: «Аккуратная работа!» — и ждали страстно, неистово, самозабвенно прихода наших войск. Подымались на курганы, прислушивались: не слышно ли артиллерии. Вглядывались в море: не видно ли десанта с кубанского берега. И твердили друг другу: скоро, теперь скоро...

Объявления городской управы заклинали: «Мариуполь далек от фронта» — и умоляли жителей не верить слухам.

А народ принимал свои меры. Он знал, что грозит ему: уходя из города, оккупанты будут угонять мужчин с собою.

Семья Кочеджи заранее вырыла себе туннель в горе. Здесь скрывались они и соседи. Выходили только по ночам — на огороды и по воду. У кого пещер не было, прятались в кукурузнике, в камышах, некоторые даже в речках, в воде. Город опустел. Только дети да старухи еще ютились кое-где в подвалах, дрожали от страха и жарко молились о скорейшем приходе Красной Армии.

Тогда-то оккупанты и выпустили на улицы беззащитного города своих «факельщиков».

Описать это почти невозможно. Три дня над городом, словно черная туча, стоял дым. По улицам метались пьяные солдаты, поджигатели. Врывались в дома, выплескивали на комоды, постели, шкафы бензин, зажигали и бросались дальше. Женщины падали на колени, умоляли пощадить их жилье, протягивали грудных детей. Враги хватали ребенка и швыряли в огонь. Шипело человеческое мясо, полузадушенные люди выбегали из дома под пули автоматчиков. Мать Галины Ренской начала было спасать свой домишко — ее пристрелил гитлеровец. По всему городу металось черное пламя, в огне и дыму с хохотом и свистом, как дикари у костра, носились, приплясывая, пьяные, бесноватые, одержимые демонами разрушения фашисты.

Нет, это не солдаты. Это дикари, пляшущие у костра, каннибалы, пьянеющие от запаха жареного человеческого мяса. Люди, лишенные самых элементарных зачатков цивилизации, не знающие ни жалости, ни чести, ни воинского долга.

Из кукурузников, из камышей, из пещер возвращаются в город люди. Врагам не удалось их угнать. С тощим узелком идет меж развалинами Ольга Володина. Узелок — вот все, что осталось у нее. Восьмилетняя девочка несет штору с алым бантом, ищет мать. Около полусожженных кроватей на пепелище возятся люди. Кто-то разгребает золу. Мужчина с ожесточенными, сухими глазами рубит обгорелые бревна. Он хочет сколотить пока хоть конуру.

В парке, на заводе имени Ильича в первый раз за два года гремит радио. Только что закончился митинг. Сейчас будут выступать приехавшие в Мариуполь артисты армейского ансамбля. Народ нетерпеливо ждет. Он еще не верит, что это возможно.

Этот город снова будет самым веселым в Донбассе.

1943 г., сентябрь

СОЛДАТЫ ИДУТ НА ЗАПАД

Они сидели в шахте и ждали. Там, наверху, на земле шел бой. Уже третьи сутки над Сталино висело зарево пожаров. Пьяные факельщики метались в дыму, поджигали дома, хватали мужчин, угоняли женщин, убивали детей.

Шахтеры спасались в старой шахте. Их было здесь более двухсот человек. Прислонившись к мокрым стенам квершлага, сидели люди. По-забойщицки, на корточках. И ждали. Смерти или воли.

Над их головами гудела и содрогалась земля. Оккупанты взрывали шахту. Со стоном рухнул копер. Словно капкан захлопнулся. К инженеру Симонову подполз старик Задорожный и взволнованно сказал:

— Я выработки смотрел... Филипп Иванович!

— Ну? — не понял инженер.

— Удивления достойно! Выработки-то целые...

— Как целые?

— Идем покажу!

И старики поползли по шахте смотреть горные выработки. Они забыли о врагах, о горе, о капкане. Они думали сейчас только о сохранившихся чудом выработках.

Там наверху шел бой. Еще неизвестно было, чем он кончится. Наши ли осилят неприятеля, или ему удастся устоять на нашей земле. А старики ползли по выработкам и мечтали о том, как они начнут восстанавливать шахту.

Они верили: наша армия прогонит врага. Они знали: наша сила одолеет!

Может, им, старикам, не удастся выкарабкаться отсюда, из капкана. Ну что ж! Но выработки, выработки-

то целы! Другие шахтеры придут в забои. Другие шахты станут «качать» уголь.

Я встретил этих стариков в те дни на шахте и не забуду никогда. Незабываемые сентябрьские дни 43 года! Освобождение Донбасса.

Я узнал тогда, в те дни, силу жажды. Жажду боя у воина. Жажду труда у шахтера. Это — великая сила. Она движет.

Солдаты идут на запад. Строители приходят на шахту. И это самое волнующее, что видел я на войне.

1944 г., февраль

ЧУВСТВО ДВИЖЕНИЯ

В Кривом Роге люди, два с половиной года судорожно жившие под страшной властью оккупантов, сейчас дрожать перестали. Многие месяцы прожили они в тоске и страхе. Шахтеры прятались по шахтам. По ночам вылезали «на-гора́», прислушивались к артиллерийскому грому. Он приближался, он нес им спасение. Они привыкли к шагам канонады — она шла к ним. На выручку. Они жадно ждали.

Артиллерийская гроза прошумела над городом, как спасительный дождь, и прокатилась дальше. На запад. Это — неотвратимое движение. И люди в городе это знают. Никто не спрашивает: неужто гитлеровцы вернутся? Они уже видели врагов, спасавшихся бегством. Видели и наши войска и нашу технику. Чувство победы стало всеобщим, решающим чувством.

Вместе с войсками пришли в город старые криворожцы-руководители. Председатель горсовета Зиненко приехал из далекого Мурманска. Родной город тянет. Родной город ждет хозяев и работников. Зиненко двигался вместе с войсками вслед за артиллерийским громом — это было движение домой, к труду. Вот он пришел. Недолгие объятия с земляками, и за работу. Темпы восстановления жизни в освобожденных городах теперь куда выше, чем в первые месяцы наступления,— мы научились и этому. Наступление строителей на разруху по-военному размерено часами. Каждый час приносит победу. Уже есть телефон. Сейчас будет радио на улицах. Скоро будет вода, свет, печеный хлеб. Это все крепости, и их берут с боя. Стосковавшиеся по труду люди работают жадно.

Из развалин своей редакции вытащил редактор Александр Криворог две печатные машины «амери-

канки». Наборщики разыскали шрифт в золе. Редакция ютится в уцелевшем сарае. Но первый номер газеты криворожцев уже вышел.

На шахту прибыл Алексей Семиволос. Он стосковался по родной криворожской руде. Богатая руда, такой нет в мире. Путь к ней лежит сейчас через развалины шахт, через море подземной воды.

Враг зверски разрушил шахты, заводы, поселки Криворожья. Но люди не плачут, не охают над руинами — они засучивают рукава. Можно разрушить дом — нельзя испепелить жизнь. Мы видели бульвар в Днепропетровске. Над черными деревьями, изуродованными снарядами, поднялись уже тонкие руки новых ветвей. Сок бежит по древесным жилам. Это великое движение. Это — жизнь.

На железной дороге уже стучат кувалды. Темпы восстановления дорог поразительны. Мы любим благодушно, насмешливо поругивать наш «расейский беспорядок» и бездорожье — мы и не заметили, как в огне войны выковался такой порядок на наших дорогах, до которого немцам далеко. Но раньше железной вползла в Кривой Рог ВАД — военно-автомобильная дорога,— с ее бесчисленными указателями, дорожными лозунгами, усатыми регулировщиками, бензозаправочными пунктами и даже с офицерской гостиницей. Дорога рвется через город на запад и на юго-запад. Регулировщик молодцевато салютует флажком танкистам. Все охвачено великим чувством движения. И это самое волнующее, что видишь здесь.

Движутся танки, орудия, обозы, забрызганные грязью грузовики везут боеприпасы. Идет пополнение. Оно идет хорошей дорогой — дорогой победы. Это не забудется в бою.

Дороги развезло. Оттепель. Туман. Грязь. И даже дождь в феврале. Грязь здесь густая, тягучая, мощная. Чернозем. Поля покрыты непрочным мокрым снегом и водой. Вода всюду. «По правилам» в такую непогодь наступать нельзя.

Но никто — ни командование, ни офицеры, ни бойцы не говорят себе: нельзя наступать в такую погоду. Напротив, все охвачено наступательным порывом. Великое чувство движения вошло уже в кровь и плоть советского солдата. На запад — это не только лозунг,

не только клич, это — импульс. Это — приказ сердца. Тот, кто видел развалины Кривого Рога, тот, кто прошел от Волги до Ингульца, тот не может медлить. Он торопится. Он знает, как ждет освобождения родная земля. Он к ней идет.

Люди тащат орудие на себе по грязи. Если же свое орудие подтащить трудно, то можно и у немцев взять. И берут. Артиллеристы Лукьянчикова захватили немецкую пушку, выделили для нее новый расчет и бьют врага из его же орудия. Тысяча снарядов уже полетела на голову неприятеля. Теперь артиллеристы собираются еще прихватить у врага пушчонку.

Ни дождь, ни грязь не могут остановить наших пехотинцев. Здесь говорят даже, что туман и дождь — не помеха, а скорее подспорье. Туман для внезапного налета хорош, а по грязи врагу удирать труднее. Пользуясь туманом, разведчики ходят в лихие рейды. Группа сержанта Соколова прошла в тыл врага, напала на численно больший отряд гитлеровцев, девятнадцать убила, а офицера привела. Все чаще стали действовать наши подразделения ночью. Внезапными ночными налетами захватываются населенные пункты. По ночам же идет неутомимое преследование отступающих частей. Несмотря на непогодь, линия фронта все дальше отодвигается на запад и юго-запад.

Оккупантов тоже охватило чувство движения. Это движение рака, карабкающегося восвояси под корягу. Враг упирается, он не хочет уходить, он отчаянно сопротивляется, но глаза у него на затылке. Он смотрит назад.

В немецких письмах и дневниках один мотив: мы не знаем, сколько простоим здесь, но похоже на то, что очень недолго. Окончательно потеряв Днепр, они думают теперь о Южном Буге как об обетованной коряге. Они отчаянно дерутся на каждом промежуточном рубеже. Они цепляются. Но в то, что устоят здесь, больше не верят.

Фронт движется... Несмотря ни на что — ни на грязь, ни на распутицу, ни на отчаянное сопротивление. Это движение — то более быстрое, то временно замедляющееся, но неотвратимое и ежедневное. На запад. К победе.

1944 г., март

СОЛДАТСКИЙ ТРУД

О форсировании великих рек уже сложено и еще будет сложено много песен, поэм, былин. Но кто споет, кто расскажет о том, как ранней и мокрой весной 1944 года «форсировали» наши солдаты дикую распутицу и бездорожье, рыжую и черно-бурую грязь холмистых украинских степей?

Только советский солдат может безостановочно наступать в такую непогодь. Только его богатырским плечам по силам такой труд. Только он может без сожаления и даже с веселой шуткой расстаться с землянкой-сушилкой или редкой в этих выжженных селах уцелевшей хатой и, наскоро обмотав вокруг ног непросохшие портянки да накинув на плечи все еще сырую шинель, броситься навстречу новому бою.

— Наступаем, тетка, сушиться некогда,— только и кинет на ходу он доброй хозяйке.

Наступление — магическое слово. Когда люди в тылу слышат слово «наступательный порыв», им представляется: дым и пламя боя и в нем воины, вдруг охваченные вдохновением битвы, подымаются и, презирая смерть, коротким, ожесточенным, отчаянной силы штурмом добивают врага. Так и бывает. Это и есть солдатский подвиг, высокий наступательный порыв. Но какого высочайшего накала должен быть наступательный порыв, чтобы ежедневно, в любую погоду, и днем и ночью, без отдыха идти с боями по этой проклятой грязи, преследовать врага, когда он бежит, ломать его оборону, когда он сопротивляется, и гнать его, гнать прочь с нашей земли — до Буга, за Буг, за Днестр — до конца. Для такого наступательного порыва одного вдохновения и энтузиазма мало. Надо волю иметь большевистскую, надо силу иметь богатырскую.

— Когда назад шли,— сказал нам боец Иван Слюсарев,— ноги были тяжелые, неохотные. А как вперед идем — и нога стала легкая, сама тянет.

Тянет. Земля, изнывающая под ярмом,— тянет. Волнующая близость полной победы — тянет. Вот почему и тяжелый солдатский труд не тяжек. Вперед! Вперед!

Вперед! Артиллерийский расчет сержанта Ивкина, награжденного многими орденами и медалями, тащит на себе орудие. Тащат по грязи. Впряглись, как добрые кони. Навалились плечом, грудью, всем телом. Вязнут в грязи колеса. Туго дается дорога. Но люди не сдаются. Вперед! Надо поддержать атаку пехоты — захлебнется. Артиллеристы выкатывают тяжелое орудие на открытую позицию. Бьют прямой наводкой. Разбивают блиндаж. Оттуда выскакивают ошалелые фрицы. Еще снаряд. Убит фашистский майор. Бросается в штыки наша пехота. Остатки вражеского батальона сдаются в плен.

Вперед! Несут на себе миномет гвардии рядовые мордвин Сержантов и чувашин Власов. Один несет плиту, другой — ствол. Несут десять, двадцать, тридцать километров. Несут ежедневно. От боя к бою. И кажется, слились вместе в одно тело воин и его оружие, стальная плита и человек, и еще неизвестно, в ком из них сталь крепче.

— Мы с им,— любовно говорит о миномете Сержантов,— мы с им вместях наступаем, от пехоты не отстаем.

Они не отстанут. В карманах шинели у каждого из бойцов расчета по две-три мины. Это на тот случай, если тылы вовремя не подвезут. На первый раз десятка мин хватит. Вперед!

Падает дождь. Холодный, непрерывный. Минометчик Семиренко вытаскивает из мешка сухую плащ-палатку и бережно окутывает ею миномет. Сам Семиренко остается в мокрой шинели. Так проходит ночь. Минометчик весь продрог от холода и сырости, но его оружие в полном порядке. Так оно и должно быть, по мнению Семиренко.

— Куда же я без материальной части? — рассуждает он.— Без материальной части мне никак нельзя. Она отсыреет, ржавчину даст — вот мы вдвоем и пропали. А я человек привычный, меня ржавчина не берет.

Так и казак относится к коню, сам не поест — коня накормит. Так пулеметчик относится к «максиму»: сам в засуху не напьется, а пулемет напоит. «Материальная часть! Ее беречь надо, техника!» Семиренко никогда не называет миномет минометом, а всегда почти-

тельно и торжественно: материальная часть. Материальная часть не подведет его в бою.

С боями движется на запад пехота. Часто это такие стремительные броски, что тылам за ними поспеть трудно. Дороги стали непроезжими. И машины и кони вязнут в грязи. Трудно доставлять боеприпасы на передний край. И все-таки их доставляют.

Старший лейтенант Сизов, гвардии старший сержант Хафизов, гвардии рядовой Лунев с товарищами решили, что если нельзя двигаться дорогой, то можно речушкой. Они снарядили караван из пятнадцати лодок и потащили его по реке. Потащили в буквальном смысле этого слова. Волоком. На себе. Как бурлаки волжские в старину. По воде и грязи. Двенадцать лодок дошли, три разбились. Но боеприпасы были на передовой.

Передний край не должен знать ни в чем нехватки. Все переднему краю — это здесь закон жизни и закон битвы. Закон для шоферов, побеждающих бездорожье, для тыловых баз, для хлебопеков, для железнодорожников, для врачей.

Когда машины армейского госпиталя окончательно и прочно завязли в грязи, начальник госпиталя подполковник медицинской службы Карбулаков вызвал к себе всех врачей. Они собрались в грязи у машин. Начальник молча показал им на дорогу. Врачи поняли. Где-то далеко впереди уже начались горячие бои.

Врачи без долгих разговоров уложили в заплечные мешки инструментарий, перевязочные средства, медикаменты, все, что можно было навьючить на себя, и пошли пешком по грязи. И, придя на место, тотчас же развернули госпиталь, стали принимать раненых.

Никто из этих железных людей — ни врачи, ни воины, ни шоферы, изнемогающие в борьбе с бездорожьем, ни летчики, летающие в туманном и дождливом поднебесье,— никто не считает геройством и подвигом то, что они делают. Это — труд. Тяжелый, славный, почетный и нужный солдатский труд. Надо идти вперед. Надо гнать неприятеля. Надо добивать врага. И они идут.

Над украинской степью, над боевыми порядками наступающей армии гремит лихая, насмешливая частушка:

Мы в степях Кривого Рога
Скрутим их в бараний рог...

1944 г., март

ХЕРСОН

Древняя таврическая земля. Щедрая, тучная, богатая. Добрым жиром лоснится ее чернозем. По колени в талой воде стоят ее сады. Навстречу весне и солнцу распахнуты ее зеленя. Это — земля-работница. Самолет летит над степью час, второй, а все нет ей ни конца, ни края.

Но сейчас подымается над нею не сытный пар, а горький дым. Поля ее истерзаны, села сожжены, пашни вытоптаны. Повсюду следы борьбы. Рубцы. Раны. Все тело ее избито, исковеркано, изуродовано воронками. Огромными там, где упала бомба, глубокими, уже полными воды там, где врезался снаряд, маленькими и частыми, как оспинки, там, где рассыпались мины. Вся степь вокруг изрыта окопами и блиндажами, хитрыми зигзагами ходов сообщения, прорезями щелей, подковами пулеметных гнезд, рвами, траншеями и эскарпами. На теле этой равнины можно прочесть всю историю боев: и то, как враг жадно вгрызался в землю, цепляясь за эту богатую, жирную, изобильную степь, и то, как ломая врагу хребет, выковыривая его из нор, шел и шел на запад наш пехотинец. Кажется, что каждая ячейка, в которой лежал перед новым броском наш наступающий боец, еще хранит тепло его горячего возбужденного тела.

Это — дорога войны. Нам всем суждено было пройти этой дорогой дважды: первый раз на восток, второй — на запад. Мы прошли этой дорогой в горьком августе 1941 года. Помню притихший перед бедою Херсон, пыль на дороге, скопище машин в Бериславе у переправы и злорадный рев «хейнкелей» над днепровскими паромами. Тогда мы уходили на восток, за

Днепр. На стрежне реки под вой чужих бомбардировщиков мы давали в душе молчаливую клятву: вернемся. Вот мы вернулись. Теперь и небо наше, и река наша, и дорога на запад наша, наша, как бы ни сопротивлялись враги. Самолет проходит Каховку, идет над Днепром, гордо вздымается вверх над высоким берегом у Берислава и берет курс к Херсону.

Херсон возникает под нами, весь окутанный дымом пожарищ. С крыш высоких зданий к нам тянется пламя. Столбы дыма, как кулаки, подняты в небо. Проклятые оккупанты — грозится город — проклятые!

Самолет идет низко, как только можно низко. Сквозь дым видны улицы города. Они пустынны. Ни одного человека не видно. На этот город страшно смотреть. Теперь мы летим над центром. Здесь почти нет пожаров. Мы видим много уцелевших чудесных зданий. Но люди, где люди?

И только когда, сев на окраине, мы пошли в город, мы узнали, где люди Херсона, что с ними и их городом сделал враг.

Но прежде чем увидеть людей, мы увидели объявление. Гитлеровский комендант объявлял жителям, что «серьезность положения требует некоторой строгости», поэтому «появление на улицах запрещается от трех часов пополудни до пяти часов утра. Лица, находящиеся в эти часы вне своих жилищ, будут судимы», то есть расстреляны. Это объяснили нам уже люди, выползшие откуда-то из подвалов. Они и рассказали нам о том, почему пустынен Херсон.

Четыре месяца назад у оккупантов в Херсоне была «паника»: наши войска форсировали Днепр, взяли Киев, Днепропетровск, вышли к Днепру напротив Херсона. Под ногами врагов горела почва. Тогда-то и появилось объявление коменданта. Людей загнали в дома. После трех часов пополудни Херсон становился мертвым городом — только патрули тревожно проходили по улицам. Берег Днепра был весь опутан колючей проволокой.

Но и тогда не успокоились оккупанты. Наши люди, даже запертые в дома, пугали их. И они стали выселять людей из домов, гнать их прочь из своего города. Делалось это так. На улице вдруг появлялась «машина с трубой» — так называли все в городе этого ве-

стника несчастья. Пронзительный крик трубы, как крик беды, гремел над притихшей улицей. Старухи крестились — то была труба страшного суда. Женщины прижимали к себе детей.

Труба объявляла: всем жителям этой улицы приказано немедленно оставить свои дома. Всем. Немедленно. Или расстрел.

Люди должны были покинуть свои жилища. Им не разрешалось брать с собой вещей. Их просто изгоняли из города, в котором они родились, который они строили. Их гнали этапом. Их запирали в лагери. Когда лагери переполнялись, им разрешалось жить в пригородах. Многие, не дожидаясь, разбегались по селам. Другие прятались. Были такие, которые замуровывались в стенках, их тайники знали только жены. Тайком ночью проносили им пищу. Если жена попадалась, замурованный умирал в своем заточении. Мы видели молодого юношу Леонида Винниченко, он с восемью товарищами, среди них одна девушка, четыре месяца прожил в не известном никому подвале. Всех их кормила его сестренка. Сегодня Леонид впервые за четыре месяца увидел свет солнца.

Старик Залевский с товарищами прятался в плавнях. Оккупанты обнаружили их. Началась малая, но жестокая война. Плавни могут многое рассказать об этих многонедельных боях горсточки отчаянных стариков с фашистскими псами. Плавни побурели от крови.

Кто мог, старался уйти к нашим. Стоило только переплыть Днепр. О «том береге» мечтали. «Тот берег» был символом свободы и жизни. Но не все могли достичь «того берега». Прятались здесь. Жандармы дымом выкуривали их из подвалов, сжигали дома непокорных, убивали, расстреливали — люди не покорялись. Они хотели жить в своем городе. Жить или умереть в нем.

Изгнав людей из их жилищ, оккупанты приступили к систематическому грабежу пустого города. Мы видели города разрушенные, изуродованные и даже начисто сожженные врагами. Теперь мы увидели город, начисто обворованный.

В городе буквально нет ни одного не разграбленного общественного и частного дома. Ни одного.

Сегодня, в первый день освобождения города, уцелевшие жители после четырех месяцев изгнания яви-

лись в свои дома. Мы увидели картину чудовищного разгрома. Все мало-мальски ценное — мебель, одежда, даже посуда — похищено оккупантами. Все остальное перебито. Пух из перин. Обломки зеркал. Ножки разбитой табуретки, обрывки книг. Все разбито, загажено. И так буквально в каждой квартире города. Мы заходили в десятки домов, видели выпотрошенные внутренности квартир. Мы встретили Анфису Ивановну Максимову. Она плакала не над крушением годами сколачиваемого дома,— она плакала от обиды. Враги растоптали дорогие ей и не нужные им вещи. Мы видели старуху, она прижала к груди растрепанный семейный альбом и пучок бумажных цветов — все, что она нашла у себя дома. Мы шли по разграбленным улицам, усыпанным обломками стекла и зеркал, и видели выброшенные оккупантами из домов детское креслице, чучело птицы и другие вещи,— такой картины грабежа и разгрома нам еще не приходилось видеть.

Враги успели начисто ограбить город и его граждан —сжечь город они не успели. Они сожгли вокзал, взорвали завод имени Петровского, хлебозавод, электростанцию, мельницу — они сожгли бы все, если бы неожиданный и стремительный удар наших войск не вышвырнул громил из города.

Бойцы гордо проходят по улицам этого маленького, но красивого, приветливого и какого-то очень уютного города. Бойцы могут сказать: «Мы спасли вам ваш театр, ваши больницы, ваши общественные здания, ваши чудесные уютные дома». Но бойцы ничего не говорят — они уходят дальше, на Николаевское шоссе.

Затихают пожары. В город возвращаются люди. Еще в разбитых окнах тонко свистит ветер, еще хлопает оторванными ставнями, еще падают тут и там с шипением головешки, распространяя горький чад вокруг,— но в городе уже возникает жизнь. Властей еще нет, но на улице уже промаршировал отряд милиции во главе с майором Кук. Подле развалин собираются люди. Еще час тому назад совершенно мертвые, пустынные улицы наполняются людьми.

Возле парка стоит старик и смотрит на деревья. Много срублено гитлеровцами.

— Что рассматриваете, дедусь? — спрашиваем его. Он молчит.— А где ваш дом, диду?

— Нема дома. Спалили.

— А семья где?

— И семейства нема. Угнали.

— Ну, хоть имущество какое осталось?

Он не отвечает, все всматривается старыми, больными глазами. Вдруг он восклицает радостно:

— Цел, цел! — и довольно улыбается в усы.

— Кто цел?

— Дуб наш цел. Знаменитый херсонский,— и он показывает нам дуб.— Все срубили, все сломали,— говорит он,— а дуб цел. Нет, нас, стариков, не сломишь, не вырубишь. Мы — дубы. Он мне ровесник был, а может, и старше.

Мы стоим на вышке здания торгового порта — отсюда отлично видны и город, и река. Вот он, Херсон, чудесный, теплый, прекрасный наш город,— теперь навсегда наш. Вот он, Днепр,— могучий, вольный, широкий, наш до самого моря, навсегда наш.

1944 г., март

ВЕСНА НА ЮГЕ

Я не знаю, что это было,— мечта, вера, уверенность, знание. Но даже в самые горькие дни отступления мы ни на минуту не сомневались: мы вернемся. Мы вернемся к тебе, Одесса. Мы увидим твои лиманы, Николаев. Мы еще будем пригоршнями пить воду из Южного Буга.

Нет, я не обижу наше чувство. Слово «вера» к нему не подходит. Этого слова мало. Сила нашей правды — вот что жило всегда в нас. Грозная сила правды. Правда не могла не победить. Правда нашего дела.

Убежденно пели мы в те дни:

Нас опять Одесса встретит, как хозяев,
Звезды Черноморья будут нам сиять,
Славную Каховку, город Николаев,
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Эта песня родилась у нас на фронте в дни, когда мы отступали. Ее потом стали петь на всех фронтах, но она всегда оставалась песней южан по преимуществу. В промерзших блиндажах обороны на Миусе пели ее. По дорогам отступления на Дону и Кубани пели ее. В горящем Новороссийске вспоминали Николаев. Обороняя Туапсе, защищали Одессу и наше право прийти туда. И тут и там было Черное море. И тут и там были наши люди.

Казалось: невыносимо долог и тяжек путь от Туапсе до Одессы. На карту было трудно смотреть. Далеко. Но мы прошли этот путь. Мы его прошли.

Нас опять Одесса встретит, как хозяев. Уже сияют нам звезды Черноморья. Две недели тому назад, по пути в Херсон, пролетал я над давно мирной Каховкой. Песок пылал под багровыми лучами солнца, а мне

казалось, что выступила кровь павших. Много крови было пролито там, но сейчас мирно струится дымок над хатами. Волы медленно тащат плуги. И радостно парит теплая освобожденная весенняя земля.

Мы прошли этот путь. Прошли со славой. Войска генерала Цветаева, штурмом взявшие Николаев, еще так недавно брали штурмом Сталино. Сейчас они идут дальше. Их не остановит ни враг, ни грязь. Кто прошел такой путь, тот остановиться не может.

В Николаеве я видел могилу. Над ней — деревянный памятник, знак и на нем надпись: «Гвардии старший лейтенант Георгий Алексеевич Антюхин. Он первый с группой разведчиков вошел в Николаев и пал смертью героя». Эта надпись сделана карандашом. Потом ее повторят золотыми буквами на мраморе. Вместо деревянного временного знака будет монумент величественный и важный. И так же, как сегодня, будут сидеть у могилы женщины-матери и плакать о неизвестном им, но дорогом сыне.

Много славных имен рождено для бессмертия в эту весну. Глядя на могилу героя, я думал, что рядом с памятником Антюхину надо ставить памятник капитану Феденко — богатырю, павшему в сорок первом году под Каховкой смертью, которой можно завидовать. Надо вспомнить одну славную дивизию, которая здесь, под Николаевом, у станции Грейгово, прорвала железное кольцо врага и дала дорогу нашей армии. Надо вспомнить знаменитую Иркутскую дивизию — здесь, в Николаеве, она впервые била танки Клейста. Много орденов украшают боевое дивизионное знамя Иркутской, много подвигов вписано в летописи. Слава героев наступления сорок четвертого года сливается со славой героев тяжелых боев сорок первого — сорок второго годов, и это — слава нашего оружия.

Сейчас на юге весна. Весна наступления. Весна освобождения. Сполз с полей снег, обнажились стосковавшиеся по сеятелю поля. Как снег, как грязь, исчезают с нашей земли оккупанты. Их дивизии тают. Трупами их солдат унаваживается почва. Безостановочно гонят врагов наши войска. К морю. В море. Это — возмездие. Начало возмездия. Я видел горы фашистских трупов в районе Шевченковских хуторов. Это место теперь в народе зовется просто: «Побоище».

Сейчас фашисты удирают к морю. Земля очищается навеки от вражеской парши. Возрождается жизнь. Теперь — не вслед за войсками, а вместе с войсками — идут строители, хозяйственники, советские и партийные работники. В Кривой Рог вместе с передовыми частями пришли шахтеры. В Апостолово и Долгинцево — железнодорожники. В Николаев — инженеры-кораблестроители. Я встретил здесь Прасковью Дмитриевну Гнеденко. Она пропагандист Николаевского обкома партии. Эта женщина прошла с войсками весь путь от Днепра до родного города. Она форсировала Днепр на лодке. В Херсон пришла пешком из Берислава вместе с передовыми частями. Под Водопоем вместе с секретарем обкома Филипповым пережила всю ярость последних отчаянных немецких контратак. Николаев еще горел, когда туда пришли она и Филиппов. Было страшно смотреть на развалины. Показалось: нет больше города, родного города. Так всегда кажется в первые часы. Каждая утрата остра и невосполнима. Каждый сожженный дом дорог.

Но дым рассеялся, и среди пепелища и развалин обозначились уцелевшие здания и районы. Люди обрадовались им так, как не радовались вновь отстроенным. Закопченные, но целые, эти дома казались милее и прекраснее, чем были прежде. Уцелело чудесное здание Дворца пионеров, цел знаменитый николаевский элеватор, не сожжена Слободка. Здание Госбанка стоит нерушимо среди разрушенных домов. Эти и многие другие здания сохранились не потому, что враг решил пощадить их. Если бы дать ему волю, он все бы сжег, обратил в пустыню. Во многих уцелевших зданиях мы видели выдолбленные оккупантами отверстия для закладывания тола. Все было подготовлено для взрыва, но поджигателей схватила за руки наша армия. Это Красная Армия спасла то, что уцелело. И, главное, спасла людей Николаева.

Врагу не удалось покорить жителей города Николаева. Они выходят сейчас из подвалов, убежищ. Они очень ослабли от голода. Я видел, как женщины везли своих мужей на тачках — двигаться сами они еще не могли.

— Вот выкопала,— сказала мне, гордо улыбаясь, женщина.— Он у меня закопанный был. Прятался.

Мужчина смущенно усмехается. Ему неловко, что его везет на тачке жена.

— Ослабел,— тихо сказал он.— Но ничего, отойду, еще повоюю.

Враги разрушили в Николаеве все, что сумели разрушить. Многое им удалось. Душу нашего человека разрушить они не смогли. Они взорвали электростанцию, и в городе сейчас нет электроэнергии. Но в людях освобожденного города аккумулированы такие огромные запасы человеческой деятельной творческой энергии, что можно горы своротить. Люди целы, значит, снова будут в Николаеве и верфи, и заводы, и школы, и театры. Люди стосковались по труду. Они приходят за работой сами. Их не надо агитировать, подымать, звать. Им надо только сказать, что делать. Они готовы строить все: дороги, мосты, аэродромы. Они так много видели разрушений, что стройка будет праздником для них. Почти три года на их глазах фашисты разрушали все, что можно было разрушить. Враги ничего не построили на захваченной ими земле, они разрушали и грабили. Они увезли из Николаева в Германию трамвайные вагоны в первые же месяцы своего владычества. Два с половиной года в городе не было трамвая. Оккупанты пришли на нашу землю не за тем, чтобы она расцветала. Они привезли сюда «душегубки» и сифилис и вывозили отсюда заводы, мясо, сало, хлеб. Они выколачивали из деревни хлеб кнутом, народ отвечал на кнут мужицкой лопатой и партизанским динамитом. Я видел, как в освобожденных селах колхозники первым делом брались за лопату: откапывали зарытый хлеб.

— Земля дала хлеб, земля и схоронила,— говорили они и хитро усмехались при этом.— Нет, никогда гитлеровцам не перемудрить мужика. Вот он, хлеб, к весне цел, не достался проклятому. Теперь его не к чему прятать. Наша земля, наша воля, наше будущее.

Пошли в ход лопаты и в Николаеве. Рабочие откапывают станки. Врачи сумели спасти и сберечь медицинский инвентарь и медикаменты. Научные сотрудники Исторического музея хотят открыть в ближайшие дни музей — все экспонаты его они сумели спрятать от оккупантов. Сейчас все, что спасено, сносится на заводы, в учреждения, в школы.

При мне в типографию наборщики принесли зако-

панный ими шрифт. Типография уцелела чудом, оккупанты не успели или в панике забыли ее разрушить. Целы машины цеха, наборные кассы. На валах ротации еще лежит последний номер поднемецкой газетки «Новая мысль». Я сдираю ее с валов и читаю: «Большевикам за эту зиму не удалось добиться существенных стратегических успехов».

Наборщики смеются над этими строчками вместе со мной. Они испытывают сегодня то же чувство, что и я,— чувство возвращения. Они не были в этой типографии с тех пор, как пришли фашисты. Я был здесь в последний день перед оставлением нашими войсками Николаева, в августе сорок первого года. Здесь выходила наша фронтовая газета. Наборщики помнят ее и ее работников. Они нетерпеливо спрашивают: ну что же, скоро газету будем печатать?

Скоро. Это можно твердо сказать. Жизнь возрождается в освобожденных городах со сказочной быстротой. Армия такими темпами гонит врага на запад, что освобожденный вчера город сегодня становится тыловым. Еще месяц назад в Кривом Роге на улицах запросто разрывались вражеские снаряды — сегодня это глубокий тыл. Вчера еще догорало зарево в Николаеве — сегодня женщины метлами и вениками подметают улицы, прихорашивают город. Мальчишки, чистильщики сапог, бойко стучат щетками о свои ящички.

Здесь все охвачено жаждой восстановления. Труд стал праздником, пуск каждого, даже небольшого предприятия — всеобщим торжеством. И это понятно. Тот, кто был здесь в те дни, когда еще догорали пожары, оценит, что это значит: первый рейс трамвая в Днепропетровске, первый кусок руды в Криворожье, первый паровоз на рельсах, первая советская школа в Николаеве, первая колхозная пахота за Бугом.

Раны заживают. Кирпичи разрушенных домов складываются в штабеля — из них будут построены новые здания. Плуг перепахивает поле недавнего боя. Под стальным лемехом исчезают минные воронки. И в этом есть великое торжество труда. Ради этого мы и воюем — ради будущего.

Я спросил у николаевского юноши Виктора:

— Думали же вы о будущем, о своей судьбе все это время, что жили под властью фашистов?

Он горько, не по-детски усмехнулся:

— Какая же может быть судьба у советского юноши при оккупантах? Карьера? Будущность? Нет, не думал. Мы только ждали и верили, что наши вернутся. И боролись, как умели.

Мы ходили с ним долго по городу, и он читал мне свои стихи. Он был рад, что может их, наконец, читать. Ему восемнадцать лет, но на вид он гораздо старше. Горькая морщинка на переносице. И черные пушистые усики.

— А усики вам зачем, Виктор?

— Я теперь их сбрею,— смущенно, совсем по-детски обещает он.

Теперь усики можно сбрить. К юноше вернулась юность.

Когда мы отступали из Николаева, этим мальчишкам еще не было шестнадцати лет. Весна их совершеннолетия совпала с весной освобождения. Им повезло. Теперь у них есть будущее. Но они не хотят его получить даром. Все они хотят воевать. Впрочем, этим чувством охвачены все мужчины в освобожденных районах. Они требуют оружия. Они просят бросить их немедленно в бой. У них есть счеты с оккупантами, счеты еще не сведены. Мы видели группы добровольцев у военкомата. Они пришли, не дожидаясь повесток. Они хотят драться и гнать врагов.

Гнать гитлеровцев в море — этим живет сейчас и народ, и армия Юга. В одесской степи день и ночь наши войска неотступно преследуют удирающих врагов.

— Ходко бежит фашист! — смеются солдаты.— Врет, от смерти не убежит.

Возмездие настигает и разит врага и на земле, и с воздуха. Не добьет красноармейская пуля — дорубит казацкая шашка. Гвардейцы-конники снова пошли в рейд. Их клинки уже свистят в одесской степи. Через бугские переправы сплошным потоком льются войска. В эти горячие дни напряженно работают все рода войск: саперы, понтонеры, летчики, службы тыла. Все движется на запад. К Одессе. Какой-то кучерявый боец на ходу растягивает мехи трофейного аккордеона и напевает:

Нас опять Одесса встретит, как хозяев,
Звезды Черноморья будут нам сиять...

1944 г., апрель

ЛАГЕРЬ НА МАЙДАНЕКЕ

1

Когда с Майданека налетал ветер, жители Люблина запирали окна. Ветер приносил в город трупный запах. Нельзя было дышать. Нельзя было есть. Нельзя было жить.

Ветер с Майданека приносил в город ужас. Из высокой трубы крематория в лагере круглые сутки валил черный, смрадный дым. Дым относило ветром в город. Над люблинцами нависал тяжкий смрад мертвечины. К этому нельзя было привыкнуть.

«Печами дьявола» звали поляки печи крематория на Майданеке и «фабрикой смерти» — лагерь.

Немцы не стеснялись в своем генерал-губернаторстве — в Польше. Они даже желали, чтоб поляк повседневно дышал запахом смерти,— ужас усмиряет строптивые души. Весь Люблин знал о фабрике смерти. Весь город знал, что в Крембецком лесу расстреливают русских военнопленных и заключенных поляков из Люблинского замка. Все видели транспорты обреченных, прибывающих из всех стран Европы сюда, в лагерь. Все знали, какая судьба ждет их: газовая камера и печь.

Ветер с Майданека стучал в окна: поляк, помни о печах дьявола, помни о смерти! Помни, что у тебя нет жизни,— есть существование, временное, непрочное, жалкое. Помни, что ты только сырье для печей дьявола. Помни и трепещи!

Трупный запах стоял над Люблином. Трупный запах висел над Польшей. Трупный запах подымался над всей замордованной гитлеровцами Европой.

Трупным запахом хотели оккупанты удушить людей и управлять миром.

2

«Дахау № 2» — так сначала называли фашисты концентрационный лагерь войск СС под Люблином. Потом они отбросили это название. И по своим размерам и по размаху «производства смерти» лагерь на Майданеке давно превзошел страшный лагерь в Дахау.

Мы нашли здесь пленников Дахау, Бухенвальда, Освенцима.

— Здесь страшнее! — говорят они.— О, здесь!..

На двадцать пять квадратных километров раскинулась эта фабрика смерти со своими агрегатами: полями заключения, межпольями, газовыми камерами, крематориями, рвами, где расстреливали, виселицами, где вешали, и публичным домом для обслуживания немецкой охраны лагеря.

Лагерь расположен в двух километрах от Люблина, прямо у шоссе Люблин — Хелм. Его сторожевые вышки видны издалека. Его бараки — все одинаковые — выстроены в ряд с линейной точностью. На каждом — четкая надпись и номер. Все вместе они образуют «поле». Всего в лагере шесть полей, и каждое — особый мир, огражденный проволокой от другого мира. В центре каждого поля — аккуратная виселица для публичной казни. Все дорожки в лагере замощены. Трава подстрижена. Подле домов немецкой администрации — цветочные клумбы и кресла из необструганной березы для отдыха на лоне природы.

В лагере есть мастерские, склады,— враги называли их магазинами,— водопровод, свет. Есть магазин, где хранился в банках «циклон» для газовых камер. На банках желтые наклейки: «специально для восточных областей» и «вскрывать только обученным лицам». Есть мастерская, где делают вешалки. На них — значок СС. Эти вешалки выдавались заключенным перед «газованием». Обреченный сам должен был повесить свое платье на свою вешалку.

На полях лагеря буйно цветет капуста. Пышная, грудастая. На нее немыслимо смотреть. Ее нельзя есть. Она взращена на крови и пепле. Пепел сожженных в крематориях трупов разбрасывался гитлеровцами по своим полям. Пеплом человеческим удобрялись огороды.

Весь лагерь производит впечатление фабрики или большого пригородного хозяйства. Даже печи крематория кажутся,— если не слышать трупного запаха,— маленькими электропечами для варки стали. Германская фирма, изготовившая эти печи, предполагала в дальнейшем усовершенствовать их: пристроить змеевик к печам для того, чтобы всегда иметь бесплатную горячую воду.

Да, это фабрика,— немыслимая, но реальная,— фабрика смерти. Комбинат смерти. Здесь все — от карантина до крематория — рассчитано на уничтожение людей. Рассчитано с циркулем и линейкою, начертано на кальке, проконсультировано с врачами и инженерами, словно речь шла о бойне для скота.

Гитлеровцам не удалось при отступлении уничтожить лагерь. Они успели только сжечь здание крематория, но печи сохранились. Уцелел стол, на котором палачи раздевали и рубили жертвы. Сохранились полуобгоревшие скелеты в «складе трупов». До сих пор стоит над крематорием страшный запах мертвечины.

Сохранился весь лагерь. Газовые камеры. Бараки. Склады. Виселицы. Ряды колючей проволоки с сигнализацией и дорожками для собак. Остались в лагере и собаки — немецкие овчарки. Они исподлобья глядят из своих будок и, может быть, скучают без дела. Им не надо теперь никого рвать и хватать.

Спасены уцелевшие в лагере заключенные. Есть свидетели, их много. Схвачены палачи.

Мы говорили и с теми, и с другими, и с третьими.

— Я это пережил! — говорит спасенный и сам удивляется тому, как он сумел все это пережить.

— Я это видел! — говорит свидетель и сам удивляется: как же он не сошел с ума, видев то, что он видел?

— Мы это делали,— тупо признаются палачи.

Каждое слово из того, что будет рассказано дальше, можно подтвердить документами, показаниями свидетелей, признаниями самих немцев.

Уже можно приподнять завесу над Майданеком и поведать всему миру страшную повесть о Люблинском лагере — «лагере для уничтожения».

3

Лагерь для уничтожения. Фернихтунгслагерь.

Международный лагерь смерти.

На воротах его можно было бы высечь надпись:

«Входящий сюда, оставь все надежды. Отсюда не выходят».

Из всех стран оккупированной Европы приходили сюда транспорты обреченных на смерть. Из оккупированных районов России и Польши, из Франции, Бельгии и Голландии, из Греции, Югославии и Чехословакии, из Австрии и Италии, из концентрационных лагерей Германии, из гетто Варшавы и Люблина прибывали сюда партии заключенных. Для уничтожения.

То, что фашистам неудобно было делать на западе или даже в самой Германии, можно было свершать здесь, в далеком восточном углу Польши. Сюда пригоняли на смерть всех, кто выжил, выстоял, вынес каторжные режимы Дахау и Флоссенбурга. Все, что еще жило, дышало, ползало, но уже не могло работать. Все, что боролось и сопротивлялось захватчикам. Все, кого гитлеровцы осудили на смерть. Люди всех национальностей, возрастов, мужчины, женщины и дети. Поляки, русские, евреи, украинцы, белорусы, литовцы, латыши, итальянцы, французы, албанцы, хорваты, сербы, чехи, норвежцы, немцы, греки, голландцы, бельгийцы. Женщины из Греции, остриженные наголо, с номерами, вытатуированными на руке. Слепые мученики подземного лагеря завода «Дора», где производились «ФАУ-I» — самолеты-снаряды. Политические заключенные с красными треугольниками на спине, уголовники с зелеными, «саботажники» с черными, сектанты с фиолетовыми, евреи с желтыми. Дети от грудных до подростков. Те, кому не было еще восьми лет, находились при родителях. Восьмилетние же «преступники» заключались в общие бараки. Совершеннолетие в лагерях смерти наступает очень рано.

Сколько сотен тысяч было уничтожено в этом международном лагере смерти? Трудно сказать. Пепел сожженных развеян по полям.

Но сохранился страшный памятник.

На задворках поля за крематорием есть огромный склад. Он весь доверху заполнен обувью, раздавленной,

смятой, спрессованной в кучи. Тут сотни тысяч башмаков, сапог, туфель...

Это — обувь замученных.

Крохотные детские ботиночки с красными и зелеными помпонами. Модные дамские туфли. Грубые простые сапоги. Старушечьи теплые боты. Обувь людей всех возрастов, состояний, сословий, стран. Изящные туфли парижанки рядом с чоботами украинского крестьянина. Смерть уравняла всех. Вот так же, в общий ров — тело к телу — ложились умирать владельцы этой обуви.

Страшно смотреть на эту груду мертвой обуви. Все это носили люди. Они ходили по земле. Мяли траву. Они знали: высокое небо над их головою. Эти люди дышали, трудились, любили, мечтали... Они были рождены для счастья, как птица для полета.

Откуда свалилась на них коричневая беда? За что скосила их смерть? Вот их нет теперь... Их пепел развеян... Только мертвая обувь, раздавленная, растоптанная, кричит, как умеют кричать только мертвые вещи...

Зачем фашисты сохранили этот страшный памятник? Зачем собирали они и хранили обувь в складе?

В дальнем углу барака мы находим ответ. Здесь лежат груды подметок, каблуков, стелек. Все тщательно рассортировано. Каждая партия — отдельно.

Все это шло в Германию. Как пепел на поля, как тепло из крематория в змеевик. Кровь на подметках не пахнет.

Нет, только фашисты способны на такое!

4

Заместителем начальника лагеря был эсэсовец Туман. Свидетели рассказывают о нем, что он никогда не расставался с огромной овчаркой.

Фашисты любят собак.

Они любят играть с ними, кормить их и ссориться с ними. С собаками у них быстрее находится общий язык. Шеф крематория Мунфельд имел комнатную собачонку. Начальник поля русских военнопленных играл с большим догом.

Эсэсовец Туман не пропускал ни одного расстрела, ни одной казни. Он любил лично присутствовать на них.

Если автомобиль был доверху набит жертвами, он вскакивал на подножку и ехал на казнь.

Шеф крематория Мунфельд даже жил в крематории. Трупный запах, от которого задыхался весь Люблин, не смущал его. Он говорил, что от жареных трупов хорошо пахнет.

Он любил шутить с заключенными.

Встречаясь с ними в лагере, он ласково спрашивал:

— Ну как, приятель? Скоро ко мне, в печечку? — И, хлопая побледневшую жертву по плечу, обещал: — Ничего, для тебя я хорошо истоплю печечку...

И шел дальше, сопровождаемый своей собачонкой.

— Я видел,— рассказывает свидетель Станислав Гальян, житель соседнего села, мобилизованный со своей подводой на работу в лагере.— Я сам видел, как обершарфюрер Мунфельд взял четырехлетнего ребенка, положил его на землю, встал ногой на ножку ребенка, а другую ножку взял руками и разорвал,— да, разорвал бедняжку пополам. Я видел это собственными глазами. И как все внутренности ребенка вывалились наружу...

Разорвав малыша, Мунфельд бросил его в печь. Потом стал ласкать свою собачонку.

Впрочем, уезжая из лагеря на новое и более высокое место, Мунфельд не взял с собой собачки. Он нежно простился с ней и бросил ее... в печь. Он и здесь остался верен своей природе.

Эсэсовец Шоллин, захваченный нами, занимал в лагере скромное место: он был фюрером кладовой. Он принимал одежду новоприбывших заключенных. Он обыскивал голых людей. Заставлял их раскрывать рты. У него были специальные никелированные щипцы,— он вырывал ими золотые зубы.

До войны Шоллин был мясником на бойне. Его призвали в армию, потом отпустили: мясники нужны были в Германии на бойнях. В 42-м году его все-таки снова призвали и направили сюда, в лагерь. Теперь мясники нужны были здесь.

Шоллин стоит сейчас перед нами и плачет. Он пойман. Слезы эсэсовца — какие это отвратительные слезы!

Прежде Шоллин не плакал. Гитлеровцы в лагере на Майданеке любили смеяться и шутить.

Вот одна из их «добрых» шуток.

Эсэсовец подходил к заключенному — любому — и говорил:

— Сейчас я тебя расстреляю!

Заключенный бледнел, но послушно становился под выстрел. Эсэсовец тщательно и долго прицеливался. Наводил пистолет то на лоб, то на сердце, словно выбирал: как лучше убить. Потом отрывисто кричал:

— Пли!

Заключенный вздрагивал и закрывал глаза.

Раздавался выстрел. На голову жертвы обрушивалось что-то тяжелое. Он терял сознание и падал. Когда он через несколько минут приходил в себя, он видел склоненные над ним лица: того, который «расстреливал» его, и того, который незаметно ударил его сзади палкой по голове.

Эсэсовцы хохотали до слез.

— Ты умер! — кричали они своей жертве.— Ты умер и ты теперь на другом свете. Что? Видишь? И на том свете есть мы. Есть СС.

5

Да, они были уверены, эти гитлеровские молодчики, что весь мир земной и весь мир небесный принадлежит им.

Для этого нужно только истребить пол-Европы. Сжечь в крематории.

Они строили лагерь на Майданеке с гигантским размахом, три года. Это была только первая очередь стройки.

Лагерь строили заключенные. Они осушали болото. копали котлованы, рыли канавы.

Они знали, что строят тюрьму для себя. Бараки, чтоб им в них гнить. Проволочные заграждения, чтоб им не убежать. Виселицы, чтоб их там вешали. Крематорий, чтоб их там сжигали. Проклятая гитлеровская система! Приговоренные к смерти сами копают себе могилу.

Лагерь вырос на костях и крови заключенных. Умирали и на работе, и в лагере. Замерзали зимой. Валились от истощения.

Каждый вечер на поверке всех выстраивали и осматривали. Тому, кто с трудом держался на ногах, приказывали: лечь наземь. Несчастные ложились. Они знали: это смерть. Встать они уже не могли.

Так лежали они всю ночь в поле. Утром их — и мертвых, и еще живых — уволакивали прочь. Зацепив крючками, тащили к крематорию или жгли на кострах,— индийским способом: ряд бревен — ряд трупов, и снова ряд бревен — ряд трупов.

Волочить трупы товарищей оккупанты приказывали заключенным. Кто не подчинялся, сам тотчас же становился трупом. Здесь были короткие расправы, в этом лагере уничтожения. Человеческая жизнь здесь стоила дешевле пистолетного патрона. Убивали железными палками.

Заключенные же посылались и на работу в крематорий. Туда выбирали самых отупевших и уже сломанных людей. Их щедро поили водкой, хорошо кормили. Пьяные, одуревшие от смертного смрада, они, ничего не сознавая, копошились у печей дьявола. Они знали, что через месяц сами пойдут в печь. «Неудобные свидетели» — так эсэсовцы официально называли их.

Ну, что ж. Печь так печь. Они знали, что все равно печь сожрет их поздно или рано. Из этого лагеря нет выхода. Пусть это будет раньше. И они работали у проклятых печей, заливая душу водкой.

Через месяц их всех отправляли в газовую камеру и затем — в печь...

Ненасытные печи пожирали все. Они дымились круглые сутки. Пять печей сжигали в день тысячу четыреста трупов.

Гитлеровцы думали о строительстве второй очереди лагеря. Им мерещился гигантский комбинат смерти. Если б дать им волю, они всю Польшу превратили бы в крематорий...

Красная Армия стремительным наступлением положила конец адской работе печей дьявола.

Пришло время расчета и ответа...

6

Человек, попадая в лагерь на Майданеке, переставал быть человеком; он становился предметом, подлежащим уничтожению. У него отбирали личные вещи, ценности, одежду. У него отнимали имя. Ему выдавали жестяной номер на проволоке для постоянного ношения на шее и полосатое арестантское рванье. На куртке масляной

краской намазывался красный, черный или желтый треугольник и буква, обозначающая национальность заключенного: П — поляк, Ф — француз. Национальность определяла отношение к нему тюремщиков. Человек мог забыть в этом лагере собственное имя, но палачи никогда не позволяли ему забывать, что он «славянская свинья», «польская скотина», «руссише швайн» или «юде» — еврей.

С жестяным номерком на шее, с проволокой, въевшейся в тело, проходил заключенный весь свой крестный путь от карантина до крематория. Этот путь мог быть очень коротким. Мог растянуться на много долгих месяцев медленного умирания, но он всегда приводил к печам обершарфюрера Мунфельда — к печам дьявола.

Отсюда не выходят.

Из Италии пригнали в лагерь каторжников серных копей. Говорят, эти копи — самое страшное место мира. Но эти итальянцы выжили и в серных копях. Тогда их прислали в лагерь под Люблином. Здесь они стали быстро умирать. Машина комбината смерти на Майданеке действовала безошибочно и беспощадно, с тупым азартом топора.

Она приходила в движение уже в карантине.

Вновь прибывшие должны были отбывать карантин... в бараке для больных туберкулезом в открытой форме. Двадцати дней карантина было достаточно для самых крепких. Туберкулез теперь прочно сидел в них, они несли его дальше, в общие бараки.

В одном только марте 1944 года, по официальным документам администрации лагеря, от туберкулеза умерло 1654 человека. Среди них 67 итальянцев, много поляков, русских, чехов, есть албанцы, югославы, греки, хорваты, словенцы, сербы, литовцы, латыши.

Туберкулез не лечили в лагере. Здесь вообще не лечили. Здесь — убивали. Но лазарет в лагере был и даже блистающий чистотой специально для фашистских фотокорреспондентов и все время ожидавшихся, но так ни разу и не приехавших «международных комиссий». В этом лазарете были аккуратные дощечки на дверях: «аптека», «операционная», но не было самых элементарных медикаментов, самого необходимого инструментария. Впрочем, это и не было нужно. Среди заключенных

жило стойкое убеждение: в лазарет попадать нельзя. Из лазарета в барак не возвращаются.

Если человек хотел протянуть свое земное существование, он должен был скрывать, что он болен!

В лазарете были медицинские весы. Иногда заключенных взвешивали. Зачем? Фашисты любят порядок. Они аккуратно заносили в книгу: вес заключенного (взрослого) — 32 килограмма.

Тридцать два килограмма — вес взрослого человека! Это вес его костей, обтянутых сухой желтой кожей.

Заключенные получали «суп» из травы, скошенной тут же на поле, у бараков. Эту траву узники Майданека с горьким юмором обреченных называли «витамином СС».

От голода и истощения умирало еще больше, чем от туберкулеза. Люди падали на работе, эсэсовцы добивали их железными палками.

Заключенные врачи в вечерних рапортичках скрывали умерших за день. Мертвых не уносили. Живые лежали рядом на одних нарах с мертвецами. На другой день паек мертвецов доставался живым.

7

Человека, заключенного в «лагерь уничтожения», мог убить всякий принадлежащий к лагерной администрации: начальник картофельного поля Мюллер и самый последний капо. Капо — вспомогательная полиция, навербованная из заключенных-уголовников. Капо соревновались в усердии с эсэсовцами. Убийство заключенного не считалось преступлением, оно было доблестью, долгом, службой.

Эсэсовцы хвалились перед гестаповцами своими подвигами в лагере. Гестаповцы не оставались в долгу.

У каждого СС, у каждого капо был свой метод истязаний. Один убивал ударом сапога в глотку, другой любил плясать на животе жертвы. Длинная костлявая эсэсовка из женского поля избивала бичом. Она била женщин по соскам, по половым органам, по ягодицам. Ее бич со сладострастным свистом падал на тело. Она была садистка и психопатка и засекала женщин до смерти.

Были среди СС и любители острых шуток. Одни травили заключенных собаками, другие забавлялись у бассейна. Эти заставляли узников нырять в воду и, дождавшись, когда жертва вынырнет, били палкой по голове. Если заключенный не утопал после этого, ему разрешалось выползать из бассейна и одеваться. Одеться он должен был в три секунды. Нет — снова ныряй в воду, снова удар палкой по голове, снова три секунды на одевание... И так до тех пор, пока жертвы погибали в бассейне или одевались в три секунды. Чаще погибали.

— Я видел,— рассказывает Владислав Скавронек, возчик,— я на собственные очи видел, как эсэсовка привела в крематорий шестерых детей: двух мальчиков и четырех девочек. Это были крошки: четыре — восемь лет. Начальник крематория Мунфельд сам раздел их догола, расстрелял из револьвера и отправил в печь. Я видел потому, что привез доски для склада.

— Я видел,— показывает Веслав Стопыва,— что они сделали с моим знакомым Чеславом Кшечковским. Ему было сорок два года, он был крепкий человек. Но он неровно стоял в строю, и его стал бить гестаповец. Он ударил его ногой в живот... Потом палкой... Потом прыгал на его животе... Но Кшечковский все еще жил. Он был крепкий человек. Тогда гестаповец взял палку с заостренным концом, воткнул Кшечковскому в рот и с силой рванул... Он разорвал ему все лицо, внутренности... Кшечковский был еще жив... Все его тело содрогалось... Его положили на носилки и унесли в крематорий.

— Я видел,— говорит Петр Денисов,— как СС убил человека. Я инженер — люблинец. Работал в лагере по проведению канализации. Этот СС наблюдал за заключенными. Он был совсем мальчик. Девятнадцати-двадцати лет. У него было нежное, женственное лицо. Я бы никогда не подумал, что он СС. Он выбрал среди заключенных одного молодого сильного еврея и сказал ему: нагни голову! Тот нагнул. Тогда СС начал бить его палкой по шее. Еврей упал. «Оттащите его!» — приказал СС. Еврея потащили лицом по земле. По мерзлым грудам... Был снежок на земле, и он стал красным. Но еврей еще жил. Тогда СС взял бетонную трубу — шестидесяти килограммов — и бросил ее на спину еврея. И еще раз, и еще... Я услышал страшный хруст

костей... И крик... Я сам закричал... Я не хочу смотреть, но не смотреть не могу. А этот СС подошел к еврею, поднял палкой веко — мертв... И закурил... У него было такое женственное лицо, но оно не побледнело даже.

8

Человека убить легко. Для этого железной палки хватит. Человечество истребить немыслимо.

Но именно этой маниакальной идеей задался Гитлер. Истребить все человечество, не угодное ему, непокорное, одухотворенное, свободолюбивое. Или по крайней мере истребить все человеческое в оккупированной Европе.

Для свершения такой диверсии против человечества фашистам и понадобились гигантские механизированные комбинаты смерти типа Люблинского лагеря.

Миллионы людей нельзя застрелить из автоматов. Нужен комбинат всех известных людям средств уничтожения.

Это и было сделано в лагере на Майданеке — этом комбинате массового производства смерти.

Расстреливали в лесу. Расстреливали во рвах. Засекали бичами. Травили собаками. Убивали палками. Дробили черепа. Топили в воде. Запихивали в «душегубки».— Плотнее! Плотнее! — Чтоб больше вошло. Морили голодом. Убивали туберкулезом. Душили в серных бетонных камерах. Напихивали людей побольше. Двести пятьдесят. Триста.— Плотнее! Плотнее! — Душили циклоном. Отравляли хлором. Через стеклянный глазок смотрели, как корчатся умирающие. Строили новую газовую камеру. Душили газом. Жгли на кострах. Жгли в старом крематории. Пропускали поодиночке через узкие двери. Оглушали ударами железной палки. По черепу. Тащили в печь. Мертвых и живых. Потерявших сознание. Старались набить печь плотнее.— Плотнее! Плотнее! — Разрубали трупы. Смотрели через синий глазок в печь, как съеживаются и обугливаются люди. Убивали поодиночке. Убивали партиями. Уничтожали целыми транспортами. Сразу восемнадцать тысяч человек. Разом тридцать тысяч человек. Пригоняли партии поляков из Радома, евреев из варшавского гетто. Евреев из Люблина. Гнали через лагерь. Окружали собаками и автоматчиками. Щелкали бичами — быстрее! Быстрее!

Через лагерь на пятое поле приходили бесконечные вереницы евреев. Молча. Рядами, взявшись за руки. Дети прижимались к родителям. Молча. Молча.— «Шнель!» — «Быстрее!» — подгоняли гитлеровцы. Рычали собаки. Хлопали бичи. Ряды убыстряли шаг. Задние догоняли передних. Бежали. Спотыкались. Падали. Задыхались.

Вдруг начинали греметь все репродукторы лагеря. Веселые фокстроты, танго. Лагерь замирал от ужаса. Знали: значит, большие расстрелы сегодня. Начинал работать трактор. Фокстрот сменялся румбой.

На пятом поле обреченные раздевались. Догола. До нитки. Все. Мужчины, женщины, дети. Их гнали ко рву. Быстрей! Быстрей! Ложились в рвы. Тело к телу. Покорно. Безропотно.— Плотнее! Плотнее! — приказывали палачи. Спрессовывались плотнее. Сплетались. Руки, ноги, головы уже не принадлежали человеку. Они существовали отдельно, придавленные, разбитые. Смятые. На первый ряд ложился второй. Потом третий. Гремели фокстроты в репродукторах. Стучал трактор. Весь ров теперь был до краев наполнен живой, трепетной, стонущей и проклинающей убийц человеческой массой. Автоматчики поливали ров огнем из автоматов.

И все пять печей нового крематория разевали свои жадные пасти. Они работали с адской нагрузкой. И днем, и ночью. Тысяча четыреста трупов ежесуточно. Мало! Набивали печи плотнее. Вместо шести — семь трупов в печь. Подымали температуру в печах. 1500 градусов. Мало! Убыстряли процесс сжигания: 45 минут. 40, 30, 25. Деформировался кирпич в печах от невероятной жары. Оплавлялись чугунные шибера. Высокая труба крематория дымила круглые сутки. Черный смрад стоял над лагерем смерти.

Ветер с Майданека разносил трупный запах по всей округе.

9

Можно ли было уцелеть в этом лагере уничтожения? Отсюда не выходят.

Многие сами искали смерти, чтобы прекратить бесконечные муки. Бросались на электрифицированную проволоку и умирали на ней, почернев и скрючившись.

Инженер Денисов рассказал нам еще и о таком случае добровольной смерти, происшедшей на его глазах.

Двое заключенных подошли к эсэсовцу и попросили повесить их.

— Повесьте нас!

Эсэсовец удивленно посмотрел на них и усмехнулся.

— Яволь. Пожалуйста.

Он сделал петлю, сам накинул ее на шею желающему умереть, поставил его у рва, бросил концы веревки двум своим помощникам и, крикнув им: «держите крепче», ударил заключенного ногой под колено. Тот упал в ров, подергался в петле и умер.

Второй заключенный немедленно подошел ко рву. Он сам расстегнул свой воротничок, сам надел петлю на шею, оттолкнулся — и последовал за товарищем.

Мы нашли на стене барака две карандашные надписи. Первая: «Ваня Иванов дурак в том, что не может себе ничего сделать» и вторая — словно отвечая на первую: «Умри так, чтобы от смерти твоей была польза».

Можно ли было убежать из лагеря?

Мы слышали о «штурме лопатами» и о «побеге восьмидесяти». В обоих случаях действуют русские пленные. Видно, русскому, советскому человеку наиболее присущ дух борьбы за свободу.

«Штурм лопатами» произошел в Крембецком лесу, где работали военнопленные из лагеря. Семнадцать русских лопатами убили вражескую охрану и убежали.

«Побег 80» произошел позже. Ему предшествовал настоящий митинг в бараке. Обсуждалось: бежать или не бежать. Восемьдесят решили бежать, пятьдесят — остаться.

Решили бежать ночью. Оставшиеся обещали не выдавать. И не выдали. Ночью побег состоялся. Набросив пять одеял на проволоку (тогда еще не электрифицированную), пленные переползли через нее и убежали.

Оставшихся в ту же ночь фашисты вывели из барака и расстреляли.

Я знаю еще один случай побега. Его совершил люблинец Давидсон, еврей. Он бежал в тот момент, когда их гнали из лагеря на работу. Он знал, что его застрелят при побеге. Но он знал также, что его и без побега застрелят. Ему не из чего было выбирать. Он побе-

жал, ожидая пули в затылок. Но пуля миновала его. Он спасся.

Его приютила знакомая польская семья. Два года и тринадцать дней — вплоть до прихода наших войск в Люблин — поляки скрывали еврея у себя на чердаке и кормили его. Все эти два года и тринадцать дней он пролежал в лежку, чтобы шумом шагов не выдать себя и семью, его приютившую. Все эти два года он никого не видел, ни с кем не разговаривал. Ему забрасывали пищу — и все. Он разучился говорить. Он отвык от солнечного света. Но он сохранил жизнь. Мы видели его.

И так же, как он на своем чердаке, так и тысячи людей в лагере жили смутной надеждой...

Мы видели на стене барака в лагере рисунок синим карандашом. Без подписи. Без текста. Рисунок изображал простой и тихий украинский пейзаж. Сколько горькой тоски по родине, по вольной волюшке было в этом рисунке! Сколько надежды!

Да! Даже здесь, в лагере уничтожения, люди продолжали надеяться. Свои надежды они связывали с наступлением Красной Армии.

Красная Армия не обманула их надежд.

10

Сейчас на Майданек приходят тысячи люблинцев. Приходят увидеть страшный лагерь.

Три года был он их кошмаром. Три года дышали они трупным запахом его печей. Пять лет жили под кнутом оккупанта.

Черным смрадом и тайной был окутан этот лагерь смерти. Теперь нет больше тайн. Вот печи дьявола. Вот рвы, где расстреливали. Вот останки полусожженных трупов в крематории.

Люди смотрят и уже не плачут. Все слезы выплаканы. Слез больше нет. Толпа кричит.

Во рву работают гитлеровцы, захваченные в лагере. Палачей заставили выкопать трупы их жертв.

Глухо звенят лопаты о землю. Палачи работают молча. Они только испуганно вздрагивают, когда слышат яростный рев толпы, и еще ниже склоняются к своим лопатам.

Толпа кричит.

Лопаты стучат о землю. С ужасом вскрикивает женщина. Из груды развороченной глины рва выглянула ножка ребенка.

— Убийцы! — стонет толпа. — О! Убийцы!

Мимо проводят пленных фашистов, солдат и офицеров. Их больше восьмисот. Чтоб оградить их от народной ярости, их ведут по другой стороне рва. Конвоиры показывают им дело их рук. Труп ребенка уже весь извлечен из земли и положен рядом с другими трупами.

Фашисты молча идут мимо. Одни — отворачиваются. Другие — тупо рассматривают трупы.

— Бандиты! — кричит им толпа.— Убийцы!

Толпа густеет. С дороги из окрестных сел сбегаются люди. Только ров отделяет людей от их палачей. Во рву среди трупов замученных — маленький детский трупик.

Гитлеровцы идут, согнув шеи, уткнув глаза в землю. Руки — за спиной. Толпа неистовствует. Словно хлыст, свистят и падают на спины убийц ее крики:

— Убийцы! Дегенераты! Садисты!

Старик поляк Петр Рожанский подымает палку над головой и кричит:

— Чем, чем вы заплатите мне за моего сына? Чем?

11

Снова стучит в окна ветер с Майданека: помни о печах дьявола, поляк, помни о лагере смерти! Помни о миллионах замученных, расстрелянных, сожженных! Помни и мсти!

На площадь перед замком Люблинским стекаются огромные толпы. Поклониться праху мучеников.

Хор поет «Богородицу» — молитву, с которой шло Войско Польское на поля Грюнвальда бить врагов.

Рыдает площадь... Девочки в белых платьях несут венки на могилы. Припали к земле женщины в черном — вдовы замученных.

Обнажив головы, стоят солдаты Войска Польского. Взяли винтовки на караул бойцы Красной Армии.

Торжественно-траурную мессу служит ксендз Крушинский. Перед прахом мучеников он призывает соотечественников к единению. Член Польского Комитета

Национального Освобождения В. Ржимовский открывает мемориальную доску на стене Люблинского замка. На ней краткая надпись:

«Миллионам жертв, замученных немецкими преступниками на Майданеке и в Замке.

6 августа 1944 года.
Польский народ».

Бывшие заключенные несут урну. В ней — пепел из крематория Майданека. Урна замуровывается в стену замка. Делегация Красной Армии возлагает венки от армии и правительства СССР.

Двадцать пять тысяч собравшихся на площади поют старую антифашистскую песню «Рота».

На крови мучеников, в огне борьбы, в братском союзе с советскими народами встает из пепла новая, свободная Польша.

г. Люблин. 1944 год, август

В БЕРЛИНЕ

Есть в жизни армии и в жизни воина даты, которые не забываются. Так навсегда останется в нашей памяти апрель сорок пятого года — в эти дни мы пришли в Берлин.

Когда-нибудь мы будем вспоминать: в Германии тогда стояла сухая весна, и яблони цвели пышным цветом, и фиолетовые анютины глазки смотрели на нас удивленно, и млели сады в весенней истоме, и, когда сквозь аллеи зеленых каштанов и пахучих лип проходили наши тяжелые машины, их броню облипали клейкие весенние листочки.

Но мы не верили этой голубиной весне. Нет, яблони не успокоили воинов, мирные липы не обманули. Горели леса, подожженные нацистами, и хлесткий весенний ветер швырял в нас запахи гари и кипящей в огне смолы. Падали на шоссе обугленные ели, на лица оседали копоть и дым, и каждый метр дороги, каждый камень в городе были против нас — мы добывали их кровью. В эти незабываемые дни мы подошли к Берлину. Чтобы взять его. Чтобы победить.

И мы говорили: теперь осталось сорок, тридцать, десять километров до Берлина. Проклятые метры! Они не легко достались. Но мы шли в Берлин, пробивая железо, камень, бетон. Гитлеровцы залили водой все канавы и рвы, каналы орошения. Они рубили великолепные сосны своих дач и бросали нам под ноги, рубили яблони в цвету и швыряли их на дорогу под гусеницы наших танков. В фруктовых садах они рыли траншеи, в липовых аллеях аккуратно укладывали мины, улицы перегородили баррикадами из кирпичей разбомбленных домов. У самого Берлина они пытались закрыться от

наших танков частоколом деревянных надолб,— жалкая попытка, агония!

Все сокрушая, сметая на своем пути, Красная Армия пришла в германскую столицу.

Запомните эти города — Зеелов, Штраусберг, Врицен, Мюнхберг. Ничего не говорили нам названия этих городов, да и сами города — бесцветные, скучные сборища каменных коробок. Но эти немецкие города, как сторожевые псы, лежали на нашем пути в Берлин — за каждый из них надо было вести жестокий бой. Мы видели эти города, они опалены огнем войны, разрушены, горят. Мы видели их судорожное умирание — в дыму, в хлестком беге огня, в рыжей кирпичной пыли, осевшей на свежее оперение апрельской листвы.

Под самым Берлином мы видели сожженные танки, опрокинутые зенитки, стоявшие вокруг города аэростаты воздушного заграждения. Убитые гитлеровцы валялись у зениток, у танков, аэростатов — все подмято, сбито, повреждено в жаркой схватке.

Мы въехали в Берлин со стороны Блюмберга — маленького городка, за которым лежит кольцевая автострада большого Берлина. Она легла под нами двумя широкими асфальтовыми лентами. Между ними — полоса зеленеющей травы, за автострадой — столица.

Мы шли за войсками. Справа в тумане виднелся пригород — Бух. Высокие дома его дымились. Впереди, по липовой аллее, обгоняя нас, на полном ходу мчались танки. На броне сидели десантники. Эти парни из Сибири, с Волги, Дона мчались по широкой улице — аллее Берлина. Им не терпелось, на их лицах полыхал азарт боя. «Даешь Берлин!» — было написано на танках. Слева откуда-то била немецкая пушка, снаряды рвались тут же, танкисты мчались. Без задержек. Ближе к центру. На одной из улиц Берлина мы видели нашу пушку. Она стреляла прямой наводкой в дома, где засели солдаты, стреляла по улице, где шли гитлеровцы, поднятые в атаку офицерами, стреляла в окна, двери, чердаки.

Над городом шел воздушный бой. Зенитные снаряды то и дело вспыхивали в небе. Истребители с шумом проносились над крышами и вновь уходили в небо, но огонь наших батарей заглушал небесные шумы, на улицах шел бой. Прижимаясь к стенам, крадучись, шли к нам на-

встречу жители Берлина. На их лицах испуг, они пришли к нам, они хотят жить. Вот высокий полный немец Отто Гартман — механик завода автоматических касс. Он только что выбрался из своей квартиры, бросил все и побежал. Куда? Спасать свою жизнь. Но побежал он не на запад, в центр города,— там настигнут его русские снаряды,— он побежал нам навстречу. Здесь, в тылу русских пушек и танков, спокойнее. Он с раздражением говорит:

— Геббельс вчера уверял, что мы еще не проиграли войну... А, психопат! — и безнадежно машет рукой.

Другой немец — Гуго Партч — высокий худой старик. Слесарь. Руки большие, мускулистые. Он спокоен. Молчалив.

Мы вышли на улицу. Около дома собралось много немцев. Они непонимающими глазами смотрят то в небо, где шумят наши штурмовики, то на танки, пушки, машины. Они растеряны, они подавлены мощью советской военной машины.

— Как вас много! — говорит один из них.— Вас так много, что вы не уместитесь в Германии...

А танки все идут, идут по липовой аллее. Из боя выходят раненые бойцы. Капитан медицинской службы уговаривает их ехать в тыл. Старший сержант Николай Киселев — москвич — не хочет идти в тыл: рука перевязана, воевать можно. Мимо нас, хромая, прошел пожилой боец. Он ранен в ногу. Идет и бормочет: «А все-таки дойду»...

В штабе, расположенном в маленьком домике, покойно. По телефону докладывают:

— Взят завод авиамоторов «Аргус»... Взят газовый завод... парашютный... Взяты вокзал, водокачка, больница, трамвайный парк.

Бойцы майора Михайлова дерутся уже вблизи центральной части города. Бойцы атакуют с вдохновением.

— Хорошая работа! — восклицает штабной офицер.

Берлин в пламени. Тяжелый дым закрывает его. Ночью наши солдаты бомбили военные заводы. Вспыхнули пожары. Десятки очагов. Вспомнился июль сорок первого года, когда фашисты бомбили театры и больницы Москвы,— вот она, расплата!

На одном из берлинских домов масляной краской написан фашистский лозунг: «1918 год не повторится». Надпись зачеркнута и мелом сверху начертано: «Я в Берлине. Сидоров».

Бои на улицах идут яростные, упорные. Каждый дом защищен. Каждый дом, окно, чердак стреляют. Огрызаются пушки. Летают фашистские самолеты. Гитлеровский пилот может теперь смотреть на Берлин только сверху. Сквозь пелену рыжего дыма.

В город входят все новые и новые советские полки. С каждым часом число отвоеванных домов и кварталов множится. Войска генерал-полковника Кузнецова дерутся уверенно, смело. Они первыми вошли в кварталы Берлина. И это окрыляет их. Бой с противником, соревнование с товарищами и — общая победа как конец боя.

Ночью мы возвратились обратно, в тыл. По всем дорогам — магистральным, шоссейным, проселочным — шли к Берлину колонны людей, машин, танков. На кузовах, на лафетах, на башнях написано: «Даешь Берлин!»

Главное шоссе, ведущее к сердцу Германии, забито войсками. В четыре ряда идут тягачи, танки и автомашины, амфибии. Все спешат. Боятся опоздать. Стараются обогнать друг друга и поэтому гудят, кричат, размахивают руками. Над дорогами стоит веселый звонкий шум. Испуганные птицы перелетают с одной сосны на другую. Автомобильные сирены потонули в сплошном гуле и потеряли свой авторитет. Регулировщики охрипли. Но впереди видны дымы горящего Берлина, и это оказывается лучшим указателем.

Вне дорог, просто по целине шли обозы дивизии — тачанки, двуколки, кухни, повозки с сеном. Они тоже спешат, они видят дымы Берлина. Ездовые хлещут по крупам, на передке повозки написано: «Даешь Берлин!»

Этот лозунг — самый сильный, действенный в дни боев за Берлин,— можно встретить на танке и на шлагбауме, на орудии, в столовой, в штабе и просто на лесной дороге. Он у всех на устах. Мы долго смотрели на эту незабываемую картину. Под полным диском луны она казалась сказочной. Вот они, наши войска! Вот она, наша армия — крепкая, здоровая, могучая, победоносная!

1945 г., апрель

В РАЙОНАХ БЕРЛИНА

В Берлине наши войска захватили кинокопировальную фабрику. Мы были на ней. В ваннах с проявителем еще мокла пленка, на контрольном столе лежал ролик последней ленты. Это был последний выпуск кинохроники «Новости недели». Но самой главной «новости» этой исторической недели в нем не было: советские войска ворвались в Берлин и положили конец гитлеровской мрачной хронике.

Берлин окружен. Взят за глотку. Шаг за шагом, от дома к дому пробиваются к центру города наши бойцы. За Шпрее. К рейхстагу. К Тиргартену. С боем берутся дома, вокзалы, фабрики. Как водные рубежи, форсируются многочисленные городские каналы. Ожесточенный бой идет на улицах и в переулках, в воздухе, на земле и под землей — в берлинском метро.

Берлин основательно разрушен. Гигантские воронки на каждом шагу. Обугленный камень, развороченный бетон, сплющенная арматура, битое стекло. И над всем этим — облака кирпичной пыли и дыма.

В кварталах, охваченных боем, жителей, естественно, не видно. Только кое-где из окна уже высунулся робкий белый флаг. Из окон — белый флаг, а с чердаков — беглый огонь. Но противоречия здесь часто нет. Еще сопротивляются фашистские дивизии. Бессмысленно, упорно, ожесточенно. Это агония загнанного в яму волка. Но мысль о бесполезности борьбы уже проникает в сознание многих немцев.

Мы хотим видеть жителей Берлина. Где они? Кто вывешивал белые флаги?

В подворотне большого дома стоят женщины. Пожилые немки, они испуганно смотрят на нас.

— Что вы здесь делаете?

— Дышим,— отвечают они,— дышим воздухом.

Есть два Берлина, мы это увидели теперь своими глазами. Один — нанесенный на карту, вот этот, в котором мы деремся сейчас, разбитый американскими бомбами и русскими снарядами, другой — подземный, пещерный Берлин, в котором многие месяцы жили, спасаясь от бомбардировок, обыватели столицы. Мы побывали и в этом Берлине.

Подвалы. Бункера. Подземелья. Пещеры. Темно. Сыро. Душно. Тесно. Как сельди в бочке — люди, они сидят, скорчившись, поджав ноги, прикорнув на табуретке, прижавшись плечами друг к другу. Пожилые бюргеры и бюргерши, молодые женщины, дети, грудные младенцы и престарелые бабушки, которые все еще хотят жить.

— Это нам дал Гитлер,— усмехнувшись, сказал Вилли Вестфаль, ресторатор,— он обещал нам весь мир, а дал эту пещеру...

В этих подземельях и жил обыватель Берлина в долгие часы частых бомбардировок. Постепенно с верхних этажей перекочевывали сюда подушки, матрацы, детские кроватки, примусы, сковородки, кастрюли. Постели с пуховиками сменились узкими нарами, паркетные полы — сырым цементом, люстры — коптилкой. Так сложился пещерный быт берлинского немца.

Несколько месяцев назад томми разбомбили в этом районе водокачку и электростанцию. Исчез свет, нет газа, нет воды, нет отопления.

Мы — не жестокие люди, но сознаемся: мы смотрели на этот пещерный быт без жалости и сочувствия. Мы вспоминали Ленинград в блокаде и Сталинград.

Это они, а не мы хотели войны, и они ее получили. Теперь они начинают понимать, что такое война. Война пришла на их землю. Война разворотила их быт, их квартиры, обжитые отцами и дедами, целыми поколениями приобретателей и стяжателей. Этот культ двухспальной постели, дешевых картинок в вишневых рамочках, гобеленов, люстр. Этот культ кухни, где на белых фарфоровых банках аккуратно написано: «соль», «перец», «кофе». Эти пригородные дачи с бетонными дорожками, с яблонями в цвету, с ваннами в саду, с птичниками и крольчатниками.

Ограбив всю Европу, они жили хорошо. Они были довольны, пока война обогащала их. Они жили в чаду и дурмане побед. Они называли себя нацией солдат. В каждой квартире на почетном месте вы увидите две большие фотографии. На одной — глава фамилии с будущей женой в подвенечном платье, на другой — глава фамилии в солдатском мундире — кайзеровском, рейхсверовском или эсэсовском. В золоченых рамках висят снимки парадов, смотров, учений. В них обязательно присутствует глава фамилии.

Они разожгли войну. Теперь война жжет их — их землю, их города, их дачи и квартиры. И теперь они не хотят войны. Они вывесили детские пеленки, белые простыни и скатерти: сдаемся!

Обыкновенный берлинец — обыватель, лавочник, рабочий — действительно больше не хочет войны. Война проиграна, гитлеровская армия разгромлена, русские — в Берлине.

•

На переднем крае к нашей мощной звукоустановке подбегает взволнованная немка. Она слышит, как советский майор по радио обращается к немецким солдатам с требованием прекратить бессмысленное сопротивление. Она кричит:

— Позвольте мне сказать. Я хочу говорить с ними.

Ей разрешают, и она горячо, взволнованно кричит в микрофон:

— Солдаты! Если меня слышит мой муж или мой брат, пусть он сейчас же прекратит войну. Это неправда, что русские убивают мирных жителей. Я немка, и это я вам говорю.

Мы говорили с ней и еще с десятком других берлинцев. Чего они хотят? Жить. Жить. Просто жить. Пусть будет скорее конец ужаса, порядок, покой.

Советские снаряды и англо-американские бомбы хорошо озонировали воздух. Пусть медленно, но уже начинает рассеиваться гитлеровский дурман. Горечь разочарования, позор поражения, ненависть к зло обманувшему их Гитлеру и страх за свою жизнь, за свое будущее — вот что испытывает сейчас средний немец.

— Обман! Обман! Много лет обман! — горько говорит старик Эмиль Мюллер — шофер берлинского омнибуса.

Теперь они клянут Гитлера. Клянут громко, яростно, на все лады. Их не смущает близость переднего края. Борьба за Берлин еще не кончена, гитлеровские солдаты еще ожесточенно дерутся, переходят в контратаки, иногда отвоевывают отдельные дома, но и Эмиль Мюллер, и тысячи других уже знают, что все равно — капут, конец гитлеризму. Они открыто клянут Гитлера и охотно называют нам свои имена.

Было бы неверно представлять себе всех немцев, как нечто единое и одинаковое. Единства нет. Одни еще сопротивляются, другие поднимают белые флаги. Одни сдаются в плен, другие переодеваются в штатское платье и стреляют в нас из-за угла. Только что на одной улице выстрелом в спину убит наш майор. Кто стрелял? Немец. Фашист. Но вот подходит к нам старик и поднимает над головой сжатый кулак: «Рот фронт!» Его зовут Карл Вентцель, и он только что освободился из тюрьмы, где сидел за попытку «ниспровергнуть нацистский строй». Он показывает нам документы. И он тоже — немец.

Подходит шестнадцатилетний парень Гарри Хикс.

— Я ненавижу Гитлера,— говорит он, блистая глазами,— он погубил Германию.

Этот мальчик — тоже немец. А другие мальчишки по подпольному телефону сообщают гитлеровским офицерам данные о наших КП. Все перемешалось сейчас в немецком народе, в сознании и в душе каждого немца. Он потрясен, раздавлен, перепуган, взбудоражен. Он понимает, что гитлеровская Германия кончилась, что начинается какое-то новое существование. Он хочет знать, какое. И больше всего он хочет, чтобы скорее кончилась стрельба в Берлине и были объявлены приказы победителей о том, что будет дальше.

Эльза Хаугарт сказала нам:

— Немец состоит из мяса, костей и дисциплины. Немец любит приказы.

Когда в отвоеванных районах Берлина появились первые советские военные коменданты, а на стенах — первые ярко-зеленые объявления комендатуры и листовки к населению,— весь подземный Берлин выполз на улицы, немцы огромными толпами грудились около объявлений. Толкались. Читали и перечитывали. Пересказывали соседям, обсуждали и еще раз читали:

«В связи с ложными утверждениями гитлеровской пропаганды о том, что Красная Армия имеет целью истребить весь немецкий народ, разъясняем: Красная Армия не ставит себе задачей уничтожение или порабощение немецкого народа. У нас нет и не может быть таких идиотских целей...»

Они читают это с удовлетворением.

«Призываем население поддерживать установленный режим и порядок, беспрекословно выполнять все указания властей».

Эти приказы и листовки внесли большое успокоение. Порядок устанавливается. Теперь немцы целыми днями толпятся в комендатуре. Они приходят сюда за справками, спрашивают, что можно и чего нельзя: можно ли запирать двери, переезжать из подвалов на верхние этажи, торговать? Все суют коменданту какие-то справки, паспорта, документы.

Приходят врачи из больницы. Открываются магазины, пекарни.

Берлинские немцы знают теперь, что будет суд над военными преступниками. Берлинские немцы знают, что Германия должна ответить за разрушения, причиненные фашистскими войсками нашей стране. Они знают, что будет порядок. Они видят, как по улицам Берлина ходят комендантские патрули с красной повязкой на рукаве — власть; у предприятий стоят часовые — порядок; по улицам идут бойцы, танки, пушки — сила. Они знают, что Берлин в кольце, что Штеттин пал, что англичане, американцы и русские на Эльбе. Они знают также, что исход борьбы решен.

Да, исход борьбы решен! Правда, в центре города яростно и ожесточенно сопротивляются эсэсовские головорезы, нацистские преступники, которым нечего больше терять, и экзальтированные немки из женских батальонов Геббельса. Но часы их сочтены. Штурм цитадели гитлеровского мракобесия и разбоя близится к концу.

1945 г., апрель

КАПИТУЛЯЦИЯ

Восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года человечество вздохнуло свободно.

Гитлеровская Германия поставлена на колени.

Война окончена.

Победа.

Что может быть сильнее, проще и человечнее этих слов!

Шли к этому дню долгой дорогой. Дорогой борьбы, крови и побед. Мы ничего не жалели.

И вот он, вот этот день. Берлин в дымке, солнце над Темпельгофским аэродромом и высокое небо над головою — ждем появления самолетов в нем.

Амфитеатром расположился огромный аэропорт. Его ангары разбомблены, здания сожжены. На бетонированном поле еще валяются разбитые «юнкерсы», под ногами — холодные, мертвые осколки бомб. Это поле — поле боя. Оно, как весь наш путь,— путь боев и побед. Сегодня оно будет полем встречи с друзьями и союзниками для того, чтобы вместе продиктовать свою волю побежденному врагу.

— Что же, Темпельгофский аэродром будет Компьенским лесом? — говорит кто-то.

Нет, это не Компьен. Компьена не будет. И Версаля не будет. И гитлеровского кошмара больше не будет никогда.

Ровно в двенадцать часов пятьдесят минут один за другим стремительно, красиво, словно линия, подымаются в небо наши истребители. Они делают круг над аэродромом и уходят на запад, навстречу самолетам союзников. Спустя полчаса с аэродрома в городе Штендаль подымаются пять «дугласов» и берут курс на во-

сток. Почетным эскортом сопровождают их наши истребители. Два из них впереди.

В 14 часов на Темпельгофский аэродром в Берлине прибывают представители командования Красной Армии во главе с генералом армии Соколовским. Затем в небе появляются «дугласы» с американскими и английскими опознавательными знаками. Самолеты слетаются и вот уже бегут по бетонной дороге.

Из самолетов выходят глава делегации верховного командования экспедиционных сил союзников главный маршал авиации сэр Артур В. Теддер, за ним генерал Карл Спаатс, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, офицеры английской и американской армии и флота, корреспонденты газет и кинооператоры.

Генерал армии Соколовский здоровается с главой делегации и представляет ему начальника гарнизона и коменданта Берлина генерал-полковника Берзарина, генерал-лейтенанта Бокова. Американские и английские генералы и офицеры сердечно пожимают руки советских генералов и офицеров. Крепкое рукопожатие. Встреча союзников и победителей.

Из другого самолета выходят представители гитлеровского командования во главе с генерал-фельдмаршалом Кейтелем. Они идут молча и хмуро. Они в своих генеральских мундирах, при орденах и крестах. Высокий худой Кейтель изредка поворачивает голову в сторону— там, в дымке, Берлин. Они проходят к машинам, ожидающим их. Сев в машину, фельдмаршал Кейтель тотчас же раскрыл папку и стал читать какой-то документ.

А по бетонным дорожкам аэропорта, мимо молодцеватого почетного караула советских воинов, идут победители — советские, американские, английские генералы и офицеры. Развеваются флаги союзных держав. Оркестр играет гимны. Церемониальным маршем, крепко вколачивая шаги в бетон, проходят русские воины. До чего же солнечно сейчас на душе у каждого!

* * *

Все чувствуют величие момента. Каждый понимает, что присутствует при акте, определяющем судьбу поколений. Глава делегации верховного командования экспе-

диционных сил союзников главный маршал авиации сэр Артур Теддер произносит перед микрофоном речь:

— Я являюсь представителем верховного главнокомандующего Эйзенхауэра. Он уполномочил меня работать на предстоящей конференции. Я очень рад приветствовать советских маршалов и генералов, а также войска Красной Армии. Особенно рад, потому что я приветствую их в Берлине. Союзники на Западе и Востоке в результате блестящего сотрудничества проделали колоссальную работу. Мне оказана большая честь передать самое теплое приветствие с Запада — Востоку.

Начальник почетного караула полковник Лебедев сообщает эти слова воинам караула и провозглашает:

— За нашу победу — «ура»!

Могучее «ура» победителей гремит в поверженном Берлине.

Затем члены делегаций и все присутствующие на аэродроме отправляются в Карлсхорст — пригород Берлина, где должен быть подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Путь лежит через весь Берлин — через разрушенный, побежденный Берлин, через Берлин, штурмом взятый нашими войсками.

Поток машин несется по улицам германской столицы. Дорога расчищена, но на тротуарах лежат груды битого кирпича и мусора. Развалины — следы работы союзных летчиков и советских артиллеристов. Победители едут по Берлину. На перекрестках молча стоят жители города. Победители мчатся по Берлину, и вслед за ними следуют побежденные гитлеровские генералы, принесшие капитуляцию. О чем думают они сейчас, проезжая по улицам Берлина? Вспоминают ли плац-парады или последние дни крушения? Они посеяли ветер и теперь пожинают бурю.

Машины проходят под воздвигнутой нашими бойцами аркой победы. Над ней гордо развеваются три флага и надпись: «Красной Армии — слава!» Поток машин проносится под аркой. Мелькают улицы, развалины, люди.

Вот, наконец, Карлсхорст. Карлсхорст — этот берлинский пригород — сегодня на наших глазах вошел в историю. Здесь могила гитлеровской Германии, здесь

конец войне. Все здесь принадлежит истории. И это здание бывшего немецкого военно-инженерного училища, в котором состоялось подписание акта капитуляции. И этот зал офицерской столовой, эти четыре флага на стене — советский, американский, английский и французский — символ боевого сотрудничества. И эти столы, покрытые серо-зеленым сукном, и все минуты этого короткого, но преисполненного глубокого волнения и смысла заседания — все это принадлежит истории. Хочется запечатлеть каждую минуту.

В зал входят Маршал Советского Союза Жуков, главный маршал британской авиации сэр Артур В. Теддер, генерал Спаатс, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, генерал Делатр де Тассиньи и члены советской, американской, английской и французской делегаций.

Историческое заседание начинается. Оно очень недолго продолжалось. Немного людей присутствует в зале, немного слов произносится. Но за этими словами — долгие годы войны. Маршал Жуков на русском языке, а затем главный маршал авиации Теддер объявляют, что для принятия условий безоговорочной капитуляции пришли уполномоченные германского верховного командования.

— Пригласите сюда представителей германского верховного командования,— говорит маршал Жуков дежурному офицеру.

В зал входят немецкие генералы. Впереди идет генерал-фельдмаршал Кейтель. Он идет, стараясь сохранить достоинство и даже гордость. Поднимает перед собой свой фельдмаршальский жезл и тут же опускает его. Он хочет быть картинным в своем позоре, но дрожащие пятна проступают на его лице. Здесь, в Берлине, сегодня его последний «плац-парад». Вслед за ним входят генерал-адмирал фон Фридебург и генерал-полковник Штумпф. Они садятся за отведенный им в стороне стол. Сзади их адъютанты.

Маршал Жуков и главный маршал авиации Теддер объявляют:

— Сейчас предстоит подписание акта о безоговорочной капитуляции.

Немцам переводят эти слова. Кейтель кивает головой:

— Да, да, капитуляция.

Имеют ли они полномочия немецкого верховного командования для подписания акта капитуляции?

Кейтель предъявил полномочия. Документ подписан гросс-адмиралом Дениц, уполномочивающим генерал-фельдмаршала Кейтеля подписать акт безусловной капитуляции.

— Имеют ли они на руках акт капитуляции, познакомились ли с ним, согласны ли его подписать? —спрашивают маршал Жуков и маршал Теддер.

О капитуляции, только о капитуляции — полной, безоговорочной, безусловной идет речь в этом зале сегодня.

— Да, согласны,— отвечает Кейтель.

Он разворачивает папку с документами, вставляет монокль в глаз, берет перо и собирается подписать акт. Его останавливает маршал Жуков.

— Я предлагаю представителям главного немецкого командования,— медленно произносит маршал Жуков,— подойти сюда к столу и здесь подписать акт.

Он показывает рукой, куда надо подойти фельдмаршалу.

Кейтель встает и идет к столу. На его лице багровые пятна. Но его глаза слезятся. Он садится за стол и подписывает акт о капитуляции. Кейтель подписывает все экземпляры акта. Это длится несколько минут. Все молчат, только трещат киноаппараты. В этом зале сейчас нет равнодушных людей, нет равнодушных и во всем человечестве и тем более — в Советском Союзе. Это на нас обрушилась войной гитлеровская военная машина. Наши города жгли, наши поля топтали, наших людей убивали, у наших детей хотели украсть будущее.

Сейчас в этом зале гитлеровцев поставили на колени. Это победитель диктует свою волю побежденному. Это человечество разоружает зверя.

Фельдмаршал Кейтель подписал капитуляцию. Он встает, обводит взглядом зал. Ему нечего сказать, он ничего и не ждет. Он вдруг улыбается жалким подобием улыбки, вынимает монокль и возвращается к своему месту за столом немецкой делегации. Но прежде чем сесть, он снова вытягивает перед собой свой фельдмаршальский жезл, затем кладет его на стол. Акт о капитуляции подписывают генерал-адмирал фон Фридебург, генерал-полковник Штумпф.

Все это происходит молча, без слов. Слов уже не надо. Все нужные слова сказали Красная Армия и армии наших союзников. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. Больше от гитлеровцев ничего не требуется. Немецкие уполномоченные молча подписывают акт. Затем акт подписывают маршал Жуков и главный маршал авиации сэр Артур Теддер. Вот подписывают акт также свидетели — генерал Спаатс и представитель французской делегации генерал Делатр де Тассиньи.

Члены немецкой делегации могут покинуть зал.

Немецкие генералы встают и уходят из зала — из истории. Все присутствующие на этом историческом заседании радостно поздравляют друг друга с победой. Война окончена. Маршал Советского Союза Жуков жмет руку маршалу английской авиации Теддеру, генералу американской армии Спаатс и другим генералам.

Победа! Сегодня человечество может свободно вздохнуть. Сегодня пушки не стреляют.

Берлин. В ночь на 9 мая 1945 г.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Мы уже привыкли к миру.

Самолет в небе уже не кажется нам обязательно бомбардировщиком, треск отбойного молотка в шахте не чудится пулеметным треском. И когда мы видим на дороге людей с лопатами, мы знаем: они роют канал, а не противотанковый ров, котлован, а не окоп полного профиля.

Миролюбивые люди, мы вернулись в мирную жизнь как в естественное состояние человека: снова стали делать то, что прервала война,— строить коммунизм. Мир, выстраданный нашими муками и завоеванный нашей кровью, стал для нас еще дороже и краше. Мы знаем ему цену,— мы заплатили сполна.

Жизнь не дала нам передышки, отдыха после войны, да мы этого и не просили. Мы не умеем и не любим почивать на лаврах. Да, это мы завоевали победу для всего человечества, но мы не требуем, как некоторые, чтобы теперь человечество работало на нас. Потому что мы освободители, а не завоеватели. Мы не умеем жить на чужой счет.

Мы всего достигли сами — победы, мира, счастья. Да, мы уже привыкли к миру, заживают раны, зарубцовываются шрамы, из пепла встают города,— но можем ли мы забыть войну? Это была всенародная война, отечественная, и мы все — ее ветераны. Все. И солдаты, и стахановцы. И мужчины, и женщины. И партизанские деды, и ребята из ремесленного училища.

Война была не только испытанием. Великая война была и нашей великой славой. Давно прославившиеся на весь мир героизмом труда, советские люди в дни войны прославились на весь мир и своим беспримерным ратным подвигом.

Пусть кое-кто хочет забыть это.

Забудет ли мир? Забудем ли мы?

Вспомним же об этих днях в солдатской шинели, о фронтовых друзьях, о тех, кто сражался рядом, о тех, кто геройски пал, о нашей воинской славе, о нашей победе.

И об этом дне вспомним, о самом величественном дне в нашей солдатской жизни, когда над поверженным Берлином, над зеленовато-черным куполом рейхстага, взвилось, наконец, знамя победителя. Не звездное знамя янки, не полосатый флаг британцев, а наше знамя. Алое, как наша кровь. Горячее, как наши сердца. Простое и чистое, как наша правда. Наше знамя. Потому что это мы, и никто другой, вошли в Берлин. Потому что это мы победили.

Вспомним, как это было...

Еще лежали в мокрых мартовских окопах бойцы, занимая оборону, еще шел по Одеру тощий, чахоточный, западноевропейский лед, еще на завоеванных нелегкой кровью крохотных плацдармах на западном берегу реки еженощно кипела малая, своя война, еще нетерпеливая жажда нового наступления не переполнила до краев солдатских сердец, хоть уж и стучала в сердце,— а в Ставке Верховного Главнокомандования уже был разработан план последнего и стремительного удара. Три фронта — 1-й Белорусский, 1-й Украинский и 2-й Белорусский — осуществляли этот план.

И раньше, чем заговорили пушки, и раньше, чем поднялись из окопов бойцы,— в тихом здании Военного Совета фронта — фронта, на котором я был,— собрались генералы и расселись по указанным им местам.

Они сидели здесь так, как потом наступали. Чуйков и Берзарин в центре. Левее — Цветаев и другие. Правее Берзарина — Кузнецов и Перхорович. Рядом с Чуйковым сидел командарм 1-й танковой Катуков и рядом с Берзариным командарм 2-й танковой Богданов.

А за командармами, сзади, сидели их командиры корпусов, а уж за ними незримо стояли их войска. Их не было в этом тихом зале, но, обсуждая план удара, генералы твердо знали, что могут положиться на своих солдат.

И солдаты в мокрых окопах, на плацдармах и переправах, в войсковом тылу и в снайперских гнездах вери-

ли своим полководцам. Не только потому, что это были прославленные генералы, но и потому, что это были многоопытные генералы, не раз водившие войска на бои и победы.

Это были генералы, выросшие в огне войны. Знавали они сперва и неудачи, знавали и поражения, но партия терпеливо учила их военной мудрости, а Родина питала их неиссякаемой верой и мужеством. Никогда и нигде в мире не было, да и не могло быть такой кровной духовной связи между полководцами и солдатами. И я прямо скажу: нет сейчас в мире полководцев, равных нашим. Мы и победили потому, что в ходе войны у нас выросли такие командармы.

Так, три года тому назад ранним апрельским утром начался этот последний штурм. Он начался таким артиллерийским громом, какого, думаю, мир еще не знал. Я счастлив, что слышал этот гром,— слаще музыки нету. Сорок одна тысяча стволов артиллерии и минометов. Это была симфония нашей мощи. Это Урал и Сибирь могутными голосами заговорили под Берлином. Это шли в бой кузнецкие сталевары и челябинские танкостроители. Это советский тыл показал свою силу. Мы и победили в этой войне потому, что у нас был такой тыл.

Так началась эта битва. На восьмую гвардейскую армию Чуйкова и пятую ударную армию Берзарина была возложена почетная задача — ударить в самое сердце Берлина, в самое логово, в центр. Славные армии, славные воины, славные генералы были вполне достойны этой задачи.

Закованные в железо и бетон Зееловские высоты под Берлином стали на их пути. Отборные, последние фашистские легионы приготовились к отчаянной битве — насмерть. В жестоких боях под Берлином и в Берлине бойцы всех советских армий покрыли себя бессмертной славой.

На долю невысокого коренастого генерала Кузнецова и его армии выпала задача: обойти Берлин с северо-востока, содействуя успеху на главном направлении. Армия Кузнецова не была гвардейской. Просто — третья ударная армия. Было вполне справедливо, что и задача ей досталась поскромнее.

Такая задача — значит, более легкая задача. Значит, меньше ответственности, меньше усилий, да и кро-

ви меньше. Отчего же расстроились так и генералы, и бойцы третьей ударной армии, узнав, что не им доведется драться в «самом логове»? Это только русский человек поймет,— иностранцу этого понять не дано. Это только советский человек почувствует. Никто у нас не хочет «хаты с краю», задач легких и жертв малых. Всякое направление, на котором работает или дерется советский человек, он сделает для себя самым главным и отдаст ему всю свою душу, всю без остатка.

Я был в третьей армии, я прошел с нею весь путь до победы, от Одера до рейхстага. И я понял, почему мы победили в этой войне. Потому что мы — советские люди. Потому что нет на земле воина лучше, преданнее, беззаветнее, чем наш советский воин.

Армия Кузнецова честно выполнила свою задачу. Верные принципам советского человека, бойцы третьей армии сумели сделать свое направление главным. Они раньше других ворвались в пригороды Берлина, и Верховное командование, мудро управляя битвой, по-должному оценило успехи третьей. Курс наступления третьей армии был изменен. Так и вышло, что именно бойцы армии Кузнецова первыми ворвались в центр Берлина, и именно они водрузили над рейхстагом Знамя победы.

Разве забудешь эти дни боев за рейхстаг? В эти дни в корпусе генерала С. Н. Переверткина, который первым вышел к рейхстагу, каждый боец жил только одной мечтой — водрузить над рейхстагом свое, собственное Знамя победы, своею собственной рукой. В каждом полку было знамя, специально предназначенное для этой чести,— большое, красивое, с номером и именем полка, но в батальонах Неустроева, Самсонова, Давыдова, Логвиненко каждый боец сам обзавелся своим флагом. Это были маленькие флажки, тайно спрятанные за пазухой. И не было на них ни имени солдата, ни номера его полка.

И когда грянул час штурма, поднялись с флажками в руках солдаты и пошли... И пошли! Никто из них в этот час о себе не думал и жизни своей не щадил, и будь я не русским журналистом, я спросил бы их: отчего они, зная, что это — последний бой, последняя встреча со смертью,— завтра уж и войне конец,— отчего не ищут они в бою местечка потише, отчего сами рвутся в огонь? Зачем нужно ему, солдату, чтоб имен-

но его безымянный флажок первым взвился над рейхстагом?

Но я не оскорбил солдат таким вопросом. Этот вопрос тогда и мне самому в голову не пришел. Кто знает душу советского человека, тот поймет, что чувствовали люди на площади перед рейхстагом утром 30 апреля 1945 года.

Да, мы хотим жить, сказали бы эти люди, если б было тогда время говорить,— мы очень хотим жить, а победить хотим еще больше. И если побеждать — так своею рукою, и если флаг над рейхстагом — так мой флаг, и если умирать в бою — так мне умирать, а не товарищу.

И если спросят меня — не участника боя, а только очевидца,— кто водрузил Знамя победы над рейхстагом, я отвечу: все. Все советские воины.

И те, кто, не добежав до рейхстага, лежали на изрытой снарядами площади, сжимая мертвой рукой алый, как кровь, флажок. И комсомолец Пятницкий, распростершийся с красным знаменем у самой первой ступеньки лестницы, ведущей в рейхстаг. И живые и ныне казах Кашкарбаев и русский паренек Гриша Булатов, утвердившие знамя на третьей ступеньке лестницы. И русский солдат Егоров, и грузин Кантария, водрузившие знамя над самым куполом,— все советские воины грудью своей проложили дорогу Победе и подняли высоко над землей ее знамя.

И когда рассеялся, наконец, дым боя и стих, наконец, гром пушек,— весь мир увидел Знамя победы над рейхстагом. Не звездное знамя янки, не полосатый флаг британцев. А наше знамя. Алое, как наша кровь. Прекрасное, как наша правда.

В те дни на Эльбе мне довелось поспорить с коллегой — американским журналистом. Он начал спор, не я. Мне спорить было не о чем. Это он поставил вопрос о том, кто решил исход войны. Я ничего ему не ответил. Я только спросил: видел ли он дорогу до Эльбы с запада и дорогу до Эльбы с востока? И если не видел, — пусть посмотрит.

Я видел эти обе дороги. Дорога, которой шли союзники с запада к Эльбе, была идиллически мирной. Почти не было воронок на ней, следов сражений, разбитых домов. Это не была дорога битвы. Это была дорога

торжественного марша. И американские танки, придя на Эльбу, еще блистали свежей окраской, боевых царапин на них не было.

И я видел дорогу, которой шла наша армия. От Волги до самой Эльбы это была дорога жестоких боев. На этом пути мы и уничтожили гитлеровскую армию. Убитые нами фашисты уже не могли встать против марширующих к Эльбе с запада войск союзников.

Я горд, что видел эту дорогу и шел ею. Да, это мы сломали хребет Гитлеру. Это мы спасли мир от фашизма. Это мы освободили Европу.

И об этом нельзя не вспомнить сегодня. Это никто не имеет права забыть.

Три года тому назад, в утро первого Дня победы, я стоял вместе с бойцами из корпуса Переверткина на куполе рейхстага. Мирное было утро. И дали были ясны и прозрачны. И воздух чист. Запах пороха рассеялся, улеглась ржавая пыль с развалин.

И боец, стоявший рядом, снял тогда свою видавшую виды пилотку и сказал тихо:

— Вот и отвоевались! — потом посмотрел вокруг себя на мир и ласково помахал пилоткой.— Теперь живи, человечество! Хорошо живи!

Живи, человечество, живи мирно, спокойно, счастливо! Дорожи миром — это естественное состояние человека. Пусть не смущает тебя истерический вой поджигателей войны,— наша сила крепче. Дело мира — правое дело, оно и победит.

На страже мира во всем мире по-прежнему спокойно и несокрушимо стоит простой советский человек в серой солдатской шинели.

1948 г., май

В БРЯНСКИХ ЛЕСАХ

1

Недавно мне вновь довелось побывать в Брянских лесах, точнее,— в северных районах Брянщины: Клетнянском, Жуковском, Рогнединском и Дубровском.

Здешние места широко известны в нашем народе под именем «Партизанского края». Когда иноземное нашествие докатилось сюда, брянцы стали партизанами.

Обезлюдели деревни. Замерла жизнь в них. Только осенний ветер голосил в брошенных избах. Брянские колхозники не только не покорились оккупантам,— они не захотели даже жить рядом с ними, дышать одним воздухом...

Началась народная война.

Есть в Жуковском районе колхоз «Муравей». До войны это был большой и богатый колхоз, добрая слава о нем гуляла по обоим берегам Десны, доходила и до соседней Смоленщины. Это был действительно веселый и трудолюбивый колхозный муравейник.

Оккупанты разорили его. Но и этого им было мало. Однажды ночью они внезапно нагрянули на село и обложили его, как загонщики, волчьей облавой,— жители так и не успели уйти в спасительный лес.

К утру от богатого некогда села остались одни головешки.

Я был в здешних местах вскоре же после войны. Я еще застал «зону пустыни». Головешки, головешки, головешки... Следы пожарища и знаки разорения.

На колхозные земли яростно наступал лес, пахотные площади покрывались дружным и напористым молодняком: цепкие заросли подступали уже вплотную к разоренным селам. Казалось, лес хочет поглотить все окрест, все накрыть своей могучей зеленой шапкой.

Невиданная засуха 1946 года еще ниже пригнула колхозников к земле. Люди ютились в землянках. В землянках были и школы, и сельсоветы, и правления колхозов. Я глядел на все это разорение и невольно думал: сколько же сил, средств, энергии и, главное, времени,— времени, времени! — надобно, чтоб восстановилась здесь жизнь?

2

Знаменательно, что, вернувшись на родное пепелище после изгнания оккупантов, люди сразу же,— не дожидаясь ни указаний сверху, ни зова организаторов,— сами стали собираться в колхоз. Никому — ни дряхлым старикам, ни старухам, ни многодетным женщинам (а они теперь были единственной силой на селе, мужчины-партизаны ушли на запад добивать врага) — никому даже в голову не пришло устраивать свою жизнь теперь вне колхоза, в особицу, единолично, на свой страх и риск, в стороне от соседей. Напротив, именно в колхозе видели люди свое единственное спасение. Они свято верили в колхозную силу. Они уже *знали ее.*

— Ах, как жили! Вот как жили! Кабы снова так жить!..

И не выплакавшись как следует на развалинах собственного очага, вдовы сразу же потянулись к тому, что некогда было колхозной усадьбой. Сюда стали стягивать кто уцелевшую борону, кто плуг, кто мешок семян. Тут вокруг стариков мужчин, как трепетные молодые побеги подле старого дуба, сгрудились женщины и подростки...

В колхозе «Муравей» такими стариками оказались Симкин Филипп Андреевич и Рекунов Григорий Иванович, «главный партизанский кучер», дед престарелый и разговорчивый, но еще могучий и работящий, к тому же хороший плотник. На первых порах они, как умели, при дружной подмоге женщин стали строить заново колхоз... А тут по ранению вернулся из армии старый солдат Василий Григорьевич Игнатиков, прежний председатель колхоза. Руководство сразу же перешло в его многоопытные руки.

Развороченный муравейник ожил. Весной уже дружно сеяли.

...И вот я снова в Брянских лесах, в «зоне пустыни». Какие чудесные перемены!

Тогда — несколько лет назад — в глаза прежде всего бросались руины да развалины, сейчас — раньше всего замечаешь свежесрубленные, пахучие, нарядные и веселые избы. Тогда — горькая тишина кладбища встречала вас у поскотины и шла рядом с вами по всему селу, теперь — все окрест звенит молодыми голосами...

И люди повеселели. Собравшись в новой, просторной, богатой избе «партизанского деда» Рекунова — и до войны у старика не было такой хоромины! — они оживленно толкуют о том, что пора уже приниматься за осуществление тех колхозных планов, что были прерваны войной: пора электрифицировать колхоз, поставить мельницу, пилораму...

И прикидывают: а не объединиться ли с соседями в один большой колхоз да зажить лучше довоенного?

То же, что в «Муравье», видел я и в Косилове, и в Тюнене, и в Рековичах, и в Олсуфьеве.

Уже все колхозы восстановлены, и в колхозах — все фермы. Поднялись из пепла и районные центры. В Жуковке, например, уже сейчас и домов, и людей больше, чем было до войны.

Жизнь везде и всюду,— жизнь, которую невозможно истребить! Вчерашняя «зона пустыни» стала зоной новой жизни, счастливых надежд и радостных свершений.

Разумеется, все это могло статься только потому, что в наступление на «зону пустыни» люди пошли в дружном колхозном строю. Только в могучем колхозном дубе могло оказаться столько жизненных соков после бури!

Разумеется, всех этих побед не было бы, не могло бы быть, если б колхозникам не пособило родное государство.

А оно пособило — и крепко! Пособило всем: лесом, деньгами, семенами, машинами, добрым советом и умелыми кадрами.

Государство отпустило колхозникам бесплатно строительный лес — сотни тысяч кубометров. Государство дало колхозникам ссуды на индивидуальное строительство,— только по одному Жуковскому избирательному округу было выдано более чем тридцать миллионов рублей. Государство наделило колхозников коровами и те-

лятами. Государство помогло колхозам машинами: без могучих гусеничных тракторов МТС не удалось бы колхозам так быстро раскорчевать мелколесье, поднять запущенные, заброшенные пахотные земли. Государство помогло семенами, а в засушливый 1946 год — и хлебом. Только колхозы Жуковского района получили больше трех с половиною миллионов килограммов семян.

И если спросить любого колхозника, колхозницу, подростка: кто же помог им крепко стать на ноги, кто вывел их из горькой нужды на светлую дорогу к счастью,— всякий, не задумавшись и от всей души, ответит:

— Наша родная партия!

3

«Путь к счастью» — так назвал свою книжку председатель колхоза имени Парижской Коммуны, Дубровского района, Михаил Дмитриевич Зернов. Я был в «Парижской Коммуне» и нахожу, что заголовок книги — точный заголовок.

Михаил Дмитриевич Зернов — не старый еще человек, но старый деятель колхозного движения. Он стал председателем колхоза еще в 1929 году, будучи комсомольцем. Он был делегатом и первого и второго съездов колхозников-ударников. О Зернове можно сказать, что он принадлежит к старой колхозной гвардии, той, что на своих плечах вынесла всю тяжесть классовых боев с кулачеством и посеяла первые семена колхозной нови...

В 1946 году после демобилизации из армии М. Д. Зернов вновь был избран председателем родного колхоза. Двадцать лет на председательском посту,— и ведет колхоз к новому счастью!

Но что ж оно такое, это колхозное счастье? Мы толковали об этом с колхозниками в тихий вечер после полевых работ.

Счастье в том, чтоб честно, в срок и от всей души выполнить свой долг перед государством. Счастье в том, чтоб сделать свой колхоз богатейшим, а всех колхозников — зажиточными. И чтоб каждый завтрашний день был куда лучше сегодняшнего. И чтоб видеть, как уже в сегодняшнем дне зреют и наливаются могучей силой ростки завтрашнего коммунистического дня. Как поко-

ряется человеку природа; как преображаются вчера еще тощие и бедные брянские земли; как загораются огни культуры в лесной, медвежьей глуши. И исчезает противоположность между городом и деревней.

Да, брянскому колхознику одной сытости мало; уже не мыслит он себе счастливой жизни без света культуры; хочет он, чтоб в родном селе жить было не хуже, чем в городе, чтоб было и кино, и радио, и электричество, и колхозный клуб, и библиотека, и стадион, и даже свой театр.

Об этом нельзя писать спокойно. Даже в первые дни после оккупации, в самые слезные дни нужды и разорения никто из колхозников не считал строительство школы, колхозного клуба, яслей, избы-читальни делом второй очереди. Еще и дыр не залатав в хозяйстве, взялись колхозники за топоры и пилы, чтоб возродить культурные очаги на селе. И первыми из землянок в новые дома переехали школьники.

Нужно воочию представить себе «зону пустыни», где все, все, все было сожжено и разрушено, все превращено в пепел и прах, чтоб понять размах культурного строительства в здешних местах. Тогда, несколько лет назад, негде было даже встретиться с избирателями,— встречались в землянках. А сейчас сколько новых колхозных клубов! А если на клуб у колхоза силенок не хватило,— так изба-читальня уж обязательно есть! И в клубах играют Островского, смотрят кино, слушают заезжего лектора или просто танцуют под баян да поют партизанские песни...

А в колхозе имени Парижской Коммуны новый клуб такой, какого и до войны не было,— каменный, на пятьсот мест, со стационарной киноустановкой.

«Жить лучше, чем жили до войны!» — вот о чем толкуют сейчас колхозники. Уже не оглядываются они назад, в довоенный день, а смотрят вперед. И смотрят смело.

В той же «Парижской Коммуне» завтрашний день уже положен на кальку, запечатлен в колонках цифр пятилетнего плана. Уже есть у колхоза своя электростанция — до войны не было, свои известковый и кирпичный заводы, мельница, лесопильная рама, столярная мастерская, многогектарный сад, заложенный комсомольцами. Строится средняя школа...

А мечты колхозников уже бегут дальше, дальше, вперед... И среди этих мечтаний главное: о новом колхозном селе.

Вернувшись после изгнания гитлеровцев в свои родные Рековичи, колхозники стали селиться каждый на своем старом, исконном месте, каждый на своих головешках.

Так и вышло, что Рековичи после разорения возродились и в прежней красе, но и с прежними недостатками.

С этим сейчас уже нельзя было мириться... М. Д. Зернов с товарищами стали планировать новое село: красивые каменные здания, широкие прямые улицы, обсаженные ровными рядами лип, в центре села парк, возле него театр, здание правления колхоза, магазины, почта.

А овраги засадить плодовыми деревьями... Нет, это не бесплодная мечта! Все это будет под силу такому богатому колхозу, как «Парижская Коммуна».

Это уже оказалось под силу колхозу имени КИМ, Жуковского района, во главе которого стоит волевой организатор Кирилл Афанасьевич Малкин.

Когда Кирилл Малкин вместе с другими кимовцами вернулся из леса, он долго ходил по пепелищу. А потом собрал колхозников и с горечью сказал им:

— Да неужто опять будем строиться по-старому? Изба к избе спиною, словно поссорившиеся соседи?

— А как же ты мыслишь, Кирилл Афанасьевич? — спросили товарищи.

— Надо по плану строиться...

И он вскоре действительно привез из города архитектурные планы нового села.

Я был в этом прекрасном новом поселке, слава о котором уже гремит по всей Брянщине. Здесь не увидишь ни одной подслеповатой избы, ни одной крыши под соломой. На прямой зеленой улице один к одному стоят просторные, красивые дома.

4

Жить лучше, богаче, краше, чем жили до войны!

Уже не о восстановлении, а о расширении производства толкуют на Дубровской шпагатной фабрике. На

Клетнянском заводе стандартного домостроения начинают делать и паркет. В Рогнедине хлопочут о новом льнозаводе. Строятся поселки, школы, мосты, клубы, колхозные чайные, дома для приезжих, плотины на реках...

Да, многое переменилось тут за эти годы! Иной стала жизнь, иными стали речи. И почта депутата стала иной. Иные жалобы, иные просьбы, иные наказы... Люди просят помочь им электрифицировать поселок, благоустроить районный центр, получить книги; требуют машины, киноустановки... Жалуются на Сельэлектро, которое берет за проекты слишком дорого, а делает проекты слишком медленно...

Да, нужд еще много, но и они, так сказать, уже иные — иного качества, иного уровня. Это запросы и требования строителей. И им от всей души хочется помочь.

Но, кстати, помогать надо не так, как «помогло» Брянское областное управление сельского хозяйства колхозу «Маяк», Рогнединского района. Однажды, расщедрившись, оно прислало колхозу... огромный инкубатор.

Колхозники немедленно прозвали его «железной квочкой». Этот инкубатор совсем «Маяку» не нужен,— всех колхозных кур не хватило бы, чтобы обеспечить его яйцами. К тому же инкубатор оказался безнадежно неисправным. А облуправление требует от колхоза денег за свой «подарок», и не малых.

А в колхозах отлично научились считать копейку. Выгоды и невыгоды прикидывают не только руководители, а и рядовые колхозники.

И самая животрепещущая тема — укрупнение колхозов. Передовым колхозникам очевидны все выгоды слияния двух-трех мелких колхозов в один мощный, крепкий. Сама жизнь властно требует этого. Я видел это воочию. Вот два колхоза рядом: у одного земли вдоволь, да рабочих рук нехватка, а у другого рабочие руки найдутся, да земли мало. Ну, что же не объединиться? Или вот два других соседа, разделены они только мелкой речушкой; у одного — хорошие луга, да земли под приусадебные участки не хватает, а у соседа за речушкой приусадебных земель избыток, да лугов нет, хоть плачь!.. Ну что ж, в самом-то деле, не объединиться?

К сожалению, говорят и спорят о слиянии много, а делается пока все еще недостаточно. Что мешает? Да все та же инерция, привычка, а кое у кого и оглядка на то, как до войны жили. Многие районные партийные и советские организации еще не возглавили это жизненное движение.

Много разговоров было в эту весну о льне — самой выгодной по здешним местам культуре. Лен тут сеют охотно, хоть и трудоемка эта культура. Четыре района, входящие в Жуковский избирательный округ, сеют уже сейчас больше трети всего брянского льна. Между тем в округе нет ни одного льнозавода, нет даже хороших льномяльных пунктов.

Министерству легкой промышленности СССР необходимо в самое ближайшее время построить льнозавод в Рогнедине.

Избиратели Жуковского района просят правительство Российской Федерации помочь им довести до конца электрификацию поселка. Электроэнергия здесь есть, ее в избытке даст завод. Нужны трансформатор, провода, средства.

Нужен Жуковке и хороший кинотеатр. Существующий уже мал для растущего поселка. А Дубровской шпагатной фабрике нужна стационарная киноустановка,— рабочий клуб тут уже есть. Эти вопросы необходимо решить Министерству кинематографии СССР.

Молодежь Рогнедина и Жуковки справедливо жалуется на то, что в их поселках нет стадионов, физкультурная работа запущена. И они требуют, чтобы стадионы были построены! И чтобы в Дубровке была воздвигнута плотина и восстановлено озеро — отрада пловцов и рыболовов. А в Клетне надо построить зимний клуб,— летней площадкой уже не обойдешься...

Жить еще лучше, еще радостней, еще веселей — вот о чем шумит сейчас Брянский лес.

Вот чем живут люди во вчерашней «зоне пустыни».

1950, июль

СЛОВО О БЫТЕ ШАХТЕРОВ

Великие перемены произошли на шахтах Донбасса, в шахтерском труде и в шахтерской жизни. К ним быстро привыкли; иное уже и не поражает. Только старожилы, сравнивая «век нынешний» и «век минувший», еще умиляются по-стариковски.

Взять хотя бы один простой, с виду дюжинный факт из повседневной жизни: на шахтах Донбасса больше нет нехватки рабочих рук! Шахта перестала быть «проходным двором», шахтер перестал быть кочевым, сезонным рабочим, стал всеми корнями своими врастать в донецкую землю.

Когда-то семейный шахтер был в Донбассе редкостью. Орловский крестьянин, которого злая нужда пригнала сюда на заработки, упрямо считал себя временным человеком на руднике. Люто тоскуя под землей, он мечтал (и чаще всего — тщетно!) о том золотом времени, когда, справив коня, он вернется, наконец, в родное село и заживет сам себе хозяином по всей своей воле.

В те годы люди не искали на шахте прочного, оседлого счастья. Слова «счастье» и «шахта» роковым образом не вязались вместе. На угле искали только длинного рубля, фарта, «случая», словом — удачи, и в напрасных поисках ее бродили с шахты на шахту, все надеясь найти такую, где уголь мягче, заработки больше, штейгер добрее... Даже в годы первых пятилеток текучка еще продолжала трепать и лихорадить угольный Донбасс. Неожиданно приходили на шахту люди, неожиданно, никому не сказав ни слова, уходили; и начальник участка никогда не знал, сколько у него сегодня шахтеров выйдет в смену.

А нынче... Нынче совсем другое. На одной из горловских шахт, в нарядной, нам довелось наблюдать при-

мечательную сценку. Молодой, расторопный и, видать, бывалый хлопец пришел наниматься на работу. Начальник участка стал внимательно изучать его документы, дотошно допытываясь о причинах каждой перемены профессии; перемен было много.

— Да что вы придираетесь, Иван Федорович? — вдруг обиделся хлопец.— Та я ж не в университет поступаю. Я ж на шахту иду. В шахтеры!

— То-то и есть, что на шахту! — ворчливо ответил Иван Федорович.— Нам на шахте тоже надежный народ нужен. По нынешним временам, брат, шахтер — гордое звание. Шахтер, как солдат, мундир носит. Вот оно как!

Да, великие, великие перемены свершились в Донбассе на наших глазах. Стали светлее, чище и радостнее донецкие шахты. Стал легче подземный труд. Стала веселее и богаче жизнь шахтера. Пришло счастье.

1

Молодой человек впервые приехал на шахту.

Вот он стоит у рудничной конторы. По его одежде легко определить, откуда он. Матросский ремень или танкистская фуражка без слов скажут, что парень демобилизовался из армии; шинель ремесленника,— что пришел из школы; вышитая гуцульская рубашка под полушубком,— что прибыл издалека, из западных областей Украины. Разные дороги привели молодого человека на шахту, но он твердо верит, что любая из них — дорога к счастью. За счастьем-то он сюда и приехал.

Он уже принят и определен на работу: электрослесарем, лесогоном, забойщиком. Куда теперь идти? Где спать? Где жить? Где столоваться?

Когда-то каждый из этих вопросов был мучительной проблемой. В старое время хлопец стал бы искать родственника или земляка, жил бы в нахлебниках или приткнулся бы где-нибудь в балагане, в землянке, спал бы на койке в очередь с товарищем по артели. В 1940 году новичка уже сразу определили бы в общежитие. Общежития бывали и хорошие и плохие. Столовой при них не имелось.

А ныне — ныне для молодых, одиноких рабочих

есть на каждой шахте интернат. Этим неудачным, нерусским и непонятным словом обозначается, однако, большое и доброе дело, целое явление в жизни шахтерской молодежи.

Что такое интернат? Это большой, светлый, просторный дом, где каждый молодой шахтер-холостяк найдет себе и кров, и стол, и уют, и ласку. Здесь дадут ему кровать с отличным, чистым постельным бельем в теплой и хорошо обставленной комнате на двух-трех человек. И за это — за помещение, освещение, отопление, белье и обслуживание — он будет платить всего 46 рублей в месяц. Здесь же, в интернате, он получит хорошее трехразовое питание, причем получит его в любое время, когда бы он ни пришел с работы. И за это он будет платить (после нового снижения цен) 390 рублей в месяц. При интернате есть и баня и парикмахерская; здесь можно отдать свое личное белье в стирку и починку. Здесь есть специальные классные комнаты для тех, кто учится в вечерней школе или на курсах. Есть ленинский уголок. Есть своя оборудованная спортивная площадка. Есть политрук, который заботится об учебе, отдыхе и развлечениях молодежи. Есть воспитатели — обычно старики шахтеры, мастера порассказать о былом. Часто при интернате есть и свой фруктовый сад, корней на сто, или просто садочек с зеленью и цветами, до которых каждый шахтер страстный любитель.

Вот что такое интернат. Он стал поистине родным домом для шахтерской молодежи. А эта молодежь теперь требовательна! Она пришла в основном из школ ФЗО, где привыкла жить «в уюте», как говорит молодой проходчик Александр Богачев. Приехав на «Кочегарку», он с товарищами долго и привередливо осматривал все три интерната шахты.

— Директор школы, провожая нас, так и наказывал: требуйте, мол, себе самое хорошее общежитие. Вам полагается.

Однако интернат на шахте «Кочегарка» удовлетворил даже требовательного Богачева. Он по-хозяйски осмотрелся, все обошел, все ощупал своими руками и только потом изрек:

— Уютно! — Это его любимое слово. Он произносит его по-южному: «вьютно» — Горловка вьютный город.— Начальник шахты встретил нас вьютно.

А в интернатах «Кочегарки» действительно уютно, даже нарядно. Свежевыкрашенные и натертые полы. Ковры. Дорожки. Карты на стенах. Чистота. В спальнях — две-три кровати, тумбочки, столики с книгами, патефон, чей-то баян, гитара на стене, на коврике; на окнах — горшочки с цветами. В ленинском уголке — пианино, шахматные столики, мягкие, удобные диваны. На стене — расписание лекций и бесед. И на всем — на каждой мелочи — лежит печать большой и трогательной большевистской заботы о молодых горняках, об их удобствах, об их счастье. Недаром же все обитатели интерната любовно называют помощника начальника «Кочегарки» Д. Е. Шевелева — Ерофеича — своим родным батькой. Недаром же самый частый и самый желанный гость в интернате — парторг «Кочегарки» Я. И. Нерозин.

Итак, молодой человек поселился в интернате. Стал работать на шахте. В первый месяц он заработает немного. Правда, и этого с лихвой хватит на питание. Но у молодого шахтера теперь и потребности другие. Ох, как много у него всяких мечтаний и планов! Пройдет три-четыре месяца, и он сможет приступить к осуществлению их.

Вот бюджет молодого забойщика Леонида Шеманского, чернобрового и кареглазого парня. Ему всего двадцать лет. Зарабатывает он 3500—3800 рублей в месяц. За питание в интернате он платит 390 рублей, за помещение и обслуживание — 46 рублей. На папиросы — 60 рублей. На театр, кино и другие расходы еще 250—300 рублей. Ежемесячно он посылает матери 700 рублей. И после всех этих расходов у него в общем остается ежемесячно 1500—1800 рублей.

В первые месяцы своей шахтерской жизни он их почти целиком тратит на то, чтобы одеться. Молодые горняки приодеться любят! Грубошерстные, дешевые товары у них не в ходу. Они требуют от торгующих организаций шевиота, бостона, коверкота. У Леонида Шеманского, как и у его товарищей, есть уже несколько костюмов, в которых не стыдно выйти «в люди», есть хорошее пальто, ботинки, туфли, сапоги. Любопытно отметить, что даже рабочая одежда горняка, его спецовка, совсем не та, что была некогда. Сейчас не увидишь на шахтере тех живописных лохмотьев, какие так кар-

тинно изобразил когда-то художник Н. А. Касаткин. Прежде спецовку промышлял себе сам шахтер, сейчас ему дает ее государство. Сейчас шахтер работает в комбинезоне или в брезентовых «шахтерках»; проходчики и стволовые имеют резиновую робу и плащи; забойщики на тонких пластах делают на своих брюках кавалерийские леи, из старых автомобильных покрышек или из обычной резины.

Прежде вся эта рабочая одежда хранилась дома, ее надевали и шли на наряд, а затем в шахту. Сейчас на «Кочегарке» на наряд нельзя приходить в грязной одежде. Сперва старики ворчали с непривычки, потом согласились, что так будет лучше. И это понятно: нарядная на «Кочегарке» — это настоящий рабочий дворец. Лепные потолки, кафельный пол, стены, отделанные белым кафелем, цветы, картины... Тут же и кинозал, и библиотека, и партийный кабинет, и все бытовые учреждения комбината.

Сейчас шахтер приходит на работу в своем обычном костюме и оставляет его в «чистой раздевалке», где у него есть свое место. Затем надевает спецовку и идет в шахту. После работы он оставляет грязную спецовку в раздевалке и идет в баню. А спецовку высушат, выстирают, продезинфицируют и даже бесплатно отремонтируют: в бытовом комбинате есть и портные и сапожники.

Прежде вся жизнь шахтера проходила в грязи. Грязно было в нарядной, грязно и мокро в шахте, грязно и сыро в землянке, грязно, зловонно в поселке, на улицах, в кабаке и даже в церкви.

Сейчас грязь стала постепенно исчезать из жизни шахтера. Разумеется, уголь остался углем, но теперь к нему почти не прикасается рука человека: все делают машины. Ушли в прошлое страшные шахтерские профессии: газожог, саночник, коногон, забойщик с обушком. Тяжелый в прошлом труд горняка сейчас, в результате многолетней заботы партии о механизации, стал значительно легче. Стали чище и суше шахты. Улицы поселков начали одеваться асфальтом. Всюду создаются скверы. На шахтном дворе появились цветники и фонтаны. Зазеленели шахтерские города. Стало меньше пыли и копоти в Донбассе. И шахтерская молодежь

летом стала наряжаться в белые костюмы и светлые шляпы,— этого я в детстве никогда не видел на шахте!

Разумеется, и сейчас еще много немощеных улиц, запущенных дворов, луж и грязи, но раньше это считалось нормальным, даже неизбежным в шахтерском поселке, сейчас — вызывает возмущение. Горловский горком партии много и горячо занимается вопросами благоустройства. И самое дорогое, что видишь сейчас в Горловке,— это всеобщее, единодушное, страстное желание до конца переделать жизнь шахтера, сделать ее еще светлее, еще чище, радостней и красивей.

2

Итак, наш молодой человек стал заправским шахтером. Он привык к шахте и полюбил ее. У него в руках — надежная профессия. Он скромно говорит о себе: «я не из отстающих», и выполняет полторы-две нормы. Он хорошо зарабатывает. Он одет, обут, сыт. У него появилась сберегательная книжка. У него есть свободные деньги.

Но выросли и потребности. Есть в интернате любители книг: они собирают себе личные библиотечки. Многие мечтают о собственном мотоцикле и даже о собственном автомобиле. Эта мечта вполне осуществима. В Горловке многие шахтеры купили себе «москвичи» и «победы». Уже стало традицией: в праздничной демонстрации участвует колонна мотоциклистов и шахтеров — владельцев автомашин.

Есть в интернате и любители музыки. Лесогон Коля Непеин купил себе хороший баян. Есть баян и у его дружка, забойщика Ивана Ващенко.

— Скоро будем концерт давать в интернате! — говорит Ващенко.

Других ребят баян уже не увлекает. В интернате появился сейчас кружок желающих научиться играть на рояле.

— А что же? — смеясь, сказал тот же Ващенко.— Прежде шахтер грубым инструментом работал: обушком да молотком, и была у него одна музыка: гармошка. А теперь мы на тонких механизмах работаем: кнопки, клавиши. Теперь нам пианино как раз с руки!

Разносторонни интересы молодых горняков. Среди них есть завзятые спортсмены, например, знаменитый машинист комбайна Ефим Стародубцев, лауреат Сталинской премии,— хороший штангист; есть шахматисты; почти все — любители театра, а особенно кино,— в кино они ходят коллективно, всем интернатом. По вечерам в интернате можно услышать жаркие споры о фильмах, об актерах, о книгах, о футболе, о девушках, о новых горных машинах, о войне в Корее, о том, что крепче: любовь или дружба? — да о чем только не спорит молодежь! Часто говорят, спорят и мечтают о будущем — своем и общем,— о коммунизме.

Все понимают, что судьба каждого в его собственных руках. Им не надо «выбиваться в люди». Они уже люди уважаемые на шахте. У каждого из них здесь — свое прочное место, свое оседлое, доброе счастье. Можно удовлетвориться им, а можно и добиться еще большего. Можно учиться.

Пожалуй, это и есть самое замечательное из всего, что мы видели в Горловке: все учатся! А те, кто не учится (есть, конечно, и такие), признаются в этом виновато, сконфуженно: «Да вот не решил еще... Не собрался... Еще после армии не отгулял...» Собственно, иных объяснений и нет. Молодой горняк может учиться тут же, на шахте, без отрыва от производства: есть целая сеть курсов, школ, есть техникум.

Электрослесарь комсомолец Миша Посохов учится в вечерней школе, сейчас он в девятом классе. Забойщик Андрей Сергеенко — на курсах горных мастеров. Геннадий Бизюк уже работает горным мастером. Он только что окончил техникум. Вот Валентин Резников, юноша из Новохоперска. Он приехал в Донбасс всего пять лет назад. Дотоле никогда и не думал быть горняком. Тут он быстро и успешно окончил ФЗО. Получил аттестат забойщика. Поработал в лаве, захотел учиться дальше. Поступил в техникум. Сейчас он на четвертом курсе. Будет техником-шахтостроителем.

В интернате «Кочегарки» вместе с молодыми рабочими живут и молодые, холостые техники и инженеры: начальник участка Гамлет Ниникашвили, горный техник Яков Левертовский, тот же Бизюк и другие. Эта своя, юная шахтерская интеллигенция в интернате не дер-

жится особняком, не сторонится «простых» шахтеров. Все вместе живут, вместе работают, по вечерам дружно веселятся от души.

3

Но вот молодой человек задумал жениться. Здесь же, на шахте, встретил он девушку по душе. Она обещает быть верной подругой. Она согласна, что строить будущую семейную жизнь надо тут, на донецкой земле. Что же — можно играть свадьбу!

Правда, жаль расставаться с интернатом, с товарищами; немного боязно пускаться в самостоятельное житейское плавание. Но шахта и тут поможет молодоженам. С жильем еще трудновато, но юной чете квартиру обязательно дадут. В Донбассе свадьбы любят!

Хуже с мебелью. В магазинах не часто бывают хорошие шифоньеры, комоды, диваны. А юноша из интерната привык жить «в уюте»,— дешевая мебель его не устроит.

— Хорошо было б, если администрация шахты давала бы молодым меблированные комнаты. А стоимость мебели высчитывала бы из зарплаты. Тогда бы мы смелее женились! — говорит Александр Богачев.

Но и без того ребята женятся смело и охотно. Женятся, устраиваются и живут счастливо и богато.

На шахте № 4/5 «Никитовка» (неподалеку от «Кочегарки») мы познакомились с шахтером Иваном Берловичем. Родом он белорус, в Донбасс приехал в 1947 году. Учился в школе ФЗО. Жил, как и все, в интернате. В шахте его в первый же день поставили на серьезное дело: пробивать гезенк.

— Если сумеешь в гезенке хорошо работать,— сказал ему наставник,— в забое тебе вовсе легче будет.

Скоро Иван Берлович стал знаменитым забойщиком: гезенки сделались его специальностью. Он женился. Ему дали двухкомнатную квартиру в рудничном доме. Появились дети: Володя и Коля. Семья! Берлович подумал-подумал, посоветовался с Олей, женою, и решил: надо собственным домом обзаводиться!

Зарабатывал он хорошо: пять — семь тысяч в месяц. Деньги на сберкнижке есть. Земельный участок дадут бесплатно. Шахта поможет лесом и материалами.

Поговорил с парторгом шахты: тот благословил Берловича на доброе дело. Тоже обещал помочь.

И в прошлом году — в одно прекрасное летнее утро — началась постройка собственного дома забойщика Ивана Берловича.

Как это повсеместно принято в Донбассе, помогать застройщику пришли товарищи. Делается это так. В выходной день, с утра, на стройку сходятся соседи, родственники и друзья по бригаде. Обязательно приглашается баянист. И под веселую музыку баяна закипает работа: месится масса из шлака, цемента, заливается в уже сколоченный плотниками каркас будущего дома. А в это время хозяйка стряпает угощение. И когда в сумерках кончается работа, начинается шахтерское веселье.

Дом скоро был готов. В нем три хороших, светлых комнаты и большая кухня. Есть погреб, сарай и прочее. Возле дома уже заложен садик: двадцать корней — вишни, абрикосы, яблони.

В то лето рядом с домом Берловича выросли и дома соседей: забойщика и шофера. Поселок новый, но в нем уже есть электричество. Проводится водопровод. Вся улица изрыта.

— Улица у нас еще только формируется! — улыбаясь, говорит Берлович. Впрочем, «формируется», благоустраивается все вокруг. Возникают все новые и новые поселки. Сливаются вместе. Связываются асфальтными магистралями. По существу, возникает новый большой город, включающий шахты № 4/5, № 19/20, «Комсомолец»... В этом городе строятся не только нарядные жилые дома, но и дворцы культуры, клубы, кинотеатры, магазины, стадионы, бани, парки... Все растет! Вырос и Иван Берлович, пока воздвигался его дом: с отбойного молотка Иван перешел на комбайн, стал машинистом. Сейчас он учится без отрыва от производства на курсах техников узкой специальности. Он скоро окончит их, получит звание младшего горного техника, но с комбайна не уйдет. Комбайн требует хорошо грамотных мастеров.

Не уйдет теперь Иван Берлович и с шахты, ставшей ему родной. Никогда не уйдет! Расцветут яблони и вишни в его саду. Вырастут дети. Станет Иван Берлович почетным шахтером. И появится в новом шахтерском городе новая шахтерская династия.

4

Есть в Горловке, в самом центре города, улица имени Никиты Изотова. Ее называют еще улицей почетных шахтеров. Здесь, в беленьких, утопающих в зелени домиках, покрытых нарядным этернитом, живет шахтерская гвардия Горловки, ее цвет, ее краса и гордость.

Живет здесь и почетный шахтер коммунист Иосиф Сергеев — старший из семьи забойщиков Сергеевых. Двадцать с лишним лет тому назад пришел он сюда из Курской области на заработки. Пришел на временную жизнь. А остался навсегда. И вскоре перевез в Горловку всю свою большую семью: жену, отца с матерью, младших братьев.

Иосиф Сергеев помнит еще горловскую биржу труда, помнит Собачевку, помнит, как жил в нахлебниках у земляка, как с месяц ходил босым, пока не заработал себе на сапоги. Хорошо помнит он Никиту Изотова, своего первого учителя, и о нем всегда говорит с нежностью и теплотой.

Все, что переменилось в Горловке за эти двадцать с лишним лет, переменилось на глазах Сергеева. Теперь забойщик Иосиф Сергеев почетный шахтер, он награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями. За долголетнюю службу на шахте он получает дополнительно тридцать процентов своей тарифной ставки. Его старость обеспечена. Он знает, что, уйдя на покой, он будет получать хорошую пенсию. Дом, в котором он живет на улице Никиты Изотова, не является его собственностью. Это дом шахты. Но он пожизненно закреплен за ним и его семьей как семьей почетного шахтера. Каждый год — вот уже шесть лет подряд — шахта посылает его на курорт в Сочи.

— В Сочи меня уже все знают!

Отец Иосифа Сергеева умер, мать жива. Кроме Иосифа, на «Кочегарке» работают еще три его брата, тоже забойщики. Яков и Анатолий женаты. Михаил еще «парубкует». У старшего Сергеева трое детей, у Анатолия один ребенок. Сергеевы часто собираются большой, дружной семьей у старшего, на улице Никиты Изотова, и, глядя на этих веселых, здоровых, отлично оде-

тых, жизнерадостных людей, невольно говоришь себе: вот оно пришло, наконец, счастье к шахтерам!

Как-то в теплый весенний воскресный день мы сидели у Сергеева и беседовали с братьями о шахтерской жизни, о прошлом, настоящем и будущем.

— Нет, вы мне лучше вот что объясните,— вдруг сказал Сергеев-старший.— Что у нас за время такое? Я ведь и прежде хорошо зарабатывал, и пьяницей никогда не был, исправно жил. А настроение у меня было какое-то не то, другое... Словно я помолодел сейчас, что ли? Раньше, бывало, меня никуда из хаты и не тянет, разве в гости... А сейчас непременно надо мне с моею старухою и в театр пойти, и в кино, и в клуб. А как же? Нельзя! Теперь у народа совсем культура другая. Да и я теперь член партии. И жена моя, Домна Андреевна, активистка. А про молодежь и говорить нечего. У них теперь на культуру требование большое! У них и образование не то, что у нас, стариков.

Мы стали расспрашивать Сергеевых, кто и сколько из них учился, и вдруг, неожиданно, раскрылась перед нами замечательная, буквально символическая картина. Старший Сергеев никакого образования не получил, он самоучка. Яков окончил четыре класса школы; следующий, Анатолий,— уже шесть; самый младший, Михаил,— семь. А сын Иосифа, Геннадий, учится в девятом классе и учебы бросать не собирается. Зачем? Окончит среднюю школу, пойдет в институт.

— А что ж ему не учиться? Теперь возможность есть!

В этих простых фактах как бы вся история того, что сделали большевики и советская власть для счастья шахтера.

Да, Геннадий Сергеев, горловский мальчуган, сын шахтера, теперь имеет возможность учиться,— ему дали ее большевики. Перед ним распахнуто сияющее будущее. Ему не придется в ребячьем возрасте идти в шахту, «в упряжку». У него есть юность — светлая, радостная, счастливая,— ее дали ему большевики. С добрым волнением и легкой, хорошей завистью смотрим мы на этого вихрастого, красивого, смелого мальчугана. Ему наскучило сидеть со «стариками». Вот он вывел свой велосипед на улицу, лихо вскочил на него и помчался! В добрый путь!

Он покатит сейчас по своей Горловке, по новому городу, в котором он родился. Он не увидит здесь теперь ни Собачевок, ни Нахаловок, ни трущоб, ни землянок, ни балаганов,— их уничтожили большевики. Он пронесется на своем ослепительном велосипеде по новым автомобильным магистралям, по аллеям парков, по нарядным проспектам,— их построили большевики. Он увидит преображенную шахту, он встретит на своем пути озаренных людей, толпы веселых сверстников примкнут к нему... И вместе с ними в этот первый, ласковый, весенний день еще долго будет кружить по городу Геннадий Сергеев, сын донецкого шахтера, счастливый юноша нашей эпохи.

* * *

То, что мы видели в Горловке, можно увидеть и в Макееевке, и в Енакиеве, и в Чистякове, вообще на любой шахте Донбасса. Всюду произошли великие перемены в шахтерском быту.

Сейчас в Донбассе стоят теплые весенние дни. Приближается праздник Первого Мая, а с ним торжества, новоселья, свадьбы. Уже сейчас енакиевские шахтеры на собственных автомобилях приезжают с дальних шахт в город за покупками к празднику. Нужно обставить новые квартиры, надо и принарядиться.

Хочется принарядить не только свою квартиру, но и свой город, свой поселок. И на улицы поселка «Красная звезда» (Чистяково) вышли сотни трудящихся, главным образом шахтерские жены; они высаживают молодые декоративные деревья, разбивают цветники, огораживают их штакетом, мостят тротуары, ремонтируют дороги.

Радостные вести идут с шахт в эти предмайские дни. Горняки Петровки еще 15 апреля досрочно выполнили свои обязательства и сейчас дают тысячи тонн угля сверх плана. Все шире и шире распространяется начатое проходчиками шахты № 40 «Кураховка» социалистическое соревнование за скоростное прохождение горных выработок.

Внедряются новые машины. Вслед за комбайном «Донбасс», предназначенным для разработки пологопадающих пластов, появился и заслужил добрую славу

комбайн для тонких пластов — УТК-1. Сейчас пришел, наконец, черед и для крутопадающих пластов,— «крутовики» впервые в мире получили замечательный комбайн «ККП-1» с пневматическим двигателем. И уже не один шахтер сказал конструкторам свое великое спасибо.

Готовятся к весне шахтерские здравницы. Благоустраиваются стадионы. Сотни тысяч горняков уже всей душой «болеют» за свою родную команду. Открылось регулярное пароходное сообщение Жданов — Сочи, и первый теплоход уже повез горняков отдыхать на теплое море.

Строится, растет, хорошеет шахтерская столица Донбасса. В ней появляются новые площади, новые архитектурные ансамбли, новые парки и водохранилища. Смотришь на этот красавец город и невольно вспоминаешь старую, пыльную, дымную Юзовку, вспоминаешь, что ведь еще недавно, всего восемь с половиною лет назад, этот город лежал в развалинах,— и думаешь с восторгом: какая же великая, творческая сила заложена в нашем народе, какая же несокрушимая, несгибаемая воля к победе у нашей партии, как же радостно жить, созидать, строить в наше неповторимое время!

1952 г., апрель

В ЯПОНИИ И НА ФИЛИППИНАХ

ЧЕЛОВЕК ИЗ СОСЛОВИЯ «ЭТА»

В Киото мне довелось быть на интересном собрании — на митинге представителей сословия «эта».

Здесь собрались разные люди. Одни в сюртуках и старомодных визитках — другие в заплатанной униформе времен Тодзио; в хороших шелковых кимоно — и в синих рубахах носильщиков с иероглифами на спине. Люди разного достатка, образования, культуры, разных политических партий и общественных идеалов сидели рядом. Их объединяли не имущественные, не политические, не родственные связи; сюда привела их принадлежность к одному сословию: на них на всех — и на богатых и на бедных — лежала печать «эта».

«Эта» значит в буквальном переводе: «много грязи», нечистые. Их называют еще «хинин» — не люди.

Но они были люди и собрались на этот митинг, чтоб в XX веке в «новой» Японии отстаивать свои человеческие права.

На этом митинге я познакомился с одним из ораторов — с Китагара Тайсаку. Потом мы беседовали с ним весь вечер.

Он хотел рассказать мне всю историю «эта», а я попросил его рассказать одну — свою собственную. И этого было достаточно.

Китагара родился сорок лет назад в префектуре Гифу, в селе Куроно, что значит — Черное поле.

В раннем детстве Китагара не знал, что он «эта». Он беззаботно играл с соседскими ребятишками; они дружили, иногда дрались, но никто не чуждался его.

Он жестоко голодал, это правда; его отец был бедняк, обремененный большой семьей, все девочками. Китагара-младший никогда еще не ел досыта, и все сосед-

ские ребятишки — тоже, и он считал, что полуголодное существование и есть нормальное состояние человека.

Зато весь мир, вся улица, со всеми бетонными ящиками для мусора, с каменными фонарями в садиках, с канавками, по которым плыли куда-то великолепные отбросы, с лужицами, рябыми от ветра, с кладбищем, где над могилами странные каменные чудовища: драконы, жабы, обезьяны — все принадлежало ему.

И он был счастлив. Последний раз в своей жизни. Потом он пошел учиться в начальную школу.

После урока дети играли на школьном дворе; в первый же день маленький Китагара стал играть с ними.

Вдруг подбежал мальчик из старшего класса.

— Не играйте с ним! — испуганно закричал старший мальчик, указывая на Китагара.— Он «эта»!

И все дети поспешно, как от чумы, как от проказы, вспорхнули и убежали от него. А он остался один.

Он ничего не понял. Он осмотрел себя, свою одежду, свои руки, он так тщательно вымыл их, идя в школу. Что было в нем такого, что ужаснуло их? Он был японец, как все,— маленький японец, желтолицый, черноволосый, не очень красивый, но и не безобразный. Почему же учитель брезгливо поморщился, разговаривая с ним, почему детвора дразнит его? Даже нищие мальчики задирали перед ним нос,— да, они оборванцы, голытьба, но все-таки не «эта»!

Только соседские ребятишки и в школе поддерживали детскую дружбу с ним. Бедняги, они тоже были «эта», и весь их квартал — квартал «эта», отчужденный от всего остального мира.

Так узнал Китагара Тайсаку о печати, которой его заклеймили навеки.

Но что ж это за печать проклятья? Откуда она? За что?

Он узнал об этом, когда вырос.

Давным-давно предки «эта» — настоящие, коренные японцы, куда более чистые, чем нынешние аристократы,— в силу превратности судьбы стали рабами императорской фамилии и вельмож. Это они, предки «эта», выстроили Киото, Нара, Камакура — столицы старой Японии; до сих пор основная масса «эта» живет вокруг этих центров.

Буддизм, принесенный в Японию из Китая, припечатал «эта» новой печатью презрения и отчуждения. По буддийским законам грешно убивать животных. Но не грешно мясо животных есть! Тот, кто ест курицу, невинен: он не проливал кровь. Виновен тот, кто курицу убил.

Люди «эта» не ели кур, свиней, говядины. Но они били дичь и резали коров для императорского двора. Они мяли и обрабатывали кожи и шили из них одежду вельможам и сбрую для их коней. По японским понятиям, нет на земле более презренного и грязного дела, чем ремесло кожевника.

Но феодалам нужны вечные рабы, нужно, чтобы кто-то вечно, всегда копался ради них в грязи, и они определили законом, что ремесло, как и сословное звание, переходит по наследству. Если отец мял кожи, должны мять кожи и сын, и внук, и правнук. Единственное, что передавал по наследству умирающий «эта», была печать сословия, проклятая печать!

Феодальный закон определил дальше, что презренные сословия должны жить все вместе, в особых кварталах, вроде кварталов гетто. «Эта» — нечистые, не люди — не должны ни сидеть, ни есть вместе с людьми. И браки между «эта» и людьми были запрещены законом.

И, наконец, уже сами даймио (вельможи) приказали «эта» носить особые знаки на одежде (кожаную карточку), чтобы все люди на улице сторонились их. (История повторяется: потом то же самое изобрели гитлеровцы!)

В 1868 году в Японии произошел переворот, который японцы называют «реставрацией Мейдзи». Сословная система была «ликвидирована». Правда, чисто японским способом. Сейгун, даймио, придворные стали наследственными пэрами, графами, баронами. Дворянство (самураи) получило огромную субсидию. Была обласкана и буржуазия.

А «эта»? Экономически сословие ничего не получило. Больше того, кожевенная промышленность, дотоле бывшая презренной «привилегией» этого сословия, теперь, в связи с ростом японского капитализма, попала в руки финансовых концернов. Капиталисты взялись за презренное ремесло. При этом они не нарушили буддийского табу: ведь не они резали скот и не они мяли ко-

жи. Они мяли в своих руках только деньги, а деньги, как известно, не пахнут ни кожей, ни кровью.

Люди «эта» были окончательно разорены.

Зато они получили милостивый указ императора Мейдзи за № 61: «Упразднить название «эта» и «хинин». Отныне они, эти люди, должны быть приняты равными среди простого народа и по сословию и по профессии».

Прошло семьдесят пять лет с тех пор, но в положении сословия «эта» ничто не изменилось. Вероятно, нигде в мире старое не держится так неистребимо цепко, как в Японии. Все осталось по-прежнему. По-прежнему живут люди «эта» в отчужденных кварталах, отмеченные клеймом всеобщего презрения. Милостивый указ императора Мейдзи остался пустым листком бумаги.

Впрочем, жизнь Китагара Тайсаку это лучше всего иллюстрирует. Вернемся к ней.

В начальной школе Китагара был лучшим учеником. Досадно, но учитель должен был это признать.

— Как странно,— говорил учитель,— дети навоза учатся лучше, чем дети солнца.

Школа дала Китагара не много знаний, зато она растревожила, разбередила его, раздразнила аппетит к наукам. Но о гимназии нечего было и мечтать. Отец Тайсаку был бедный, очень бедный человек. Он один ковырялся на своих пяти танах арендованного поля. Четыре старших девочки уже были проданы в город: в прислуги и на фабрику.

И Китагара-младшему пришлось бросить школу и стать рядом с отцом в поле.

Пять танов земли, группа отчужденных дворов «эта» — вот мир, в котором отныне суждено было жить и умереть Китагара Тайсаку.

Он не хотел мириться с такой долей. И когда ему исполнилось шестнадцать лет, он убежал в Токио. Учиться!

В Токио у него были родственники: старшая сестра и двоюродный брат. Сестра не могла ему ничем помочь: она сама была нищая. Двоюродный брат, Токуси Китамоки, торговал шелком и сукном. Китагара пошел к брату.

Тот испугался, увидев его, побелел от ужаса, схватил за руку и потащил в самую дальнюю комнату.

— Что ты делаешь со мной? — прошипел он. — Ты приехал зарезать меня?

Он боялся, что теперь откроется, что он «эта». Он скрывал пятно своего сословия тщательно, искусно, мучительно, как американец скрывает каплю черной крови в своих жилах. Ему удалось добиться успеха в торговле. Он женился на девушке из «людей»; она умрет от отвращения и ужаса, узнав, что он «эта», не человек. Его фирма лопнет. Он умолял своего нежданного и нежеланного брата скорее уехать домой...

Но Китагара сказал, что он не уедет. Он никому не скажет, что он «эта». Зачем ему говорить? Он тоже хочет места под солнцем. Он хочет учиться и работать. Пусть брат поможет ему найти место боя (слуги) у какого-нибудь богатого человека, больше ему ничего не нужно. Он будет служить и учиться.

Китагара остался у брата. Стали искать место, и нашли даже два. Министру просвещения господину Камато и одному доктору литературы нужны были слуги. Все складывалось как нельзя лучше. Китагара ликовал.

Но и министр и доктор литературы потребовали представить свидетельство из родного села о добропорядочности и честности Китагара.

Китагара был честен, он никогда ничего не крал. Ему легко дадут такое свидетельство в сельском управлении, но припишут, что он из сословия «эта».

И тогда выяснится, что и он «эта» и его брат «эта». Никто не возьмет «эта» на службу. Проклятый, заколдованный круг — из него не выскочить!

Китагара пришлось вернуться домой. Когда он снова увидел свое гетто, свое поле, нищую хижину отца, он заплакал.

Но он был молод, он не хотел еще сдаваться. Может быть, религия поможет ему?

Его предки принадлежали к буддийской секте «Сеньсю». Основатель этой секты монах Синьран учил, что убивать животных ради промысла — ничего, можно. Таким образом, люди «эта» имели свою религию. Она не считала грешным их земное ремесло. Она, кроме того, обещала им рай после смерти.

Юный Китагара всей душой отдался религии. Только здесь, перед лицом богов, люди «эта» равны всем прочим людям. Он стал усердно посещать храм и мо-

литься. Потом он захотел узнать, где могилы его предков, чтобы призвать души их себе на помощь. Узнать это можно было только у бонзы. В храмовых книгах записано, когда и где похоронены покойники села.

Он попросил показать ему книги. Он нашел записи и... возмутился. Против имен его предков было приписано: «Из сословия «эта».

— Зачем же вы,— дрожащим от возмущения голосом спросил он бонзу,— зачем же вы клеймите даже мертвецов? Разве там, по ту сторону жизни, не все равны?

Бонза не нашелся, что ответить.

Тогда Китагара решил начать борьбу за мертвых и живых. Он потребовал, чтобы книги были сожжены и чтобы бонза всенародно извинился перед людьми «эта». Но его протест остался одиноким: даже сами «эта» не поддержали его. Старики осуждали Китагара и грозились прибить: он ссорил их с бонзой, с религией предков.

Душа Китагара-младшего, смятенная юная бедная душа, металась среди этих противоречий. Где же правда? Где справедливость? Где истинная религия наконец?

Он услышал, что в Киото родилась новая религиозная секта: «Иттоен» — «Сад одного фонаря». Основатель ее, торговец Нисида Тенко, убедившийся в несправедливости мира, учил, что надо всем, без различия сект, религий и сословий, собраться «у одного фонаря» и «опроститься».

«Без различия сословий»! — этого было достаточно, чтобы юный Китагара потянулся туда.

В Львином овраге под Киото он нашел убежище этой секты. Здесь было уже человек пятьдесят обоего пола. Все, кто страдал от неустройства общественной жизни, неудачники в любви и карьере, разорившиеся коммерсанты и обманутые мужья, разочаровавшиеся дельцы и обиженные рабочие,— словом, все обделенные, оскорбленные жизнью собрались здесь «у одного фонаря». Нисида учил, что надо «опроститься» — отрешиться от суетной светской жизни, от ее предрассудков и фальшивых идеалов и найти счастье и покой в самом себе, в собственном самоусовершенствовании.

— Унижение прекрасно! — проповедовал он.— Оно роняет вас в глазах глупых людей, но возвышает в соб-

ственных. Добровольное самоунижение делает человека чище, благороднее, совершеннее.

И он требовал, чтобы его ученики искали себе самую грязную работу — например, чистили уборные и выгребные ямы, и делали это безвозмездно, ради самоунижения.

Эта «религия» увлекла Китагара. Много веков его предки занимались грязным ремеслом, презренным в глазах глупых людей, и не знали, что это и есть самое прекрасное дело на земле — путь к истине. Теперь он, охваченный фанатическим пылом, неустанно бродил по Киото, выпрашивал у людей грязную работу, которую никто не хотел делать, и, как молитву, исполнял ее. Иногда его кормили за это и давали трамвайный билет до Львиного оврага. Денег он никогда не брал.

Однажды Нисида послал всю секту работать на кондитерскую фабрику. Тут не было грязной работы, но учитель сказал, что всякий труд — унижение и, следовательно, путь к самоусовершенствованию. Китагара, не рассуждая, пошел на фабрику.

Пять дней он работал спокойно, хозяин был ласков и кормил всю секту завтраками, а на шестой день случилось происшествие. Выходя из фабричных ворот, Китагара столкнулся с рабочими. Они мрачно стояли, наблюдая за теми, кто выходит. Это был забастовочный пикет.

— Штрейкбрехер! — крикнул один из них прямо в лицо Китагара и нагнулся, чтобы поднять камень с земли.

...В этот день Китагара не пошел в Львиный овраг, в «Сад одного фонаря». Он бродил по Киото, потрясенный, раздавленный страшной правдой, только что обрушившейся на него.

— Что же это? Что ж это? — только и бормотал он, до боли ломая пальцы.

Итак, кто же они — ученики великого Нисиды, искатели истины? Штрейкбрехеры, не больше?

В этот день мир в глазах Китагара стал черным. Черным, как ночь на Кюсю.

Нет в этом мире ни правды, ни справедливости, ни религии, ни богов, ни законов. Ничего нет. Есть только сильные и слабые. И самый слабый из них, самый беспомощный, обманутый и подавленный — он, бедный ма-

ленький Китагара. Куда же ему теперь? И он снова вернулся в хижину своего отца, в родное село Куроно, что значит — Черное поле.

Бедный мальчик! Раздирая в кровь локти, он все полз, все хотел выкарабкаться, выбраться из своего гетто, а беспощадная судьба со злостью отшвыривала его назад, вниз, на самое дно, в нищую хижину отца на Черном поле, в мир отверженных и презираемых.

И все-таки он не хотел сдаваться!

Отлежавшись и отдышавшись, он снова — в третий раз — выполз из гетто. Еще не все иллюзии отцвели, еще не все надежды увяли. Еще есть в Японии Осака!

Осака, большой, кипучий промышленный город, не был похож ни на равнодушный Токио, ни на лицемерный Киото.

Китагара казалось, что там, где дымят заводские трубы, не могут жить старые японские предрассудки: совы не живут в огне. В фабричных кварталах Осака кишела, ворочалась, билась миллионная человечья масса. Здесь не спрашивали родословных — это были джунгли. Здесь умирало больше, чем рождалось, и все-таки не хватало ни риса, ни работы для всех. Крематории дымили, как фабрики. Людей сжигали наспех, торопясь. Живые отшвыривали мертвых. Это был откровенно страшный город, но Китагара был молод и верил в свои силы. Пусть только не кричат ему в лицо, что он «эта».

В сущности этот мальчик со скорбно ущемленной душой был неисправимым идеалистом; ему нужны были боги! Их нет на небе, теперь он это знал. Он стал искать их на земле.

В Осака Китагара впервые услышал на митингах анархистов. Их бессвязно горячие речи зажгли его.

«Да, да! — хотелось кричать Китагара.— Да, этот проклятый, несправедливый мир надо разрушить! Весь! До конца! Чтобы и камня на камне не осталось!»

В те дни идеи заменяли Китагара рис. Риса не было. Китагара голодал. Он продавал газеты на улицах, был носильщиком, поденщиком, грузчиком, чернорабочим, он жадно цеплялся за любую работу. Две-три чашки риса в день — и он был бы счастлив, мечтая о переустройстве мира.

Но риса не было. Он жестоко голодал, а когда человек из сословия «эта» говорит: «Голодно!» — можно

быть уверенным, что это уже крайняя степень голодовки.

От истощения у Китагара распухли ноги. Появилась «бери-бери» — дьявольская азиатская болезнь. Сколько мог, Китагара держался на ногах — нет, он не хотел сдаваться! — и, наконец, свалился.

Говорят, для того чтобы вылечить «бери-бери», надо босыми ногами потоптать родную землю. Китагара не помнил, как дополз он до родного села. Может быть, его принесли добрые люди. Ему некуда было деваться, даже умирать дома лучше.

Это было его третье возвращение. Никогда еще не возвращался он таким жалким. Он был болен, голоден, слаб. Он во многом уже разочаровался. Он уже знал, что никогда не выбраться ему из гетто: все пути приведут обратно — на Черное поле.

И он смирился.

Только по вечерам приходила тоска. Он заглушал ее, как мог.

Он говорил себе:

— Я «эта», и умру как «эта», и буду похоронен как «эта» — здесь, на кладбище отверженных. С этим теперь ничего не поделаешь!

Но в 1927 году его вдруг призвали в армию: государство не забывало людей «эта», когда надо было нести тяготы. Китагара стал солдатом.

И странное дело, когда его, как всех новобранцев, одели в форму и поставили в общий строй, он возликовал. Да, возликовал. Он чувствовал себя так, словно его произвели в люди. Он стоял в одной шеренге с людьми других сословий. Они все были равны под этими солдатскими куртками. Они все были нахлебниками общего солдатского котла. Они все были равны перед палкой сержанта, а случится война — и перед пулей врага. Так мало надо было Китагара — он и этому был рад!

А через несколько дней все в роте узнали, что он «эта». И «равенство» исчезло. Днем его изводили сержанты, вечером солдаты. Греясь у печки, они издевались над ним на все лады. Они кричали, что нельзя спать в казарме, где есть «эта»: здесь воняет!

— Меня тошнит сегодня весь день,— кривлялся один,— я пил кок-чай в одном крестьянском доме и только потом узнал, что это был дом «эта».

— А меня сегодня послали работать в сапожную мастерскую,— жаловался другой.— В сапожную, будто я «эта»!

И все смотрели в сторону Китагара, хохотали или плевались. Китагара пошел однажды с жалобой к командиру роты. Тот выслушал его, насмешливо и брезгливо улыбаясь.

— Чего же ты хочешь? — спросил он наконец.

— Я хочу, чтобы в армии не было деления на людей и «эта».

— Только всего? — захохотал командир.— Но ты хочешь, чтоб я сделал больше, чем боги! Боги создали одних людьми, других «эта».

— Не боги! Люди создали эту несправедливость! — закричал Китагара, но командир выгнал его вон.

Вот тогда-то Китагара и придумал свою петицию к императору. Об этой петиции потом много говорили в Японии.

Пожалуй, это была первая петиция солдата к императору. И это была последняя иллюзия Китагара.

Он все тщательно продумал и взвесил. Все детали, мелочи и случайности. На что он надеялся? На милость императора? Да, отчасти. Но больше всего на то, что об этом заговорят в Японии и положение «эта» улучшится...

Он дождался больших осенних маневров. Он твердо знал, что император будет на параде. Заранее написал письмо и хранил его в ранце, а накануне парада переложил в левый карман брюк и был спокоен. Он знал, на что идет.

И вот полки выстроены для парада. Взволнованы офицеры, замерли солдаты. Вот и император на белом коне.

— Поклон направо! — прогремела команда, и полки склонились в глубоком поклоне.

Глаза в землю! На императора нельзя поднимать глаз. Он бог. Смертный не может смотреть в лицо бога.

И вдруг из склоненных в поклоне полков выбегает солдат. Бежит навстречу императору. Падает на колени. В его правой руке винтовка, в левой письмо. Он вытягивает руку с письмом и кричит:

— Данкисо, данкисо! [1]

---

[1] Данкисо — непосредственная апелляция.

Человек из сословия «эта» на коленях жалуется своему императору!

Да, это был выдающийся скандал!

Испуганный император дико взглянул на Китагара, белая лошадь шарахнулась в сторону. Командующий парадом, низенький, толстый генерал, в смятении кричал: «Поймать его, поймать!», хотя Китагара никуда не бежал и стоял на коленях. Письмо трепетало в его руке.

И уже тащил его за ранец назад командир взвода. Тащил молча, без слов. И только оттащив, ударил. Раз и еще раз.

Затем был военный суд. Китагара осудили на год заключения в крепости. Письмо к императору не дошло. Но Китагара даже не жалел об этом. Он знал теперь, что не надо было писать: он видел жалкое, испуганное лицо императора.

Он просидел год в одиночке и еще год в «исправительном отряде». Его хотели «исправить», но цели не достигли. Его посадили в тюрьму за то, что он стал на колени перед императором, больше на колени он не станет. Он вошел в тюрьму солдатом, вышел — бунтовщиком. Он знал теперь, что никто не поможет людям «эта», кроме них самих. Свобода добывается борьбой.

Он недолго пробыл дома, на Черном поле. Тут была все та же нищая, голодная жизнь. Отец постарел и совсем согнулся, он был похож на те малорослые, крюковатые японские деревья, что стелются сухими ветвями по земле, не зная солнца. Они не умирают, а гниют — медленно и долго.

Китагара-младший снова поехал в Токио — искать на этот раз не счастья, а борьбы.

В Токио он сразу же попал к людям, которые боролись за права «эта». Эти люди были сами «эта» и не скрывали своей принадлежности к презренному сословию, а с гордой горечью говорили о ней и на митингах и в печати. У них были организации, газета, центральный комитет. Они радостно встретили Китагара.

Его история с императором нашумела в Японии, кое-что просочилось даже в печать. Это принесло несчастье его родственникам,— все узнали, что они «эта». Муж старшей сестры Китагара бросил жену с детьми, он бежал от них, от «эта», как от чумы. Двоюродный брат Китагара, торговец Токуси, разорился. Его лавку — лав-

ку «эта» — бойкотировал весь квартал. Жена рвала на себе волосы: что он сделал с нею? зачем скрыл, что он «эта»? зачем опозорил ее? Ее родственники отшатнулись, куда ей деваться? Токуси, бросив все, бежал из своего квартала прочь и затерялся где-то в джунглях Токио.

Проклятие сословия лежало на всех людях «эта». Горе братьев стучало в сердце Китагара. Он с головой ринулся в борьбу.

Скоро представился случай для активного выступления. Молодой «эта» из префектуры Кагава познакомился на пароходе с девушкой не «эта». Молодые люди полюбили друг друга и соединились свободным браком. Отец девушки ничего не имел против их счастья, юноша даже нравился ему, но как отец он обязан был навести справки. Так он узнал, что его зять — «эта».

Его зять «эта»? Он чуть не сошел с ума от стыда и горя. Он потребовал расторжения брака. Больше того, он подал дело в суд.

И скорый в таких случаях японский суд вынес приговор: жениху — год тюремного заключения, брату жениха за содействие браку — десять месяцев тюрьмы.

Китагара и его друзья узнали о приговоре уже тогда, когда молодые люди сидели в тюрьме. От судебного приговора пахнуло таким густопсовым средневековьем, что даже в Японии возмутились. Заговорила печать. Поднялась волна протеста...

В Фукуока, на острове Кюсю, собралась колонна «эта». Возбужденные, оскорбленные, до крайности доведенные люди решили идти через всю Японию пешком в Токио — протестовать.

Правительство разогнало колонну.

Тогда центральный комитет движения «эта» обратился с петицией к императору. Под нею подписалось пятьдесят тысяч человек. От имени трех миллионов «эта» они требовали отмены приговора. Впервые в Японии людей «эта» поддержали люди других сословий. Коммунистическая партия, некоторые пролетарские и крестьянские организации присоединились к протесту. Это была пролетарская солидарность. Китагара впервые узнал, что это такое.

Теперь не одинокий солдат, упав на колени, протягивал письмо — десятки тысяч людей громко протестова-

ли против несправедливости. Этого нельзя было не услышать. Нельзя было скомандовать: «Назад!» Нельзя было оттащить за ранец и швырнуть в тюрьму.

Император вынужден был отменить приговор. Но... судья, вынесший чудовищное решение, остался судьей, девушка не вернулась к мужу, люди из сословия «эта» по-прежнему не имели права соединяться в браке с людьми других сословий.

Почему же ликовал Китагара? Была ли это победа или только кость, брошенная собаке, чтоб она перестала ворчать? Но Китагара думал, что это — начало победы. Все теперь казалось ему розовым и счастливым. Он женился на девушке из «эта». У него родился первенец. Он много работал, по вечерам учился, кипел и волновался на митингах, верил в будущее своего сословия...

Тогда-то его и арестовали.

Уже в тюрьме он узнал о том, что произошло в Японии. Окончательно утвердился фашизм. Японские войска вторглись в Китай. Все общественные организации, партии и профсоюзы разогнаны. «Свободы» отменены, растоптаны. Черная ночь распласталась над Японией.

Мрачно и трудно прожил Китагара годы войны. Но именно тут, в тюрьме, и созрело в нем, наконец, ясное понимание пути и будущего своего сословия.

Больше нет иллюзий. И больше не нужно ошибок.

Он много думал в эти дни. Думал в тюрьме. Думал, выйдя из тюрьмы. Думал и тогда, когда уже после капитуляции вернулся домой, на Черное поле, в жалкую хижину отца.

Это было его пятое возвращение. Он постарел. Ему было уже сорок лет. Отца не было в хижине: он умер. Умирала с голода мать. Жалкое существование влачили люди отчужденных кварталов «эта». Они пришли в гости к Китагара: может быть, он скажет им слова надежды?

Делегатом от этих людей на митинге в Киото и был Китагара. Здесь он рассказал обо всем, что думал. Я слушал эту речь.

Китагара говорил как член Японской коммунистической партии. Он нашел, наконец, справедливую партию и истинную веру.

Он говорил:

— Моя ошибка и ошибка моих товарищей в том, что мы боролись в одиночку. Мы хотели справедливых прав для своего сословия — и только. Но разве рабочим и крестьянам в Японии живется легче, чем людям «эта»?! Разве они имеют подлинные права?! Разве даже сейчас, после разгрома фашизма, есть демократия в Японии?! Ее нет. Ее первые ростки безжалостно топчутся сапогом Макартура. Надо бороться. И мы, люди «эта», должны присоединить свои усилия к общей борьбе трудящихся...

В этот вечер мы долго сидели с Китагара у меня в отеле. Мы говорили с ним о людях «эта», о крестьянах Гифу, о шахтерах Юмато, о неграх Алабамы — о всех обойденных, униженных и оскорбленных на земле.

Все их обиды и муки стучали теперь в сердце Китагара.

Человек из сословия «эта» хотел теперь бороться за человеческие права всех трудящихся на земле.

1947

ЛАГЕРЬ НА ОКИНАВЕ

Мы летели на Филиппины из Японии.

В огромном деревянном бараке на аэродроме Ацуги мы ждали самолета. То и дело входил бой и объявлял:

— Уходит самолет на Гонолулу.

— Отлетает аэроплан в Шанхай.

Он провозглашал это скучным голосом: было раннее утро, ему хотелось спать. В этом американском пареньке не было ни на грош романтики.

Самолеты улетали на Формозу, Гонолулу, Гуам, Гаваи, Борнео, в Австралию, Шанхай, Сан-Франциско... Карта мира висела тут же на стене. Все было близко. Наскоро доедая сендвичи, подымались пассажиры и улетали в тропики, на экватор, в Новый и Старый Свет. Глядя им вслед и дожидаясь своей очереди, следовало думать о величии XX века, века авиации и радио, о могуществе Человека и благах Цивилизации, о дружбе народов, которых больше не разделяет пространство, но... Но на всем аэродроме, среди всех пассажиров, только один человек был в штатском — я.

Не путешественники и не туристы, не ученые и не миссионеры, не инженеры и не писатели, а солдаты садились в серебристые машины. Солдаты летали над миром после заключения мира. Звучные экзотические имена обозначали не столько зеленые острова или прелестные лагуны, сколько базы: военные базы, базы для авиации, базы для флота, базы снабжения, эксплуатации, экспансии — базы будущей войны. Солдаты в тяжелых американских бутсах и офицеры в гетрах торопливо бежали к машинам — они спешили на свои базы. Глядя им вслед, было трудно думать о Цивилизации.

И Окинава, остров на полпути до Филиппин, где мы приземлились, чтоб провести здесь сутки, тоже оказался только военной базой. Этот мирный коралловый островок на большой тихоокеанской дороге когда-то восхитил И. А. Гончарова, побывавшего здесь с фрегатом «Паллада». «Это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана»,— писал он в восторге.

Увы, нам уж не довелось увидеть идиллию. Мы увидели только будущую базу.

Я спросил американского офицера:

— Как долго вы намерены оккупировать Окинаву?

Он удивленно посмотрел на меня.

— А мы и не думаем уходить отсюда! — простосердечно воскликнул он.— Мы заплатили за этот песок и скалы! — И он с пафосом указал на могилы американских солдат.

Я снял шляпу — кровь павших священна, но при этом не мог не вспомнить другие могилы — в Чехословакии, Югославии, Норвегии, Польше, Маньчжурии. Мы тоже кровью заплатили за освобождение этих земель, но, сделав свое дело, мы ушли, а могилы наших солдат остались — могилы освободителей. Здесь, на Окинаве, предо мною были могилы завоевателей.

Простодушные парни из морской пехоты, дравшиеся и умиравшие за этот скалистый островок, и не подозревали, конечно, что их кровь — только разменная монета «большого бизнеса».

— Нет, мы никогда не уйдем отсюда! — смеясь, повторил американский офицер, между прочим, в битве за Окинаву не участвовавший.— Мы заплатили!

Я и сам видел — устраиваются надолго. Землечерпалки на воде и экскаваторы на суше работают беспрерывно. Расширяется и углубляется порт. Строится аэродром. Словом — создается «база».

На острове тьма солдат. Они живут в квансетах — разборных домиках, привезенных из США. Квансет, собственно, не дом. Он скорее похож на фургон, на ангар, на опрокинутую лодку. Ребристая крыша, опускающаяся чуть ли не до земли, мелкая металлическая сетка вместо оконного стекла,— в этом домике есть что-то колониальное, лагерное, кочевое.

И, однако, это уже не палатка солдата,— это совре-

менный стандартный походный «замок» колонизатора, конквистадора XX века.

Кватсеты прочно врылись в окинавскую землю. Есть квансет-отель, квансет-ресторан, квансет-штаб, квансет — узел связи. Есть даже квансет-церковь.

Американцы с гордостью показывали мне ее.

— В этой церкви молятся люди всех религий,— хвастались они.— Каждому богу — свой особый день.

Поистине удивительная «веротерпимость»! Христосы всех сект живут в ладу между собой и даже в дружбе с Иеговой и Аллахом. Не потому ли, что над всеми этими старенькими частнопрактикующими богами стоит некий новый, современный, главный бог?

К церкви пристроена звонница. Там, на деревянной перекладине, висят пустые снарядные гильзы всех калибров — вместо колоколов. И в назначенные дни солдаты бьют в эти гильзы, вызванивают славу главному богу этих людей — доллару.

Но я видел на Окинаве солдат, много американских солдат, я видел офицеров, девушек из Red Cross — Красного Креста и совсем не видел подлинных хозяев острова — окинавцев.

— Где же окинавцы? — спросил я.— Я хотел бы посмотреть на них.

— О'кэй,— получил я в ответ,— вы их увидите!

Мы ездили по острову целый день. Мы видели руины окинавских городов, осматривали храмы и кумирни, удивлялись каменным могильникам — ни на какие в мире не похожим,— побывали даже на развалинах «дворца» окинавского царька, но людей, окинавцев, мы не встретили ни разу — ни среди развалин, ни на дорогах, ни даже на могилах.

Я опять сказал, что хочу видеть окинавцев, и опять получил веселый ответ:

— О'кэй, вы их увидите!

И я не видел их нигде.

Куда исчез этот народ, о котором И. А. Гончаров писал как о народе мирном и трудолюбивом? У этого народа была своя история, своя религия, своя культура; в столице острова был даже университет, я видел его руины. Много десятилетий окинавцы («ликейцы», как

называли их когда-то) находились под японским игом. Теперь американцы «освободили» их. Но где же они? Где?

— О'кэй, вы их увидите! — в десятый раз повторил мне мой любезный полковник и улыбнулся.

Я рассердился. Я потребовал: немедленно показать. Офицер нахмурился, что-то пробормотал, потом молча сел в машину. Мы поехали куда-то в глубь острова.

Меня привезли к большому дому на холме. Из него навстречу нам вышел... американский полицейский офицер. Меня познакомили с ним.

— Очень рад,— пробормотал я,— но я хотел видеть не «М. П.» [1], а окинавцев.

— О'кэй, вы их увидите!

Меня пригласили на террасу и подвели к стереотрубе.

— Смотрите! — торжественно сказал полицейский.

Я посмотрел в трубу.

Я увидел долину реки, деревню, соломенные хижины. Группа мужчин шла по улице, несла на плечах гроб. Сзади ковыляли старухи. Похороны. Подле хижин в пыли копошились дети. Над огнем на корточках сидели женщины — вероятно, стряпали.

— Это очень интересно,— сказал я, натянуто улыбаясь,— но я хотел бы увидеть ближе. И... своими глазами.

— О'кэй! — заорал полицейский.— Вы и это увидите.

Мы опять сели в машину и понеслись. Поворот. Еще поворот. Спуск вниз. И мы подъехали к деревне.

Мелькнула колючая проволока. Помню, я тогда же удивленно подумал: зачем тут проволока? Но спрашивать было некогда. Через какие-то ворота мы въехали в деревню. Теперь машина медленно плыла по пыльной «улице».

Я попросил шофера остановиться. Я хотел выйти, посмотреть, поговорить с людьми...

— Но! Но! Но! Нельзя! — в два голоса закричали мои спутники — полицейский офицер и полковник.

— Почему нельзя?

— Нельзя. Здесь больные.

---

[1] Американская военная полиция.

— Чем больные?

— Чем хотите. Проказой, сифилисом, туберкулезом...

— Как? Все больные?!

— О нет! Есть и здоровые. Но...

Но я не мог больше слушать. С ужасом смотрел я через окно автомобиля. Вокруг была деревня. Жалкие тростниковые, тропического типа, хижины. В них в страшной тесноте скучились люди (двадцать пять тысяч окинавцев, как я позже узнал). Дети и старики. Женщины и мужчины. Больные и здоровые вместе. Больные заразными и неизлечимыми болезнями — проказой, например,— и больные, вполне поддающиеся лечению. Они копошились все вместе, в тесноте и грязи, в пыли и отбросах. Заражая друг друга, гния, голодая и умирая... Умирая каждый день... молча... безропотно... обреченно...

— Неужели,— спросил я,— неужели нельзя отделить больных от здоровых? А больных если и не лечить, то хоть рассортировать? Ведь у вас стоит тут на острове чуть ли не целый вспомогательный корпус Красного Креста. Им делать нечего...

Американцы с удивлением смотрели на меня. Они не понимали, почему я волнуюсь, почему дрожит мой голос и щеки покрылись пятнами.

— О! — сказал один из них, пожимая плечами.— Зачем? Это дорого. Ведь это не белые... Это только окинавцы.

Я видел лагерь Майданека. Я знаю Освенцим. Я бывал на фабриках смерти в Германии. Теперь я увидел лагерь смерти на Окинаве.

Мне сказали потом, что таких «деревень», как эта, на Окинаве несколько. Они тоже обнесены колючей проволокой. Запрещено входить в лагерь. Запрещено выходить оттуда. Для крайних случаев есть на острове одна дорога, по которой могут передвигаться окинавцы,— дорога № 6.

Белым по ней ездить нельзя. Это — дорога гетто. Путь отверженных. От многочисленного некогда народа окинавцев остались уже жалкие остатки.

Я был на Окинаве 27 января 1946 года. Я видел это своими глазами.

1946

ФИЛИППИНЫ

В Манилу — столицу Филиппин — мы прилетели ночью.

Навсегда запомнился мне этот ночной полет: и россыпи огней под нами — жемчужные нити на черно-синем бархате; и теплая, влажная ночь; и лунные дорожки от зеленых корабельных огней, дрожащие на воде; и ветер с океана — жаркое дыхание экватора, пряный ленивый, тяжеловесный муссон.

В эту ночь я не мог уснуть в отеле, в кровати под сеткой от москитов,— нетерпеливо ждал утра. Хотелось скорее увидеть, своими глазами увидеть знакомую еще по детским учебникам географии сказочную страну: ее пальмовые рощи, лагуны, хижины на сваях, роскошный и неповторимый пейзаж.

Но настало утро и я... не увидел пальмовых рощ. Я увидел палатки, палатки, палатки, лагери, бивуаки, военные склады, груды военных грузов под брезентовыми парусами, и солдат, солдат, очень много солдат — негров, малайцев, филиппинцев, американцев. Мне показалось, что пейзаж Манилы — цвета хаки.

Американцы «сконцентрировали» на Филиппинах столько войск, словно собирались воевать с Японией еще много десятилетий. Но Советская Армия коротким, могучим ударом разгромила знаменитую Квантунскую армию. Этим великолепным ударом и была закончена война с Японией.

Война окончилась, а сотни тысяч солдат все еще околачивались на Филиппинах. Изнывали от жары и безделия в своих лагерях, пьянствовали, грызли пан-корн (жареное зерно), время от времени устраивали бунты, требуя отправки на родину, покупали сувениры

и продавали консервы — и топтали, загрязняли, заплевывали, ломали и портили и пальмовые рощи и лагуны...

Зачем они оставались здесь?

Никто не мог мне объяснить.

Но... приближались выборы президента островов и давно обещанное провозглашение «независимости» Филиппин.

Американские войска должны были иллюстрировать эту «независимость» и поддерживать «порядок».

Только выбравшись за пределы Манилы в глубь острова и в глубь океана, мы увидели, как прекрасна и изобильна здесь земля.

Казалось, тут все есть для счастья. Щедра природа. Благодатна почва. Прохладны реки. Изобильны недра. Здесь есть все — уголь и железо, золото и серебро, медь и марганец, хром и нефть. Леса богаты красным деревом, «железным» деревом. Кокосовые пальмы дают драгоценную копру — треть всей копры мира. Земля родит щедро и без усилий сахарный тростник, рис, маис, табак, сладкий картофель. Манильская конопля славится в мире — из нее получается отличная пенька.

Здесь много света, много солнца, много воды. Много рыбы в реках и океане, много птицы и зверя.

Здесь все огромно, преувеличено, неправдоподобно, фантастично — слишком торовата природа тут. Здесь если дождь — так ливень. Если пальма — так гигант. Здесь бабочки с ладонь величиною. Здесь кокосовые орехи сами падают к твоим ногам, и летучие рыбы сами шлепаются на твою палубу.

Здесь все есть для счастья — а счастья нет.

Я видел людей в селах и на дорогах. Нет, я не видел счастливых.

Худые, изможденные люди. Девушки — как старухи. Старухи — точно скелеты, обтянутые желтой кожей.

Молча трудились они на полях и плантациях. Выпаривали соль из лагун. Чинили ветхие сети. На лодке, выдолбленной из дерева, уходили под черным парусом в залив. Понуро брели за своими курабу — мохнатыми буйволами, исподлобья и враждебно смотревшими на людей.

Эти буйволы не принадлежат пахарю, и земля не принадлежит ему. И сахарный тростник, взлелеянный

им,— не его. И рыба, выловленная им в океане, не идет на его стол.

Все здесь принадлежит белым — американцам, реже — испанцам.

Я видел филиппинцев и в праздник, на фиесте. Под унылый звон католических колоколов шли они в церковь. Гуляли по улицам. Толпились у цирка. Но я не слышал смеха счастливых людей, я не видел радости.

Даже филиппинец, ласкающий и охорашивающий перед боем своего боевого петуха, не улыбается. В его глазах нет ни восторга, ни ласки — только сухая, колючая тоска: вдруг петух будет убит — и тогда прощай надежда на долгожданный выигрыш. Петушиный бой здесь уже давно не развлечение, а мрачный бизнес, азарт, последняя ставка нищего филиппинца.

Я видел эти петушиные бои. Они разыгрывались на арене специального здания, похожего на цирк (вход — доллар!). Петухи расхаживали по арене, мирно копошились в песке; им совсем не хотелось ни драться, ни убивать, ни умирать.

Владельцы петухов стравливали их, дразнили, заставляли клевать друг друга. А в это время зрители внимательно приглядывались к бойцам. Приглядывались молча, затаив дыхание; все тем же сухим огнем азарта, а не восторга горели их глаза; угадать — значит выиграть, ошибиться — значит проиграть, может быть, последнее песо.

Наконец, владелец цирка объявил, что можно заключать сделки.

Подымался невообразимый шум:

— За белого!

— За рыжего!

— За белого!

— За рыжего!

Ставки росли, азарт, искусно подогреваемый хозяином цирка, достигал вершины. Уже пари заключались зрителями между собою; меня тоже стали толкать мои соседи, предлагая поставить на рыжего или на белого...

Все готово к бою. Удар гонга — и все сразу стихало. Владельцы петухов снимали кожаный чехольчик с острой стальной шпоры на ноге петуха и выпускали своих питомцев.

Петухи бросались друг на друга. Клекоча, сшибались они в короткой схватке — взлетали вверх перья, пух; сотни тоскливо-жадных глаз следили за исходом боя. Наконец, рыжему удавалось пропороть шпорой белого, песок обагрялся кровью; бой кончен. Он продолжался всего минуту, но по бледным лицам проигравших можно было легко увидеть, что для них это была роковая минута.

Владелец убитого петуха молча уносил труп; появлялась новая пара, а с нею новые ставки, новые крушения и надежды, сдавленное дыхание, хрип азарта и кровь на песке.

Нет, нехорошо жить в стране, где под ясным, синим-синим небом не слышно ни смеха, ни песен!

Впрочем, я видел пляшущих филиппинок. Это было ночью, в баре на Рисаль-стрит, в мрачной и грязной норе, пропахшей кислым пивом. Утомленные *десятилетние* девочки плясали самбу для иностранцев, невинно-бесстыдно вихляя бедрами под регот и дикие крики довольных американских солдат. Потом солдаты поили девочек пивом и требовали, чтобы те плясали еще и еще...

Нет, я не видел на Филиппинах счастливых людей, как не видел и людей просто сытых. Мне показывали на улице местных интеллигентов — врачей, адвокатов. Они шли по раскаленным плитам тротуара... босиком — обувь дорога! — но в шляпах. Это были шляпы из картона, выкрашенного масляной краской. Сами нищие, эти интеллигенты имели жалкую практику среди нищих филиппинцев. Белые не пользовались их услугами.

Только здесь я увидел воочию, что такое колония и что такое триста пятьдесят лет колониального гнета.

Испанцы завоевали Филиппины в XVI веке, американцы — в конце XIX. Испанцы принесли филиппинцам католицизм, американцы — «цивилизацию»: виски, проституцию и бросовые товары, сделанные в США специально для колоний. Испанцы орудовали крестом, США — долларом и пушками линкоров.

Но и те и другие одинаково ревностно и жадно грабили эту богатую страну. Сначала испанские монахи захватили самые лучшие земли и вытеснили филиппинцев. Потом пришли американские дельцы, плантаторы, промышленники. Они захватили и землю и недра. Филиппинцев стали превращать в рабов.

Часть туземных племен вымерла. Другая часть ушла далеко в недоступные горы, в девственные леса. Остальные влачат жалкое существование.

Но разве не прав филиппинский поэт-партизан Санггуни, восклицая:

Они нас не возьмут измором!
Им наших голосов не утопить
в реке их вероломной.
Нам нет числа, и не удастся им
столкнуть нас в пропасть.

Только тот, кто веками томился в ярме, может мечтать о независимости так исступленно страстно, как филиппинцы. Колонизаторы могут задушить и даже истребить народ (как американцы истребляли индейцев в США), но погасить в нем национальное чувство и святую жажду свободы они не могут, нет!

Уже давно лучшие люди филиппинского народа борются за независимость; первым среди них был Хосе Рисаль, поэт.

После ареста Рисаля знамя борьбы взял в свои руки Андреас Бонифасьо. Он поднял восстание против испанского владычества, но был изменнически убит. Восстание, однако, не угасало.

Американцы в своей борьбе с Испанией за колонии воспользовались этим восстанием. Они обещали Филиппинам независимость, но, победив, обманули их. Тогда филиппинцам пришлось бороться с новыми колонизаторами.

В 1941 году на Филиппины вторглись японцы. Поразительно быстро разбили они американцев. Я был на острове Коррехидор, запирающем вход в Манильскую бухту, и видел там американскую крепость с гигантскими орудиями; эта крепость (на острове!) могла держаться долго, очень долго. Между тем пала она мгновенно. Скажу по правде, меня очень удивило, что американские офицеры, показывая нам эту теперь разрушенную крепость, не краснели от стыда, а даже довольно весело рассказывали о том, как фьють — и крепость пала!

Значительно труднее японцам было сломить сопротивление филиппинского народа. Во главе сопротивления стояли коммунисты. Партизаны — хукбалахапы — ушли в горы Батаана и продолжали борьбу. Конгресс США заверил филиппинцев, что они получат независи-

мость сразу же после освобождения островов от японцев. Так — во второй раз — США обманули филиппинцев.

Японцы — изгнаны, американцы — вернулись, а... независимости нет, и хукбалахапы — истинные борцы и патриоты — загнаны в подполье, и на островах утвердился «мир и порядок» — «порядок убийств и мирное спокойствие смерти».

Вместо японского резинового сапога с оттопыренным большим пальцем филиппинскую землю топчут сейчас тяжелые бутсы американской пехоты. Вот и все.

Впрочем, формальная и куцая «независимость» сейчас филиппинцам дана.

Та ли это независимость, о которой мечтали и за которую умирали филиппинцы?

— Мы дадим этим желтомордикам независимость! — хохоча, сказал мне как-то мистер Бишоп, сопровождающий и «оберегающий» нас.— Но дьявол меня побери, если я знаю, что они будут с нею делать!

Что делать с этой «независимостью», которую, точно издеваясь, швырнули Филиппинам американцы? То, что делает народ,— продолжать борьбу.

Да и какая же это к черту «независимость», когда все на Филиппинах по-прежнему принадлежит американцам — доки, железные дороги, недра, даже небо. Острова богаты железной рудой, но даже обыкновенную сковородку надо привозить сюда из США.

Филиппины искусственно превращены в гигантскую базу сырья и поставлены в кабальную зависимость от американской торговли. «Made in USA» — «Сделано в Америке» — стоит на всех товарах. Вся заваль, какая есть в США, сбывается в колонии. Тут выбирать не из чего. Цены на товары так высоки, что даже приставленный к нам переводчик, американский офицер, возмущался. Он ничего не хотел покупать здесь: даже собственно филиппинские сувениры в США стоят дешевле.

Вслед за солдатами, сразу же после изгнания японцев с Филиппин, ринулись сюда американские дельцы. Я уже видел их в Маниле, потных, суетливых, задыхающихся от жары и предчувствия большого бизнеса.

Они сразу же прибрали к рукам и все богатства островов и всех так называемых «местных политических деятелей» — тех, кто сотрудничал с японцами, а теперь готов служить американцам.

Я был на Филиппинах в предвыборные дни. Мистер Бишоп охотно посвятил меня в «борьбу партий». Если верить ему — все дело в возне трех групп: американской, китайской и испанской.

Потомки конквистадоров — испанцы — еще владеют здесь немалыми богатствами. Они живут в старинных кварталах Манилы — «кварталах белого человека», в своих каменных домах-крепостях с железными решетками в виде заостренных пик и с красными черепичными навесами над окнами. У них плантации, земли; церковь, по существу, тоже принадлежит им.

Китайские купцы живут в узких и грязных улицах китайской части города. Здесь пахнет горелой рыбой, чесноком и каким-то особенно горьким маслом, на котором жарится рыба. Но здесь, на этих улочках живут настоящие богачи, вес их в делах города немаловажный. Они, правда, не могут тягаться с американцами — солдат и пушек нет, но с испанцами могут поспорить!

Итак, американские дельцы, китайские купцы и испанские помещики — вот кто суетился вокруг выборов и решал, кому быть президентом «независимых» Филиппин.

Ну а сами филиппинцы, народ, который даже в собственной столице живет где-то на окраинах, в древних тростниковых хижинах на сваях? Чего он хочет? Какого президента? Какой независимости?

Об этом мне ничего не сказал мистер Бишоп. Он старался, чтоб я ничего и не увидел.

Но я — видел (нельзя было не увидеть). И надписи на стенах домов. И сорванные листовки. И разгоняемые полицией митинги. И сжатые кулаки. И — главное — глаза филиппинцев. В них можно было читать, как в открытой книге. В глазах — душа народа.

Этих глаз не забыть. Три века гнета и три века надежд в них.

Запуганный монахами, ограбленный купцами, трижды обманутый, много раз проданный, спаиваемый, развращаемый и наполовину истребленный народ не потерял, однако, ни национального достоинства, ни страстной жажды свободы.

Лучшие люди его, борясь с японскими захватчиками, верили: теперь пришло время завоевать свободу подлинную. Они верили в это еще и в те дни, когда, как изба-

вителей, встречали американских солдат. Может быть, теперь — после войны — придет долгожданная свобода?

Сейчас они знают: борьба продолжается. Это трудная борьба, кровавая. Но это борьба за счастье народа, за его будущее; без этой борьбы у народа будущего нет.

Я не мог без волнения читать Сангтуни Батонгбухэя:

> Что вы скажете детям своим, когда гордость
> простых бедняков
> за гроши продадите, сгибая покорные спины
> перед янки, скупившими все Филиппины
> для своих лесопилок, своих рудников;
> когда вместо гражданских свобод, вместо вольных
> торжественных хартий
> мы получим ярмо с иноземным клеймом
> и в своей же стране станем жалким рабочим скотом?
> Что тогда закричите вы все о свободе, потерянной
> в марте?

Помню последний вечер в Маниле. На заре мы улетали. Догорал мирный закат над Манильской бухтой, и корабли в океане казались далекими и бесплотными призраками; можно было даже предположить, что на них нет пушек.

По приморской дороге беспрерывным потоком неслись автомобили. Стемнело, и машин уже не было видно, только огни, огни, огни,— казалось, что это не автомобили, а сама дорога бежит, льется, как огненная река.

Было жарко, несмотря на вечер, душно. По Рисаль-стрит, шатаясь, шли в обнимку американские моряки в своих белых колпачках, похожие на поваров. Они были смертельно пьяны и невеселы, хоть и горланили во все горло песни.

Прохожие шарахались от них в стороны; с визгом прятались девушки; торопливо опускали жалюзи на окнах.

Морякам было тесно на тротуаре, к пьяной компании приставали еще и еще пьяные. Рисаль-стрит гудела и стонала от топота их ног, от их мрачных песен, от их невеселого веселья.

Хриплые звуки музыки вырывались из всех щелей манильских притонов. Зазывалы тащили пьяных солдат в подворотни.

— Все для американцев!

Голые девушки были нарисованы яркими красками на огромных вывесках бурлесков, баров, кабаре.

— Вход — только песо![1] Вход — только песо! — кричали зазывалы. — Очень много смеха за одно песо.

Но смеха было мало в этих притонах под кричащими вывесками: «Хаба-хаба», «Горячее место», «Наплевать!» Зато было много гадости и грязи. В бурлеске под вывеской «Atomic bomb» («Атомная бомба») на подмостках кривлялись мужчины в женских платьях и девушки в мужских костюмах. В этом и была «соль» номера — мужчины в женских платьях вели себя на сцене совершенно непристойно, впрочем, и девушки им не уступали.

Наш русский солдат ушел бы, отплевываясь, из этого «театра», но на американцев «атомная бомба» действовала оглушающе, они хрипло кричали актерам: «Давай, давай еще! Эй, девка, вкалывай! Стесняться поздно!»

В этот последний, воскресный, вечер в Маниле я не видел на улицах ни одного трезвого американского солдата. Город стонал от их пьяного разгула. Завоеватели гуляли!

Но и им было невесело. К черту пальмы, бананы, тропики! Им хотелось домой, на родину, к своим фермам и своим семьям. Какого черта они околачиваются здесь, когда война кончилась? Пусть Гарри Трумэн сам служит в колониальной пехоте, если это нужно ему и Уолл-стриту!

Мы проходили по улицам, прощаясь с Манилой, — четверо русских среди разноплеменного мира. Генерал Николай Васильевич Воронов был здесь уже во второй раз; его узнавали на улицах.

Все эти дни с утра и до вечера вокруг нас толпились филиппинцы. Не боясь мистера Бишопа, они устраивали нам восторженные овации.

— Салют России! — кричали они по-испански, по-английски и по-филиппински.

Они знали: это Советская Армия разбила японцев, разгромила Гитлера, спасла мир.

— Салют, товарищи! — кричали они нам.

Они видели в нас представителей великого народа, великой армии, великой страны — страны счастливых людей.

1947

---

[1] Песо — филиппинская монета, полдоллара.

«ДИКОЕ ПОЛЕ»

1

Историю моего знакомства с «диким полем» следует, как это ни странно, начинать с одной случайной встречи на Филиппинах.

На острове Коррехидор мне попалась группа японцев-военнопленных. Обливаясь потом, они тащили какой-то стальной канат. Сбоку шагал японец в роговых очках, вероятно офицер. Он не принимал участия в работе, но, как и все, был худ, оборван и грязен.

Я захотел сфотографировать эту живописную группу и невольно закричал по-русски:

— Постойте! Одну минуту!

Японец в очках вдруг непонятно чему обрадовался. Оказывается, как и многие японские офицеры, он чуть-чуть знал по-русски. Он сказал мне:

— Здравствуй! — и заулыбался. Потом ткнул себя пальцем в грудь и горько усмехнулся: — Официр! — и, покачав головой, показал на свои лохмотья: — Плоха, очинна плоха,— и опять покачал головой. Потом вдруг просиял и прибавил: — Домой... Токио. Очинна скоро. Я!

Так состоялось наше знакомство.

Через месяц, уже в Токио, капитан Хатагава Сатору был у меня в гостях. Мы встретились как «старые знакомые», и наша беседа приняла откровенный характер.

Когда офицер запаса Хатагава уходил на войну, он еще верил и в императора и в победу. Он не был буддистом. Как и его отец, он был христианином и синтоистом, то есть поклонялся сразу двум богам — Христу и императору. Вера в императора была религиозной привычкой — не больше, об этом нечего было ни спорить, ни думать; вера в Христа — случайностью, прихотью

отца или деда. Подлинной религией Хатагавы, как японца и офицера, была вера в победу.

Во всяком случае, прощаясь, он приказал жене:

— Никуда не уезжай из Токио. Токио погибнет — погибла Япония. Умирайте вместе с Японией в Токио.

Жена послушно кланялась...

Но сам Хатагава в душе не верил, что Япония может погибнуть. С детства его учили, что Япония выигрывала все войны, какие вела. Ни один вооруженный иноземец никогда не ступал по японской земле, и японцы покоряли материки и океаны.

И Хатагава считал это справедливым. Маленькая островная Япония должна стать великой Японией; Тихий океан — японским озером; Китай, Корея, Дальний Восток, Сибирь — префектурами «великой японской Азии». Оркестр играл марш победы, сочиненный композитором Ямадой, и под гром этого воинственного марша офицер Хатагава и ушел на войну.

Он сразу же попал на Филиппины. Поразительно легким, веселым, праздничным был этот победоносный марш. Словно сами собой падали к ногам японцев острова, города, крепости: трусливые американские гарнизоны поспешно капитулировали, огромные пушки фортов Коррехидора покорно подымали стволы вверх, как военнопленные руки. Вот так и должны шагать японцы, побеждая мир. И Хатагава шагал!

Его автомобильный отряд мчался по отличным дорогам, сквозь пальмовые рощи и тростниковые заросли, огибая прелестные тихие лагуны, пересекая прохладные реки, лениво стремившиеся к морю. Впрочем, филиппинская природа оставила Хатагаву равнодушным: он считал, что пейзажи хороши только в Японии, после них нет ничего красивого на земле. Нет, глазам японца на Филиппинах нечего было делать. Зато зубам! И Хатагава жадно брал природу «на зуб», как гастроном. Да, здесь можно покушать! Здесь картофель сладок, как банан, а банан жирен и мясист, как поросенок. А поросята, куры!.. А земля — плодородная, щедрая, сама рождающая харч! Сейчас, вспоминая об этом, Хатагава только облизывается: «Да, на Филиппинах мы отлично жрали!»

Единственное, что огорчало и даже смущало Хатагаву, было отношение филиппинцев к победителям. Нечего скрывать — это было плохое отношение.

Когда японские солдаты, в своих резиновых сапогах с оттопыренным большим пальцем, похожие на каких-то допотопных лапчатых птиц, маршировали по улицам Манилы, филиппинцы плевали им вслед. Это обижало Хатагаву.

Но пока у японцев были победы, на это можно было не обращать внимания.

Потом начались поражения.

Откуда взялись слухи о них? В официальных сводках по-прежнему гремел гром победы. Но солдаты читали не сводки, а листовки. «Парашютные новости» сообщали о страшных вещах. Разрушена Осака. Сожжен Кобэ. Горит Токио...

Горит Токио! Хатагава побелел от ужаса. Его семья была в Токио, он приказал ей умирать там.

Он думал всю ночь. К утру он решил, что если ничем не может помочь Токио, то семье своей он обязан помочь. Токио погибает, это ясно. Может быть, погибнет и великая Япония. Но разве надо, чтобы погибала семья Хатагавы? И он написал жене новый приказ: беги из Токио, спасайся!

Позже он узнал, что еще до получения этого приказа семья сама убежала из Токио.

В эти дни японцы были прижаты к горам на север от Багуно; автомобили пришлось бросить,— Хатагава стал пехотинцем. Награбленный в филиппинских селениях сладкий картофель кончился. Ели листья. Наступил голод. За щепотку соли можно было отдать мир, за чашку риса — всю Японию вместе с императором и победой.

Впрочем, в победу теперь не верил никто. Не всякому народу, не всякой армии дано сохранять веру в победу в горькие дни поражений. Между собой офицеры говорили, что война уже проиграна. Горькая ирония судьбы! Они снова нетерпеливо, лихорадочно ждали развязки, но теперь не победы ждали они, нет,— капитуляции. Только капитуляция может спасти им жизнь.

Жить! Жить! — всем животом своим хотели они жить. И «смертники», и офицеры, и самураи. В эти страшные дни никто не сделал себе харакири.

Умирали только тяжело раненные. Умирали, ропща и проклиная тех, кто погнал их погибать на чужой земле, в первобытном лесу. Они умирали озлобленные и ос-

корбленные,— не так, как подобает умирать буддистам. К черту! Их и хоронили ведь не так, как обещали хоронить павших японских воинов. Их не сжигали в походных крематориях, и урны с их прахом не отправляли на родину. Да, урна с прахом не будет стоять на почетном месте в семейном алтаре, и они, павшие за родину, не станут теперь богами, как им было обещано. Их просто зароют здесь, в чужом лесу, и вместо пышной и подробной надписи воткнут в могилу безыменный столбик. Даже смерть не удавалась японскому солдату, будь она проклята!

И Хатагава всегда отворачивался, проходя мимо этих столбиков. Он не хотел бы лежать так.

Никакой связи у отряда с верховным командованием не было, даже радиоприемника. Отряд, в котором служил теперь Хатагава, был просто горсточкой потерявшихся в джунглях людей. Им было суждено умереть здесь.

Но однажды, выйдя на рекогносцировку, Хатагава заметил на соседней горе филиппинского солдата: он размахивал белым флагом. Хатагава пошел ему навстречу. Они сошлись.

— Война окончена,— сказал филиппинец и простодушно протянул руку вчерашнему покорителю; Хатагава поспешно и униженно схватил эту руку.

Вскоре пришел форменный приказ о капитуляции; батальон Хатагавы выстроился и стал сдавать оружие. Офицеры волновались. Дело в том, что затерялся один патрон: в наличии патронов было на одну штуку меньше, чем в списке.

Этот злополучный патрон искали долго и не нашли. Офицеры боялись, что победители будут недовольны, но филиппинцы даже не стали пересчитывать трофеи. Равнодушно-презрительно смотрели они, как падает к их ногам японское оружие.

И тогда Хатагава не выдержал и рассмеялся. Он смеялся над собой, и над своими товарищами, и над всем, во что они верили и чего боялись. Это был горький смех, больше похожий на плач. Потом Хатагава отстегнул шашку и бросил в общую кучу. Прощай, оружие! Оно не принесло Хатагаве ни пользы, ни славы.

Все! Он не был больше офицером. Теперь он был военнопленный; его поставили в общую колонну и пешим маршем погнали через весь остров в Манилу, в ла-

герь. Они шли много дней (об этой дороге не надо много говорить, не стоит!), и когда, наконец, пришли, они были только жалким, грязным, оборванным сбродом — не больше, а каждый из них в отдельности — острым комком аппетита. Жрать! — вот все, о чем они думали. Только жрать!

В лагере они попали в руки соотечественников. Американцы-надсмотрщики обзавелись помощниками из пленных японских солдат и все перепоручили им. Хатагава обрадовался: теперь его, как офицера, поставят в иные условия, чем прочих,— черт побери, несмотря на свои лохмотья, он все-таки был офицером! И если для победителей он не больше, чем битый японец, то для своих солдат он — начальник, несмотря ни на что.

— Я капитан,— гордо сказал он японскому солдату-надсмотрщику. Тот тупо посмотрел на него, потом равнодушно и лениво... ударил.

Да, просто размахнулся и ударил. Кулаком в зубы, точно тем же приемом, каким когда-то сам Хатагава «учил» непослушных солдат.

И Хатагава не умер.

Нет, не умер. Сплюнул кровь и отполз прочь, подальше от новых ударов.

Вот так и пошло все в лагере. Они все теперь были равны перед общим позором — офицеры и солдаты. Субординация рухнула, а братство не появилось. Банка американской солонины была единственным реальным символом власти и богатства. И тот, кто имел эту банку, мог бить и унижать других.

Они часто теперь дрались из-за банки консервов, и пленные солдаты жестоко избивали своих пленных офицеров, и битые самураи не закалывали себя, не вскрывали вен, не убивали обидчиков,— они привыкли быть битыми и только по ночам тихо скулили на своих нарах и плакали... А днем, когда они выходили за ворота лагеря получать пищу, около них собиралась толпа филиппинцев.

— Доробо (вор)! Бакиеро (дурак)! — кричали им филиппинцы.

Они и это сносили покорно, только головы трусливо прятали.

— Мы опустились,— виновато сказал Хатагава.— Мы хотели жить.

В эти дни я и встретил Хатагаву на острове Коррехидор.

Он жил тогда одной мечтой: домой, на родину!

И вот, наконец, настал этот день. Их, как овец, погрузили в трюм парохода и повезли. На одиннадцатый день они были у берегов Японии.

В туманной зимней дымке возникла пред Хатагавой Япония буднично и просто. Не произошло ничего сверхъестественного. Он вдохнул воздух родины, и легкие его не разорвались от счастья, и душа не запела. Ни он, ни его товарищи не упали наземь, не стали целовать мокрый песок. Просто построились молча в колонну и пошли...

Они шли по улицам портового города Урага, стараясь не глядеть соотечественникам в глаза. И население Ураги встречало их нерадостно и даже недружелюбно.

Что принесли они с собой на родину? Ничего, кроме своих никому не нужных шкур да позора. Никакой добычи не было в их солдатских мешках. Только то, что удалось сэкономить в лагере: пачка американских сигарет, кусочек шоколада, банка консервов. Бесценные сокровища, они достались Хатагаве ценою больших лишений,— и это было все, что он нес домой.

Да, невесел был первый день возвращения на родину. Потом, когда он уже встретил жену и детей, пришла радость, но какая-то тупая, животная, бессмысленная. Просто хорошо, что он жив, цел, что цела семья, жена, дети...

Что дальше?

Он не сразу ответил на мой вопрос. Он сидел у меня в теплой комнате — за окном падал мокрый снег — и пил чай, осторожно размешивая сахар ложечкой.

Видел ли он Токио? Да, мельком. Он ужаснулся — слишком много руин, он не думал, что Токио так страшно разрушен. Он старается теперь реже ходить по городу. Не хочется видеть печальные пейзажи.

Однажды он случайно забрел в городской парк. Потом он долго не мог спать по ночам.

Этот парк находится в центральной части города. Когда-то — до катастрофы — Хатагава любил гулять здесь. Он говаривал, бывало: только в храме, перед лицом бога, и в парке, перед лицом природы, и чувствуешь себя человеком.

Сейчас в городском парке никто не гулял. Тут — умирали. Этот запущенный, захламленный, сиротский парк стал теперь последним прибежищем бездомных и безработных. Они вырыли себе пещеры в земле — узкие, мокрые норы — и там скрывались от холода. Стояла гнилая, простудная японская зима. Люди ходили с намордниками из марли. Они носили их, чтоб не простудиться, а Хатагаве казалось, что все люди вокруг него запечатали себе рты, чтобы не говорить и не кричать от голода, стыда и боли.

Бездомные в парке тоже молчали. Они лежали подле своих пещер и — умирали. Умирали молча. Уже бесполезно было кричать, корчиться, просить о помощи. Кто поможет им? Кто может, кто хочет им помочь? Соотечественники? Но они сами голодны. Правительство? Но ему дела нет до своего народа, оно пресмыкается перед американцами и думает только о том, как угодить им. Американцы?

Да, американцы были теперь хозяевами в Японии. Они жили здесь так, как никогда не жили в своих Штатах. Они брали, что хотели, и ничего не платили. Они вывозили на своих кораблях в США японское золото и серебро, жемчуг и шелк с японских фабрик, драгоценные сокровища древнего, неповторимого японского искусства и дешевые, копеечные сувениры. Все в этой несчастной стране принадлежало им. Они захватили самые лучшие отели и пьянствовали там. Они, как бешеные, носились на своих «джипах» по улицам и дорогам и давили людей. Для них открылись бесчисленные дансинги, бурлески, кабаре, публичные дома, где голодные японские девушки покорно развлекали завоевателей. Тихие, корректные, поэтические японские чайные домики вмиг превратились в грязные лачуги разврата. Оккупанты пачкали все, к чему прикасались. В своих грязных бутсах и с сигаретой во рту они вваливались в священные японские храмы и, сплевывая на пол, как дикари, глазели на богослужение. Они ездили на людях по японским улицам и так фотографировались, по-хамски развалясь на носилках. Они затевали гонки рикш и до смерти загоняли запряженных в носилки людей.

А в городском парке умирали безработные. Умирали каждый день. И только когда человек становился вполне мертвым — о нем начинали заботиться американцы. Они

не могли позволить, чтобы мертвые трупным ядом заражали воздух, которым они, американцы, дышат. Немедленно привозились гробы. Немедленно убирались трупы.

Гробы привозились даже еще раньше, чем человек окончательно умирал. Гробы заботливо ставились подле пещер. И человек мог спокойно умереть около своего гроба. Он мог даже сам влезть в свой гроб и умереть в нем.

Да, вот кто такой был этот Макартур — он был гробовщик. Он всю Японию впихивал в огромный сосновый гроб.

— Что ж вы теперь намерены делать с собою? — спросил я Хатагаву.

Он печально развел руками.

— Не знаю, не знаю...— пробормотал он.— Так много безработных в Японии. Так много горя...— Он покачал головою. Потом нерешительно сказал: — Может быть, я уйду на «дикое поле»...

2

Так я впервые услышал о «диком поле».

Вот что мне рассказал Хатагава Сатору:

— «Дикое поле» — это искупление. Это возвращение к обычаям праотцев. Это возвращение к земле-матери. В сущности, японцы — миролюбивый народ. Мы — народ-земледелец. Ужасным заблуждением было считать, что мы народ-завоеватель. Мы заплатили кровью и годами горя за эти заблуждения. Теперь пробил час искупления и покаяния. Надо вернуться к земле, надо упасть перед нею на колени и молить о прощении...— Он еще долго говорил в том же духе, длинно, цветисто и гуманно, как истый японский интеллигент.

Все же я уловил сущность дела. Вот она: безработные офицеры решили, объединившись в артели, совместно обрабатывать пустоши, целину — «дикое поле».

— Это будут, как у вас,— колхозы! — любезно объяснил мне Хатагава.

Любопытно было бы взглянуть на эти офицерские «колхозы»! Я сказал об этом Хатагаве. Он восхитился:

— О! О! Пожалуйста! У меня есть знакомые офицеры и в Сакуре и в Симоношидзу. Я дам вам рекомендательные письма.

Для меня это было большой удачей. В Японии никуда и ни к кому не следует идти без рекомендательного письма: с вами будут вежливы, но ничего не покажут и не расскажут. Японцы — народ недоверчивый.

Через несколько дней с рекомендательным письмом капитана Хатагавы я поехал в Сакуру смотреть «дикое поле».

Но прежде надо рассказать о случайном дорожном эпизоде.

Мы остановились у харчевни на перекрестке двух больших дорог и решили тут пообедать. Нас встретил хозяин харчевни — японец средних лет.

— Есть ли ски-яки (мясное блюдо)? — спросил я.

— Нет.

— Темпура? [1]

— Нет.

— Пиво?

— Нет.

— Чем же торгуют тогда в этой харчевне? — рассердился я.

— Девочками,— был бесстрастный ответ.

— Чем?

Переводчик еще раз переспросил и так же бесстрастно перевел: да, девушками. Вот этими. Тут же находились три девушки, одна из них нянчила хозяйского малыша, две другие возились по хозяйству.

Мы разговорились с владельцем харчевни. Он оказался... бывшим жандармским офицером. Узнав, что я русский, он тут же объявил, что всегда тяготился службой в жандармерии, что он враг милитаризма, что он пламенный демократ и так далее,— все, что я уже привык слышать от людей подобного сорта. А как же торговля девушками? Он ничуть не смутился: о, девушки? Он спас их от голодной смерти. Он — благодетель их, и когда они отработают свой долг, он сам выдаст их замуж.

Бедные девушки! Они никогда не отработают своего долга. Зато жандармский офицер теперь обеспечен: у него доходная профессия. Я вспомнил капитана Хатагаву: его коллеги-офицеры устраиваются как могут.

Мы очень огорчили господина жандарма, отказав-

---

[1] Темпура — блюдо из рыбы и печеных овощей.

шись остаться в его «харчевне», и поехали в Сакуру — на «дикое поле».

Капитан Хатагава дал мне рекомендательное письмо к председателю артели, и, когда я приехал в Сакуру — маленькое местечко в префектуре Шиба,— я и направился к председателю.

Вышла женщина, любезно поклонилась нам и сказала:

— Командира полка нет дома.

— А зачем мне командир полка? Мне нужен председатель артели.

— Это и есть командир полка. Он уехал в Токио.

— А-а!.. Ну, а кто же есть налицо?

— Есть комбат.

Мы пошли к комбату. Его тоже не оказалось дома — он уехал в префектурный город на похороны знакомого. Странное дело — в рабочее время все «новые крестьяне» прогуливают!

— Есть другой комбат,— сказала мне жена полковника, любезно сопровождавшая нас.— Он сейчас на «диком поле».

Мы отправились туда.

Но прежде чем увидеть комбата, я увидел «дикое поле».

Что-то странно знакомое было в нем — в его искусственных очертаниях, в этой котловине, в сооружениях, окружающих ее.

— Это очень похоже на артиллерийский полигон,— сказал я.

Да, ответили мне, это и есть полигон. А это — артиллерийские склады. А там дальше — казармы полка, и за ними другое «дикое поле» — бывший учебный плац.

Вот оно что! Вот какие это «пустоши» и брошенные земли!

Наконец подошел комбат, на ходу застегивая свой офицерский китель без знаков различия.

Он представился нам: «Майор Сузуки», и предложил осмотреть «дикое поле». Но смотреть было не на что: полигон так и остался полигоном, и только клочок плаца был перекопан, но еще не возделан. Майор показывал нам все это без всякой гордости собственника, без радости крестьянина. В глазах майора была тоска. Только тоска, и все...

— Что делать! — сказал он со вздохом.— Вот копаю землю...

Вечером, за бутылкой сакэ, мы разговорились. Мне пришлось сначала выслушать историю майора Сузуки, в общих чертах похожую на историю Хатагавы,— типичная история офицера-капитулянта. Потом Сузуки долго говорил о своих демократических идеалах. Наконец мы добрались до дела.

Капитуляция застала Сузуки на фронте, где он был всего два месяца. Он был кадровым офицером, много лет прослужившим в Сакуре, в запасном полку. Куда деваться, что делать?

Работать? Он ничего не умеет. Пойти на маленькую, «черную работу»? Не хочется. Обидно.

Напрашивался естественный выход: поехать в родную деревню, вернуться к земле праотцов. Но что для майора Сузуки родная деревня!

Он подумал-подумал и поехал... в свой полк. В Сакуру. Полка уже собственно не было. Но командир полка полковник Ичиморо, комбат и другие офицеры — все держались здесь, подле старых казарм. И Сузуки присоединился к ним. Вместе легче.

У них была теперь одна цель: выжить, выстоять в «смутные времена», продержаться всем вместе. А потом...

У командира полка здесь был свой домик, у офицеров — казенные квартиры. Много лет стоял здесь полк, готовил кадры для армии. Офицерские денщики были теперь крестьянами здешних хуторов. Они по привычке, по рабской традиции благоговели перед офицерами — привозили им продовольствие, кланялись и дарили подарки. Обыватели Сакуры по-прежнему называли Ичиморо «господин полковник».

Было проще простого организовать в Сакуре «офицерскую артель». Ее председателем стал командир полка, а членами правления — два комбата. Нужны были и рабочие руки,— они были набраны из унтер-офицеров и солдат. Офицерские денщики волей-неволей стали «помогать» своим офицерам ковырять непослушную землю. Правительство охотно дало кредиты. Инвентарь нашелся. Раньше во всех полках были сельхозотряды, обеспечивающие полк овощами,— их инвентарь теперь был собран в так называемых «полковых районах»,— оттуда артель Ичиморо и получила все, что нужно.

И офицеры стали «крестьянами».

Сузуки горько рассказывал мне об этом.

Он ковырялся на своем клочке земли, проклиная мир и наливаясь злостью. Земля была твердая. Десятилетиями утаптывали ее офицерские кони. Сузуки сам топтал ее много лет. Он любил эту землю, когда она была плацем, и ненавидит сейчас, когда она стала полем.

Приходят воспоминания. Припоминаются парады, стрельбы, учения, трепетные дни смотров, веселые дни офицерской службы в запасном полку.

А если подняться чуть-чуть на косогор, можно увидеть то, что больше всего дорого Сузуки,— учебный танк и бронемашину. Сейчас они стоят, завязнув в грязи у поворота дороги, но когда-то они были славой и гордостью Сузуки. Единственный из офицеров полка, он прошел специальные курсы и, вернувшись в полк, обучал всех офицеров искусству борьбы с танками. Это были гордые, памятные дни...

И теперь, когда сумерки медленно наползают на бесполезные, беспомощные машины, завязшие в грязи, Сузуки хочется плакать.

— Хочется плакать,— говорит он мне.— Все было бы иначе, если бы мы победили...

Наутро ко мне на завтрак пришли уже все — и полковник Ичиморо, вернувшийся из Токио, и комбат Нисизава, похоронивший своего знакомого, и Сузуки... Мы сидели, ели ски-яки из старого петуха и неторопливо беседовали.

Я не был настолько невежливым, чтобы спросить, как могут они в горячее рабочее время так благодушествовать за завтраком в двенадцать часов дня. Я знал уже, что есть денщики, «помогающие» офицерам, и есть солдаты, занимающиеся выжигом древесного угля, что и дает главный доход артели.

Что касается правления артели, то оно занималось сейчас тяжбою с населением Сакуры, о чем мне с горечью и рассказал Ичиморо. Дело в том, что офицерская артель не могла да и не хотела перепахивать всю землю полка, но и отдавать ее не собиралась. Безземельные крестьяне Сакуры жадно взирали на эту землю. Уж они-то ее подняли бы!

— Но это наша земля, земля полка,— убеждал меня Ичиморо.

— Какого полка? — наивно спросил я.— Полка-то ведь нет?

— Да, но...

Впрочем, полк был — вот сидел предо мною весь костяк его, остов: командир, комбаты, офицеры. Естественно было, что они не хотят отдавать крестьянам ни землю полка, ни казармы, ни полигон, ни склады... Все пригодится в свое время!

Главное — выстоять всем купно до лучших времен.

— До каких?

Ичиморо уклонился от прямого ответа.

— Все может измениться в мире,— пробормотал он.

Но я уже знал, о чем они мечтают, эти офицеры-«крестьяне». О новой войне.

Как бы там ни было, а они были все вместе, в своем «полку», в своих казармах... А «дикое поле» — что ж, утоптать и снова превратить его в учебный плац куда легче, чем вспахать и сделать нивой.

За завтраком мы разговорились о перспективах движения колонизаторов, «новых крестьян». Оказывается, артель Ичиморо — только маленькая ячейка огромной всеяпонской организации. Эта организация сейчас, в 1946 году, только складывается. Происходят собрания, съезды. Есть уже название; как всегда у японцев, оно очень длинное: «Кайта-ку-киноо-ша-леммей» — («Лига колонизаторов, вернувшихся в деревню»). Сейчас происходит образование префектурной лиги. Во главе ее будет генерал-майор.

— А затем уже соберется съезд всеяпонской лиги.

— И возглавит ее генерал-полковник? — усмехнулся я.

— Да! — серьезно ответили мне.— Это нужно для авторитета.

— А зачем вообще нужны эти лиги? Раз вы перестали быть офицерами и стали крестьянами, так и входите в крестьянские союзы, крестьянские партии...

На это я получил ответ, который можно получить только от самурая. Глядя мне прямо в лицо и нисколько не улыбаясь, мне ответил Сузуки:

— Видите ли, в радиопередачах токийской станции есть час для крестьян. А для нас — «новых крестьян» — нет такого часа. Лига добьется этого.

— И все?

— Да! — чистосердечно ответил Сузуки.

Ну что можно было сказать после этого!

В этой беседе за завтраком я услышал о Симошидзу,— офицеры говорили об этом с уважением и завистью:

— Это большое хозяйство. Очень большое. И возглавляет его сам генерал-майор. А душою всего дела — полковник Накашима.

Я попросил рекомендательное письмо к полковнику, мне его дали.

Не скоро, но я все-таки попал и в Симошидзу.

Здесь все имело куда более эффектный вид, чем в бедной Сакуре. Ведь полк всегда выглядит скромнее, чем корпус.

Начать с того, что здесь был оффис — контора с вывесками по-английски и по-японски. В оффисе работало пятнадцать служащих. Нас встретил щеголеватый господин Нарукава, приветствовавший нас по-русски. Он учился в кадетском корпусе и знает несколько русских слов. Сейчас он заведует канцелярией хозяйства. Он проводил нас в приемную и сказал, что господин полковник скоро прибудет.

Действительно, тот скоро явился. Это был коренастый пожилой человек, очень похожий на того японского полковника, какого мы видели в фильме «Волочаевские дни».

После традиционных поклонов полковник сразу же сказал нам, что он — простой крестьянин.

— Да, да,— говорил он, качая головой,— господин генерал и я больше не возглавляем дело. Мы решили демократизировать все. Я только простой крестьянин. Вот,— он показал нам мозоли.

Тем не менее он готов дать нам все сведения о хозяйстве, он все знает. Господин Нарукава может принести справки, цифры.

— Он у меня правая рука! — снисходительно сказал полковник, но тут же спохватился: — Я, правда, все время в поле, с лопатой... Но меня часто вызывают сюда, когда приезжают власти, гости... Что делать!..

Итак, что же такое Симошидзу?

Это — большое дело. Оно объединяет восемь артелей, в них тысяча сто семей и две тысячи четыреста га земли. Всего в хозяйстве около четырех тысяч человек.

Большинство — военные. Бывших офицеров — сто один, унтер-офицеров — сто. Остальные — солдаты и члены семей.

Все живут в бывших казармах. Это здание, где контора,— бывшее артиллерийское училище. Есть машины: всего десять. Это бывшие танки и тягачи, ставшие теперь тракторами.

Во главе хозяйства стояли раньше генерал и полковник Накашима. Теперь — после «демократизации» — все дело возглавляет солдат.

— Да, да, простой солдат! — радостно говорил нам Накашима, но я потом долго пытался узнать имя этого солдата и в оффисе и у отдельных руководителей хозяйства — никто этого имени не знал. Генерала знали, Накашиму, конечно, тоже... а своего «председателя» никто не знал.

Хозяйственной жизнью дела руководит специалист, присланный из министерства земледелия. Вообще правительство очень поощряет Симошидзу: дает кредиты, ссуды, инвентарь, семена.

Все хозяйство состоит из восьми артелей, каждую возглавляет начальник.

— Офицер?

— Да... Пока. Офицеры все-таки грамотные.

Все члены артели делятся на сотни; каждые сто человек возглавляются сотником. Офицером.

Сотни разбиваются на бригады.

— Зачем же сотни, раз есть бригады?

— Так удобнее управлять людьми...

Я захотел посмотреть хозяйство, и Накашима согласился быть путеводителем, но, к сожалению, неожиданно приехали американцы на «виллисе», и Накашима должен был принимать их. Меня поручили двум майорам.

— Почему же «простой крестьянин» Накашима принимает гостей, а не глава хозяйства — солдат?

— Видите,— улыбаясь, объяснили майоры.— Господин полковник Накашима у нас заведует внешней политикой...

Ну что ж! Я отправился в поле с майорами. Один из них, по имени Сидзусато, заведовал полеводством, другой — Такебояши — лесом.

Чтоб попасть в поле, мы должны были пройти через военный городок. Мы шли мимо длинных деревян-

ных казарм, где жили все эти сотни и бригады вместе со своими сотниками и начальниками.

Это были *военные поселения*, другого имени нельзя было подобрать к тому, что я здесь видел.

Мои майоры вдруг остановились и почтительно сняли фуражки.

— Что случилось?

— Господин генерал идет.

Навстречу нам по полю шел худой, старый человек. На правом плече он нес тяпку, на левом болтался старенький офицерский плащ.

Было странно видеть генерала с тяпкой.

Мы познакомились. Майоры почтительно стояли сзади.

— Посмотрите наше хозяйство и, будьте добры, дайте нам свои любезные советы,— вежливо говорил генерал.

А я смотрел на его маленькие беленькие ручки...

— Не трудно ли вам, господин генерал, работать на поле?..

— Да, да, трудно... Что делать! Конечно, я не могу сделать столько, сколько крестьяне, но я стараюсь...

— Это хорошо как моцион... Не больше...

— Да, да...— печально закивал он головой.— Я делаю, что могу.

Ну что ж! Если в сказке Салтыкова-Щедрина один мужик двух генералов кормил, то сотни японских солдат смогут же прокормить одного генерала.

Мы стали смотреть поле.

Полеводческий майор показывал:

— Вот мы на этом участке применили метод советского ученого Лысенко — метод яровизации.

— Вы агроном?

— Нет. Никогда и не помышлял о земле. Сейчас учусь.

О хозяйстве, о земле, о лесе оба майора говорили без всякого энтузиазма. Совсем как Сузуки из Сакуры — даже с ненавистью.

Я сказал:

— Может быть, у вас есть ко мне вопросы?

Они замялись. И вдруг:

— Скажите, что война Америки с СССР вероятна?..

Да, это единственное, главное, что волновало их. Ко-

выряя упрямую землю, проклиная труд и свою долю, они мечтали об одном: о новой войне. О войне, которая всех этих «новых крестьян» вернет к их любимому «делу».

3

Уже возвращаясь с поля, я нечаянно столкнулся с моим старым знакомым — капитаном Хатагавой.

Но он не обрадовался мне. Он выглядел еще более жалким и смущенным, чем там, на Коррехидоре. Он еще более похудел и совсем увял.

— Ну как? — спросил я.— Устроились? Припали к груди земли-матери?

Он только жалобно улыбнулся в ответ. Потом, озираясь по сторонам, пробормотал:

— Здесь неудобно разговаривать.

Вечером мы вновь сошлись с ним, на этот раз в гостинице, где я стоял. Нас было только трое: Хатагава, мой переводчик и я. В Японии комнаты в маленьких отелях обозначаются не номерами, а знаками. Есть комнаты Лотоса, Ириса, Вишни в цвету, Аиста. Над моим номером висел знак Белой Хризантемы. Тем не менее комната была достаточно грязна. Впрочем, это не имеет никакого отношения к тому, о чем здесь рассказывается.

— Ну, как же ваши офицерские «колхозы»? — спросил я у своего гостя.

Он ответил не сразу. Жадно закурил сигаретку, держа ее по-солдатски, двумя пальцами,— видно, привык так в плену,— потом прошептал:

— Это обман...— Он помолчал немного, еще ниже опустил голову.— Опять обман... Почему все так любят обманывать маленького человека? — спросил он с тоскою.— Скажите, зачем сельскохозяйственной артели пулеметы?

— Пулеметы?

— Да. Вчера к нам завезли пулеметы. Разве пулеметы — это сельскохозяйственный инвентарь? Говорят, будем опять солдатами. Зачем? — Он поднял на меня свои печальные глаза и вздохнул.— Все, все обманывают маленького человека... Вы слышали о резервном полицейском корпусе?

— Да, слыхал.

— Я прошу вас,— вдруг горячо сказал он,— не

верьте, это не полиция! Нет, нет! Здесь этого и не скрывают от нас. Теперь многие наши офицеры собираются уходить в этот резервный корпус. Там по крайней мере не придется маскироваться «крестьянами».

— И вы пойдете?

— Я? Нет. Я не пойду. Нет, нет!..— энергично закачал он головою.— Я не пойду. С меня довольно!

— Останетесь здесь?

— Нет... не знаю... Я ничего не знаю...— с невыразимой тоской прошептал он.— Я бедный маленький человек... У меня семья... Я хочу только покоя...

Опустив руки и сгорбившись, он сидел передо мною, действительно бедный, маленький, много раз обманываемый человек...

— Хуже всего,— проговорил он,— когда сюда приезжают американцы. Они часто сюда приезжают. Нет, они смотрят не наши поля. Они рассматривают нас. Я много раз ловил на себе их взгляды. В эти минуты я чувствовал себя... скотиною на бойне. Мне казалось, что это мясники ощупывают, взвешивают и оценивают мои мускулы, мое мясо: годен ли я, или не годен.

— Для чего?

— Для того, чтобы быть пушечной говядиной. А я больше не хочу быть пушечной говядиной! — вдруг пронзительно закричал он.— Я человек! Я не хочу убивать. Я не хочу быть убитым. Я хочу мира. Я — человек! — И неожиданно он заплакал.

С тех пор прошло несколько лет. Я не знаю, что сталось с бывшим капитаном императорской армии, бедным, обманутым Хатагавой Сатору. Жив ли он? Остался ли на «диком поле»? Или ушел прочь от этих «новых крестьян»? Куда? Нашел ли он, наконец, работу по душе и по совести, чашку риса и покой для себя и для своей семьи в этой стране безработных, бездомных, попавших в горькую беду соотечественников? На воле ли он еще? Или уже сидит за железной решеткой, как тысячи таких же, как он, очнувшихся людей Японии, не желающих новой войны?

Я ничего о нем не знаю больше... Но до сих пор звенит в моих ушах его пронзительный вопль: «Я не хочу быть пушечной говядиной!» И мне кажется, что это вопль Японии.

1947

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

С первых дней Великой Отечественной войны и до ее победоносного завершения Б. Горбатов находился в действующей армии в качестве военного корреспондента сначала фронтовой газеты «Во славу Родины», а затем — «Правды». В этих газетах и было впервые опубликовано большинство его произведений военных лет.

Несколько очерков, вошедших в данный том, написаны Б. Горбатовым в соавторстве (см. примечания).

ПИСЬМА К ТОВАРИЩУ

Впервые опубликованы во фронтовой газете «Во славу Родины», фронтовых листовках и в газете «Правда». В газете «Правда» от 22 сентября 1941 г.— «Родина»; от 17 ноября 1941 г.— «О жизни и смерти»; от 1 января 1942 г.— «С Новым годом, товарищ!»; от 1 августа 1942 г.— «Пядь родной земли»; от 10 сентября 1944 г.— «Год спустя».

АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ, БОЕЦ

Впервые повесть опубликована во фронтовой газете «Во славу Родины» и в газете «Правда» от 3, 5, 6, 8, 9 октября 1942 г.

РАССКАЗЫ О СОЛДАТСКОЙ ДУШЕ

Впервые — в газете «Правда» от 20 августа 1942 г. рассказ «После смерти» и от 4 сентября 1942 г.— «Дезертир». Эти рассказы и рассказы «Власть» и «Партийный билет» вместе с другими произведениями Горбатов включил в сборник «Рассказы о солдатской душе», вышедший в 1943 г. (М., изд. «Советский писатель»). Окончательный состав цикла определен автором в последнем прижизненном сборнике «Военные годы. Повести, рассказы, очерки» (М., изд. «Советский писатель», 1954).

ЮНОСТЬ ОТЦОВ

Впервые опубликовано отдельным изданием в 1944 г. в изд. «Искусство». Горбатов работал над пьесой одновременно с повестью «Непокоренные» и закончил ее летом 1943 г. Первая постановка пьесы состоялась в Московском театре имени Ленинского комсомола 3 ноября 1943 г. Степан Рябинин, один из центральных героев «Юности отцов»,— дальнейшая разработка писателем одноименного образа из романа «Мое поколение».

НЕПОКОРЕННЫЕ

Первая часть повести, под названием «Семья Тараса», впервые была опубликована в газете «Правда» от 17, 19—23 мая 1943 г. Вторая часть — в газете «Правда» от 25—27, 30 сентября 1943 г. и в газете «Комсомольская правда» от 25, 26, 28—30 сентября 1943 г. Одновременно повесть «Непокоренные» была напечатана в журнале «Октябрь», 1943, №№ 4—5, 8—9. В том же году вышла отдельной книгой в Гослитиздате.

Повесть многократно переиздавалась. Переведена на многие языки народов СССР. Издана также в ряде зарубежных стран.

В 1945 г. повесть была экранизирована (Киевская киностудия, режиссеры Р. Перельштейн и Е. Зильберштейн).

В 1946 г.— удостоена Государственной премии второй степени.

В 1947 г. в Москве по сюжету повести была поставлена опера «Непокоренные» (композитор Д. Кабалевский, либретто С. Ценина). Новая редакция оперы — «Семья Тараса» — была поставлена в Ленинграде в 1950 г.

О СЕМЬЕ ТАРАСА

Впервые — газ. «Правдист» от 6 ноября 1943 г.

ОЧЕРКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

О силе примера, о боевой дружбе. Первая публикация не обнаружена. Напечатано в сборнике «Рассказы о солдатской душе», М., изд. «Советский писатель», 1943.

О смелости, о дерзости, о риске. Впервые — газ. «Правда» от 2 сентября 1941 г. под заголовком «Из фронтового блокнота».

О воинской чести, о воинской славе. Впервые — газ. «Правда» от 16 февраля 1942 г.

Лейтенант Леонтий Деркач и его рота. Первая публикация не обнаружена. Напечатано в сборнике «Рассказы о солдатской душе», М., «Советский писатель», 1943.

Считайте меня коммунистом. Впервые — газ. «Правда» от 26 сентября 1941 г.

Шахтеры. Впервые — газ. «Правда» от 28 января 1942 г.

Горы и люди. Впервые — газ. «Правда» от 6 декабря 1942 г.

Здравствуй, Донбасс! Впервые — газ. «Правда» от 9 сентября 1943 г.

Мариуполь. Впервые — газ. «Правда» от 13 сентября 1943 г.

Солдаты идут на запад. Впервые — газ. «Московский большевик» от 22 февраля 1944 г.

Чувство движения. Впервые — газ. «Правда» от 2 марта 1944 г. В соавторстве с П. Яхлаковым.

Солдатский труд. Впервые — газ. «Правда» от 9 марта 1944 г. В соавторстве с П. Яхлаковым.

Херсон. Впервые — газ. «Правда» от 15 марта 1944 г.

Весна на юге. Впервые — газ. «Правда» от 5 апреля 1944 г.

Лагерь на Майданеке. Впервые — газ. «Красная звезда» от 10—12 августа 1944 г.

В Берлине. Впервые — газ. «Правда» от 30 апреля 1945 г. в соавторстве с М. Мержановым.

В районах Берлина. Впервые — газ. «Правда» от 30 апреля 1945 г. В соавторстве с М. Мержановым.

Капитуляция. Впервые — газ. «Правда» от 9 мая 1945 г. в соавторстве с М. Мержановым.

Знамя победы. Впервые — газ. «Правда» от 9 мая 1948 г.

В Брянских лесах. Впервые — в «Литературной газете» от 5 июля 1950 г. В этом очерке Б. Горбатов выступает как депутат Верховного Совета РСФСР от Дубровского, Жуковского и Рогнединского районов Брянской области.

Слово о быте шахтеров. Впервые — газ. «Правда» от 26 апреля 1952 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

ОЧЕРКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 1941—1952

В ЯПОНИИ И НА ФИЛИППИНАХ

Борис Леонтьевич
ГОРБАТОВ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том III

Редактор тома
Н. А. Самохвалова

Оформление художника
Н. Н. Каминского

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1727

Сдано в набор 1.02.88.
Подписано к печати 29.04.88.
Формат 84×108[1]/[32]. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,62. Усл. кр.-отт. 26,88. Уч.-изд. л. 23,75.
Тираж 1 700 000 экз. (1-й завод: 1—200 000).
Заказ № 4732. Цена 2 р. 30 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
типографии издательства «Звезда». 614600, г. Пермь,
ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

Индекс 70658

2 р. 30 к.